АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ЛЕМНЕР

18+

РЕДАКЦИЯ КПД

русская реконкиста

Annotation

Русский постмодернизм — переосмысленный, но по-прежнему беспощадный — наконец-то находит серьёзную тему и настоящего героя. Новый роман Александра Андреевича Проханова посвящён авантюрам, подвигам, неистовым страстям, чудовищным злодеяниям Михаила Лемнера — персонажа русской истории, который не раз выходил на авансцену то Степаном Разиным, то Емельяном Пугачёвым, а то героями Русской Весны. Лемнер напоминает Евгения Пригожина — создателя ЧВК «Вагнер», ярчайшего персонажа наших дней.

#груздвестимывместе
#всехубитьвсёотнять
#всехлюбитьвсехобнять
#шайтангдеснаряды

- Александр Проханов
  -
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвёртая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
  - Глава двадцать первая
  - Глава двадцать вторая

- Глава двадцать третья
- Глава двадцать четвёртая
- Глава двадцать пятая
- Глава двадцать шестая
- Глава двадцать седьмая
- Глава двадцать восьмая
- Глава двадцать девятая
- Глава тридцатая
- Глава тридцать первая
- Глава тридцать вторая
- Глава тридцать третья
- Глава тридцать четвёртая
- Глава тридцать пятая
- Глава тридцать шестая
- Глава тридцать седьмая
- Глава тридцать восьмая
- Глава тридцать девятая
- Глава сороковая
- Глава сорок первая
- Глава сорок вторая
- Глава сорок тертья
- Глава сорок четвёртая
- Глава сорок пятая
- Глава сорок шестая
- Глава сорок семь
- Глава сорок восьмая
- Глава сорок девятая

Александр Проханов
Лемнер

* * *

В Кремле разбилось голубое блюдце,
И с колокольни колокол упал.
Зажглись над Русью люстры революций —
И начался кромешный русский бал.

Утихнут звуки суеты мирской,
Повиснут флагов вялые мочалки.
Тогда в ночи промчатся по Тверской,
Стреляя пулемётами, тачанки.

Там будет кровь в озёрах, как вода,
И звёзды упадут за горизонты.
Гремя огнём, пойдут на города
Танкисты из восставших гарнизонов.

Гори, гори, печальная звезда,
Над миром истлевающих останков.
Мне пели песни бронепоезда
На стылых разорённых полустанках.

Куда ни глянь, повсюду двойники.
В любом стекле кривляются подобья.
Двоится мир, двоятся гнойники,
Двойник Кремля взирает исподлобья.

Двойник луны качается в реке.
Двойник звезды всплывает из болота.
Двойник гранаты — в поднятой руке.
Двойник луча — из жерла пулемёта.

Тогда услышим мы истошный крик.
Там убивают жениха на свадьбе.

Горит пожар из драгоценных книг,
Сжигаемых в отеческой усадьбе.

И в небесах раздастся Божий глас,
С пустых церквей сдувая позолоту.
И не спасёт резной иконостас.
Послужит он ступенью к эшафоту.

Россия, Русь, осиновая грусть,
Ты участи своей не избежала:
Мне, сыну своему, разъяла грудь,
Вонзив штыка отточенное жало.

Глава первая

Две фирмы, учреждённые Михаилом Соломоновичем Лемнером, обеспечивали ему благополучие и заметное положение в обществе — бюро сексуальных услуг «Лоск» и частное охранное предприятие «Волк». Бюро направляло эскорты породистых проституток во дворцы Кавказа, на виллы в Эмираты, на деловые симпозиумы корпораций, проходившие у лазурных морей. Охранное предприятие обеспечивало безопасность высоких персон, их жен и детей, загородных усадеб, рабочих кабинетов, маршрутов, по которым перемещалась персона на деловые встречи и увеселения. Иногда заказ поступал сразу в оба учреждения, и тогда женщины в платьях из дорогих шелков на великолепных машинах отправлялись в подмосковные резиденции, и их сопровождали суровые телохранители, увешенные рациями и оружием. Управление обоими учреждениями требовало от Михаила Соломонович жёстких форм. В женском и мужском коллективах царила дисциплина, возможная лишь в военных подразделениях и монастырях. Проститутки трепетали перед Михаилом Соломоновичем, боялись его жестокости и обожали за щедрость. Из худосочных провинциальных девиц, покрытых паршой, они превратились в ослепительных, сияющих драгоценными лаками красавиц, ведавших мужские странности и добавлявших к этим странностям новые, неслыханные.

Михаил Соломонович при бюро «Лад» основал «Школу эротических таинств». Наставницами приглашались самые искусные эротоманки мира. Они знали тайные обряды европейских масонов, африканские свирепые инициации, мучительный, со смертельным исходом, японский эротизм, тяжёлые латиноамериканские соития, похожие на животные случки.

Охранников Михаил Соломонович отправлял на стажировку в Израиль. Там они учились стрелять на звук, уходить от погони, сбивая на переходах детей, бинтовать огнестрельные раны и вправлять суставы.

Михаил Соломонович рассматривал оба предприятия как организации орденского склада и принимал в них не всякого, а лишь тех, кто был готов к служению. Охранники, прошедшие чеченские войны, составляли воинское братство и присягали на верность Михаилу Соломоновичу, блюли кодекс чести. Кодекс призывал умереть в неравной схватке, молчать под пыткой, добивать раненого врага и ценить жизнь товарища больше своей. У охранников был гимн со словами: «У каждой пули есть своя улыбка» и «Несу на блюде голову врага». Был флаг — чёрное поле, серебряное блюдо с отрубленной головой овна.

Михаил Соломонович мечтал когда-нибудь создать из охранного предприятия небольшую армию с броневиками, вертолётами и зенитными

комплексами.

Проститутки брали за образец олимпийские команды, где успех каждой возвышал остальных, и победа команды наделяла достоинством каждую из её членов. Михаил Соломонович внушал им, что их профессия царственная и каждая из них Клеопатра. И всякий, кто посмеет оскорбить честь проститутки, будет жестоко наказан. Эскорты, снаряжаемые Михаилом Соломоновичем, были экспедициями в неведомые страны, и каждую экспедицию он встречал и расспрашивал об обитателях этих стран. Так полнились его досье о состоятельных и влиятельных членах общества.

В бюро «Лад» явился модный дизайнер из крупной рекламной компании и заказал эскорт.

— Мы работаем дни и ночи. Рекламируем французские шампуни, итальянские пудры, испанские помады, китайские мази для кожи. Мы все ужасно устали. Я решил сделать моим дизайнерам подарок. Вы можете найти для нас что-нибудь сверхъестественное?

— Что в огне не горит? — любезно пошутил Михаил Соломонович.

— О, да! Что в огне не горит!

У дизайнера было безволосое липкое лицо. Он напоминал моллюск, у которого раскрывался маленький, как присоска, рот.

— Мои барышни знают толк в итальянских пудрах и испанских помадах. Они в огне не горят, потому что сами огонь.

Дизайнеры работали на подмосковной вилле в поселке Свиристелово. Там проходили их мозговые штурмы, творилась компьютерная графика, шелестели принтеры. Туда, на виллу, Михаил Соломонович провожал эскорт.

— Вам предстоит встреча с художниками, ценителями красоты. Не удивляйтесь их утончённым прихотям. Среди них может оказаться русский Дега, певец голубых балерин. Или Анри Тулуз-Лотрек, обожатель танцовщиц кабаре. Позируйте им. Ваши чудесные профили, очертания ваших грудей, плавный изгиб ваших бёдер могут оказаться на флаконе французского шампуня или коробке итальянской пудры. Будьте прекрасны, как ваша царственная покровительница Клеопатра.

Женщины внимали напутствию. Все были прекрасны. На их веках лежала пыльца, как на крыле изумрудной бабочки. Их босоножки не скрывали алого педикюра. Их губы были в разноцветной помаде, словно они вкушали фиолетовые, розовые, малиновые плоды. Особенно хороша была Матильда с рыжими, как медь, волосами и зелёными глазами морской дивы. Она влюблённо смотрела на Михаила Соломоновича, и тот помнил их мимолетную встречу, когда в полутёмной спальне она сдавала ему экзамен по окончании «Школы эротических таинств».

Перед отъездом в Свиристелово проститутки награждали Михаила Соломоновича воздушными поцелуями, а он по-отечески целовал их в лоб.

Утром в бюро «Лад», где спозаранку работал Михаил Соломонович, влетели стенающие проститутки. Их вид был ужасен. Все в копоти, ожогах, шелка обгорели, волосы пахли дымом. Босые, поддерживая на груди рваные платья, они голосили.

— Что с вами? На каком пожаре горели? Да по одной! Вот ты говори!

— Я, я не могу!.. Я, я боюсь!.. Матильдочка умерла!

— Да ну, говори же!

Рассказ был жуткий. Дизайнеры приняли проституток с восторгом. Вино, объятья. Дышала жаром сауна. Зеленел малахитом бассейн. Дизайнер, похожий на липкую мидию, возгласил:

— Мы устали от обыденной жизни. Не хватает новизны, фантазий, игры. Давайте играть в инквизицию. Исполним обряд сожжения ведьм. Были времена, когда над Европой стаями летали ведьмы. Они околдовывали королей, отравляли колодцы, превращали хлеб в камень, церковное вино в уксус. Христианская Европа обрядилась в сутаны, надвинула балахоны и повела на костёр колдуний. Так давайте же исполним этот европейский обряд!

Девушки восхитились. Все учились в «Школе эротических таинств», знали толк в любовных играх, были рады научиться ещё одной.

Дизайнеры обрядились в чёрные сутаны, подпоясались верёвками, надвинули балахоны. Повели девиц на поляну. А те изображали колдуний. Танцевали, кричали кто совой, кто кошкой, кто выл волчицей. На широкой поляне среди вековых дубов были врыты столбы. Мрачные капуцины подводили девушек к столбам, привязывали ремнями. Ведьмы, привязанные к столбам, продолжали насылать порчу, губить урожаи, лишать королей наследников, накликали чуму и оспу. Монахи сносили к столбам сухой хворост, обкладывали колдуний хвоей, берестой, давали каждой целовать крест. Колдуньи завывали, рявкали, мяукали.

Монах с лицом, похожим на липкое тесто, открывал чмокающий ротик:

— Вы как больные ветки плодоносящего древа жизни. Вы иссохли и не приносите плодов. Такие ветки обрубают и бросают в огонь!

В руках монаха появился смолистый факел. Монах шёл мимо столбов, совал факел в хворост, поджигал бересту. Костры запылали. В них кричали привязанные женщины, искры летели к вершинам дубов, а монахи с песнопениями подкидывали сучья в огонь. Обгорелые, опалённые девушки избавлялись от пут, с воплями убегали, и только Матильда кричала, и её рыжие волосы, охваченные рыжим огнём, отделялись от головы и летели к вершинам.

— Она умерла, умерла, наша Матильдочка! Она любила вас, Михаил Соломонович! Она из огня звала вас! — стенали проститутки, заполнившие кабинет.

Он вызвал бригаду врачей, и пострадавших женщин положили в больницу. Отправился к охранникам и приказал собираться на «реализацию». Так бойцы

спецназа отправляются на задание. Они действовали по методике израильских спецслужб. Сменили номера машин. Навинтили на пистолеты глушители. Напялили чулки с прорезями. Тремя машинами отправились на виллу в поселок Свиристелово мешать мужское семя с кровью.

Было солнечно. На поляне стояли обгорелые столбы, вокруг лежал тёплый пепел, в котором Михаил Соломонович нашёл золотую змейку, которую Матильда носила на груди. Дизайнеры, оглушённые кокаином, полуголые, лежали по комнатам, на веранде, при входе в баню. Тут же валялись чёрные балахоны. Дизайнер с лицом из липкого теста лежал на тахте. Его маленький рот выдувал пузырьки. Глаза были полуоткрыты, в них блестела слизь.

Охранники ходили по комнатам, шелестели выстрелами, убивали в лоб спящих дизайнеров. Командир по имени Вава следил, чтобы работа была безупречной. Иногда показывал, как следует держать пистолет, чтобы не забрызгало кровью. Михаил Соломонович приставил нож к сердцу дизайнера и ударил в торец рукоятки. Нож с хрустом пробил грудину и остановился в сердце. Дизайнер всхлипнул, подрыгал голой ногой и затих. Лемнер схватил стул и разбил о стену. Вогнал ножку стула в рот дизайнера и несколько раз провернул, видя, как сыплется из окровавленного рта гроздь зубов. Это не было местью за бесчеловечное обращение с проститутками и убийство Матильды. Это была расплата с недобросовестными пользователями услуг. Они взяли на прокат ценные изделия, привели их в негодность и поплатились. Эта расправа получила в народе имя «Свиристеловой бойни». Полиция искала убийц и не нашла.

Михаилу Соломоновичу было за сорок. Он походил на звезду немого кино. Чёрные с блеском волосы на косой пробор. Лунно-белое лицо. Углём проведенные брови. Огненные глаза. Сочные губы, иногда слишком яркие, в минуты волнения. Нос с римской горбинкой. Друзья, желая польстить, называли его лордом. Он окончил университет и был знатоком русской литературы. Владел английским и французским. Одевался изысканно. К тёмному дорогому костюму подбирал шёлковые итальянские галстуки, завязывая вольным узлом.

Именно такой малиновый шёлковый галстук, как бутон, расцветал под гибкими пальцами Михаила Соломоновича Лемнера. Он разглядывал своё отражение в высоком зеркале. Оно позволяло создавать безукоризненную гармонию туалета от галстука до блестящих туфель стиля «Оксфорд». Он был приглашён в Кремль к могущественному приближённому Президента Антону Ростиславовичу Светлову с кратким, как боевой позывной, прозвищем Светоч.

Светоч был когда-то личным охранником Президента Леонида Леонидович Троевидова, спас ему жизнь, заслонив своим телом от взрыва. Был изувечен, заслужил особую благодарность Президента, возглавил его личную охрану и исполнял тайные поручения, после которых бесследно исчезали оппозиционеры, строились в Дубае дворцы, склонялись на сторону России

африканские диктаторы. Михаил Соломонович не представлял, зачем понадобился Светочу, который едва ли знал о его существовании.

Он въехал в Кремль через Троицкие ворота. Машина вкусно прохрустела по брусчатке, и Михаил Соломонович вышел на Ивановской пощади, окружённый янтарными дворцами, сахарными соборами, серебром и золотом в сиянии летнего дня. Как всякий русский, Михаил Соломонович взволновался. Колокольня Ивана Великого царственно устремлялась ввысь, увенчанная главой, похожей на золотой глаз. Этот глаз колокольня не смыкала даже в самые хмурые московские дни, в самые тёмные русские годы. Колокольню опоясывала золотая, по чёрному, надпись. С самого детства Михаил Соломонович старался её прочитать и не мог. Надпись рябила, скользила бегущей строкой, менялась. Была строкой из сказки «Аленький цветочек», из речи Сталина на параде, из отречения царя Николая, из руководства по стрельбе из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Сейчас вокруг колокольни бежала золотая строка из сожжённой десятой главы Евгения Онегина: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Михаил Соломонович обнаружил в этом описании намёк на Президента Леонида Леонидовича Троевидова.

Янтарный дворец принял его в свои тяжёлые, с медными ручками, двери. Охрана пропустила его сквозь металлоискатель, способный реагировать на содержание железа в крови. Чуткий щуп прошелестел по его спине, ягодицам. Холодные голубые глаза охранника заглянули ему в зрачок, выуживая притаившийся злокозненный умысел. Тот же взгляд, стальной, беспощадный, был у охранников его частного предприятия, у которых под мышкой бугрилось оружие. Этот взгляд соединял в треугольник лоб посетителя, ствол пистолета и палец охранника.

Приёмная Светоча была просторная, с высоким окном. В окне круглились мятые золотые купола Успенского собора, похожие на воздушные шары с натянутыми стропами. Собор висел на воздушных шарах, покачивался, готовый улететь. За дубовой стойкой сидели две секретарши, одинаково красивые, перламутровые, похожие на речные, хорошо промытые раковины. Тихо шелестели телефоны, стрекотали клавиши. Михаил Соломонович втягивал воздух, желая уловить запах духов. Быть может, тех дорогих, приворотных, какими пользовались красавицы эскортов, отправляясь в заморские туры. Но пахло не духами, а чем-то лаковым, целлулоидным. Словно секретарши были пластмассовыми. Их можно раздеть и увидеть детали искусственного тела.

Михаил Соломонович терпеливо ждал, глядя, как медленно опадает стрелка настенных часов.

Дверь в кабинет (из коричневого дерева с дубовыми косяками) напоминала церковный киот. В такой — помещают икону, и она драгоценно цветёт. Дверь отворилась, и появилась женщина, внезапно, словно вышла из стены, яркая, в

голубом шёлковом платье, длинном и свободном, как сарафан. Словно её вынес ветер в колыхании голубого шёлка. Её лицо, удлиненное, с тонким носом и маленьким пунцовым ртом, сияло морским загаром. «Средиземноморским», — подумал Михаил Соломонович. Чёрные волосы отливали перламутром. Тёмные глаза, увидев Михаила Соломоновича, широко раскрылись, а потом сузились, и в их темноте появился янтарь. Михаил Соломонович повёл взгляд вниз, по волнистому шёлку. Платье почти касалось пола, виднелась туфля на высоком каблуке. Между туфлей и шёлком мелькнула лодыжка, чуткая, страстная, ослепила Михаила Соломоновича. Он жадно выхватил из-под шёлка этот пленительный образ, сберегая до вечера, когда, укладываясь в постель, вспомнит эту чудесную лодыжку и станет её целовать.

— Михаил Соломонович? Я Лана Веретенова. А правда ли, что у вас в доме висит подлинник Ван Гога «Пшеничное поле возле Оверна»? Проходите, Антон Ростиславович ждёт вас, — женщина пронесла у лица Михаила Соломоновича волну голубого шёлка, и он уловил и не хотел отпускать запах тёплого тела, горячего песка, душистого Средиземного моря.

Кабинет Светоча был просторен и пуст. Казалось, из него вывезли убранство, оставив самую необходимую казённую мебель. Несколько белых, цвета бильярдных шаров, телефонов, красная папка с бумагами, длинный стол заседаний с рядами стульев. Пустота кабинета предполагала появление в нём чего-то громоздкого и пугающего, быть может, гильотины. Снаружи в окно заглядывали мятые купола собора, как сумрачные лица с позолоченными лбами. Всё, что случалось в кабинете, проходило под присмотром этих сумрачных ликов. На голой стене висел портрет Президента Леонида Леонидовича Троевидова. Своим белым сдобным лицом, мягким безвольным ртом, кудрявыми бакенбардами он удивительно походил на императора Александра Первого, и Михаил Соломонович вспомнил пушкинскую строку на колокольне Ивана Великого.

Светоч встал, сбив воздетый к портрету взгляд Михаила Соломоновича. Так сбивают беспилотник.

— Рад видеть вас, Михаил Соломонович.

Вид Светоча был пугающим. Половина лица изуродована давним взрывом, пузырями ожогов, надрезами множества операций. Правая бровь отсутствовала, под выпуклой костью лба мерцал искусственный глаз из горного хрусталя. Говорили, что хрусталь взят из погребений древних ариев, обитавших в Аркаиме. Глаз переливался зелёным, розовым, синим. Другая половина лица сохранила волевую скулу с желваком, часть крепкого носа и жёсткого рта и серый холодный глаз. Глядя на это лицо, Михаил Соломонович подумал, что Светоч претерпевал преображение из чудища в человека, и это преображение было прервано, сотворение человека приостановлено.

Михаил Соломонович вспомнил сказку «Аленький цветочек». Там любовью совершается чудо, жуткий зверь превращается в принца. В случае Светоча сила любви вдруг иссякла и полного превращения не случилось.

— Садитесь, Михаил Соломонович. Вам чай, кофе?

— Если можно, кофе. Была бессонная ночь. Хочу взбодриться.

— Много работы? Ведь у вас под рукой стая волков и стадо овец. Для тех и других нужна собака. Как вам, Михаил Соломонович, удается быть одновременно и овчаркой, и волкодавом?

Сравнение с собакой могло обидеть Михаила Соломоновича, но злая издёвка обещала неформальное общение. Михаил Соломонович дорожил внезапным сближением с тем, перед кем трепетали министры и генералы. Общаясь со Светочем, он общался с самим Президентом. Его близкое присутствие подтверждал портрет, на котором хотелось дорисовать эполеты. Золотые головы за окном ударялись одна о другую, оставляя вмятины.

— Любое дело, большое или малое, однажды затеянное, требует постоянного улучшения и развития. Иначе оно зачахнет. Самолёт, поднятый в небо, должен стремиться вперёд. Если остановится, то упадёт. Государство — это большой самолёт, который должен стремиться вперёд. Если оно не развивается и останавливается, то падает и разрушается.

— Наша Россия, слава богу, не останавливается. У Президента есть помощники, которые не дают государству упасть и разбиться.

Хрустальный глаз Светоча моргнул, дрогнул зелёным и розовым. Михаилу Соломоновичу показалось, что из хрусталя излетает луч, как из лазерного прицела, а у него на переносице уже задрожало красное пятнышко.

— Мне доложили, что в вашу «Школу эротических таинств» приглашена наставницей мексиканская колдунья. Чему она может научить русских девушек? Впору ей самой поучиться.

— Она привезла рецепты дурманных цветов, растущих на склонах вулканов. Таких, например, как горный георгин. Мужчину, вкусившего настой мексиканского георгина, посещают галлюцинации. Ему чудится, что женское лоно превратилось в огромный пылающий зев, в огненную пещеру. Он погружается в эту пещеру с головой. Начинается его странствие. Он испытывает неслыханные наслаждения, переживает кошмары и ужасы. На него нападают злобные карлики и ядовитые пауки. Он умирает на дыбе и воскресает от поцелуя красавицы. Мужчина покидает пещеру и сразу ложится в психиатрическую лечебницу. Мы выяснили, что похожими свойствами обладает настой из русских лесных колокольчиков. Мы отпустили наставницу в Мексику и наладили у себя производство настоя.

Сказанное Михаилом Соломоновичем было дерзким преувеличением. Дерзость была замечена Светочем. Она могла разгневать его. Дерзость была ответом на злую издёвку Светоча, сравнившего Михаила Соломоновича с

собакой. Светоч был сильным человеком и оценил дерзость. Ценил силу в других. Михаил Соломонович обнаружил силу. Светоч, изведавший однажды силу взрыва, умел угадать силу в человеке. И имел дело лишь с теми, кто обладал силой.

— У меня к вам, Михаил Соломонович, есть предложение.

— Слушаю, Антон Ростиславович.

— Предложение деликатное и затрагивает государственные интересы.

— Каким образом мои скромные возможности могут коснуться государственных интересов?

Хрустальный прицел так метил в Михаила Соломоновича, будто Светоч сомневался: стоит ли продолжать разговор? Не лучше ли его прервать, направив в переносицу Михаила Соломоновича раскалённый лазерный луч.

— Мне нужна женщина, окончившая «Школу эротических таинств».

— Вам, Антон Ростиславович? Вам нужна развратница, способная превратить вас в животное?

— Не меня, — оборвал Светоч. — Эта женщина должна очаровать и увлечь за собой важную персону, занимающую влиятельный пост в государстве. Женщина должна увести персону в специально подготовленные апартаменты с видеокамерами. Она должна превратить персону в животное. Камеры зафиксируют это превращение. Вы передадите запись мне.

Михаил Соломонович торопился в отпущенную секунду уразуметь, что сулит ему это предложение. Не сулит ли гибель, как свидетелю преступления, которого устраняют преступники? Или его ожидает невероятный взлёт, рывок в восхитительную неизвестность, куда устремляет его таинственное влечение?

— Ваш ответ, Михаил Соломонович?

— Превращение человека в животное требует немалых усилий. Но ещё больших требует обратное превращение животного в человека. Человек обращается охотно и быстро, а возвращает себе людской вид медленно и неохотно. Это похоже на быстрое погружение водолаза и медленное всплытие. Чтобы тот не умер от кессонной болезни.

— Итак?

— У меня есть такая женщина, Антон Ростиславович. Когда она понадобится?

— Завтра состоится закрытый раут в Доме приёмов Министерства иностранных дел. Там окажется означенная персона. Женщина будет допущена на приём. Они познакомятся, и эскортница, забрав жертву, поедет с ним в квартиру на Патриарших прудах. Там уже установлены камеры.

— Можно узнать, Антон Ростиславович, почему вы обратились ко мне? Ведь у службы безопасности есть подобные женщины, натасканные на влиятельных иностранцев.

— Дело слишком деликатное, чтобы поручать его службе безопасности. Инициатива исходит от меня лично. А значит, от государства.

— Можно узнать имя персоны?

— Анатолий Ефремович Чулаки.

Это имя прозвучало, как треск расшибаемого в щепы полена. Чулаки олицетворял государство. Из рыжих веснушек на его надменном лице, как из семени неведомых сорняков, произросло Государство Российское. Его крепкие властные руки закрывали заводы, пускали на переплав крейсеры и подводные лодки, подписывали дарственные, делавшие миллиардерами мелких торговцев, спалили дотла парламент, пожимали холёные, в перстнях, длани европейских аристократов, открывали без стука двери масонских лож, усадили Леонида Леонидовича Троевидова в президентское кресло. Анатолий Ефремович Чулаки был приближен к Президенту так тесно, что казалось: Президент повторяет его высказывания, подражает жестам.

Весной на белых пухлых щеках Президента высыпали рыжие веснушки, как марципаны на вкусных булочках. И теперь Светоч готовился устранить Чулаки, а это значит, что в глубинах власти побежали трещины, государство ожидают трясения, от которых упадёт и разобьётся посуда во многих буфетах мира. Михаил Соломонович становился причастным к этим будущим потрясениям. Но это не пугало его, а пьянило. Его вовлекали в русскую свистопляску, в которой еврею всегда отыщется место.

— Вам показать женщину, Антон Ростиславович?

— Нет, нет. Принесите видеозапись.

— Могу я сопровождать женщину в Дом приёмов, чтобы контролировать её действия?

— Разумеется.

Уже прощаясь, Михаил Соломонович вспомнил Лану Веретенову в синем платье, возникшую в дверях кабинета и похожую на ожившую в киоте икону. И отдельно вспомнил сверкнувшую из шелков её ослепительную лодыжку.

Глава вторая

Женщиной, которую Михаил Соломонович предлагал в услужение Светочу, была проститутка Алла, носившая псевдоним «Мерлин». Она и впрямь походила на Мерлин Монро, когда белокурая синеглазая красавица пугливо схватила подол уносимого ветром платья, и влюбчивый президент Кеннеди полюбил её безоглядно. Снайперская пуля, разорвавшая сердце президента, пробила медальон с портретом красавицы.

Проститутка Алла имела чудесное целомудренное лицо тургеневской барышни, пленявшее немолодых развратных миллионеров. На её белой нежной коже несмело проступал румянец, как тихое свечение наливного яблока. Такое — хочешь сорвать и надкусить, изведав душистую сладость. Её пшеничные волосы были уложены так, что каждый волосок казался крохотной струйкой света. Синие глаза радостно изумлялись и счастливо смеялись, когда к ней тянулась корявая, с жёлтоватыми ногтями рука старика, его бесцветные пепельные губы. Она одевалась в лучших бутиках, умела ставить ногу на высоком каблуке так, что волна бежала по её чудесному телу, колыхала грудь, плечи и замирала на шее у подбородка с пленительной ямочкой. Духи, которыми она пользовалась, были то горькие и печальные, то сладкие и пряные. Их запах был то едва уловим, как дуновение пролетевшего над цветком ветерка, то подобен удушающему аромату тропического сада, от которого мужчина пьянеет и бессильно замирает, как бронзовый жук на белом соцветии.

Алла была изделием Михаила Соломоновича, как драгоценная чаша является изделием стеклодува. Он разглядел её среди голодных провинциальных девушек, выходящих из вагонов на московских вокзалах, нелепых, немытых, нечёсаных, одетых в жёлтое, красное, синее, как попугаи. Их тут же расхватывали сутенёры, водили по московским дворам, куда ночами подкатывали тяжеловесные иномарки, и накаченные братки в свете фар расхаживали среди голоногих дев, заглядывали им в рот, щупали грудь, охлопывали по бёдрам и ягодицам. Грузили всем скопом в машину и увозили в ночные бани, оставляя в опустелых, пропахших мочою дворах одну или двух замарашек.

Михаил Соломонович отловил Аллу в одном из таких дворов, как отлавливают породистую, запаршивевшую кошку. Отмыл, приодел, пропустил через салон, стал включать в третьестепенные эскорты. Осторожно дрессировал, наблюдая растущий спрос на неё у состоятельных клиентов. Пошёл на немалые траты. Обучил хорошим манерам, уменью владеть столовыми приборами. Избавил от провинциального говорка, дал несколько уроков английского. Определил в «Школу эротических таинств», где её обучали немецкие мастерицы

истязаний, тайские искусницы смертельных ласк, хакасские колдуньи, учивших воплям тростниковой кошки, вою марала, клёкоту разгневанной орлицы. И скоро к воротам роскошной загородной виллы подкатывала дорогая машина, из неё вставала бесподобная Мерлин в норковой шубке, с чарующей улыбкой проплывала мимо охраны в великолепные чертоги хозяина, затворялась в них, и охранники с изумлением слышали из опочивальни хозяина крик тростниковой кошки, жаркий рёв марала, клёкот терзающей добычу орлицы.

Как стеклодув, сотворивший чудесную чашу, подносит её к устам, вкушая сладкий напиток, так Михаил Соломонович услаждался красотой Аллы, влюблялся в её прелестную и порочную женственность. Она угадывала притаившиеся в нём побуждения, извлекала из глубин его сумеречные мечтания, и он поражался богатству переживаний, которые, если бы не она, так и остались запечатанными в тёмных глубинах его естества. Должно быть, так фокусник раскрывает чёрный сундук, и из него вылетает множество сказочных птиц, ошеломляя волшебным опереньем.

Этой влюблённости не мешали её походы в одиночку или в составе эскортов. Она возвращалась утомлённая, иногда с синеватыми отпечатками чужих пальцев. И он, обнимая её тёплую талию, воображал, сколько мужчин недавно касалось её чудесной кожи.

Свои отношения с Аллой Михаил Соломонович превратил в забавный театр, где они играли роли жены и мужа. Эта игра веселила обоих, но иногда ему казалось, что он может заиграться.

Теперь, вернувшись из Кремля в свою фешенебельную квартиру у Хамовников, он ждал к себе Аллу. Для одинокого мужчины, редко бывавшего дома, квартира была избыточно велика, с излишком комнат и ванн. Прислуга поддерживала безупречную чистоту. На столе в гостиной стоял в стеклянной вазе букет алых роз. Солнце дрожало в вазе, розы чуть слышно пахли оранжереей. У дивана на полу лежала пятнистая шкура жирафа с разбросанными ногами и плоской шеей, над которой возвышалась маленькая голова с трогательными рожками.

В кабинете стол был пуст, за ним редко работали. В застеклённом книжном шкафу полки были наполовину пусты. В спальной на просторной кровати поверх покрывала лежали персидские ковровые подушки с чёрно-красным узором. Над кроватью в раме висел масляный холст. Рыжее пшеничное поле, бирюза реки, далёкая деревня в тучных садах. Михаил Соломонович купил холст в Париже на развале. Московские друзья утверждали, что это Ван Гог, даже дали пейзажу название: «Пшеничное поле возле Оверна». И было странно, что незнакомая женщина в синих шелках Лана Веретенова знает о существовании холста, знакома с его названием.

Михаил Соломонович в прихожей сменил деловой костюм на домашнюю блузу. Два раза пальцами скользнул по вискам, поправляя прическу. Повесил

малиновый галстук в платяной шкаф рядом со множеством других галстуков, разноцветных, как крылья бабочек. Стал ждать Аллу, размышляя о недавнем предложении Светоча. Ему не открывалась тайна замысла, но было ясно, что предстоял взлёт судьбы. На его ладони была намечена ещё одна линия. Он стал рассматривать свою широкую, хорошо промытую ладонь, желая обнаружить среди привычных линий ещё одну.

Алла сбросила у порога туфли, босиком пробежала по гостиной, встала на шкуру жирафа и, приставив к темени пальцы, смешно изобразила рожки. Её полупрозрачное платье взвилось, обнажая колени, и она, ловя подол, повторила бессмертный жест Мерлин Монро, за который её полюбил Кеннеди.

— Муженёк, соскучился по своей Аллочке? А уж я как соскучилась! Знаешь, кого встретила? Нину Поленову! Ну ту, у которой глаза зелёные, и ты говорил, что боишься русалок, потому что они щекотят?

— Это та, что вышла замуж за чешского посла и уехала в Прагу? Говорят, его нашли в ванной, он умер от щекотки.

— Почему ты не любишь моих подруг? Я люблю всех твоих друзей, с которыми ты меня знакомишь. Даже этого Муэляна, профессора права. Он говорит так нудно, что в его присутствии вянут цветы. Ах, какие дивные розы в вазе! Совсем как те, что ты подарил мне в Ницце!

— Это было во вторую годовщину нашей свадьбы. К причалу подошёл американский лайнер «Колумбия», и ты сказала: «Он огромный, как город».

Михаил Соломонович наслаждался импровизацией. Не было никакой Нины Поленовой, чешского посла, умершего от щекотки. Не было профессора Муэляна, Ниццы и лайнера «Колумбия». Был домашний театр, в котором они играли роли и оба тешились игрой.

— Ну, а как себя чувствует наш маленький Николя? — Михаил Соломонович обнял Аллу за талию и подумал, сколько сладострастников обнимало её. — Ему не скучно у бабушки? Не обижайся, жёнушка, но твоя мать замучила Коленьку уроками французского. Дети хотят прыгать, кричать, драться. Не отдать ли его в детскую боксёрскую секцию?

— Не говори глупости! В прошлый раз ты учил его своим зверским приёмам. Ко мне приходила соседка. Жаловалась, что наш Коленька поколотил её Федю. Отдадим его лучше в шахматную секцию.

— Одно другому не мешает. Анатолий Карпов дал шахматной доской по башке Гарри Каспарову, так что тот сдался.

— И как это называется?

— Принуждение к миру.

Не было сына Коленьки и соседского Феди. Анатолий Карпов не бил по голове Гарри Каспарова. Всё было выдумкой, весёлой игрой. Но Михаил Соломонович заметил, как блеснули слёзы в бирюзовых глазах Аллы, когда она говорила о несуществующем сыне.

— Я хочу подарить Николя саксофон. Когда-нибудь он сыграет нам блюз, под который мы танцевали с тобой на открытой веранде в Сан-Диего. Саксофонист был чёрный, в красной блузе. Подушечки пальцев, бегавших по кнопкам, были белые. Саксофон струился в его руках, как таинственное морское животное. Мы состаримся, будем сидеть в плетёных креслах, а наш взрослый сын будет играть нам блюз.

— Да, да, так и будет, — Алла тихо плакала. Михаила Соломоновича волновали её слезы. Он осторожно стянул с её плеча платье и поцеловал тёплое вздрагивающее плечо.

Они стояли в душе, и текущая вода делала их стеклянными. Её пшеничные волосы намокли, стали, как тёмное золото. По губам бежала вода, и он целовал эту розовую бегущую воду. Она подняла ногу и перенесла через край ванны, и он любовался плавным движением её ноги. В спальне он сбросил на пол персидские ковровые подушки и уложил её, мокрую, на покрывало.

— Жёнушка моя драгоценная!

Они лежали без сил, не касаясь друг друга. Он видел сквозь открытую дверь в гостиной букет роз. Солнце играло в стеклянной вазе. Михаил Соломонович испытывал блаженное забытьё. В его сознание упал огненный метеорит, выплеснул все мысли и чувства, и обнажилось дно с таинственными существами, никогда не всплывавшими на поверхность. Михаил Соломонович рассматривал их, как рассматривают на высохшем дне диковинные раковины.

— Михаил Соломонович, хочу вам сказать, — Алла коснулась его. Он не ответил. В его руках была перламутровая раковина, свёрнутая в спираль. Хотелось разглядеть, есть ли внутри жемчужина, успеть, пока расплесканные воды не вернулись и не скрыли диковинных обитателей дна.

— Михаил Соломонович, хочу сказать.

— Говори, — раковина выпала из рук, вода возвращалась. Диковинные сущности скрывались в глубинах сознания.

— Я собираюсь уйти. Мне невыносима эта работа. Я смертельно устала. Мне отвратительны эти извращенцы, которым вы меня отдаёте. Ещё немного, и я удушу кого-нибудь из этих павианов.

— Куда ты хочешь уйти?

— Не знаю. Сначала просто уйду. Уеду, скроюсь в каком-нибудь захолустье, где меня не найти. Отмоюсь, отдышусь. Быть может, пойду послушницей в монастырь, отмаливать свои грехи. А потом устроюсь на скромную работу. Выйду замуж за простого доброго человека, пусть будет школьный учитель, или шофёр, или электротехник. Рожу сына и назову его Коля. Устроюсь на работу хоть воспитательницей в детском саду, или продавщицей, или буду разводить цветочки и продавать. Отпустите меня, Михаил Соломонович!

— Я тебя не держу. Ты свободная женщина. Но подумай, сможешь ли ты жить в захолустном городке, рядом с шофёром, продавая в магазинчике лежалую

колбасу и просроченные йогурты? У тебя дорогая машина, великолепные туалеты, бриллиантовые серьги, меха. Ты садишься на самолёт в бизнес-класс и оказываешься во дворце на Персидском заливе. Или на вилле у швейцарского озера Камо. Да, тебя окружают павианы. Но павианы в генеральских погонах, в министерских чинах, с банковскими счетами в миллионы долларов. Тебе очень скоро наскучит твой шофёр и твой прилавок.

— Я понимаю, Михаил Соломонович, вы много для меня сделали. Кем я была? Провинциальной дурочкой, мечтавшей стать киноактрисой. Приехала в Москву поступать в театральный. Вы отыскали меня, превратили в светскую даму, озолотили, закутали в меха. Я знаю английский язык. Могу сыграть великосветскую львицу, или разведчицу, или богатую вдову. Но, Михаил Соломонович, я хочу быть просто женщиной. Иметь семью, детей. У меня ещё есть для этого силы и время. Отпустите меня.

— Ты не можешь так просто уйти. Я слишком много вложил в тебя. Ты моя гордость, мое богатство. У нас общее дело, и в этом деле у меня львиная доля.

— Я всё равно уйду! Берите мою машину, квартиру, меха, бриллианты! Всё ваше! Пусть голая, но ухожу!

— Как раз голая ты мне и нужна.

— Уйду! Сейчас поднимусь и уйду! Сменю имя, изуродую лицо! Лишь бы не быть с вами!

— Я тебя найду в твоём захолустном городке. Пусть в детском саду узнают, кем была их воспитательница. Пусть добрый шофёр узнает, какая верная целомудренная ему досталась жена. Пусть в местной газетёнке появится фотография, где ты, голая, танцуешь в замке кавказского сенатора.

— Ненавижу! Ненавижу! — Алла замахнулась на него, но он перехватил её руку, сжал запястье.

— Больно! Отпусти!

Он сжал сильнее.

— Отпусти, больно же! Тебе говорю!

Он сжал что есть силы.

Она закричала. Стала визжать, ругаться. Её сквернословие было ужасно. Грязные слова выпрыгивали из неё. Они были в ней всегда. Она училась им в грязных подворотнях. Училась им во время пьяных драк и мерзких насилий. Михаил Соломонович слушал с наслаждением. Отпустил её руку. Его лицо стало белым. Чёрные глаза под угольными бровями горели. Губы стали ярко-красные. Лицо превратилось в намалёванную театральную маску. Алла кричала, била его. А он целовал её, выдыхая:

— Ещё! Ну, ещё!

Оттолкнул от себя. Она бурно дышала. Он видел, как дрожат её рёбра.

— Слушай меня, Мерлин. Сейчас я скажу нечто важное. То, что ты сделаешь, будет не работой. Будет служением.

Алла молчала. Рёбра продолжали дрожать, но дыхание стало тише. Она услышала в голосе Михаила Соломоновича стальной беспощадный звук, какой издаёт пистолет, направляя патрон в канал ствола. Михаил Соломонович иногда доставал из-под мышки пистолет, передёргивал затвор, и Алла знала этот звук отполированной стали.

— Что я должна?

— Завтра ты совершишь поступок, который может изменить судьбу государства.

— Что я могу?

— Иногда одна проститутка может больше, чем воздушная армия.

— Я не воздушная армия.

— Завтра ты наденешь вечернее платье, то, тёмно-зелёное, с вырезом на спине, чтобы были видны играющие лопатки и желобок, уходящий к копчику. Пусть твои волосы будут, как пшеничное поле, но не возле Оверна, а возле рязанского села Константиново, где родился Есенин. Тебя отвезут на приём. Там сойдутся дипломаты, финансисты, разведчики. Ты представишься актрисой театра Вахтангова, и тебя подведут к господину по имени Анатолий Ефремович Чулаки. Ты уедешь с ним на квартиру у Патриарших прудов, проведёшь ночь. Превратишь его в животное, а потом вернёшь ему человеческий облик. И так много раз, пока он не покроется шерстью. Когда он, обросший шерстью, забыв одеться, сядет в правительственную машину с мигалкой, можешь принять душ. Ты меня поняла, Мерлин?

— Да, — чуть слышно ответила Алла.

— Я буду на приёме и стану за тобой наблюдать.

— Да, — покорно сказала она.

Михаилу Соломоновичу стало жалко её. Он устыдился своего холодного бессердечия. Ему захотелось сказать ей что-нибудь радушное, нежное.

— Жёнушка моя ненаглядная. Мы с тобой венчались в храме Успенья у Никитских ворот. Там венчались Пушкин и Натали. Но тогда мы не обменялись обручальными кольцами. Теперь хочу обменяться. Но сделаем это так, чтобы запомнилось на всю жизнь.

— Как?

— Мы поедем на Северный полюс. Там земля соединяется с Космосом. Поставим на льдине свадебный стол, вазу с букетом алых роз. Я надену золотое кольцо на твой чудесный палец, а ты наденешь на мой. И пусть Космос будет свидетель этого таинства. И Вселенная возрадуется нашей любви. Поедешь на Северный полюс?

— Поеду, мой муженёк. Пусть льдина будет ослепительно белой, розы ослепительно красные, кольца блестят под негасимым полярным солнцем, и в нашей с тобой жизни будет вечный день!

Глава третья

Дом приёмов располагался в особняке с готическими окнами, напоминал маленький средневековый замок, утопавший в садах. В жарких московских сумерках к стрельчатым воротам подкатывали сверкающие автомобили. Из них поднимались дипломаты в чёрных пиджаках, офицеры и генералы в мундирах, сановники с торжественными лицами. Исчезали в чугунных воротах. Стражи перекликались по маленьким чутким рациям.

Михаил Соломонович назвал свою фамилию, внимательный привратник отыскал его в списке, и Михаил Соломонович был пропущен в ворота.

Приём проходил на воздухе в саду. Пахло розами. Фонари светили сквозь листву. Вокруг фонарей летали ночные белые бабочки. Казалось, близко за деревьями скрывается море с лунной дорожкой. Гости с бокалами шампанского расхаживали по саду. Бабочки, то одна, то другая, покидали фонарь и слетали к гостям, садились на чёрные пиджаки, золотые погоны, сияющие седины и лысины.

Михаил Соломонович, сжимая хрупкую ножку бокала, двигался среди гостей, раскланивался, обменивался улыбками и рукопожатиями, как если бы встречал знакомых. Ибо здесь все были знакомы или делали вид. Каждый пребывал в движении, совершал по саду эллипсы и круги. Поклон, две-три фразы, любезность, шутка, и снова круговое движение, где все хоть на мгновение касались друг друга. Шло опыление, пестики встречались с тычинками, рождались завязи, и плод мог обнаружить себя в международном скандале, в громкой отставке, в неожиданном назначении или в банкротстве известного банка.

Михаил Соломонович чувствовал, что в этих касаниях сталкивается множество дипломатических интриг, разведывательных комбинаций, финансовых схем, аппаратных ухищрений. И он уже помещён в одну из этих интриг. Его осыпала клейкая пыльца, и он несёт в себе завязь.

— Боже мой! Как я рад встрече! Нам нужно чаще видеться! — на него наскочил полный господин с шустрыми глазами, чокнулся шампанским. — Как поживает Роман Андреевич?

— Прекрасно. По-прежнему бодр, предприимчив, — Михаил Соломонович не стал разочаровать господина признанием, что тот обознался.

— Роман Андреевич находка для департамента! — господин ещё раз чокнулся и устремился к проходящему генералу.

Михаил Соломонович раскланялся ещё с одним гостем. Лысый костлявый, череп с жёлтоватыми пятнами, запавшие больные глаза, тощий кадык, под которым изящно чернел бархатный галстук-бабочка.

— Вы прекрасно играли в последнем спектакле, — произнёс господин. — Я хотел было пройти за кулисы, но не решился помешать вашему триумфу.

— Напрасно. Я очень дорожу вашим мнением. У нас мало истинных театралов, — господин удалился, а Михаил Соломонович так и не вспомнил, в каком театре и на каком спектакле случилась их встреча.

Все умолкли, перестали чокаться, обратились к особняку, откуда выходили министр иностранных дел Клёнов и его африканский коллега министр Центрально-африканской Республики Мкомбо. Министр Клёнов был очень худ, сутул. Тяжёлая голова слабо держалась на длинной шее. Руки жестикулировали порой невпопад словам, и тогда министр умолкал, приводя в соответствие слова и жесты. Он был похож на богомола. Его длинные конечности, смуглое лицо с ослепительными вставными зубами внушали симпатию.

Африканский министр Мкомбо был молод. Круглое лицо, большие мягкие губы, яркие белки и розовый язык, который вдруг появлялся, когда министр смеялся. На его щеке виднелся длинный шрам. Михаил Соломонович знал, что в африканских племенах такие надрезы делаются заточенными кромками морской раковины, когда юноша проходит инициацию. Министр Клёнов и его африканский гость встали под фонарём, светившем в зелени дерева. Из листвы выпала бабочка, присела на щёку африканца, белая на бархатно-чёрном, и министр бережно смахнул её тонкими пальцами. Остальные гости не приближались, не смея помешать их беседе.

Под деревьями появился виолончелист. Заиграла музыка, лёгкая, летучая, какая звучала на венских балах. И под эту музыку в кругу гостей появился Анатолий Ефремович Чулаки.

Михаил Соломонович впервые мог близко созерцать это надменное, с приподнятым подбородком лицо, крепкий, с большими ноздрями, нос, розовый двойной подбородок, рыжие, небрежно подстриженные волосы и множество мелких красноватых веснушек, похожих на сыпь. Чулаки остановился, сюртуки и мундиры потянулись к нему. Чулаки холодно кланялся, пожимал руки. Не принял от официанта шампанское. Отстранил почитателей и прошёл к фонарю, под которым беседовали два министра. Прервал их разговор, и было видно, как в ответ на его приветствие заулыбался африканец, замелькал его розовый язык.

Михаил Соломонович чувствовал исходящую от Чулаки железную силу. Эта сила гнула в поклонах спины, оставляла вмятины в репутации, громила оппозицию, воздвигала новых лидеров. Эта железная сила привела к власти Президента Троевидова, она спалила мятежный Дворец Советов, передавала русские нефть и газ английским и американским компаниям, пускала американскую разведку в русские секретные центры.

И теперь этому всесильному повелителю грозила напасть. Михаил Соломонович готовил эту напасть. Затея была смертельно опасной. Ещё не поздно достать телефон и остановить Аллу, а самому незаметно ускользнуть и

остаток вечера провести в баре «Комильфо», где собираются художники и актёры. Попивая любимый «Мартини», выслушивать дурацкие шуточки.

Оба министра вышли из-под фонаря и отправились в особняк. Белые бабочки летели за ними, стараясь присесть на бархатистую щеку африканца, словно из пор его чёрной кожи выделялся душистый нектар.

Чулаки окружили гости, и он уделял каждому полминуты, а потом отдалял, открывая доступ другому, пока не уединился с седовласым гостем, похожим, как подумал Михаил Соломонович, на лорда.

Михаил Соломонович беседовал с господином, который представился профессором Института стран Азии и Африки. Михаил Соломонович назвался артистом Вахтанговского театра, и собеседник вспомнил спектакли, где видел Михаила Соломоновича.

— Коммунисты шли в Африку с Марксом и автоматом Калашникова. С чем пойдём мы? Россия должна найти свой подход, понятный африканцам, — рассуждал собеседник.

— Мы пойдём в Африку с Пушкиным, — Михаил Соломонович приподнял бокал, будто произносил тост. — Пушкин — африканец. Африка подарила нам Пушкина. Тот создал язык, которым Господь Бог говорит с русским народом. Теперь Россия возвращает Пушкина африканцам. Пушкин несёт им «русскую идею» вместе с громом тамтамов, которые гудели в крови поэта.

— Как вы сказали? — изумлённо воскликнул профессор. — Тамтамы в крови Пушкина? Над этим надо подумать! В этом есть глубокий смысл!

Михаил Соломонович, продолжая пояснять свою мысль, медленно приближался к Чулаки, увлекая за собой профессора. Когда тот, насыщенный фантазиями о тамтамах, удалился, Михаил Соломонович оказался так близко к Чулаки, что мог слышать его разговор с седовласым лордом. Разговор вёлся на английском. Михаил Соломонович, зная английский, мог понимать разговор.

— Вы, Анатолий, полагаете, что всё так серьезно? Вы действительно считаете, что Россия удаляется от Запада?

— Вам на Западе видна витрина России. Я создавал эту витрину, надеясь, что она прорастёт вглубь и станет сущностью новой европейской России. Но я просчитался. В Русской истории существует грибница, которую не в силах вырвать любые реформы. Грибница на время замирает, но потом оживает, и на ней вырастает очередной имперский гриб. Президент Троевидов собирает вокруг себя сторонников имперской России. Они ему кружат голову. Мне всё труднее оказывать на него влияние. Мои единомышленники подвергаются давлению. Не исключаю, что в ближайшее время Россию ждут перемены.

Чулаки заметил стоящего рядом Михаила Соломоновича и недовольно отошёл, увлекая седовласого лорда.

Михаил Соломонович старался угадать: кто эти люди, что выращивают имперский гриб? Какое давление испытывает всесильный Чулаки и его

единомышленники. Как ломтик подслушанного разговора связан с секретной операцией, в которую вовлечён Михаил Соломонович. И не перетрут ли его в щепотку муки жернова, которые скоро закрутятся на вековечной русской мельнице.

Он испытал панику. Извлёк телефон, собираясь остановить Аллу, запретить ей появляться на приёме. Но она уже появилась.

Единственная женщина среди мужчин, она своим появлением обожгла их всех. В тёмно-зелёном вечернем платье она казалась ослепительной. Бирюзовые глаза смотрели с наивным восхищением, словно она была счастлива видеть этих дипломатов, офицеров, сановников. Её молодые розовые губы чудесно улыбались, и эта улыбка была для всех, и каждый считал эту улыбку своей, и каждый, награждённый этой улыбкой, хотел к ней приблизиться. На спине платье распадалось, и в длинном вырезе играли лопатки. В желобке, пробегавшем вниз от лопаток, лилась струйка света. Струйка бежала и скрывалась в глубине выреза. Алла медленно шествовала, драгоценная струйка переливалась. Все, мимо кого она проходила, заворожённо смотрели на струйку, на играющие лопатки, на пшенично-золотые волосы, не скрывавшие чудесную шею.

— Кто это, вы не знаете? — с волнением спросил Михаила Соломоновича молодой генерал, чей мундир украшало множество орденских колодок, свидетельство множества подвигов, которые совершил генерал.

— Ну, как же! Это артистка Елена Протасова, из Вахтанговского театра. Она играет главную роль в «Принцессе Турандот».

— Действительно, принцесса! — сказал генерал.

Алла выступала, словно была на подиуме, медленно, плавно, одаривая улыбкой, небрежными поклонами. Позволяла любоваться собой, любить себя, окружённая обожателями, которые преданно следовали за ней. Она вела их под фонарями по таинственным эллипсам и кругам, и ночные бабочки сыпались сверху, садились на её золотые волосы и белые плечи.

Михаил Соломонович восхищался ей, зная, что ему принадлежат эти розовые губы, белые плечи. Он незримо управляет плавными движениями её ног, поклонами, поворотами прекрасной головы на белоснежной шее. Так управляют беспилотной моделью, пуская по эллипсам и кругам, ввергая в эти круги опьянённых зрителей — дипломатов, генералов, разведчиков. Михаил Соломонович был в возбуждении, какое испытывает режиссёр во время премьеры. Ему принадлежат сцена, актёры, зрители, музыка, мерцание люстры, позолота лож и чудесный взмах пленительной женской руки.

Алла прошла в стороне от Чулаки, повернулась к нему спиной, чтобы тот увидел волшебную струйку света, стекающую вниз по ложбинке. Алла удалилась, и Чулаки последовал за ней, минуя других гостей, так, чтобы была

видна волшебная струйка на голой спине, исчезающая среди тёмно-зелёного шёлка.

Алла не оборачивалась, пила шампанское, любезничала с африканским послом, играла лопатками. Чулаки следовал за ней. Она видела, что он преследует её. Смеялась, запрокидывая голову, так что волосы ложились на плечи. Её лопатки дрожали от смеха, перламутровая струйка бежала по спине.

Михаил Соломонович увидел, как Чулаки подошёл к Алле, поклонился, поцеловал руку. Она милостиво задержала свою ладонь в его обожающих пальцах. Михаил Соломонович успокоился. Он вывел управляемую модель к цели и мог отключить управление, перевести модель в автономный полёт. Он ещё следил за ними, вступал в мимолётные беседы с гостями. Гостей становилось меньше. За воротами голос в мегафон подзывал машины. Михаил Соломонович видел, как Алла и Чулаки исчезли в воротах, сверкающий автомобиль мелькнул в стрельчатой арке и скрылся.

Михаил Соломонович, завершив «операцию внедрения», собирался покинуть Дом приёмов, чтобы завтра утром посетить конспиративную квартиру на Патриарших прудах и извлечь потаённую запись. Он действовал, как секретный агент секретного центра, и был преисполнен служения. Уже уходил, когда из тенистых деревьев в свет фонаря вышла женщина. Полыхнуло её ярко-малиновое шёлковое платье, блеснула улыбка:

— Михаил Соломонович, уже уходите? — то была Лана Веретенова, её удлиненное, с тонким носом лицо, маленький пунцовый рот, тёмные глаза, которые, увидев Михаила Соломоновича, стали огромными и тут же сощурились, полные льющегося из деревьев изумруда.

— Лана? Вы? — Михаил Соломонович повёл взгляд от её обнажённого плеча к подолу шёлкового вечернего платья. Но оно легло волной, скрыв туфлю и лодыжку, и счастливого ослепления не случилось. — Как вы здесь оказались?

— Меня пригласил министр Клёнов. Иногда я его консультирую.

— Вы специалист по Африке?

— А также по Азии, Европе и Латинской Америке. Как, впрочем, и вы, Михаил Соломонович.

— Ну что я знаю о мире? Скромный московский предприниматель.

— И ходите на рауты в резиденцию министра иностранных дел? Вы приглашаете в свою «Школу эротических таинств» колдунью из Мексики, врачевательницу из Таиланда, собирательницу пьянящих трав из Мозамбика. «Школа эротических таинств» — департамент Министерства иностранных дел?

— Скорее, Министерство — мой департамент! — Михаил Соломонович засмеялся. Ощутил опасность, исходящую от красавицы с колдовскими глазами, способными пугающе расширяться, как у ясновидящей. Смуглая, с чёрными волосами, в малиновом платье, она была ворожея. Такие ворожеи водились в

античных городах Средиземного моря и гадали на раковинах и акульих зубах. Она была опасна.

— Вы водите знакомство с могущественными людьми, такими, как министр Клёнов и Антон Ростиславович Светлов. Это приближённые Президента. Может быть, вы вхожи к Президенту?

— «Вхожа» — громко сказано. Но несколько раз я у него была.

— Чем же вы полезны Президенту и его сподвижникам?

— Я гадалка. Предсказываю будущее. Даю советы. Помогаю принять верное решение. При дворах всегда были гадалки. Они были у Николая Второго, у Ленина, Сталина, у Ельцина. Леонид Леонидович Троевидов — не исключение.

— Все важнейшие государственные решения принимаются после консультации с вами?

— Полагаю, что некоторые. Сначала я угадываю последствия принимаемого решения, а потом его утверждают органы власти. От некоторых решений я предостерегаю. На других настаиваю.

— Выходит, вы своими советами определяете политику государства и ход самой истории?

— Вы проницательны, Михаил Соломонович. Историю творят гадалки при дворах императоров и вождей. Существует Всемирный совет гадалок. Мы собираемся со всего света на островке в Саргассовом море и вырабатываем Образ Будущего, рассылая его Президентам земного шара.

Лана смотрела на изумлённого Михаила Соломоновича, глаза её стали огромными, а потом сузились, и в них отразилась шёлковая белизна пролетевшей ночной бабочки.

Михаил Соломонович и Лана смеялись. Михаил Соломонович почти поверил ей и теперь смеялся вместе с Ланой. видя, как на её удлинённом средиземноморском лице переливается свет фонаря.

— На чём же вы гадаете?

— На картах, на тучах, на зерне, на морозном узоре, на скрипах калитки, на лунной тени, на крике совы, на шелках, на холстах, на пяльцах, на кольцах, на лягушачьих лапках, на мышиных хвостах, на ромашках, на розах, на каменных львах, на церковных куполах, на водорослях, на раковинах, на ветре, на течении, на заморозках, на присказках, на притолоках.

— На половицах, на горшках, на ухватах.

— На ступах, на мётлах, на курьих ножках.

— На козьих рожках, на ложках и сороконожках.

— На ночных белых бабочках, которые садятся на головы избранников, летят на свет их будущей славы! — Лана махнула рукой, отгоняя бабочку от головы Михаила Соломоновича, куда бабочка собиралась присесть.

Они снова смеялись. Ему стало легко. Они были похожи — смешливы, игривы, болтливы. Сыпали словами, летучими ворохами, в которых весело

барахтались и кувыркались, как в копнах зеленного сена на лугу. В детстве, на даче, он прибегал на луг и зарывался в душистые ворохи.

— Что заботит Президента? Что вы насоветовали Антону Ростиславовичу Светлову?

— Это государственная тайна. Гадалки умеют хранить тайны. Среди этих тайн есть ужасные.

— Вы не боитесь хранить государственные тайны? Гадалок после их гаданий убивают.

— Убивают и тех, кому они гадают. Если те не внемлют предсказаниям. Так было с царем Николаем, с Кеннеди, с Гитлером. Внимайте предсказаниям гадалок, Михаил Соломонович.

Он опять испугался. Не углядел в этой ведунье приманку, которую ему подбросили. Её подослали к нему, как он подослал Аллу к Чулаки. Чулаки опьянел, увидев перламутровую змейку, скользнувшую по спине Аллы, а Михаил Соломонович ослеп от сверкнувшей из-под шёлка лодыжки. Думал об этой лодыжке, мечтал её целовать. И надо очнуться, весело пошутить, раскланяться и уйти, оставив черноволосую ведьму среди магических фонарей и мистических бабочек.

— Хотите я вам погадаю, Михаил Соломонович?

— Уж лучше не знать своей доли, жить вслепую, — он отмахнулся, желая уйти.

— Дайте руку, Михаил Соломонович, — Лана схватила его руку и удержала, когда Михаил Соломонович попытался её отнять. — Постарайтесь ни о чём не думать. Закройте глаза. Представьте себя лежащим под тенистым прохладным дубом, над которым плывут медленные облака.

Она держала Михаила Соломоновича за запястье, словно слушала пульс. Под её пальцами трепетал невидимый родничок его жизни. Это был родничок его судьбы. Судьба начиналась задолго до его рождения и будет длиться после смерти.

— Вам предстоят грозные испытания, но вы их преодолеете. Перед вами будут воздвигнуты непреодолимые хребты, но вы их раздвинете. Вам предстоят столкновения с могущественными соперниками, желающими вашей погибели, но погибнут они, а не вы. Будет минута в вашей жизни, когда вы станете вершителем судеб не только России, но и мира. Ваша доля прекрасна. Вы баловень судьбы.

Михаилу Соломоновичу казалось, что он околдован. Он не мог отнять руку. Её голос был сладок. Чудесно сжимали запястье тонкие пальцы. Он пустил её в свою судьбу. Она вплыла в его судьбу не в кремлёвском дворце, не из двери, похожей на деревянный киот. Но раньше, быть может, в младенчестве, в миг зачатия, в библейские времена, когда его предки шли по пустыне, и родничок забил под посохом предводителя. Или ещё раньше, на заре земной жизни, когда

на отмели тёплого моря ожила первая молекула. Или в миг творенья, когда из божественной пустоты ринулись в мир галактики, в сотворенном мире сверкали молнии, и она была молнией.

Михаил Соломонович всплывал из этого восхитительного и ужасного бреда. Лана отпустила его бессильную руку. В запястье среди сосудов и жил была продёрнута тончайшая нить, продетая колдуньей.

— И как я умру? — слабо спросил он. — «И где мне смерть пошлёт судьбина? В бою ли, в странствии, в волнах?» Расклюют ли меня орлы пустыни. Или поглотят морские гады. Или я по русскому обычаю буду лежать под образами.

— Под образами, Михаил Соломонович, — Лана повернулась и пошла в особняк с готическим крыльцом. Скользило по ступеням её малиновое платье. Михаил Соломонович пьяно побрёл к воротам.

Глава четвёртая

Ночью Михаил Соломонович просыпался, слыша, как звенит в нём таинственный родничок и в запястье дрожит тончайшая струнка, продёрнутая колдуньей. Вскочил рано и помчался на Патриаршьи пруды в конспиративную квартиру, извлекать видеозапись. Так охотник торопится осмотреть поставленный накануне капкан.

Пруд был солнечный, с зелёными отражениями. Плыл лебедь, оставляя на воде серебряный клин. Утренняя дама выгуливала на газоне моську. Жужжала косилка, пахло свежей травой. Михаил Соломонович взметнулся на лифте, отомкнул высокую старинную дверь и вошёл в квартиру. На него пахнуло духотой, духами и парным, как пахнут мясные прилавки. В комнате был разгром. Постель раскрыта, подушки сброшены на пол. Штора содрана. Осколки чашки. Распущенный, кинутый на пол мужской галстук. Мерцала бриллиантиком оброненная серёжка. Казалось, по комнате носился косматый вихрь, круша мебель, обдирая стены, и унесся, оставив разоренье.

Михаил Соломонович встал на стул, потянулся к канделябре, в которой прятался глазок видеокамеры. Извлек флэшку. В маленьком пластмассовом пенале поместилась безумная ночь, и Михаилу Соломоновичу не терпелось увидеть хронику прошедшей ночи. Подобрал бриллиантовую серёжку, переступил брошенный галстук. Заторопился домой, где был компьютер. Прежде, чем начать просмотр, сделал копию и спрятал в ящик, ещё не зная, как может воспользоваться записью. Запись таила в себе силу взрыва. Теперь в ящике стола хранился динамит, способный разнести вдребезги всю его благополучную жизнь.

Он уселся перед компьютером, готовясь нажать клавишу. Зазвонил телефон.

— Михаил Соломонович, говорят из секретариата Антона Ростиславовича Светлова. Антон Ростиславович просит вас немедленно прибыть в Кремль.

— Как? Сию минуту?

— Машина вас ждёт у подъезда.

Светоч незамедлительно принял его. Протянул руку, Михаил Соломонович кинулся её пожимать, но ладонь руки смотрела вверх, и Михаил Соломонович торопливо вложил в неё флэшку. Оба уселись перед широким экраном, и Светоч запустил просмотр.

В обзор попадала вся комната. Широкая, с полосатыми подушками, кровать. Туалетный столик с трюмо. Множество флакончиков, коробочек, пудрениц. Картина на стене с обнажённой купальщицей. Алла появилась бурно, путаясь в вечернем платье, отвела назад руку приглашающим жестом, и к этой руке протянулась другая рука. Чулаки возник и стал целовать приглашающую руку, от

пальцев к запястью, к локтю. Алла чудесно улыбнулась, размахнулась и ударила Чулаки в лицо. Тот отпрянул. Она ударила ещё и ещё. Он закрывался ладонями. Она сильно, вытянутой ногой нанесла удар в пах. Чулаки согнулся, а она била его ребром ладони по шее, исполняя боевой приём, коему Михаил Соломонович обучал проституток, отправляя в рискованные туры.

Запись была немой, не фиксировала звук, и всё происходило, как в немом кино. Резкие жесты, открытые в крике рты.

Избиение продолжалось. Этим избиением смирялась гордыня Чулаки, ломалась его надменная воля, привычка повелевать. Его рот раскрывался, губы беззвучно шлепали. Он умолял. Алла милостиво протянула ему обе руки. Чулаки, страшась этих рук, прильнул к ним и стал не целовать, а лизать, высовывал жадный псиный язык, виляя задом. Алла сволокла с него парадный пиджак, развязала галстук. Чулаки, голый, с толстым животиком, скакал перед ней, сложив по-собачьи лапки, а она, сбросив своё тёмно-зелёное платье, держала высоко носовой платочек, и Чулаки подпрыгивал, скалил зубы, стараясь его ухватить.

Михаил Соломонович наблюдал за Светочем. Хрустальный глаз колюче мерцал. Здоровый глаз смотрел с холодным презрением.

Чулаки превратился в собаку, шла дрессировка. Алла кидала туфлю в дальний угол, Чулаки на четвереньках подбегал к туфле, хватал зубами и приносил Алле. Алла повелительно указывала пальцем на пол, и Чулаки послушно ложился, вытягивал руки, клал на них голову, похожий на покорного мопса. Алла подняла брошенный галстук, распустила узел, набросила петлю на шею Чулаки и водила его на поводке, заставляя перепрыгивать опрокинутый стул. Чулаки скакал, застревал в стуле, Алла била его ногой, понуждая продолжить прыжки. Чулаки ложился на спину, задирая ноги и руки, прося пощады. Брал с пола и поедал комочки мусора. Обнюхивал ноги Аллы и заискивающе, снизу вверх, смотрел, облизываясь. Она садилась на него верхом, и он катал её по квартире, а она била его голыми пятками. Чулаки лаял, кусал ей ноги, грыз пол. Зверь, спрятанный в нём глубоко, был извлечён наружу. Чулаки оброс шерстью. У него вылезли клыки и когти. Он огрызался на Аллу, кусал, гонялся за ней по квартире. В ярости схватил зубами и сорвал занавеску. Сбросил со стены картину с купальщицей. Подбежал на четвереньках к кровати, задрал ногу и сделал лужу. Алла сердилась, кричала, схватила Чулаки за загривок, нагнула и возила носом по луже. Чулаки фыркал, высовывал язык и облизывался.

Михаил Соломонович видел на своём веку извращенцев. Но Чулаки был символом власти, учреждал институты, назначал министров, вёл отсталую, сумрачную в невежестве Россию к европейскому просвещению. Слыл просвещённым европейцем. И теперь оказывалось, что все эти благие деяния совершала собака, задравшая заднюю лапу и напрудившая мерзкую лужу.

Светоч холодно смотрел представление и не выказывал отвращения. Смотрел деловито, зорко. Так опытные собаководы наблюдают собачью случку.

Алла исчезла и вернулась, несла чашку. Поднесла Чулаки, и тот стал жадно лакать. Должно быть это был настой из лесных колокольчиков, ввергавший мужчин в безумие. Алла села на кровать, бесстыдно распахнула лоно. Опоенный отваром Чулаки впал в галлюцинации. Ему чудилась огненная пещера, куда он прянул. Двигался в лабиринте, попадал в тупики и ловушки, кружил в подземелье. Чулаки схватывался с невидимыми врагами, катался по полу. На него налетали огромные чёрные пауки, и он, махая руками, отбивался. Его обвивали змеи, и он сдирал с себя их скользкие жалящие тела. Он подпрыгивал, словно ступал по гвоздям. Закрывал ладонями темя, будто на него лился расплавленный свинец. Выбрался из лабиринта и увидел перед собой громадную, до неба, женщину. Она подняла его и сжала коленями. Алла душила Чулаки галстуком. Они рвали простыни, расшвыривали подушки, а потом отпали, как две пиявки. Алла откинулась, свесив с кровати ногу. Чулаки лежал на полу, прижимая к волосатой груди женскую туфлю.

Съёмка оборвалась. Экран погас. В кабинете было душно, пахло мясным прилавком. Михаил Соломонович не знал, чему стал свидетелем. Светоч молчал, словно давал остыть раскалённому воздуху.

— Что мне напоминает всё это? — задумчиво произнёс Светоч. — Что-то очень знакомое.

— Это похоже на «Сон Татьяны» из спектакля режиссёра Серебряковского «Евгений Онегин». Очень спорная постановка.

— Сталин вбивал им в колени гвозди и расстреливал в Бутово. Андропов насильно выталкивал их за границу. Эти уедут сами.

Михаил Соломонович ждал пояснений этой загадочной фразы. В ней таилось грозное содержание, чудились глухие гулы близких перемен, трясения, сулившие множество бед. Беды коснутся всех и Михаила Соломоновича. Он ждал, что Светоч продолжит, но тот молча мерцал хрусталём.

— Вы, Михаил Соломонович, оказали большую услугу государству. Государство умеет ценить такие услуги.

Михаил Соломонович скромно опустил глаза.

— Мы окружены предателями и изменниками. Скоро они себя обнаружат. Государство нуждается в преданных гражданах.

— Я всегда был и остаюсь русским государственником. Мне отвратительны все эти «западники», предающие Родину за «чечевичную похлебку», — Михаил Соломонович плохо сознавал, кого он называл «западниками», продающими Россию за «чечевичную похлебку». Но замечание было уместно.

— Вам не нужно напоминать, Михаил Соломонович, что теперь вы владеете государственным секретом. Его разглашение является преступлением.

— Для меня это очевидно, Антон Ростиславович.

Светоч открыл красную папочку, извлёк листок бумаги, протянул Михаилу Соломоновичу.

— Вот список персон, с кем должна встретиться ваша подопечная. Надеюсь, у них у всех отрастёт шерсть. Передайте своей подопечной, что она своей жертвенностью заслуживает орден.

— Передам непременно. Она, как и я, государственница.

Михаил Соломонович рассматривал список персон. Это был поразительный список. Здесь значились ректор Высшей школы экономики Лео, режиссёр модного театра Серебряковский, видный публицист Формер, вице-премьер правительства Аполинарьев. И, что самое пугающее, в списке находился всемогущий заместитель главы Президентской администрации Иван Артакович Сюрлёнис. Перед ним, как и перед Чулаки, заискивали и трепетали губернаторы и чиновники высочайшего ранга.

— Все они должны покрыться шерстью? — робко спросил Михаил Соломонович.

— Можно и чешуёй, — холодно ответил Светоч. — Обдумайте и доложите последовательность проводимой операции.

Слово «операция» делало Михаила Соломоновича тайным агентом секретной службы, которую возглавлял Светоч, а быть может, и Президент. Говорили, что у Президента есть личная разведка, именуемая группой «К», то есть «Кобра». Теперь, возможно, Михаил Соломонович становился агентом «Кобры».

— Доложу о проведении операции, Антон Ростиславович.

Михаил Соломонович покидал Кремль в предчувствии грозных перемен. Под куполом колокольни Ивана Великого бежала золотая строка: «И он промчался пред полками, могущ и радостен, как бой!»

«Что-то украинское», — подумал Михаил Соломонович, садясь в машину.

Глава пятая

Он выполнял предписание Светоча, тщательно репетировал с Аллой каждую её встречу. Репетиция выглядела, как небольшой домашний спектакль с двумя актёрами в постановке Михаила Соломоновича. Он питал слабость к режиссуре.

Встреча с ректором Высшей школы экономики Лео состоялась в подмосковной усадьбе Гребнево. В сумерках парка Алла и ректор Лео, обнажённые, не ведающие стыда, как Адам и Ева в раю, бегали среди деревьев и ловили светлячков. Они купались в пруду, и Алла учила ректора Лео дышать из-под воды сквозь тростниковую трубочку. Она шаловливо затыкала трубочку пальцем, и ректор бурно всплывал, и Алла его топила. Они барахтались в пруду, расплёскивая отражение луны. Алла учила ректора квакать по-лягушачьи, и тот на четвереньках, высунув из воды голову, квакал, и с таким упоением, что ночной сторож парка метнул в него палку и подбил глаз. Утомлённые, обмотанные тиной, они лежали на берегу пруда, и на успокоенной воде сияла лунная дорожка и мерцала лягушачья икра.

С режиссёром Серебряковским встреча проходила в цеху металлургического завода. Серебряковский в театре поставил спектакль «Ад» по Данте. Там изображал муки, ожидающие депутатов Государственной думы и сенаторов. Алла раздела режиссёра, обмотала цепями и окунула в котёл с расплавленной сталью. Она положила Серебряковского на лист раскалённого докрасна железа и смотрела, как он подгорает. Вставила ему меж ягодиц шипящий автоген, и режиссёр носился, как ракета с огненным соплом. Алла сунула Серебряковского под пневматический молот и расплющила в плоскость. Поместила под пилы и раскроила. Она сверлила его, фрезеровала, снимала стружку. Превращала в коленчатый вал, в кочергу, в мотыгу, в обоюдоострый меч, перековывала меч на орало. Режиссёр вопил от наслаждения, кричал:

— Поддай! Поддай!

Алла полила его кипящим маслом, ввинтила в глазницу болт, поправила причёску, помогла одеться и проводила до проходной.

Вице-премьер Аполинарьев упросил Аллу считать его коровой. Алла, прелестная пастушка, подвязала на шею Аполинарьеву колокольчик, набросала на пол сена и стала его пасти. Аполинарьев встал на четвереньки, звенел колокольчиком и ел сено. Алла иногда хлестала его бичом, перегоняя с места на место. Аполинарьев пытался забодать Аллу, она уклонялась, бегала по комнате, совлекая с себя стеснявшую одежду, а когда корова успокаивалась, Алла начинала её доить. Надой был невелик.

Публицист Формер, едва оказался наедине с Аллой, стал изображать памятники.

Забрался на табуретку, по-ленински вытянул руку и замер. Алла стала его сносить, ломая табуретку, пока он, голый, с вытянутой рукой, не завалился на бок. Формер снова влез на табуретку, руки по швам, грозный железный взгляд. Вылитый Феликс Дзержинский. Алла накинула ему на шею петлю и сволокла с табурета. Формер перевернул табурет, залез в него по пояс, крепко сжал кулак — Карл Маркс из гранитного камня.

Формер скривил плечо, сделал безумный взгляд, изображая памятник Достоевскому, и велел Алле надеть на него смирительную рубашку. Взял в руки цилиндр, задумался, печально склонив голову. Теперь это был Пушкин. Добиваясь удивительного сходства, он изображал памятники Маяковскому, Горькому, Гоголю. Просил Аллу осквернять памятники, и та выдавливала на него масляную краску, зелёную, жёлтую, красную. С поразительной достоверностью он изображал памятник Носу и чижику-пыжику, а также памятник Петру Великому, для чего привязал к спине табурет и встал на дыбы, взметнув копыта. Но поразительного сходства с оригиналом достиг памятник Рабочему и Колхознице. Голые, в масляной краске, Формер и Алла стояли на столе, один воздел молоток, другая ножницы. И так стояли, до окончания записи.

Михаил Соломонович извлекал из видеокамер флэшки и относил Светочу, оставляя себе копии. Светоч не приглашал Михаила Соломоновича на просмотры, и тот не обижался. Понимал, что подобные фильмы лучше смотреть в одиночестве.

— Когда вы положите мне на стол запись с Сюрлёнисом?

— В ближайшие дни. Ищу подходы к Ивану Артаковичу.

— Хочу, чтобы вы понимали. Все эти безобразные сцены могут показаться обычными извращениями. Но это обряды. Эти обряды, по мнению означенных персон, открывают путь в Параллельную Россию, или, как они говорят, Россию Мнимую. Впрочем, вам это необязательно знать. Вы технический исполнитель, не более.

Михаил Соломонович был потрясен. Ему приоткрылась тайна, уразуметь которую не дано. Политика вершилась не на думских дебатах, не в министерских кабинетах, а в таинственных сферах, куда обывателю путь был заказан. Там обитали избранные, исповедующие вероучения.

Оставался последний заказ, едва ли выполнимый. Заместитель главы Президентской администрации Иван Артакович Сюрлёнис не был замечен в пороках. Являл собой образец служения. Был виртуоз интриг, размягчал возникавшие в обществе сгустки, создавал напряжения, уводил по ложному следу оппозицию, плодил фальшивые организации, сталкивал лбами лидеров, сеял слухи, множил мифы, сотворял вокруг Президента Троевидова ореол

богоизбранности. Его не волновали женщины. Его женщиной была Россия, прекрасная дама, которую он обожал религиозно и целомудренно.

Михаил Соломонович изучал всё, что можно было узнать об Иване Артаковиче. Знания были приблизительны. Говорили, что Иван Артакович одно время мечтал стать Президентом. Говорили, что он перенёс ковид, умер, потеряв большую часть лёгких, но вернулся к жизни, побывав по её другую сторону. Поэтому ведал о загробном мире не понаслышке. Говорили, что вернула его к жизни таинственная дева в белом платье, усыпанном цветами, прекрасная, как Весна Боттичелли. Быть может, это была Россия, которая нуждалась в Иване Артаковиче и не отпустила его в смерть. Вот, пожалуй, и всё, что выведал Михаил Соломонович об Иване Артаковиче.

Он узнал, что Иван Артакович намерен прочитать лекцию в собрании интеллигентов, именуемом «Территорией смыслов». Территория находилась в подмосковном элитном отеле. Там Михаил Соломонович планировал подвести Аллу к Ивану Артаковичу. Он заказал Алле великолепное белое платье, усыпанное цветами, земными и небесными плодами. Для этого он долго изучал бессмертную картину Боттичелли, выбирал шелка в лучших магазинах Парижа и Рима.

Он пригласил университетского профессора истории, чтобы тот вооружил Аллу историческими представлениями, способными заинтересовать Ивана Артаковича.

В урочный день Михаил Соломонович и Алла были в переполненном конференц-зале отеля, где Иван Артакович читал свою лекцию.

Он стоял на подиуме, невысокий, изысканный, состоящий из острых углов, квадратов и эллипсов, словно был нарисован художником-кубистом. На нём был яркий синий пиджак, жёлтая канареечная рубашка, красные короткие штаны, позволявшие видеть розовые носки. На одном носке была вышита буква «альфа», на другом «омега». Он скрещивал ноги, и буквы менялись местами, что, согласно каббале, означало — конец может превратиться в начало. Вместо галстука у него был повязан прозрачный шнур световода, по которому бегала световая волна. Его заострённый нос целил в зал, словно выклёвывал того или иного слушателя. Он жестикулировал, и его серебристые сухие ладони шелестели статическим электричеством. Иногда он исчезал с подиума и появлялся на потолке в виде голограммы.

Его речь изобиловала метафорами и иносказаниями. Михаилу Соломоновичу казалось, что оратор водит аудиторию за нос.

Иван Артакович утверждал, что русская история движется по таинственной синусоиде, где русские империи сменяют одна другу. Империи достигают величия и низвергаются в бездну. Умирание и воскрешение империй делает русскую историю пасхальной. Русское государство переплывает чёрные бездны истории на иконах, которые, подобно ковчегу, несут в себе «молекулу русского

бессмертия». Каждый взлёт империи связан с великим лидером. Его избирает русская история для своего восхождения к величию. Птица Русской истории свивает в таком лидере своё гнездо и живёт в этом гнезде, пока ей не становится тесно. Тогда она улетает из ветхого гнезда, покидает утомлённого лидера и свивает гнездо в новом лидере. Сегодня Россия движется от великих потрясений к величию. Запад препятствует русскому восхождению. России предстоит победить чернокнижников Запада и вернуть себе величие. Лидер тот, кто владеет сокровенным знанием, русскими кодами. Играя на них, как на волшебном клавесине, он создаёт «музыку русской истории».

Иван Артакович пробежал гибкими пальцами по невидимым клавишам. Распался на цвета, из которых состоял его туалет, превратился в абстракцию, а потом вновь собрался в синий пиджак, жёлтую рубашку, красные штаны и розовые носки, на которых теперь красовались буквы «зет» и «ви».

— Хочу в заключение заметить, что среди русских вероучений есть такое, что утверждает существование параллельной России. Её история движется параллельно с нашей, но с ней не пересекается. Две России движутся параллельно и не пересекаются в бесконечности. В эту параллельную Россию стремились духоборы, молокане, хлысты и скопцы. В неё стремился Рерих, называя Шамбалой. В неё стремились русские скрытники, именуя Беловодьем. Великий историк тот, кто напишет историю параллельной России. Но такой историк ещё не родился.

Ивану Артаковичу хлопали. Он отвечал на вопросы.

Вопросы были пустяковые. На одни он откликался шуточками. На другие злой иронией. На третьи молчанием.

Поднялась из рядов Алла. Среди чёрных пиджаков выделялось её белое платье, усыпанное алыми и золотыми цветами. Ей поднесли микрофон. Она певучим, полным волнения и обожания голосом спросила:

— Иван Артакович, можно ли считать Россию «ковчегом спасения», куда погибающая Европа передаст свои гибнущие святыни и ценности, и Россия сбережёт их для остального человечества? Может, Россия параллельна Европе, параллельна себе самой?

— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул Иван Артакович, и было неясно, восхитил ли его вопрос или белое платье, усеянное цветами райских садов. — Я жду вас у себя. Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.

Люди покидали зал. Михаил Соломонович видел, как Алла порхнула к Ивану Артаковичу, и они удалились по коридору туда, где начинались номера отеля.

Михаил Соломонович прошёл в холл, где начинался фуршет. Были расставлены высокие круглые столики. Гости пили вино, поедали крохотные аппетитные сандвичи, насаженных на пластмассовые шпажки креветок.

Обсуждали недавнюю речь Ивана Артаковича Сюрлёниса, называя её манифестом. Усматривали в ней грозную «музыку новых времён».

Михаил Соломонович, ступив в холл, сразу увидел Лану Веретенову. Она стояла у столика, в окружении мужчин, издалека улыбалась Михаилу Соломоновичу. На ней был строгий английский костюм. Её смуглое средиземноморское лицо по-прежнему пленяло потаённым свечением, какое исходит от ночной перламутровой раковины. Но теперь в ней не было ничего от ворожеи. Так выглядят женщины от науки или политики, референты корпораций или продюсеры телевизионных каналов.

— Господа, прошу знакомиться. Михаил Соломонович Лемнер, специалист по Африке. Замышляет экспедицию к Северному полюсу по маршруту Фёдора Конюхова. Россия потеряла Среднюю Азию и Кавказ, но теперь устремляется в Африку и строит полярную цивилизацию, — Лана представила Михаила Соломоновича своим собеседникам. Михаил Соломонович вдруг поверил, что он таков, каким его представляют.

Мужчины рассеянно поклонились, продолжая нарушенный разговор.

— Мне кажется, Сюрлёнис, говоря о новом лидере, о Птице русской истории, имел в виду себя. А под утомлённым, «ветхим» лидером подразумевал Президента Троевидова. Рискованные, скажу я вам, заявления. Видно и впрямь Президент не здоров, — морщинистый, как испекшееся на солнце яблоко, господин закрыл глаза, чтобы другие не прочитали в них ведомую ему, опасную правду. У него на груди висела карточка с фотографией и значилось имя «Суровин». Михаил Соломонович, изучавший список приглашённых, знал, что это имя носит известный патриотический политолог.

— Вам не кажется, господа, что у Президента появился двойник? Президент обычно покашливает, а двойник не чихнет. У Президента нос резкий, с горбинкой. А у двойника чуть курносый. Президент не покидает бункер. Всякий, кого он принимает в резиденции, должен десять дней томиться в карантине. А двойник постоянно на людях, обнимается, целуется. Не странно ли? — говоривший был бородат, лобаст, с белыми залысинами, которые не брал загар. На карточке стояло имя «Клавдиев». То был видный философ, ненавистник Запада, ревнитель «русских смыслов».

— Я бы добавил. У Президента часто дурное настроение. Он сумрачный, раздражённый. А у двойника вид радостный, бодрый. Ему нравится его роль. Он чуть-чуть переигрывает, целуясь с детьми и обнимаясь с ветеранами.

Михаил Соломонович прочитал на карточке имя «Войский». Романы этого писателя стояли в магазинах на полках. Михаил Соломонович лишь однажды вознамерился купить книгу, прочитал несколько фраз о природных красотах и вернул книгу на полку.

— Да, но голос, господа! Голоса у них одинаковые! — Морщины на лице Суровина разбежались, собрались в пучки, выстроились в линии и вернулись на

прежнее место. — Можно добиться внешнего сходства, но нельзя добиться подобия голоса. Голос каждого, как отпечатки пальцев, неповторим.

— Сегодня трансгуманисты Запада способны создавать человеческие копии. Двойник может быть голограммой Президента. Голос пропущен сквозь специальный модулятор, повторяет все интонации подлинника. Запад создаёт фальшмодель мира, делает неотличимым подлинное от сфабрикованного. Всё слипается. Мужчина и женщина, тварь и Творец. Всё превращается в «Великий ноль», господа! — философ Клавдиев пропустил сквозь ладонь бороду, подводя итог эпохе, где ложное и истинное были различимы.

— В любом случае, господа, Россию ждут перемены. Крупный конфликт с Западом, даже военный, неизбежен. Иван Артакович готовит нас к этому конфликту и готовится сам, — писатель Войский призывал коллег быть чуткими к переменам, не совершать опрометчивых поступков.

— Но ведь Сюрлёнис «западник»! — философ Клавдиев хмыкнул, выражая этим хмыканьем неверие. — Его ближайшие друзья — махровый «западник» Чулаки, англоман профессор Лео, гарвардский выпускник вице-премьер Аполинарьев, наш несокрушимый «француз» Формер, любимец театральной Европы Серебряковский. Как он выглядит в такой компании?

— От «компаний» избавляются, — назидательно произнёс политолог Суровин. — Что сделал Иосиф Сталин со своей «компанией»? Иван Артакович легко пройдёт в президентский кабинет по спинам вчерашних друзей.

— И по спине «ветхого» Президента, — кивнул писатель Войский.

— Ему всё можно простить, если он решит порвать с Европой, с этой гадиной, которая во все века жалит Россию. Нужно вышвырнуть европейскую змею из русского дома! — философ Клавдиев взволновался, и в его профессорской бороде появился оскал, а в глазах полыхнул фиолетовый пламень. — Русский человек должен вытопить из себя европейца!

— Если вытопит, кто в нём останется? — усмехнулся Суровин.

— Небожитель! — воскликнул Клавдиев.

— Я знаю вашу теорию. Россия граничит с Царствием Небесным. И если русского хорошо отмыть, в нём обнаружится небожитель, — посмеивался писатель Войский.

— России нужен лидер, который раскалит русскую мартену и переплавит в ней Эйфелеву башню, Кёльнский собор, Колизей, Статую свободы! — не замечал насмешки Клавдиев. — Всё должно пойти в переплав!

— Какой же новый лидер, отекая сталью, поднимется из русской мартены? — спросил политолог Суровин.

— Сталин! — засмеялся Войский.

— А как вам понравился пассаж о параллельной России? — Клавдиев иронично поднял плечо.

— Ничего удивительного, — Войский столь же иронично щёлкнул в воздухе пальцами. — Власть не может усовершенствовать Россию реальную и хочет перескочить в Россию параллельную, где все усовершенствовано. Не отделаются! Либо совершенствуйте, либо Пугачёв и Ленин!

Мужчины проглотили креветок, допили вино, раскланялись и удалились.

Михаил Соломонович рад был остаться с Ланой. Но к столику подошли двое. Высокий красавец с лицом, незаменимым в фильмах о русских богатырях и сталинских лётчиках. С ним коренастый, с крутыми плечами боксёра, с упрямой головой на крепкой короткой шее.

— О, дорогие Чук и Гек! — обрадовалась Лана. — Михаил Соломонович, представляю вам двух отважных искателей. Мастера журналистских расследований. Чук, он же Чукотский. И Гек, он же Гектаров. А это Михаил Соломонович Лемнер, как и вы, искатель. Он снаряжает экспедицию на Северный полюс и в Африку.

— В Африке мы можем встретиться, — Чук протянул Михаилу Соломоновичу большую тёплую ладонь. — Мы начинаем расследование «африканского золота». Оно вдруг заинтересовало русских олигархов. Африканские слёзы, русская кровь, французское оружие и золото олигархов.

— Мы ищем спонсора, который оплатит нашу поездку в Африку. Такого не знаете? — Гек сжал руку Михаила Соломоновича маленькой, с железными мозолями, ладонью.

— Их последнее расследование касалось киевского майдана, — Лана взялась объяснять Михаилу Соломоновичу суть расследования. — Кровь майдана, государственный переворот могли избежать. Тогда бы Крым остался украинским, Донбасс не восстал, добрые отношения с Европой сохранились. Но случилась кровь, переворот. Отношения с Европой поставлены на грань войны. И всё из-за некоего человека, который прибыл в Киев и спровоцировал пролитие крови. Я правильно объясняю?

— Ты же всё предсказала, — Чук смотрел на Лану мужским ярким взглядом. — И Крым, и Донбасс, и скорую войну, и человека ты предсказала.

— Человека предсказать невозможно. Вы его обнаружили, но имя не называете. Если бы не он, всё бы кончилось миром. Майдан рассосался. С Европой друзья. Из Москвы в Венецию, из Вены в Петербург. Но был человек. Назовите имя!

— Стабильность Европы — это стабильность взведённого оружия, — произнёс Чук. — Хорошо смазанные отшлифованные детали, пружины, упоры и маленький спусковой крючок. Слабое нажатие и удар, выстрел. Человек, о котором речь, слабо нажал на спуск.

— Так кто человек? — настаивала Лана.

— Был человек. Долго мы его вычисляли. Ждали, когда появится на Майдане. Помнишь, Гек, как хохлы тебя чуть не прибили?

— Не прибили.

— Представляете, Майдан, палатки, мороз. Бочки железные с углями. Руки в бочку сунем и греемся. Барабаны, дудки. Толпища. На трибуну лезут, москалей поносят. Видим, идёт. На голове капюшон, руки в карманы. Лица не видать. За ним охрана. Гек рванулся, подлетел: «Пан Гричевский! Пан Гричевский!» Охрана за пистолеты, с кулаками, Гека дубасят. А я на телефон сфотографировал. На Гаагском трибунале могу предъявить.

— Кто он? — не утерпел Михаил Соломонович. Чувствовал, как гудит голый провод с электричеством в тысячу вольт. Коснёшься, и убьёт. — Кто этот роковой человек?

— В Африке встретимся, там и скажем.

Чук и Гек рассмеялись, ударили друг друга плечами и отошли.

— Что вы такое придумали про Африку и Северный полюс? — Михаилу Соломоновичу не находилось места в политических разговорах. Но теперь, оставшись с Ланой вдвоем, он мог изумляться вслух.

— Я гадала на картах. Вы мне так интересны, что я раскладывала пасьянсы, — Лана щурила глаза. В них плескался блеск высокой люстры. Михаил Соломонович ждал, когда глаза расширятся, и он испугается их восхитительной тьмы.

— И что показали карты? «Дальнюю дорогу», «казённый дом»?

— Они показали «дальнюю дорогу». Дорога вела через Северный полюс в Африку.

— А «казённый дом» и «червовая дама»?

— Был «казённый дом» со множеством башен, и на каждом горела рубиновая звезда. Была дама пик. Но вот лица не разглядела.

— Быть может, у неё средиземноморское лицо, и оно светится, как ночная раковина?

— Со временем лицо откроется. Дайте мне время, Михаил Соломонович.

— Быть может, нам вместе поужинать?

— Может быть. Не теперь. Где-нибудь в Африке.

Лана ушла, а у Михаила Соломоновича чудесно туманилась голова, хотя его бокал, не тронутый, стоял на столе.

Публика разошлась, а он задержался в холле. Видел, как из коридора выскользнула Алла, развевая белое, в райских цветах, платье. Её поступь была лёгкой, как у девы на картине Боттичелли. Не сразу появился Иван Артакович, хрупкий, острый, колкий, похожий на кузнечика.

Глава шестая

Михаил Соломонович дождался, когда холл опустеет и прислуга перестанет шуметь пылесосами. Прокрался в коридор к номеру, где случилось свидание Аллы и Ивана Артаковича. Открыл дверь отмычкой и вошёл, ожидая увидеть истерзанную постель, поломанную мебель, разбитые зеркала. Но номер был почти не тронут, только слегка подвинут стул.

Михаил Соломонович гадал, каким утончённым развратом потчевала Алла Ивана Артаковича. Быть может, эротической магией, когда в мужском воображении возникают зрелища загробного мира, и мужчина в предсмертных конвульсиях замирает подобно покойнику. Михаил Соломонович подвинул настольную лампу, в которой скрывалась камера, извлёк флэшку с записью. На этот раз записывалось не только изображение, но и голоса. Поспешил домой. Сделал по обыкновению копию и устроился в кресле, гадая, чьими уроками пользовалась Алла. Должно быть, наставлениями старой ведьмы из Нигера, у которой на ногах было по шесть пальцев. Нажал клавишу компьютера и воззрился на экран.

В номер вошла Алла, поводя плечами, неуловимым поворотом бедра создала вихрь, приподнявший её цветастое платье. Она поймала улетающий подол коленями, вылитая Мерлин Монро. Появился Иван Артакович. Любезным движением освободил сжатый коленями подол и одёрнул его.

— Дорогая, я не Джон Кеннеди. Ты могла бы сразу заметить.

— Пупсик, ты лучше. Разве тебе никто не говорил?

— Говорила одна озорная девчонка. Теперь её глупые косточки истлевают на подмосковной мусорной свалке.

— Ну, пупсик! Ну, зачем так!

Алла снова попыталась взвихрить подол, но Иван Артакович ткнул её указательным пальцем в лоб, и она шлёпнулась на кровать.

— Сиди и слушай, дура. Даю развёрнутый ответ на вопрос, который ты выкрала из статьи философа Клавдиева, посвящённой русскому восхождению. Итак!

Иван Артакович подвинул стул, уселся напротив Аллы, забросил ногу на ногу, чтобы Алла могла видеть розовые носки с буквами «зет» и «ви».

— Россия до недавнего времени была мертва. Её искусала ядовитая змея Запада, как выражается наш великий философ Клавдиев. Россия умерла, и её уже не сотрясали предсмертные конвульсии. Она не видела снов загробного мира, как учила тебя, глупая девочка, африканская ведьма с шестью пальцами на ногах. Отсюда, заметь, у африканца Пушкина шестистопный ямб. Россия очнулась, когда её поцеловал Президент Леонид Леонидович Троевидов, этот

прекрасный принц Русской истории. Он повенчал Россию с Крымом, и крылатый змий Запада схватился с птицей Русской истории. Повторилась извечная битва «ясна сокола» и «чёрна ворона». В этой битве одолеет сокол, а ворон будет низвергнут с русского неба. Россия, ведомая Президентом Троевидовым, продолжит восхождение к Величию. О, это будет страшный путь! Прольётся много крови и слёз. Быть может, все мы погибнем. Россия подойдёт к роковой черте, за которой её ждёт погибель, и «чёрный ворон» вновь закаркает и сядет на золотой крест Успенского собора. Но снова прекрасный принц Русской истории спасёт Россию, и она продолжит восхождение. Русское чудо случится. Запад, как чёрный змей на фреске Страшного суда, уползет из русского храма. И русский ковчег, о котором вещает философ Клавдиев, победно поплывёт по океану русского времени. Президент Троевидов будет статуей на носу корабля.

— Но, Пупсик! — пробовала возразить Алла, комкая цветастое платье и открывая колени.

— Сиди смирно, презренная дщерь! — остановил её Иван Артакович. — Не открывай передо мной свой адский зев. Я не принял из твоих рук отвар лесных колокольчиков. Равнодушен к твоему изношенному лону. Пусть в катакомбах твоего разврата канут несчастный Чулаки, наивный Аполинарьев, слепорождённый Серебряковский, старый индюк Формер и слизистый Лео. Они больше мне не друзья. Они восстали против Русской истории, и она извергнет их из своего потока. И тогда они позавидуют тем, кто не родился!

Михаил Соломонович присутствовал при отречении. Иван Артакович отрекался от своих друзей, отдавая их на муки. Начинался великий русский передел. Михаилу Соломоновичу страшно было попасть под жернова Русской истории. Он был малым горчичным зёрнышком, занесённым в русскую бесконечность. Он слышал грохот чудовищной русской мельницы. Но в этом грохоте была сладость, было упоение. Из Русской истории выпадали одни, и в неё входили другие. Войдёт и он, Михаил Соломонович.

— Пусть знают все, я патриот России! — продолжал Иван Артакович, отводя взгляд от Аллы и устремляя его к настольной лампе, где пряталась камера. — Нет для меня другого Президента, нежели Президент Леонид Леонидович Троевидов. И нет для меня другого великого государственника, нежели Антон Ростиславович Светлов. Он тот, кто освещает Президенту путь в грядущее. Его любовь к России соизмерима с его ненавистью к её врагам. Пусть он знает, что враги России — мои враги. И я не приду на могилы Формера, Чулаки, Серебряковского, Лео и Аполинарьева. Я не протяну им чашу с водой, когда они станут умирать от жажды. И если их станет судить народ, я первый укажу на них, как на изменников, замышлявших свержение Президента Троевидова. Потребую казни клятвопреступников. Для этого добьюсь возобновления в России смертной казни!

Эти слова Иван Артакович обращал не к Алле, беспомощно теребившей подол платья, а прямо в камеру наблюдения. Словно желал, чтобы его услышали. Вещая в камеру, он отправлял послание. Михаил Соломонович был гонцом, передающим послание.

— Что касается параллельной России, то существуют ли вообще параллели? Или это выдумка старины Эвклида?

Михаил Соломонович дождался, когда властным жестом Иван Артакович выпроводил Аллу из номера. Оставаясь сидеть на стуле, Иван Артакович стал тереть ладонь о ладонь, добывая статическое электричество. Поднёс ладони к голове, и волосы встали дыбом. Так и сидел, окружённый прозрачными сполохами, как высоковольтная мачта.

Михаил Соломонович отправил в Кремль запись с курьером. Хотел было навестить Аллу, испытавшую женское унижение. Но телефонный звонок остановил его.

— Михаил Соломонович, вас срочно желает видеть Иван Артакович Сюрлёнис.

— Прикажете ехать в Кремль?

— Вас отвезут по другому адресу. Машина ждёт.

Его доставили в особняк в центре Москвы, в районе Палашёвского переулка. Двухэтажный особняк в стиле модерн был перестроен. У него появилось внутреннее пространство, напоминавшее античный дворик. Над двориком парил стеклянный купол. Внизу бил фонтан. В кадках стояли тропические деревья. Дворик окружали кабинеты. В одном из них Иван Артакович Сюрлёнис принял Михаила Соломоновича, поднявшись из-за дубового, крытого зелёным сукном стола. Множество безделушек населяло стол. Хрустальные кубы чернильниц. Подсвечники в виде деревьев, на которые карабкаются бронзовые медведи. Бронзовый морж с костяными бивнями. Зелёный стеклянный шар, куда запаян морской паук, окружённый самоцветами. Старинная японская шкатулка с летящими журавлями. Казалось, стол был уставлен безделушками полтора века назад, и ничья рука не прикасалась к диковинкам минувших времён.

— Благодарю, Михаил Соломонович, что откликнулись на моё приглашение. Ещё тогда, в отеле, хотел познакомиться, но, сами понимаете, были обстоятельства.

Иван Артакович не отказался от экстравагантного туалета. На нём был алый пиджак, зелёная рубашка, белые штаны и фиолетовые носки с шитыми бисером шестиконечными звёздочками. В своём наряде он напоминал попугая, сидевшего тут же в золочёной клетке. Пылающее оперенье, пышный хохол и тяжёлый клюв.

— Надо сказать, Михаил Соломонович, ваши гейши — чудесные почтальоны. Через них можно передавать послания самым высокопоставленным

адресатам. Может, создать из ваших проституток особую фельдъегерскую службу?

— Можно голубиную почту. Ведь они все у меня голубки, — дерзко пошутил Михаил Соломонович, понимая, что изобличён, и возможна крутая расправа.

— Полагаю, у вас есть копии этих посланий?

— Я не читаю чужих писем, Иван Артакович, — солгал Михаил Соломонович. Колебался секунду, не повиниться ли перед могущественным попугаем.

— Похвально. Вы умеете держать язык за зубами. Но, полагаю, Антону Ростиславовичу вы не лжёте?

— Мне не знакомо это имя, — продолжал твёрдо лгать Михаил Соломонович.

— Похвально, похвально. Вы не предаёте благодетелей. Кругом столько предателей. Будет ещё больше. Не все примут назревающие перемены. Многие побегут. Другие пожелают остаться, но предадут благодетелей. Настанут дни великих предательств. Я уверен, вы не побежите и не предадите.

— Я предан моим идеалам, — осторожно произнёс Михаил Соломонович, не понимая иносказаний этого смешно и пёстро одетого человека, от которого зависела судьба восьмидесяти губернаторов, управляющих русскими землями между трёх океанов.

— Очень скоро появится большой спрос на преданных людей. Вы один из немногих.

Михаил Соломонович потупился. Он не понимал, о каких переменах говорит Иван Артакович. Не понимал, почему ему оказывают такое доверие, и чем опасным или даже ужасным может обернуться для него это доверие.

— Антон Ростиславович Светлов, который подослал вас ко мне, не скрою, выдающийся государственный деятель. Его хрустальный глаз способен видеть то, чего нет. Его мнительность болезненна. Называя себя государственником, он наносит вред государству. Он хочет удалить из России тех, кого называет «западниками». Но они — богатство России, её творцы, новаторы, открыватели. Они — пуповина, через которую Запад питает Россию своими драгоценными соками, не даёт нам сползти в азиатчину. Они насаждают у нас европейские эстетические школы, одаривают нас европейскими технологиями, учат по-европейски вести хозяйство, по-людски обращаться друг с другом. Вы понимаете, о ком я говорю?

Михаил Соломонович терялся. Его подвергали испытанию. Его выворачивали наизнанку. Одно неверное слово, и его уничтожат. Но верное слово устремит к тому, что Иван Артакович называет русским Величием. Он искал верное слово, но оно не являлось.

— Профессор Лео — светило экономической науки. Благодаря ему работают наши заводы и банки, копится казна. Вице-премьер Аполинарьев — он превращает русскую нефть и газ в русские университеты, больницы, дороги, монастыри, книжные ярмарки, рок-фестивали. Режиссёр Серебряковский, его спектаклям аплодируют в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Он не даёт прокиснуть нашей квасной доморощенной драматургии. Блистательный публицист Формер, пример утончённого интеллектуализма, наследник европейского возрождения. И всё это зовётся «партией западников». Их подозревают в заговоре, в желании свергнуть президента Троевидова. Какой вздор! Какой вздор! Хрустальный глаз Светоча смотрит на Россию, а видит бездну!

Михаил Соломонович содрогался. Он стоял на краю этой бездны. Таинственный вихрь закрутил его и опустил в жуткую сердцевину, где рождаются русские бури, от которых сотрясается мир. И надо бежать, немедленно из этого злосчастного особняка с фонтаном и попугаем. И не понять, кто попугай, а кто Иван Артакович, кто публицист Формер, а кто философ Клавдиев, и бежать ли ему в Африку или на Северный полюс.

— Антон Ростиславович Светлов узурпировал власть в России. Он держит Президента Троевидова на сильно действующих снотворных. Президент вечно спит. Он слаб, не может управлять государством. Светоч держит его в бункере, и мы не знаем, жив ли Президент. Светоч создал двойников Президента, отыскал их среди мелких воришек, торгующих краденными телефонами. Сделал им пластические операции, обучил президентским жестам, этому фирменному взмаху левой руки. Двойникам вживили в гортань модулятор звука, и теперь их голоса не отличимы от голоса Президента. Эти куклы ведут заседания Совета Безопасности, принимают у послов верительные грамоты, целуются с девушками на площадях. Государственный переворот, в котором Светоч винит «партию западников», уже совершён. У нас нет Президента. Нами правит Светоч из-за спины послушных говорящих кукол.

Михаил Соломонович трепетал. Его вращал чудовищный водоворот, именуемый русской историей. Он был щепкой, захваченной этим кромешным вращением.

Иван Артакович мрачно молчал, а потом вдруг радостно встрепенулся.

— Рад нашему знакомству. Михаил Соломонович. А ты, Кеша, рад? — обратился Иван Артакович к попугаю. Цветная птица тяжело тряхнула оперением, раскрыла кривой, как клещи, клюв и, жутко картавя, прокричала:

— Мы гусские! Какой востог! Пагагельная Гасия! Пагагельная Гасия!

Михаил Соломонович покидал кабинет. Пытался повторить выкрик птицы. Не получалось. Русский язык, которым он великолепно владел, не поддавался порче.

И почти не удивился, увидев у фонтана Лану Веретенову. Он думал о ней постоянно, и иногда эти мысли облекались плотью.

— Боже мой, Михаил Соломонович, вы можете подумать, что я преследую вас. Но это кто-то нас обоих преследует, пересекает наши пути.

— Может, однажды встретившись, не станем разлучаться? — он оглядел её молниеносно, сверив свою мысль о ней с её воплощением. Совпадение было не полным. Впервые она предстала перед ним в голубых шелках. Потом на ней было платье, жаркое, как маков цвет. Вчера она казалась строгой, как дама из научной среды. Сегодня на ней была длинная серая юбка, долгополый тёмный жакет и белая блузка с пышным кружевом на груди. И только лицо было то же, миндалевидное, с пунцовым ртом, с глазами, имевшими пугающее и чарующее свойство вдруг расширяться. Их блестящая тьма напоминала ночное южное небо, где не было звёзд, а сверкающая бесконечность.

— Что вас привело в этот мир фонтанов и попугаев? — Михаил Соломонович смотрел, как над её головой плещет фонтан, чувствовал на лице водяную пыль.

— Сильные мира сего нуждаются в моих предсказаниях.

— Вы даёте советы таким умудрённым мужам, как Сюрлёнис? Вы статский советник?

— Я придворная гадалка. У меня не советы, а предсказания. Они, как туманы. Для одних розовые, для других голубые, для третьих золотые. Туманы сталкиваются. Иные рассеиваются, и человек исчезает.

— Вы по-прежнему предсказываете мне Северный полюс и Африку? Когда я туда полечу?

— Вы уже летите. С пугающей скоростью. Со скоростью света. С такой скоростью летят космические лучи. Удар этих лучей раскалывает галактики.

— Я тот, кто раскалывает галактики?

— Вы тот, кто мне интересен.

Михаил Соломонович протянул руку к нитке жемчуга на её шее. Лана улыбалась, ждала прикосновения. Но оно не последовало. Михаил Соломонович не посмел коснуться. Стоял с протянутой рукой, словно просил подаяния. Лана взяла его ладонь, стала перебирать пальцы, будто играла в «сороку-воровку». Михаил Соломонович почувствовал сладкую слабость, его погрузили в туманы, розовые, голубые, золотые. Туманы плавали, текли, таяли. Ему казалось, в этих туманах появляются лица, не знакомые, но родные. Быть может, те, что наклонялись к его колыбели, и он никогда не узнает их имён, а только туманные очертания.

— Вы околдовываете меня.

— На вашей ладони появилась новая линия. Линяя Величия.

— Вы околдовали меня. Перенесли в параллельный мир. В параллельную Россию.

— Вам рассказали об этом вельможные фантазёры?

— Что они имеют в виду? Какая параллельная Россия? Какая Россия Мнимая? Может, вы знаете?

— Что-то связано с математикой. В математике есть «мнимое число». Корень квадратный из минус единицы. Никто не может извлечь этот корень. Предполагают, что за «мнимым числом» скрывается целая, неведомая нам математика, а значит, неведомая реальность. Эту реальность и называют Мнимой Россией. Но в неё никто не может пробраться. Пробуют с помощью обрядов, иногда изуверских.

— Разве можно с помощью изуверских обрядов проникнуть в страну совершенства?

— Пробуют. Скопцы — зверски себя увеча. Распутин развратничал с фрейлинами, говоря, что ведёт их в Царствие Небесное.

— Голова идёт кругом!

Лана зачерпнула из фонтана воду и полила ему на голову. Вода текла по волосам, по лицу, бежала за ворот.

— Теперь вы совершили омовение.

Она ушла, а он остался у фонтана с протянутой рукой, будто просил подаяния.

Глава седьмая

Михаил Соломонович чувствовал на себе неотступный взгляд. Это был не хрустальный взгляд одноглазого Светоча. Не въедливый, как шуруп, взгляд Ивана Артаковича. Не перламутровый, как ночная раковина, взгляд гадалки. За ним наблюдали с неба. Не из зенита, откуда взирал Бог, а левее и ниже. Туда смотрел Михаил Соломонович, желая отыскать снайпера. Не находил. Синева знойного московского неба и отчётливое чувство, что за ним наблюдают.

Он появился в своём заведении, где принимал заказы на эскорты для закрытых корпоративных вечеринок, турецких бань, кавказских дворцовых утех. Он подбирал эскорты, угадывая вкусы заказчиков. Имел широкий выбор красавиц, любого сложения и масти, весёлых и грустных, скромных и яростных, интеллигентных и диких. Но все были отборные, породистые, как элитные лошади, ждущие с нетерпением скачек. Михаил Соломонович холил их, одаривал, отправлял на массажи, прикреплял к врачам, учил манерам, мстил обидчикам. Они были прекрасны, эти русские женщины, избавленные Михаилом Соломоновичем от нужды, превращённые из забитых матерей-одиночек, брошенных мужьями жён, недоучившихся студенток в весёлых, царственных, смелых и игривых красавиц, обожающих свою работу, как скаковые лошади обожают ипподром.

Михаил Соломонович в кабинете подписывал бумаги, принимал заказы, читал отчёты бухгалтера. Он прислушивался к стуку высоких каблуков в коридоре, как чуткий конюх прислушивается к перестуку копыт.

Вошла Алла. Она снаряжалась в дорогу. Её сильные обнажённые плечи, млечной белизны лицо, причёска, где в каждом волоске играл золотой лучик, голубые, как весеннее небо, глаза — всё было восхитительно. Сулило радость кавказскому сенатору, пожелавшему после государственных дел отдохнуть в своём горном дворце. Уже струились над мангалами вкусные дымы, на углях шипели шашлыки, друзья сенатора снимали московские сюртуки, стелили молитвенные коврики, совершали намаз.

— Ну что, моя милая жёнушка, в дорогу? Тебя ждёт увлекательное странствие. Ты увидишь множество отважных джигитов, не забывших скачки по горным дорогам. Не пугайся, если они начнут стрелять в воздух и кидать ввысь папахи. Так они поступают, когда через сенат проходит очередной законопроект, — Михаил Соломонович осматривал Аллу, как осматривают породистую, готовую к состязаниям кобылицу, любуясь её крепкими постукивающими копытами, гладким шёлковым крупом, страстным выпуклым оком. — Тебе нет равных, моя жёнушка!

— Михаил Соломонович, я пришла сказать, что никуда не еду. Я ухожу.

— У тебя просто дурное настроение, милая жёнушка. Горный воздух имеет веселящее свойство. Дыши глубже, — он посмеивался, привыкнув к её капризам. В капризах, которые она себе позволяла, была её привилегия перед безропотными подругами, собранными в эскорт.

— Я беременна. Я больше не могу работать.

Он знал, это была уловка, маленькая хитрость, которой она хотела его раздосадовать.

— Эка беда! Есть клиенты, которые сходят с ума от беременных женщин.

— Я пришла сказать, что ухожу. Я буду носить ребенка.

Её упрямое, ставшее злым лицо раздражало его. Он представил её старухой. Мясистые щеки, безобразно большая грудь, бесцветные глаза, толстые, страдающие плоскостопием ноги в разношенных туфлях.

— На всяком производстве есть своя техника безопасности. Сварщик работает в рукавицах и маске. Строитель в пластмассовой каске. Атомщик в белом комбинезоне. Космонавт в скафандре. У тебя есть маленький скафандр в блестящем пакетике. Ты не пожелала открыть пакетик. Теперь ступай к доктору Розенкнопфу. И когда это ты умудрилась?

— Этот ребенок от вас, Михаил Соломонович. Когда вы меня били и насиловали, я не успела предохраниться.

Это была скверная новость. Михаил Соломонович хмуро смотрел на Аллу. Её хитрость была женской, животной. Под её кожаным модным жакетом, под красной пряжкой широкого пояса, в дышащем животе таился плод. И это был плод от него. Он проник в её лоно и остался в ней.

«Я остался в ней. Я нахожусь в её лоне. Она проглотила меня. Она меня пожрала!» — Михаил Соломонович пребывал в панике. Он находился в глубине её живота. Она владела им, повелевала, могла угрожать и требовать. И он, находясь в ней, был должен повиноваться.

Об этом зло думал Михаил Соломонович, рассматривая красную пластмассовую пряжку на её животе.

— Тем более, дорогая, иди к Розенкнопфу. Нельзя рожать ребёнка, зачатого под побоями. Родится злодей, истязатель, серийный убийца.

— Родится прекрасный мальчик. Я сделаю всё, чтобы он вырос добрым достойным человеком.

— Послушай, ты мне надоела! Не хочешь работать, пошла вон! Одна Мерлин Монро ушла, другая появилась. Я знаю, как сделать из провинциальной уродки голливудскую звезду. Больше овса, меньше сена. И хлыст, хлыст!

— Я уйду, но вы мне дадите денег, чтобы я и мой мальчик ни в чём не нуждались.

— Что ты сказала? Денег? — Михаил Соломонович захохотал. — А это хочешь? — он показал ей сжатый кулак, ударив себя по предплечью.

— Вы мне дадите денег, иначе я расскажу, к каким персонам вы меня направляли. Вы думаете, я не знаю, кто такой Чулаки? Кто такой Иван Артакович Сюрлёнис? Профессор Лео? Вице-премьер Аполинарьев? Я соберу журналистов, наших и иностранных, и открою им все ваши делишки. Думаете, я не понимаю, что здесь политика, крупная политика. И вам не поздоровится. Вас упекут или даже прикончат. Как бы я хотела, чтобы ваш еврейский нос валялся в стороне от ваших слюнявых еврейских губ!

Михаил Соломонович был сокрушён. Перед ним стояла не проститутка, которую он слепил из комочков провинциальной грязи, одел, обул, дал хлеб, посадил в дорогую машину, поселил в прекрасной квартире, «вывел в свет», где она могла обольстить любого русского дурня, никогда не нюхавшего французских духов. Помимо скотской деревенской любви, не ведавшего «эротических таинств» мексиканских колдуний, тайских жриц, африканских целительниц. Перед Михаилом Соломоновичем стояла русская фашистка. Её раскалённая ненависть копилась поколениями. И он был в её цепкой, жестокой, ненавидящей власти, грозившей ему крушением. Тот таинственный взлёт, который с ним случился, восхождение к Величию, которое угадала в нём средиземноморская ведунья, всё это будет срезано мерзкой девкой. Она завладела его судьбой, поместив под пластмассовую красную пряжу. Туго затянет, чтобы он задохнулся и стал выкидышем. Липким комком с ручонками, слепыми глазами и огромным пупком. Он будет лежать на асфальте в луже крови, и его еврейский нос станет валяться в стороне от слюнявых еврейских губ.

Михаил Соломонович передёрнул затвор, услышав тихий лязг отшлифованной стали.

— Ну, хорошо, я дам тебе денег. Хочу, чтобы ты вырастила доброго достойного парня. Но почему ты одна должна его растить? Ведь это и мой сын! Давай растить вместе. Я мечтал о сыне. Мне тоже осточертела эта подлая работа. Брошу. Уедем из Москвы в глухомань. Ведь ты мечтала! Заживём жизнью достойных людей. Эта мерзкая не людская работа! За неё мне гореть в аду. Вместе будем отмаливать грехи. Я еврей, но приму православие. Одна гадалка нагадала мне, что прах мой будет лежать под иконами. Хочу верить в солнечного Христа. Хочу, чтобы мы втроем, ты, я и сын, шли причащаться, и все говорили: «Какая чудесная православная семья!»

— Ты сказал «семья»?

— Ну конечно! У нас и есть семья. Мы ведь муж и жена. Мы обручимся. Ты хотела, чтобы мы обручились на Северном полюсе. Чтобы была сахарная солнечная льдина, на ней стол, полный яств, букет красных роз, и я надеваю на твой чудесный палец золотое кольцо, и оно ослепительно горит в лучах полярного солнца.

— Ты не шутишь? Мы отправимся на Северный полюс и там обручимся?

— Сегодня же зафрахтую ледокол!

Алла счастливо рыдала. Михаил Соломонович целовал её чудесные, с ярким маникюром, пальцы, воображал, как наденет обручальное кольцо.

Он связался с морским судоходством и узнал, что несколько ледоколов курсируют по Северному морскому пути. Один в Охотском море, два в море Лаптевых, и один пришвартован на Ямале. Не без труда он вышел на связь с капитаном ледокола «Нерпа», посулил полмиллиона долларов за путешествие к Северному полюсу. Обзавёлся двумя золотыми обручальными кольцами. В гравёрной мастерской на обратной стороне кольца, что наденет Алла, сделал надпись: «Навстречу северной Авроры, звездою севера явись». Наказал Алле взять с собой норковую шубу. Сам запасся ветровкой с волчьим воротником, какую надевает Президент, когда посещает военные корабли. И они с Аллой отправились обручаться на полюс.

Летели самолётом в Салехард, на аэродроме пересели на вертолёт. Тундра в иллюминаторе была изумрудной, красной, шафранной, с чёрными озёрами, которые вдруг вспыхивали солнечными зеркалами. Струились бессчётные реки. На тёмных озёрах, ослепительные, сверкающие, сидели лебеди.

Земля вдруг начинала течь, уплывала, и стадо оленей бежало, пугаясь вертолёта, задирая к небу глазастые головы. Алла восхищалась. Тень и свет бежали по её лицу. Она благодарно улыбалась Михаилу Соломоновичу, и он отвечал ей улыбкой.

На Ямале дуло, местами лежал снег, на кромках озёр оставался лёд. Океан был выпуклый, как синяя линза, лазурный у берега и млечный у горизонта. На рейде, не приближаясь к причалу, стоял ледокол, тяжкий, закопчённый, напоминал деревенский утюг, в который клали угли. С причала Михаил Соломонович связался с капитаном. Ледокол издал грозный приветственный рёв, и скоро катер доставил Аллу и Михаила Соломоновича на борт ледокола. Туда же был доставлен складной столик и стулья, шампанское с бокалами и букет алых роз.

У капитана было лицо, похожее на боксёрскую грушу. Висел свинцовый ком бороды. Трубка, которую он гонял из одного угла рта в другой, стучала о жёлтые зубы. Синие глаза под железными бровями были зоркие, как у капитанов, прозревающих в далях новые земли. Он расстегнул кейс, который положил перед ним Михаил Соломонович, Доллары, наполнявшие кейс, пахнули болотной тиной. Капитан отвёл Михаила Соломоновича и Аллу в каюту.

— Прошлым годом возил одного придурка на полюс. Он воткнул флаг с черепахой, произнёс речь к народам мира и велел возвращаться. «Зачем, говорю, надо было на полюс?» — «Здесь, говорит, такая акустика, что скажи слово, и во всём мире услышат».

Капитан удалился, оставил их в каюте, и скоро затрясло, заурчало, ледокол шевельнул закопчённым бортом и тяжко пошёл в океан.

Они плыли день, и солнце не уходило с неба, приближалось к океану, стелило красную дорогу. Ледокол плыл по зелёным водам, солнце брызгало у чёрного борта, и казалось, ледокол высекал из океана огонь.

Они выходили на палубу и видели кита. Глянцевитая, отекающая ручьями гора поднялась из океана. Кит выпустил солнечный фонтан, плавно ушёл в глубину, утянув за собой двулистник хвоста. Ещё один кит, чёрная, с блесками мокрого солнца туша поднялась из глубин. Они ждали, что взлетит фонтан, похожий на стеклянный букет. Но это оказалась подводная лодка с чёрной рубкой и крылышками. Они видели плывущее в океане бревно. На нём в ряд стояли красноногие чайки с жёлтыми клювами, смотрели все в одну сторону. Было неясно, откуда в открытом океане бревно, быть может, оно было остатком утонувшего корабля. Ночью, когда на краткое время стемнело, они вышли подышать холодным, дующим над океаном ветром и видели, как из океана излетают лучи. Казалось, там сияет подводный город с улицами, фонарями, идёт ночное гулянье. Поднялся туман, признак близких льдов. Из тумана возникла прозрачная женщина, прошла, не касаясь вод.

— Кто эта прекрасная женщина? — спросила Алла, когда они вернулись в каюту.

— Это Богородица, — ответил Михаил Соломонович, обнимая Аллу, и она положила голову ему на грудь.

— Куда она идет?

— На Северный полюс.

— Почему на полюс?

— Она обошла Землю, помогла всем немощным, закрыла глаза умирающим, утешила горюющих и возвращается домой.

— Богородица живёт на полюсе?

— Она живёт в Царствии Небесном. Царствие Небесное граничит с Россией. На Северном полюсе есть лестница, по которой в Россию из Царствия Небесного спускаются святые и праведники. Совершают благие дела в России, возвращаются на полюс и поднимаются по лестнице в Царствие Небесное. На полюсе находятся врата в Царствие Небесное.

— И мы можем подняться в Царствие?

— Не теперь, после смерти.

— Как чудесно, что наш сын, ещё до рождения, окажется у врат в Царствие Небесное. По лестнице спустится святой батюшка Серафим, погладит мой живот, и наш сын, ещё до рождения, примет его благословение. Наш сын вырастет праведником или художником, или мудрецом. Ему будет сниться сон, что к нему подходит старец в золотых одеждах и целует.

Они лежали в каюте. Над океаном светило негасимое солнце, и они плыли в Царствие Небесное.

— Какой ты прекрасный человек, Миша. Столько для меня сделал. Я буду твоей верной женой. Буду ухаживать за тобой. Если заболеешь, вылечу. Мы вырастим нашего сына, состаримся и умрём в один день.

— Так и будет, любимая жёнушка.

На третий день пути появились льдины. Серые, сырые, плыли навстречу ледоколу, окружённые туманом. На одной льдине лежали тюлени. Увидели ледокол и разом упали в воду. Льдины сомкнулись. Ледокол тупым носом колол ледяное поле. Лёд шелестел, хрустел, валился на обе стороны пышными ворохами. За кормой кипела чёрная полынья. Солнце, окружённое красными кольцами, светило над бескрайней белизной, по которой ползла чёрная махина ледокола. Кипящая за винтами вода казалась красной, как вишнёвое варенье.

Воздух от мороза стал звонкий, Каждый вздох порождал звон. Жгло ноздри. Лёд стал толстым, стальным. Ледокол наваливался угрюмой громадой, проламывал толщу. Ледяные ломти с треском раскалывались, отлетали от бортов, ложились громадными осколками с зелёными гранями.

Капитан пришёл в каюту.

— До полюса не дойти. Спаяло насмерть.

— До полюса далеко? — спросила Алла.

— Рукой подать.

— Здесь выгружаемся, — приказал Михаил Соломонович.

Ледокол встал, окружённый льдами. С нижней палубы спустили трап. Матросы сгрузили стол, унесли подальше от ледокола, поставили среди белого поля. Светило солнце, окружённое двумя золотыми кольцами.

— Солнце нас обручает, — Алла счастливо смотрела на солнце, на ледяную, в блеске, равнину.

— Батюшка Серафим несёт нам обручальные кольца, — сказал Михаил Соломонович.

Стол с яствами стоял на бескрайней льдине. На столе красовался букет алых роз. Алла, кутаясь в норковую шубу, смотрела, как Михаил Соломонович открывает шампанское, как хлещет из бутылки струя, наполняет бокалы, проливается на снег.

— Милая жёнушка, — Михаил Соломонович поднял бокал, протягивая к Алле, и та тянула навстречу свой бокал. — Я люблю тебя. Мы обручаемся и венчаемся на Северном полюсе, где земля касается Царствия Небесного. В эту минуту батюшка Серафим касается перстами твоего живота и благословляет нашего сына. Позволь, я надену на твой чудесный палец золотое кольцо.

Михаил Соломонович поставил бокал, откинул ветровку с воротником из волчьего меха, полез в карман куртки.

— Боже мой, где же кольца? — воскликнул он. — Забыл! Забыл в каюте! Ах, голова садовая! Сейчас принесу! — Михаил Соломонович кинулся к ледоколу. Поскользнулся, упал. Добежал до трапа, взлетел на борт. Здесь ждал его капитан, грызя трубку.

— Что прикажете?

— Полный назад!

— Шампанское не допили.

— Она допьёт!

Капитан перебросил трубку из одного угла рта в другой, оскалил жёлтые зубы, приказал старпому:

— Полный назад!

Ледокол зарычал, шевельнулся. Стал откатывать, пятился в полынье. Михаил Соломонович смотрел, как от стола бежит Алла, машет руками. Ледокол удалялся, Алла металась у края льдины. В ослепительных снегах стоял стол с букетом алых роз.

Михаил Соломонович дышал, слыша, как при вздохах звенит ледяной воздух. Ни Аллы, ни стола, ни красных роз не было видно. Белели полярные льды. Чёрная полынья дымилась, и её затягивало тонким льдом.

Глава восьмая

Михаил Соломонович Лемнер провёл детство в пятиэтажном кирпичном доме на Сущевском Валу. Окна дома смотрели на Миусское кладбище, уже закрытое. Чёрный мрамор памятников, колючий блеск оградок. В доме был подвал, куда вело несколько тёмных ступенек. Попадая в подъезд, маленький Миша устремлялся на этажи, торопясь промчаться мимо подвала, ужасаясь его сырого мрака. В подвале обитало мерзкое, липкое. Оно подстерегало Мишу, пучилось, тянуло скользкие щупальца, мерцало множеством жутких глаз. Миша на маленьких ножках взлетал по лестнице, слыша погоню, готовый орать. Клубки слизи мчатся за ним, хотели облепить, всосать, утянуть в смрадную глубину. Страх умерялся, когда на втором этаже он достигал квартиры с табличкой «Блюменфельд». Чудище отставало, возвращалось в подвал, пряталось в липкую темень. Караулило Мишино возвращение.

Ему казалось, что от Миусского кладбища под улицей прорыт ход, соединявший подвал дома с могилами. Мертвецы покидают могилы и приходят в подвал, чтобы утянуть Мишу в свои старые склепы.

Этот ужас длился несколько лет. Тьма подвала преследовала, жалила, впрыскивала яды гниения. Эти яды растекались в крови, оседали на стенках сосудов, рождали кошмарные сны. Когда кошмары кончились, он решился спуститься в подвал. Дверь была заперта, валялось сырое тряпье, пахло плесенью и кошачьей мочой.

Яды, отравившие кровь, иногда давали о себе знать. Его охватывал озноб, колотун, судорога била во все части тела, и он сотрясался, не согреваясь под несколькими одеялами, боясь умереть.

Однажды он испытал подобие детского ужаса, когда учился в университете на филфаке. Изучал пушкинского «Евгения Онегина», читал «сон Татьяны». Его посетил кошмар и бил колотун. «Младая дева» в окружении нечисти напомнила о подвале, набитом мертвецами, которые гнались за ним по лестнице до дверей с табличкой «Блюменфельд». Видимо, Пушкину был ведом этот кошмар. Быть может, этот кошмар и вложил ему в руку дуэльный пистолет.

Миша Лемнер был сыном интеллигентных родителей, смиренно преподававших иностранные языки. С детства свободно говорил по-французски, знал английский, коверкая, изъяснялся по-немецки.

В соседних домах жил его сверстник по фамилии Стуков с редким именем Вавила. «Вава», как его звали дворовые. Его отец работал слесарем в автобусном парке, а мать была уборщицей в магазине. Иногда Михаил и Вава встречались в проходных дворах, и Михаил ловил злой взгляд Вавилы и старался расслышать слова, которые бормотали узкие губы Вавы. Однажды удалось расслышать. Они

встретились у домов на асфальтовой дорожке. В доме шёл ремонт, и валялись разбитые отбойными молотками куски асфальта. Им было трудно разминуться, и Михаил задел Ваву плечом. Тот блеснул круглыми рыжими глазами и сказал: «Жид!» Как моментально собираются в целое рассыпанные детали оружия, так сложились в Михаиле все его мышцы и хрящи и превратились в удар, который он направил в рыжие ненавидящие глаза Вавы. Удар пришёлся в костяное надбровье, Михаил костяшками кулака ощутил твёрдость чужого черепа. Вава ударил его в ухо, и Михаилу показалось, что ухо срезали. Они вертелись на глыбах асфальта, ударяя друг друга. Из окон домов выглядывали люди, кричали: «Бей! Бей!» Они били ногами, хрипели, харкали. Раздирали друг другу куртки. Вава ногтями соскрёб с лица Михаила кожу, и глаза ослепли от крови. Набрякшая, с синей веной, шея Вавы давила ему на лицо, и он рванул её зубами, стараясь перекусить вену. Над ними плясало и жгло слово «Жид», обладавшее чудовищной разрушительной силой. Люди в окнах кричали: «Давай! Давай!» Оба упали, катались. Вавила оседлал Михаила, сверху бил кулаком в лицо, ещё и ещё. Из разбитых губ летели красные брызги, а из глаз огненные длинные искры. Слабея, зная, что его убивают, Михаил собрал для рывка все ослабевшие мускулы, крутанулся, спихнул Ваву, навалился, шаря вокруг рукой. Нащупал кусок асфальта. Видя сквозь кровь голову Вавы с завитком волос на макушке, со всей силы ударил асфальтом. В этом ударе была свистящая беспощадность, желание убить. Ничего, кроме желания убить. Чёрный огрызок асфальта приближался к макушке, и что-то на лету задержало руку, словно кто-то перехватил запястье. Удар оказался слабее смертельного. Было слышно, как зубец асфальта погрузился в кость головы, Вава обмяк, стал рыхлым. В нём опали все бурлящие мышцы. Просипев «Хорош!», Михаил сполз с Вавы, отшвырнул ломоть асфальта. Стоял на коленях над поверженным Вавой, а люди из окон свистели: «Добей! Добей!»

Вспоминая драку, Михаил старался повторить в себе эту свистящую ненависть, летящую не из него, а сквозь него, из тьмы. Это чувство было упоительно, как безумье, было свободой, когда исчезали все препоны, и осталось огненное неодолимое стремленье убить.

Вава с забинтованной головой попадался ему во дворах, но уклонялся от встречи, увиливал в проулок. Скоро и вовсе съехал, и Михаил почти забыл о нём. Но иногда вспоминал жуткое и сладкое освобождение, летящий к голове кусок асфальта, ликующих в окнах людей и чью-то незримую руку, перехватившую запястье.

Их встреча случилась через десять лет, в дешёвом баре. За столиками напивались неопрятные шумные мужики. Женщины с припудренными лицами хохотали, открывая зубы, розовые от помады. Михаил Лемнер, безработный, с пустым бумажником, после неудачного дня забрёл в дешёвый бар и попросил у бармена водки и томатного сока. Рядом, боком, сидел человек в камуфляже, без

погон, уперев в стойку грязный солдатский башмак. Лемнер опустил в стакан с соком нож и лил на лезвие водку из рюмки, наблюдая, как над красной мякотью копится прозрачный слой водки.

— А просто нельзя? Хряп, и хорош!

Рюмка в руке дрогнула, водка пролилась и смешалась с соком. Лемнер зло повернулся и увидел синеватые желваки, узкие стальные губы и рыжие волчьи глаза.

— Вава, ты?

— Михась!

Секунду смотрели один на другого, стараясь вспомнить ярость и ненависть, с какими расстались. Но ярость и ненависть не вспоминались, а вернулись весёлость и лёгкость давнишних лет, когда кружили по дворам, как кружат по тропам молодые лесные звери, и в соседней бане в окне появлялась распаренная розовая женщина, моргала мокрыми глазами, а в тире хлопали духовые винтовки и звякали перевёрнутые мишени, и кладбище, колючее, сухое, вдруг превращалось весной в душистое изумрудное облако, и через дворы каждый раз в одно время проходил высокий старик с усами, опираясь на палку, уходил в одну сторону и не возвращался обратно. Это весёлое время вернулось к обоим, и они ударили друг друга, ладонь о ладонь, и Лемнер почувствовал дружелюбную силу удара.

— Как ты? Что? Откуда?

Вава отвоевал Вторую чеченскую в разведроте. Вываливался из люка подбитой боевой машины. Соскребал с брони красные кишки командира роты. Рыхлил снарядами сёла, вытаскивая из ям пленных с обрубками пальцев. Допрашивал бородачей, втыкая им в зад телефонный провод. Поднимал на вертолёте полевых командиров и выталкивал в открытую дверь, видя, как удаляется чёрная борода и беззвучно орущий рот. Увозил с войны вещевой мешок с медной трофейной вазой и цветную колодку ордена, которая ярко горела на поношенном камуфляже. Лемнер, не сведущий в орденах, не спрашивал за что и какая награда.

— Ни разу не зацепило?

— Ни царапины.

— Ни осколок, ни пуля?

— Только кусок асфальта.

Вава наклонил голову, и Лемнер увидел макушку с завитком волос и вмятину, оставленную ударом асфальта. Оба засмеялись и снова хлопнули по рукам.

— Чем думаешь заняться? — оба пили, поочередно угощая друг друга.

— Не знаю. Может, водилой в такси. Может, к братве подгребу. Зовут.

— Там уж точно башку пробьют. Есть план.

— Говори.

И Лемнер поведал Ваве проект, который созревал в нём во время неудачных коммерческих начинаний. Окончив филфак, не найдя работы, пробовал торговать батарейками, доставлял покупателям пылесосы, лепил глиняные кружки с портретом царя и двуглавым орлом. Поработал официантом в плохеньком ресторане. Послужил ходячей рекламой, таская на себе вывеску с нарисованной женской туфлей. Всё было мелко, временно, безденежно.

Он замыслил стать сутенёром, отлавливать на вокзалах приезжих провинциальных красоток, запускать их в московские подворотни, обеспечивая им защиту, собрав команду из неприкаянных безработных военных. Таким неприкаянным, безработным был Вава.

— Согласен?

— Ну, у тебя еврейская голова!

— Еврейская, не пробитая! — и они в третий раз стукнули кулак о кулак.

Так, в безумные «девяностые» зародилось агентство «Лоск», поставляющее элитных проституток, и частное охранное предприятие «Волк», обслуживающее малый и средний бизнес.

В охранное предприятие «Волк» за услугами обращались мелкие торговые фирмы, держатели складов, хозяева магазинов. Среди них объявился симпатичный торговец краснодарскими яблоками, потомственный кубанский казак Гульченко. Он угощал охранников душистыми краснобокими яблоками. Когда в них вонзались зубы, они вскипали медовым соком. Гульченко выкупил местечко на Даниловском рынке и торговал плодами благодатных кубанских садов. Но торговле наступил конец, когда к Гульченке подошёл азербайджанец Фуат и велел убираться с рынка, где каждое торговое место принадлежало азербайджанским торговцам. Они торговали виноградом, гранатами, апельсинами, ананасами, бананами, арбузами, дынями, а ещё осетрами и сёмгой. Краснобоким кубанским яблокам было среди райских плодов не место. Гульченко пробовал возражать, но Фуат откинул фартук, испачканный кровавым гранатовым соком, и показал нож с костяной узорной ручкой.

— Разрежу тебя, как яблоко, на четыре ровные части!

Это были времена, когда на рынках шла стрельба и гремели взрывы. Гульченке стало горько за казачий род, усмирявший Кавказ. Но в его роду давно уже не махали шашкой и не сшибали пулей абреков. Он отправился в охранное подразделение «Волк» искать защиту.

Лемнер сам отправился на Даниловский рынок, бродил среди прилавков, дивился сказочным райским плодам. Заговаривал с черноусыми белозубыми торговцами, отщипывал сладкую виноградину, клал под язык медовый ломтик дыни. Любовался апельсиновыми пирамидами, полосатыми арбузами с алой хохочущей сердцевиной. Высматривал Фуата. Азербайджанец был с жирными плечами, синими щеками, маслеными волосами и голыми, покрытыми шерстью, руками. В толстых пальцах качались чётки. К нему подходили торговцы,

кланялись, прижимали руки к груди. Фуат раздавал указания, и торговцы смиренно уходили. Яркий пример восточного деспотизма.

Лемнер не стал приближаться к Фуату, послал к нему двух охранников, чтоб те урезонили кавказца.

Лемнеру не сказали, как проходил разговор. Охранников привезли со множеством переломов, с пробитыми головами и следами ранений, нанесённых ножом с костяной узорной ручкой.

Лемнер приказал начштаба Ваве собирать подразделение «Волк». Они негромко пропели гимн со словами «У каждой пули есть своя улыбка» и «Несу на блюде голову врага». На трёх машинах приехали на Даниловский рынок. Двинулись сквозь ряды к закутку, где обосновался Фуат. По пути опрокидывали горы апельсинов, расшвыривали ананасы, пинали арбузы, которые взрывались от ударов красной мякотью. Лемнер крушил неистово, испытывая хмельное веселье. Видел, как комья красной икры липнут к испуганным лицам торговцев, как валится гора персиков, как чавкает под ногами фиолетовый виноград. Это было восхитительное, неудержимое побоище. Хотелось крушить рынок, окрестные дома, город, весь мир, готовый разлететься вдребезги, как перезрелый арбуз.

Фуат сидел в закутке и пил из пиалки чай, хватал пальцами сладкие орешки. Когда Лемнер всаживал пулю в его синие щёки и полезшие на лоб глаза, тот всё ещё жевал орешек и нёс к губам восточную пиалку.

Погром был молниеносный, возмездие праведное. Честь подразделения «Волк» восстановлена. Уходя с рынка, охранники отыскали уцелевшее блюдо, положили на него отсечённую баранью голову и поставили на толстый живот Фуата.

Через день состоялось шествие азербайджанцев, торговавших на московских рынках. Тёмная толпа, шаркая тысячью ног, валила по Садовой. Несли на кушетке тело убитого Фуата. Его живот выступал под белой пеленой. Азербайджанцы выкрикивали угрозы, требовали расправы над русскими фашистами. Лемнер и Вава сидели в кафе, на открытой веранде, пили лёгкое французское вино, созерцая мутное шествие.

Погром на Даниловском рынке и резня в Свиристелово были для Лемнера драгоценным опытом боевых операций. Теперь, обладая этим опытом, в новые времена, он действовал столь же решительно и жестоко.

Совершив ледокольный поход на Северный полюс, оставив на льдине Аллу с букетом красных роз, Лемнер обратился к охранному предприятию «Волк». Он приехал в офис по срочному вызову своего заместителя Вавы, «начальника штаба», и беседовал с ним в кабинете. На стене красовались наглядные пособиями, пояснявшие устройство американской винтовки М-16, израильского пулемёта «Галиль», немецкого танка «Леопард». Таковы были интересы Вавы, разброс которых вызывал у Лемнера уважение.

Вавила был в модной кожаной куртке, джинсах, с золотым браслетом на запястье. От него пахло дорогим одеколоном. В нём присутствовала молодцеватость и изящество профессионала, чувствующего красоту и осмысленность работы. Не осталось синеватых желваков, искусанных губ, натёртого железом лица. Оставались глаза, рыжие, волчьи, с жадным блеском ненасытного хищника.

— Что звал?

— Тут такое дело, командир, нарисовалось стрёмное. Нужно решение.

— Сам не можешь решить?

— Стрёмное, говорю.

— Излагай.

— Докладываю.

Вава кратко, по-военному, излагал. В офис явился завскладом древесных изделий. Положил ридикюль со ста тысячами долларов. Просил взять под охрану склад. Прежняя охрана снялась и ушла. Поступил сигнал, что ночью готовится нападение. Хозяин просит взять склад под защиту. Платит сразу.

— Завскладом здесь?

— В коридоре.

— Зови.

Завскладом был кругленький человек. похожий на шарик для игры в пинг-понг. Целлулоидная лысинка, масленые лампадки глаз, пирожок подбородка. На пухлых пальчиках перстень. В кулачке кожаный ридикюль. Лиловый шёлковый шарф лежал на плечах элегантно, как у директора «Эрмитажа».

— Что можем сделать для вас? — Лемнер был любезен, заметив испуг человека.

— Понимаете, господин Лемнер, охрана склада была полностью обеспечена. Фронтовики, как говорится, с военным опытом. Платили им регулярно, сверх таксы. А тут вдруг снялись и ушли. Мы им говорим: «Останьтесь! Есть договор!» Ни в какую! Их командир отозвал меня: «Мы вам, Аркадий Францевич, благодарны. Но дело такое, что мы уходим». — «Да в чём вопрос?» — «Скажу по секрету, потому что уважаю. К вам ночью такие люди придут, что или мы их пропустим, или от нас фарш останется». И ушли. К вам обращаюсь, господин Лемнер. Услугу оплатим, — завскладом поставил на стол ридикюль, щёлкнул запором, и пахнуло тиной болот. Ридикюль был полон долларов.

— Что на складе?

— Древесина. Вагонка, фанера, мебель, кухни, паркет.

— Зачем всё это брать с боем? Может, кухни из африканских пород? Красное дерево, баобаб, эвкалипт?

— Да нет! — завскладом нервно оглаживал ниспадавший по плечам лиловый шарф. — Береза, сосна, ясень!

— Кто хозяин склада?

— Вы слышали. Известная фирма «Орион», русский партнер «Икеи».

— Ну что, начштаба, берёмся? — Лемнер обратился к Ваве.

— Из уважения к «Икее».

— Тогда поезжай с завскладом на местность. Осмотри объект. Вернёшься, доложишь. Выезжаем на четырёх машинах.

— Большие стволы берём?

— Большие деньги, большие стволы.

Лемнер кинул ридикюль в сейф. Человечек с перстнем радостно гладил шёлковый шарф.

Глава девятая

Четыре машины, набитые охранниками из подразделения «Волк», шли по Ново-Рижскому шоссе среди синих вечерних лесов. «Волки», как звал их Лемнер, были в одинаковых тёмных куртках. Под мышками бугрились пистолеты. У ног лежали «калаши». Лемнер держал автомат, ещё пахнущий смазкой, добытый у вороватого прапорщика на ружейном складе. На боку висела кобура с пистолетом. К плечу прилепилась рация. В кармане торчала граната.

Машины ушли с шоссе и катили по асфальту к длинному, прямоугольному, как брусок, зданию склада. В сумерках на чёрном фасаде горела красная надпись «Орион». Тянулась изгородь с колючей проволокой. За складом стоял лес, деревья чернели на лимонной заре.

У шлагбаума их встретил завскладом.

— Спасибо! Ай, спасибо! Да поможет нам Бог! — он крестился пухлыми пальчиками, ударяя перстнем в лоб. Не довершив крёстного знамения, побежал открывать шлагбаум. Тут же, с колёс, бойцы охраны рассыпались по территории, занимали позиции. Лемнер наблюдал, как расторопно и умно Вава выстраивает оборону. Помещает бойцов за грудой деревянных ящиков, за цистерной с надписью «Орион», с двух углов склада. Группу «волков» вывел с территории и посадил в придорожных кустах. Отдавая команды, он скашивал голову к рации, и казалось, он целует себя в плечо.

Лемнер присел на ступеньку сторожевой будки у шлагбаума, но Вава его прогнал.

— Сел на линии огня! Ещё на лбу мишень нарисуй! Ступай к «колючке», за бетонный столб. И прижмись!

Лемнер примостился на деревянной катушке с остатками кабеля. Кривой, похожий на виселицу столб наклонился над ним. Чуть мерцали витки «спирали Бруно». Над складом, окружённая лёгким заревом, краснела надпись «Орион». Лес чернел на меркнущей ночной синеве. В стороне текла и дрожала огненная трасса. Огонь пульсировал в световоде, его брызги летели в поля. Лемнер держал на коленях автомат, готовясь вскинуть и бить по атакующей цепи. Но атаки не было. Пахло холодной травой, пульсировала далёкая трасса. Лемнер рассеянно думал, что хорошо бы увеличить численность подразделения «Волк» и разжиться бронемашинами и гранатомётами, которые предлагал ему вороватый прапорщик. Он представил, что в этот час, под негасимым полярным солнцем, сверкает огромная льдина. Краснеет букет стылых роз. На стуле в норковой шубе сидит Алла. На её твердом, как белый мрамор, лице краснеет помада. В раскрытых глазах синий лёд. Она прижала к животу пальцы с ярким

маникюром, и под пальцами в животе красной льдинкой застыл плод. Его нерождённый сын.

Лемнер увидел, как с трассы скатилось несколько огней, потекли, приближаясь. Глазасто надвинулись. Три пары фар брызнули, освещая будку, шлагбаум. Погасли. Лемнер слышал, как хлопали дверцы машин. Из черноты зазвенел металлический голос:

— Открыть шлагбаум! Повторяю, открыть шлагбаум!

— Кто такие? Пропуск на въезд! — Вава не был виден, но Лемнер узнал его голос.

— А на тот свет пропуск не хочешь? Главного ко мне!

— Ты кто такой бугор явился? Пропуск, или уматывай!

— Три минуты на размышление! Время пошло! — прозвенел мегафон.

Лемнер чувствовал, как распадаются молекулы воздуха. Секунды текли. В темноте шёл лавинообразный распад молекул.

Стукнуло. Озарилось лицо. Полетел комочек огня, впился в будку. Ахнуло, расшвыряло взрывом. Полыхнули в черноту горящие обломки, и темнота загремела, расцвела множеством дрожащих цветков. Красные иглы окружили Лемнера, искали. Он вжался в столб, хотел втиснуться, стать столбом, превратиться в бетон. Вокруг чертило воздух, пули звенели и отскакивали от металла, с хрустом входили в деревянную катушку.

— Заходим! — звенел мегафон.

«Волки» огрызались. Автоматы били из-за углов склада. Дульные лепестки трепетали по всей территории.

Лемнер видел, как мимо горящей будки бегут люди, на полусогнутых, и на их автоматах загораются алые лепестки. Страх схлынул.

Его окружал бой. Он был в центре боя. Был захвачен боем. Он искал место, чтобы не попасть под пули. Отскакивал, и там, где только что находился, пули дырявили ящики, секли бетон. В нём открылось ясновидение. Он схватывал моментальный чертёж боя, его биссектрисы, углы, ломаные линии. Они менялись, пропадали, возникали в новом месте. Он бежал, отпрыгивал, перескакивал преграды, и бил из автомата по мелькавшим теням, в красные розочки на дулах чужих автоматов.

— Мерси, мадам! — кричал он, меняя рожок. — Бонжур, месье! — выкрикивал нелепо по-французски.

Это было упоение, восторг, дивная свобода, в которой исчезала плоть и сотворялся неистовый дух, счастливая дикая страсть.

— Силь ву пле, мадам!

Он увидел человека, его жутко блеснувшие глаза, ладони с растопыренными пальцами, которыми он хотел оттолкнуть Лемнера. И в эти пустые, без автомата, ладони, в жуткие, с огромными белками, глаза Лемнер всадил

очередь. Когда дуло задиралось вверх, он возвращал его к этим глазам, продолжал стрелять в упавшего, пока не опустел магазин.

На него налетал другой, ещё не стрелял, но уже поднимал ствол. Лемнер выронил автомат, защищался пустыми ладонями, чувствуя, как лопаются перед смертью глаза. Автоматчик ударил, но трасса пошла выше. Он задирал автомат, стрелял в небо, пока не упал. Возник Вава. Держал автомат стволом вниз. Вокруг горели остатки будки.

— Живой?

— Благодаря тебе.

— Себя благодари, что не убил меня куском асфальта.

Бой завершился. Нападавшие волокли к машинам убитых и раненых. Три пары фар брызнули, развернулись, и машины укатили, светя рубиновыми габаритами. Кто-то из «волков» пустил им вслед ненужную очередь.

Заморгали фонарики. «Волки» прибирались на месте боя. Один охранник был «двухсотый», лежал в позе дискобола, заведя руку за спину, подняв колено в прыжке. Двое «трёхсотых» сидели на ящиках. Одному бинтовали голое плечо, и он матерился. Другому лепили марлю на щёку, пуля сорвала половину носа. Он сипел, харкал кровью.

Лемнер отыскал того, кого убил. Фонарик осветил блестящий комбинезон, в каком ныряют аквалангисты. Руки были в белых перчатках. Глаза открыты, и в них свет фонаря. Изо рта торчал язык. Казалось, он показывает язык Лемнеру, как это сделал Эйнштейн фотографу. Лемнер показал язык мертвецу. Наклонился и потянул за ухо. Ухо было теплое.

Вава ходил в стороне за шлагбаумом, светил фонариком. Лемнер видел, как шарит по земле фонарик. Фонарик остановился, и раздался выстрел.

Вава вернулся, и Лемнер его спросил:

— Зачем стрелял?

— Чтоб не мучился. Бонжур, мадам!

Расхаживал среди «волков», раздавал приказания. Трёх убитых в комбинезонах распорядился, пока темно, отвезти в лес и закопать.

Лемнер присел на ящик. Хотел вспомнить то упоительное опьянение, когда в нём исчезла плоть, материя превратилась в энергию, и он стал духом, несущим смерть, не ведающим смерти.

Глава десятая

Появился завскладом Аркадий Францевич. Трепещущий, он подскакивал на одной ножке. Во время боя он прятался в норке. Стихло, он выглянул, не увидел опасности, вылез целиком и теперь благодарил Лемнера, хватал его руку обеими пухлыми ладошками.

— Это было великолепно! Как мы их разгромили! Как они нас испугались! Ах, если бы у меня был автомат!

— Доложите хозяину, что объект взят под охрану.

— Да он едет сюда! Вон его машина!

От трассы к складу плыли фары. Миновали тлеющую будку, хрустально брызнули, встали. Два тяжёловесных внедорожника гасили фары. Телохранители из передней машины гурьбой обступили вторую, тучные великаны с маленькими головами. «Волки», не остывшие от боя, хмуро смотрели на их чёрные пиджаки и белые сорочки с одинаковыми тёмными галстуками. В машине отворилась дверь, показалась нога в начищенной туфле, рука с бледными пальцами. Из машины поднялся Анатолий Ефремович Чулаки, с рыжей, небрежно стриженной головой, курносым надменным носом и множеством веснушек, насыпанных на лицо, как мак на бублик.

Лемнер был поражён. Таинственный завиток судьбы соединял Лемнера, Чулаки, Светоча, Ивана Артаковича и Аллу, сидевшую на льдине, как застывшая кукла. Каким образом их всех захватил завиток судьбы, было неясно, но это сулило множество предстоящих событий. События толпились в будущем, торопились стать настоящим.

— Анатолий Ефремович, позвольте представить героя Михаила Соломонович Лемнера. Поверьте, мы отважно сражались. Враг не прорвался. «Ни шагу назад!» Таков был наш девиз, — Аркадий Францевич попытался выгнуть грудь колесом, но мешал животик.

— Вы, Аркадий Францевич, вечно стремитесь в самое пекло. Но ваш шёлковый шарф выдает в вас не головореза, а эстета, — Чулаки мягко укорил Аркадия Францевича за неуместное молодечество.

Слово «головорез» относилось к Лемнеру, но тот не обиделся. Вспомнил, как голый Чулаки в ошейнике ползал на четвереньках, поднял ножку и помочился на спинку кровати.

— Склад не пострадал? Я просил, чтобы не было стрельбы. У нас в России слишком много болванов, умеющих стрелять, и мало ценителей прекрасного, будь то мысль, картина или бокал итальянского вина.

— Всё в порядке, Анатолий Ефремович. Я грудью заслонял территорию от стрелков.

Слово «болван» относилось к Лемнеру, но и на этот раз он не обиделся. Вспомнил, как Алла оседлала Чулаки, била по рёбрам пятками, а тот сладко повизгивал.

— Не сочтите меня неблагодарным, — Чулаки повернулся к Лемнеру. — У вас лицо интеллигентного человека, и вы поймёте, какие ценности сберегли для России.

Лемнер представился.

Аркадий Францевич поспешил к воротам склада, пошарил на животе и достал электронный ключ. Ворота мягко растворились. Чулаки, а за ним и Лемнер, шагнули в тёмное помещение склада.

— Одну секундочку, Анатолий Ефремович, сейчас зажгу свет, — торопился Аркадий Францевич.

Свет вспыхнул, и Лемнер ахнул. Распахнулся огромный сияющий зал, полы с драгоценным паркетом, солнечные хрустальные люстры. По стенам в золочёных рамах висели картины. Лики, нимбы, ангельские крылья, библейские бороды, дивные женщины, грозные воины. Лики струились, переливались из картины в картину, из одной золотой чаши в другую, как дивные видения.

— Что это? — изумлённый Лемнер, не снимавший с плеча автомат, водил глазами по великолепным картинам. Оружие, недавно стрелявшее, казалось неуместным, кощунственным среди этой красоты. Лемнер оставил автомат у дверей.

— Аркадий Францевич, познакомьте господина Лемнера с собранием картин, — приказал Чулаки.

Аркадий Францевич, толстенький пугливый завскладом, преобразился. Статный, изысканный, с бледным породистым лицом, с шёлковым лиловым шарфом, двумя лентами лежащим на плечах, теперь он походил на известного петербуржца, директора «Эрмитажа». Да он и был им, с жестами чародея и жреца.

— Здесь находятся картины из личной коллекции Анатолия Ефремовича, — Аркадий Францевич широким жестом приглашал Лемнера любоваться. — Это «Спящая Венера» Джорджоне. А это «Весна» Боттичелли. Рядом «Девушка с горностаем» Рафаэля. За ней «Динарий кесаря» Тициана. Ну, а здесь, я думаю, вы узнаете, картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Лемнер плохо знал живопись, но умел её ценить. Это были мировые шедевры, хотя по-настоящему ему нравилась единственная картина, та, что висела у него дома, «Пшеничное поле возле Оверна». Но эти картины ослепили его своей царственностью. Их создавали гении, которые являлись на Землю из иного мира. Сотворяли свои шедевры и возвращались на свою небесную родину.

— Перейдём в другой зал, — приглашал Аркадий Францевич. — Вы только что видели итальянцев, а здесь испанцы и голландцы. Это «Сдача Бреды» Веласкеса. Рядом «Маха раздетая» Гойи. Это две картины Эль Греко. Но а это

«Слепцы» Брейгеля. Как это напоминает наших сегодняшних вождей с бельмами на глазах, ведущих слепой народ в пропасть!

Лемнеру казалось, что он видел эти картины, путешествуя по Европе. Они висели в знаменитых музеях мира. В итальянском Уффици, в Лувре, в мадридском Прадо. Но это собрание превосходило все мировые коллекции. Меценатом, собравшим шедевры, готовым передать их России, был Анатолий Ефремович Чулаки. Виляя голым задом, он бежал на четвереньках, неся в зубах туфлю проститутки Аллы. Теперь, созерцая коллекцию, Лемнер прощал Чулаки излишнюю эксцентричность, объясняя её свойственной коллекционерам увлечённостью.

Одни залы следовали за другими. В них был светящийся воздух храмов, торжественность и праздничность дворцов. Угрюмый чёрный брусок склада с унылой надписью «Орион» оказался дивным чертогом. Человечество, в лице Анатолия Ефремовича Чулаки, поместило в чертог свои духовные достижения, и Лемнеру, как подлинно русскому человеку, было лестно, что сокровища разместились в России на пятнадцатом километре Ново-Рижского шоссе.

Они шли по залам. «Даная» Рембрандта соседствовала с Босхом, с его «Садом земных наслаждений». А дивная «Шоколадница» Вермеера сияла рядом с «Распятием» Грюневальда.

И невероятным, феерическим казался зал импрессионистов. Райские острова Гогена, мистическое небо Ван Гога, голубые балерины Дега.

— А это «Герника» несравненного Пикассо!

Они остановились перед картиной. В клубках и кровавых кляксах, среди оскаленных пастей и изуродованных тел клубилась разноцветная липкая тьма. Глядя на картину, Лемнер замер. Она была из детских кошмаров, когда он вбегал в подъезд и мчался мимо подвала, а за ним гнался липкий ужас, пытался его схватить, затянуть в свой клубящийся ад. Он с криком летел по лестнице, слыша погоню, пока ни возникала спасительная дверь с табличкой «Блюменфельд». Теперь этот ужас вернулся. «Герника» вышла из давнишнего подвала. В том подвале сидел Пикассо. Его изуродованное бредом лицо явилось однажды Лемнеру в рюмочной на углу Палихи и Тихвинской улицы.

Он почувствовал, как начинается озноб. Проснулись старинные яды, разлились по крови. Его бил колотун. Лемнер стоял, сотрясаясь, перед «Герникой», а Чулаки, не замечая его конвульсий, пояснял:

— Президент Троевидов хочет развязать войну с Украиной. Думает, что это будет парад на Крещатике, и он помолится в Святой Софии Киевской. Но он не знает, что эта война превратится в ужасную бойню. В ней погибнет Украина, Россия, вся Европа. Минотавр войны придёт в Кремль и насадит Президента на свой витой рог. Этим минотавром буду я. Я его сокрушу. Он губит дело моей жизни. Но я раскрыл тайну «мнимого числа». Я извлёк корень квадратный из минус единицы и вычислил нахождение России Мнимой. Хочу заменить

отвратительную русскую подлинность восхитительной русской мнимостью. Осуществить Великий Переход и избавить мир от России Президента Троевидова. Чтобы мир обрёл, наконец, покой. Хочу избавить мир от России, а Россию от себя самой, чтобы и она обрела, наконец, покой. Я создал Вероучение Мнимой России. Создал церковь, исповедующую это вероучение. Собрал апостолов, несущих вероучение в народ. Разработал магические практики, позволяющие найти коридор из России Подлинной в Россию Мнимую и осуществить Великий Переход. И пусть эти практики покажутся излишне брутальными, как казались брутальными кровавые операции скопцов или развратные оргии Распутина с фрейлинами Двора. Вы, господин Лемнер, сподобились узреть эти шедевры и тем самым приобщились к церкви России Мнимой. Я сведу вас с нашей весталкой Аллой. Она познакомит вас с мистическими практиками Великого Перехода. Она примет вас в своей жреческой молельне на Патриарших прудах.

Чулаки видел, как сотрясает Лемнера колотун. Полагал, что так действует вероучение России Мнимой, которое Лемнер начал постигать.

Откровения Чулаки казались болезненной выдумкой. Лемнер был чужд мистических теорий о России Мнимой. Он был не чужд проституток, денег, грубых парней с пистолетами под мышкой, злых забав, вкусных вин. Но в нём таилась нераскрытая сущность, тяготевшая к больным фантазиям, тёмным верованиям, невнятным предсказаниям. «Корень квадратный из минус единицы» пленял воображение, как розовая морская раковина с таинственным моллюском. Этим моллюском была Россия, непостижимая, сокровенная, потусторонняя, постичь которую можно только в безумии.

Понемногу колотун унялся. «Герника» была по-прежнему ужасающей. Но теперь она погрузилась в Лемнера. Это была картина его духовного мира. Он был автор этой картины, был Пикассо.

— Вы готовы вступить в церковь Великого Перехода? — вопрошал Чулаки.

— Готов, — пролепетал Лемнер. — Хочу пополнить коллекцию полотном Винсента Ван Гога «Пшеничное поле возле Оверна».

Розовая раковина растворила свой зев, мерцала влажная, нежная плоть, созревала жемчужина.

— Принимаю ваш дар, брат Лемнер, — Чулаки милостиво кивнул.

Они прошли череду залов и оказались в небольшой уютной гостиной. Здесь стояли кресла, диван. Золото, красное дерево, малиновая парча, шитая серебряными королевскими лилиями. Любезный Аркадий Францевич угощал чаем.

— Я слышал о шедевре Ван Гога «Пшеничное поле возле Оверна». Чудесно, что он пополнит нашу коллекцию, — Аркадий Францевич наклонял над пиалкой Лемнера чайник с китайским узором. В его тёмном бархатном сюртуке заверещал телефон. Аркадий Францевич стал слушать, кивать.

— Анатолий Ефремович, приехали апостолы. Прикажете звать?

— Зовите.

Лемнер чувствовал, как толпившиеся в будущем события надвигаются, становясь настоящим. Дверь гостиной раскрылась, и вошли апостолы. То были вице-премьер Аполинарьев, ректор Высшей школы экономики Лео, режиссёр Серебряковский, публицист Формер.

Лемнер чувствовал, как плотно сжимается завиток истории, захвативший их всех одной петлёй. В этом захвате был тайный умысел. Он случился не сейчас, не вчера, а гораздо раньше, быть может, в детстве, когда из подвала кидалась на него неистовая «Герника», и он спасался у квартиры с биркой «Блюменфельд». Позднее он заглянул в рюмочную на углу Палихи и Тихвинской и заметил среди пьющих мужиков красную ошпаренную рожу пропойцы, свирепо бьющего о стол сушёной воблой. Этим краснорожим мужиком был Пабло Пикассо.

Мнимое число было вывернутой наизнанку перчаткой. В розовой раковине мерцала нежная чуткая плоть. «Корень квадратный из минус единицы» был «Вавилонской башней Брейгеля», опрокинутой в центр Земли.

— Братья, знакомьтесь, Михаил Соломонович Лемнер. Спас наше хранилище от налётчиков Светоча. Рисковал жизнью. Я посвятил его в вероучение России Мнимой, и он готов к Великому Переходу.

Лемнер поочередно жал руки апостолам, вспоминая, как один, голый, в зелёной тине, кидался в тростники. Другой ввинчивал себе в глазницу раскалённый болт, сидя в кипящем масле. Третий из набухших сосцов метал в подойник звонкие млечные струйки. Четвёртый залез в табуретку, выставил грозный кулак, читал второй том «Капитала».

Сидели в креслах, пили из восточных пиалок душистый чай. Лемнер делал маленькие глотки, опасаясь, что в пиалки налит настой лесных колокольчиков.

— Должен сообщить, братья. Приказ о начале войны с Украиной лежит на столе Президента. Троевидов подпишет его, как только Марс встанет напротив Нептуна, а Венера уйдет за Плутон. Так нагадала известная вам гадалка, — вице-премьер Аполинарьев пальцем водил по потолку, словно чертил орбиты планет и звёздные пути. Оставшись наедине с проституткой Аллой, он изображал корову. Он был по-коровьему губаст, уши, покрытые шерстью, шевелились, бёдра казались непомерно широки, в штанах колыхалось тяжёлое вымя. Он то и дело дергал крупом, словно бил себя по бокам хвостом. Так поступает корова, когда на неё садится слепень. — Ещё сообщаю, братья, что приобрёл для нашей галереи картину Рафаэля «Сикстинская мадонна». Храню в надежном месте. Пусть меня пытают ищейки Троевидова, я не открою им этого места.

— Пора устранить Троевидова. Друзья из Англии торопят. Предлагают прислать беспилотник-невидимку, если мы точно укажем местонахождение

Президента. Но он постоянно меняет дислокацию. К тому же множатся двойники, — ректор Высшей школы экономики Лео сжимал губы дудочкой. Лемнер помнил, как Алла учила его дышать из пруда в камышовую трубочку. — Сообщаю, братья. Я добыл картину Боттичелли «Рождение Афродиты». Она в надёжном месте. Пусть ищейки Троевидова выкалывают мне глаза, я не укажу им этого места.

— Братья, физическое устранение Троевидова исключает суд над ним. А нам нужен процесс. Нужен Суд Народов. Будем возить Троевидова в клетке по городам Европы. Я берусь устроить из этого грандиозный спектакль. О, великий Данте, ты подсказал мне сюжет! — режиссёр Серебряковский захохотал сатанинским смехом, каким смеялся, когда Алла вонзала ему в лоб свой отточенный каблук. — Сообщаю, братья, что картина Рембрандта «Ночной дозор» находится в секретном месте. Пусть пытают меня палачи Троевидова. Мученья мне в радость. Они не найдут картину.

— Братья, пора сообщить другим нашим братьям день Великого Перехода. Наши сторонники в Государственной думе и Совете Федерации, в армии и спецслужбах, среди дипломатов и профессуры, писателей и артистов, в церкви и правительстве — все они хотят знать день Великого Перехода, — публицист Формер не удержался и изобразил «Девушку с веслом», причём столь правдоподобно, что у него появилась женская грудь и великолепное тугое бедро. — Хочу обрадовать вас, братья. Картина бесподобного Ренуара «Мадам Самари» мною хранится в тайнике. Туда не доберутся следопыты Троевидова. Пусть насадят меня на весло!

Лемнер понимал, что перед ним члены тайного ордена, братья масонской ложи. Он принят в их круг, посвящён в вероучение Мнимой России. Ему откроется тайна числа «Корень квадратный из минус единицы», и распахнутся врата в Россию Мнимую, где его ждёт неизречённое бытие, и нет смерти.

Он оказался на пересечении трёх огненных линий. Его приблизили к себе три самые влиятельные в государстве персоны. Светоч, Иван Артакович Сюрлёнис и Анатолий Ефремович Чулаки. Все враждовали друг с другом. Все были тяжёлыми жерновами Русской истории, которая не уставала молоть. На эту русскую мельницу залетело горчичное семя, взращённое в пустыне Негов, он, Михаил Соломонович Лемнер. Эти жернова перетрут его в пыль, и сквозняк Русской истории разнесёт пыль по полям, заросшим борщевиком русской смуты.

— Я выслушал вас, братья, и должен заметить, вы изрядно потрудились во имя России Мнимой, — Чулаки благосклонно кивнул, и его похвала была любезна собратьям. — Картины, которые вы обрели, ждут часа, чтобы пополнить наше собрание, перед тем как мы переправим его в Россию Мнимую. Хочу пояснить нашему новому брату Лемнеру. Авторы картин — Боттичелли, Рафаэль, Брейгель, Дега — всё это русские художники, обитающие в России Мнимой. Там они носят простые русские фамилии. Мы с вами, когда

перенесёмся в Россию Мнимую, обретём простые русские фамилии, Ивановы, Петровы, Сидоровы. — Чулаки провёл ладонью по своим веснушкам, словно менял лицо. Но оно осталось прежним, для многих в России отвратительным. — Теперь о главном, братья. Близится час Великого Перехода. Предстоит смертельная схватка. Троевидов бросит на нас всю мощь своей армии и силовых структур. Чем мы ему ответим? Прелестными ножками балерин Дега? Копьями картины «Падение Бреды»? Или омарами и камбалами с картин «малых голландцев»? Нам нужна своя армия. И мы её создадим, — Чулаки повернулся к Лемнеру. — Вы, брат Лемнер, прекрасный воин. Вы это доказали сегодня. Заслуживаете большего, чем охранять магазинчики мелких жуликов или предприятия удачливых воров. Я отправлю вас в Африку. Там я владею урановыми рудниками, золотыми приисками и алмазными копями. Вы возьмёте их под охрану. Для этого вам нужна армия. Мы поможем её создать. У вас будут отличные солдаты, первоклассные броневики и танки, вертолёты и системы космической связи. Вы обкатаете армию в Африке. Там кипят военные перевороты, бесчинствуют французы. А когда поступит приказ, приведёте армию в Россию. Она обеспечит переход в Россию Мнимую. Брат Лемнер, вы не боитесь Африки?

Мысли Лемнера метались, как искры между электродами. Ему была предсказана Африка, как предсказан Северный полюс. Он не был хозяином своей судьбы. Его судьбой управляли. Управляла колдунья с прекрасным средиземноморским лицом. Её колдовские глаза были обольстительны и вдруг становились недвижными глазами осьминога, всплывшего из глубин.

— Вы не боитесь Африки, брат Лемнер?

— Не боюсь, — пробормотал Лемнер. — Раньше русские шли в Африку с Карлом Марксом, а теперь мы пойдём с Пушкиным. Африка привела Пушкина в Россию, а Пушкин приведёт Россию в Африку.

— Как глубоко! Так пусть же ваша африканская армия именуется «Пушкин». А вы, брат Лемнер, станете «пушкинистом»! — Чулаки засмеялся, затряс щёками, и все веснушки осыпались. Подал знак. Апостолы снялись с кресел и покинули галерею.

Склад был чёрный, как угрюмый брусок. Уныло светила надпись «Орион». Чулаки и апостолы погрузились в машины. Брызгая фарами, машины ушли к шоссе и утонули в световоде огней. Над чёрным лесом занималась заря.

К Лемнеру подошёл Вава.

— Что за бакланы? — кивнул вслед исчезнувшим машинам.

— Вава, ты знаешь, где Африка?

— Оттуда приезжают в Россию чёрные проститутки с козьими сосками и курчавыми лобками до плеч.

— Обзаводись тропической формой и купи панаму.

— Понял, командир.

Глава одиннадцатая

Африка дохнула парилкой, эвкалиптовым веником, обожгла затуманенным солнцем, ослепила фиолетовыми цветами огромного дерева, в котором бушевал жаркий ветер, и глаза слезились от едкой пыльцы. Лемнер смотрел, как садятся на бетон ревущие транспорты, опускаются аппарели, выкатываются длинные, как ящерицы, бэтээры, осторожно щупают колесами африканскую землю и катят, растекаясь по аэродрому, нацелив пулемёты на мутные, горчичные холмы.

Тусклый блеск алюминия на брюхатых самолётах. Масленое солнце на стволах пулемётов. Огромная вялая птица пролетела над Лемнером, осмотрев ненавидящим взглядом. Такой он увидел Африку, и она ему полюбилась.

Его встретил Вава. Оба были в пятнистой, с короткими рукавами, форме, в панамах с мятыми полями. Начштаба тут же, под свист турбин, докладывал обстановку.

— Аэродром Банги блокирован. Подъезды к Президентскому дворцу под контролем. Французы не дергаются. Их самолёт из Дакара подошёл к Банги, увидел, что обломилось, и повернул. Тебя в аэропорту ждёт этот чёрный малый Мкомбо. К вечеру мечтает стать президентом. Могу отправить обратно в джунгли. Пойдёшь говорить?

— С французами в бой не вступать. Штурмуем дворец с колес. Ты, Вава, не наглей. Ты, «гордый внук славян», принёс народу Африки свободу и «долго будешь тем любезен ты народу». А потом тебя тихонечко закопают в красную африканскую землю. Ты меня понял, Вава?

— Понял, командир.

Мимо катил бэтээр. На серой броне белой краской был начертан профиль Пушкина, такой, каким Пушкин рисовал себя на полях рукописи «Евгений Онегин».

В здании аэропорта со следами короткого боя, на диване с распоротой пулями спинкой сидел лидер повстанцев Мкомбо. Он ждал, когда начнётся штурм Президентского дворца, из дымящего здания выведут свергнутого президента Блумбо, и в его золочёный кабинет сядет Мкомбо, получив страну, полную урана, золота и алмазов.

— Месье Мкомбо, — Лемнер по-французски приветствовал молодого африканца с тонким шрамом на глянцевитой щеке. — Надеюсь, вы не испытываете неудобств?

Мкомбо протянул тонкую кисть с длинными, как лепестки, пальцами. На одном ярко светился золотой перстень.

— После джунглей это кажется дворцом, — Мкомбо обвёл рукой разгромленный зал.

— Привыкайте к дворцам, месье президент. Привыкнуть легко, отвыкнуть трудно.

— Узурпатору Блумбо придётся привыкать к тюремной камере. Народ станет судить его, как кровавого палача и истязателя.

— А нельзя обойтись без суда? Во время штурма летают пули.

— Блумбо нужно взять живым. Он должен показать зарубежные счета, на которых держит свои кровавые деньги. Они пойдут на восстановление нашей великой и несчастной страны.

— Ваша воля, месье президент.

Лемнер был любезен, как дипломат, коим в эту минуту являлся, и слегка развязен, как вершитель военного переворота, дарующего власть молодому честолюбцу.

Мкомбо не узнал Лемнера, пройдя мимо на торжественном рауте в Москве. Тогда, в Доме приёмов, он беседовал с министром иностранных дел Клёновым. Лемнер запомнил узкий шрам на щеке, надрез, сделанный оточенной раковиной. Такие надрезы получают юноши, теряющие девственность. Тогда, на приёме, Мкомбо был в чёрном смокинге с галстуком-бабочкой. Ночные бабочки, в белых шелках, кружили у фонарей.

— Мои друзья надеются, что за ними сохранятся права на золотые прииски в Бундли и Кванго.

— Это не должно их заботить. Мне сообщили, что французы покидают золотые рудники в Чомбо и Глембо. Вы, месье Лемнер, получаете любой из них, на ваш выбор.

— Вы очень щедры, месье президент. Рассчитывайте на меня, скромного солдата России.

По стене над головой Мкомбо побежал большой чёрный паук, мохнатый, с колючими лапами. Лемнер выхватил пистолет и убил паука, оставив над головой Мкомбо кляксу с дырой.

Мкомбо мягко захлопал в ладоши, блестя золотым перстнем.

— Хотел вас спросить, месье Лемнер, что значит рисунок на броне ваших боевых машин? Чья это кудрявая голова?

— Это Пушкин, месье президент. Я привёз в Африку Пушкина. Надеюсь, перед вашим дворцом мы установим памятник этому великому русскому африканцу.

— Я слышал о Пушкине. Он родом из нашей провинции Кванго. Мы все его дети.

Лемнер катил на горячей броне, в чёрных очках, с сигаретой в зубах. Автомат звякал на поворотах о башню. Качался хлыст антенны. Бойцы подразделения «Пушкин» прильнули к броне, в панамах, выплёвывали сигареты, посылая плевки в раскалённый африканский город.

— Мороз и солнце, день чудесный! — Лемнер сплёвывал с брони на разгромленные лавки, на горящий резиновый баллон, на памятник с отбитой снарядом башкой. — День чудесный!

Столица Банги напоминала разбитый шкаф, из которого при обыске вытряхнули барахло. Косые пёстрые вывески, фонарный поваленный столб, исстрелянный синий автобус, расколотые стёкла витрин, лежащий навзничь босой чернокожий солдат. От бэтээра шарахались, ныряли в проулки женщины в синих и красных одеждах. Пальмы раскачивали рыжими космами. Ветер залетал под панаму, кислый, жирный, вонял горелой резиной. Слышались редкие взрывы. Город был захвачен, блокированы казармы, взорваны пункты связи, заперты в посольстве французы. Лемнер катил по захваченному городу, небрежно оседлав бэтээр, с автоматом в голых по локоть руках. Жёсткий, непреклонный, покоритель африканской столицы был подобен американцам, разъезжавшим по Багдаду и Триполи с сигаретами «Мальборо».

— Мороз и солнце! — повторял Лемнер любимый стих. — День чудесный!

От его пулемёта разбегались длинноногие, с полными бёдрами, африканки, прятались в лавках торговцы. Президентский дворец с напуганным президентом Блумбо был беззащитен перед жестокой волей Лемнера. Судьба усадила его на раскалённую броню в центре Африки, и он покорял континент. Банги пестротой, радужными вывесками, хохлатыми рыжими пальмами, цветастыми платьями напоминал попугая в кабинете Ивана Артаковича.

Лемнер усмехнулся, видя, как бежит тонконогая, в жёлтом платье женщина. Ему захотелось свистнуть, как в детстве свистел вслед убегавшей кошке.

Президентский дворец, двухэтажный, с длинным лазурным фасадом и пышным помпезным подъездом, был огорожен металлической узорной решёткой. Выпуклые стёкла фасада переливались. Пестрели клумбы. Цвело огромное лиловое дерево. Золочёные ворота были заложены мешками с песком. В амбразурах темнели пулемёты. На крыше укрылись снайперы, появлялись и исчезали их каски.

Поодаль стояли бэтээры, десяток машин, голова к корме. У бэтээров в горячей тени хоронилась группа захвата. Бойцы сидели на корточках, в лёгких серых рубахах, в кроссовках, с короткими автоматами ближнего боя. Над их головами на броне красовался Пушкин: кудри, острый нос, бакенбарды, будто Пушкин прошёл вдоль бэтээров и начертал свой профиль гусиным пером.

«День чудесный!» — Лемнер смотрел вслед уходящему Пушкину, тот шёл беззаботно, словно по невской набережной.

— Бойцы подразделения «Пушкин»… — Лемнер прижался к ребристому колесу бэтээра. Перед штурмом он обращался к бойцам. — На вас из этого знойного неба смотрят Россия и Африка. Два континента ожидают от вас подвига. Перед вами голубой, как чайное блюдце, дворец. Так пойдите и разбейте блюдце! После этого дворца будет другой, третий, четвёртый! Вы

пройдёте по Африке, как русская буря, неодолимые воины севера! Вы изведаете вкус сладчайших африканских плодов. Услышите рыканье львов в саванне. Увидите, как в хрустальных водопадах плещут волшебные рыбы. Узнаете, как пахнут подмышки африканских женщин. Вы лучшие на земле. У вас нет генералов, полковников, майоров. Я такой же, как вы, вольный стрелок, принятый вашим братством. Я пойду на штурм вместе с вами. По завершении штурма, когда вы вытащите из-под дивана эту трусливую чёрную скотину президента Блумбо, вы получите каждый по золотому самородку такой величины, что сможете купить «мерседес». Кому прострелят башку, поставим на родине крест из чёрного мрамора с золотой надписью: «Мы русские, с нами Бог!»

Бойцы преданно смотрели. Он отыскал их в утлых городках и посёлках, увёл из гнилых домов, от пьяных соседей. Дал оружие, нарёк героями. Показал небывалую землю с голубыми горами, розовыми антилопами, длинноногими красавицами. Качая бёдрами, красавицы совлекают узкие платья, и открываются шёлковые груди с длинными сосками, круглые, из чёрного агата, животы, и в пупках мерцают крохотные голубые самоцветы.

— Теперь же, перед боем, споём наш гимн!

Иссохшими от зноя губам они пропели гимн, где были слова: «У каждой пули есть своя улыбка» и «Несу на блюде голову врага».

— Вава, приказ на штурм!

Страшным грохотом застучали пулемёты на башнях. Пули драли мешки с песком, закупоривали амбразуры. Миномёты навесили дымные дуги. На клубах выросли взрывы. Долбили по крыше из всех стволов. Подстреленный снайпер кувыркнулся и упал на газон. Трассеры впились в лиловое цветущее дерево, стригли цветы. Из дерева неохотно выпал снайпер, долго падал, цепляясь за ветки.

Лемнер, бок о бок с бойцами, готовый к броску, пружинил мускулами. В нём играла хмельная весёлость, лихое бесстрашие. Контуры мира размыты, жаркая страсть атаки, ты мчишься на пулемёты, находя подтверждение своему бессмертию.

«День чудесный!» — повторял он заветный стих.

Послышался рёв двигателя. От соседних домов к дворцу мчался бэтээр. Люки закрыты, пулемёт отведён назад. Промчался, оставляя синюю гарь. Врезался в ворота, вынося на броне золочёное железо. Докатился до дворца и встал, окружённый дымами.

— Пошли, пошли!

Бэтээр, укрывший бойцов, покатил. Бойцы, согнувшись, перебирая ногами, как сороконожка, потянулись следом. Лемнер слышал звяканье пуль о броню. Ждал, когда откроется бирюзовый фасад, пышный, окружённый лепниной, вход.

«День чудесный!» — повторял он молитвенно.

От входа двумя ручьями бойцы лились вдоль фасада, кидая в окна гранаты. Лемнер и Вава ломились в закрытые двери. Крутили золочёные ручки, разбивали зеркальные стёкла.

— Гони бэтээр!

Бэтээр стальным рылом боднул дверь, въехал в пролом и застрял. Тупо крутил пулемётом, слепо вгонял очереди в стены, в длинные коридоры. Выбегали чернолицые, в малиновых беретах, солдаты, падали, попадая под огонь пулемёта.

— Херачим наверх! — Вава через две ступени скакнул на лестницу, загребая рукой бегущих следом бойцов.

В коридорах шли короткие стычки. На рыльцах автоматов трепетали красные язвочки. Гулко, как в железных бочках, рвались гранаты. Лемнер сипел, задыхался, бил от живота по высокой фарфоровой вазе, дробил на осколки, дырявил высокую, маслом, картину, изображавшую старинную битву. Пустил слепую очередь по бегущим женщинам, по их голым мелькающим пяткам, маленьким, в смоляных косичках, головам. Ему хотелось бить, раскалывать, разносить в щепы двери, крушить завалы из стульев, загоняя в комнаты ошалелых солдат. Он испытывал сладость разрушенья. Крутился в разные стороны, окружённый веером пуль, и свирепо кричал:

— День чудесный! Чудесный день, твою мать!

Увидел, как Вава схватился с огромным негром. Оба без автоматов. Вава гнулся под тяжестью громадного тела. Чёрное, с огненными белками, лицо, мокрый оскал зубов. Вава хрипел, старался отодрать чёрную пятерню от своего набухшего горла. Лемнер увидел его предсмертный умоляющий взгляд. Сунул короткий ствол в ребро великану, набил его трескучим свинцом. Видел, как отваливается великан, и Вава устало распрямляется, держит себя за горло.

— Спасибо, командир!

— День чудесный! — Лемнер обжёгся о ствол автомата и кинулся по коридору туда, где рвались гранаты.

Дворец был взят без потерь. Одному бойцу осколком снесло пол-лица. Другому прострелили мякоть. Солдат охраны выводили из дворца и ставили под цветущим фиолетовым деревом. Они переминались, пятнистые, как леопарды, в малиновых беретах.

Лемнер нашёл президента Блумбо под столом кабинета. На столе стояли золотой слон, золотые телефоны, лежал золотой пистолет. Выволок Блумбо за шиворот и поставил среди позолоченных шкафов и кресел под хрустальной люстрой.

— Вы совершаете преступление! Ответите перед Организацией Объединенных наций! Я президент Блумбо!

— Собачий ты корм, а не президент! — Лемнер сунул в карман золотой пистолет, ткнул пленника в пухлый живот и услышал, как в животе булькнуло.

«День чудесный!» — подумал он с благодарностью к тому, кто подарил ему этот день.

Глава двенадцатая

Лемнер полюбил Африку, а Африка полюбила его. Они любили друг друга. Они повенчались. Его рубаха, волосы, панама, платок, которым повязывал шею, подушка, на которой спал, пахли Африкой. Африканский воздух был сладок и пьян. Пьянил испарениями болот, дурманом винных плодов, колдовскими дымами, соками трав, пыльцой цветов, прелью звериных стойбищ. Африканские ливни обжигали, как кипяток, ошпаривали, покрывали землю красными волдырями. Всё исчезало в хлюпе и грохоте, и вдруг умолкало. Пар, туманное солнце, летящий розовый фламинго. Африканские ночи были чёрные, замшевые, с бессчётным звучанием невидимых тварей. Стрекот, звон, клёкот, писк, вой, хруст, плач, хохот. Мерцали волшебные светлячки, рисуя таинственные монограммы. Загорались дикие золотые глаза, улетали с земли к вершинам деревьев, гасли, и раздавались рыдания.

Африка была прекрасна, и Лемнер, став африканцем, стал прекрасен. Он оставил суровую, неприкаянную, нелюбезную к нему Россию, полную подвохов, опасных интриг, мстительных и злых соглядатаев, и стал африканцем. Его стеснённая душа распахнулась до синих гор, зелёных океанов, золотых песков, вознеслась к звёздному огнедышащему небу. И он преобразился. Исчезли страх, мнительность, бремя еврейства. Он был отважен, ненаказуем, вооружён, боготворим солдатами. Его боялись, ему подчинялись, он был богат, покорял города и испытывал ликование, веря в свое бессмертие. Он был рождён для Африки, но долгое время не знал об этом. А когда узнал, преобразился. Теперь они встретились с Африкой. Он любил её, а она любила его.

С Вавой они шли по рынку в Банги. Тряпичные навесы, лавчонки, прилавки, пекло, толпище, крикливые торговцы, женщины с тюками на головах, яркие белки, красные языки, синие, алые, зелёные платья, горчичная пыль, сквозь которую жжёт мутное солнце. Лемнер присматривался к товарам и не находил ничего, что бы хотелось купить. Запчасти старых машин, матерчатые абажуры для ламп, наконечники знамён, сапоги французских солдат. Множество ношеных линялых рубах, брюк, платьев, стоптанных башмаков.

Остановились перед торговцем с шоколадным лицом и провалившейся переносицей. На тряпице были разложены гнутые гвозди, болт со стёртой резьбой, ключи без замков, замки без ключей. Лемнер взял длинный гранёный гвоздь с кованой шляпкой.

— Вава, купи гвоздь.

— Зачем, командир?

— Повесишь панаму.

— Есть вешалка, командир.

— Гвоздь попадёт в музей Африки. «Детки, смотрите, вот гвоздь. На нём висела панама Вавы».

— Или сам Вава.

— Нет, Вава, ты умрёшь своей смертью. Твоим именем назовут большой африканский город. На твои похороны придёт президент.

— Который, командир?

— А какой ты хочешь?

— По мне бы Троевидов.

— А придёт Мкомбо.

— Не доживёт. Здесь президенты долго не живут.

— Опять ничего не купим, — Лемнер положил гвоздь на тряпицу.

За ними увязался огромный негр. Он был голый, с рельефными мускулами, как тёмная бронзовая скульптура. Он был безумен, но его помешательство было незлым, он слюняво улыбался, причмокивал, притоптывал. Ему нравились Лемнер и Вава. Между ног у него раскачивалось нечто, похожее на хобот небольшого слона. Безумец лез к Лемнеру, трогал его за плечо. Торговцы отгоняли его, кричали, били. Он уклонялся от побоев, улыбался, пританцовывал огромными, с костяными пятками, ногами.

— Может, его пристрелить? — спросил Вава.

— Лучше пойми, что он хочет.

— Что он хочет?

— Сфотографироваться со мной.

Лемнер подозвал негра. Тот счастливо положил ему на плечо огромную, с поломанными ногтями, лапу, прижался. Вава фотографировал на телефон. Торговцы изумлённо смотрели. Негр слюняво смеялся, раскачивал своим чёрным отростком.

Лемнер и Вава покинули рынок. Ещё не доходя до отеля, Лемнер почувствовал множество ожогов. Его кусали блохи, переметнувшиеся с негра. Лемнер сбросил одежду, долго мылился, мылся под горячим душем. Одежду кипятила гостиничная прислуга. И это была Африка, которую Лемнер любил.

На бэтээре он катил по саванне. Кругом волновались травы, тонкие, летучие. Серебряные гривы улетали к синим горам. Он сидел на броне, ухватив ствол пулемёта, слышал, как мягко колышется земля, поднимая и опуская машину. Небо в прозрачной оранжевой туче копило ливень. Травы облизывали бэтээр, ласкали его железные ромбы, стальная машина нежилась, ныряла в травы. Они распахивались, обнимали машину бессчётными серебряными руками и тут же отпускали, смыкались за кормой. Над Лемнером, над его линялой, изъеденной ливнями панамой летели, не желая отставать, бирюзовые птички.

На его ладони, сжимавшей ствол пулемёта, появилась новая линия жизни. Линия Величия. Её начертала красавица со средиземноморским лицом,

загадочная ведунья, возникшая из деревянного киота, как ожившая смуглоликая икона. И он на мгновение ослеп, увидев среди шелков белизну её тела. Просыпаясь бессонной ночью, столько раз её целовал, не противясь таинственной власти, что обрела над ним волшебница с волосами, как чёрный перламутр. Она прочертила по африканской саванне линию Величия, и теперь, послушный её предсказаниям, он движется к синим горам.

Увидел, как колыхнулась саванна, будто её накрыла летучая тень. Травы убегали за этой тенью, в них пролегли серебряные дороги, и по этим дорогам мчались антилопы. Их утопавшие в травах тела, запрокинутые губастые головы, сверкающие, полные страха глаза, заострённые витые рога. Лемнер видел, как бугрятся мышцы под их пятнистой кожей, как взлетают над травой отточенные копыта. Чувствовал стуки их горячих сердец, жаркое дыхание ноздрей. Восхищался, обожал, погнал бэтээр вслед убегающему стаду.

Он нёсся по саванне среди бесчисленных глаз, рогов, лёгких воздушных тел. Слева, справа, шарахаясь, неслись прекрасные антилопы. Он чувствовал их женственность, обожал их тонкие взлетавшие ноги, огромные выпуклые глаза. Он обнимал, целовал тёмные мягкие губы. Среди антилоп была желанная, любимая ведунья, которая в образе дивного африканского зверя явилась ему, влечёт к синим горам.

Над головой долго, по всему небу, треснуло. Из рыжей, полной огня тучи упал ливень. Тяжкий, жаркий, кипящий, шипел на броне, жёг сквозь рубаху, затмевал непроглядной стеклянной тьмой. Бэтээр мчался вслепую, возникали и пропадали глазастые головы, витые рога. Лемнер ликовал. Ему был послан этот ливень, послано дивное стадо. Он был пастырь, пас этих сказочных африканских животных, пас африканские народы. Он был пастух, кого привела ведунья, чтобы он пас народы. Африка любила его, а он любил Африку. Она была послушна ему, целовала его травами, омывала ливнями, провожала птицами. Он ворвался в Африку, как русская буря, как Ермак Тимофеевич. Он положит Африку к ногам Президента, и Африка станет русской, а он властелином Африки, всей, от горячих песков до холодных течений. Африка ждала его, звала, и он искал её и нашёл. Его вывела к Африке линия жизни, вывела колдунья, направляя к Величию.

Ливень кончился. Солнце горело на броне. Травы лежали. Над саванной поднимался пар. Стадо удалялось, словно его уносило ливнем. Рубаха хлюпала и жгла, как горчичник. Лемнер пережил чудесную встречу с Африкой, чудесную встречу с Ланой. Улыбался, стряхивал воду с панамы. И это была Африка, и Лемнер её любил.

Он пробирался в джунглях, по заросшей просеке, оставленной французами на недостроенной дороге. Было тесно от деревьев. Они навалились на просеку, старались затянуть нанесённый рубец. Перебрасывали через просеку лианы, навешивали густые, тяжёлые ветви, заслоняли небо зелёными ворохами. Пахло

сладкими маслами, эфирами, тлением множества умерших листьев, корней, плодов. Веяло ароматами набухших бутонов, отекавших соком ягод, дурманами розовых и синих цветов. Так пахнет распаренная баней женщина. В зарослях звенело, скрипело, верещало. Перелетали крикливые птицы с кривыми клювами, в красном и жёлтом оперении. Пронеслась над головой и мягко шлёпнулась о дерево обезьяна. Шмыгнул под ногами юркий зверёк, похожий на бурундука.

Лемнер наслаждался одиночеством, бездорожьем, слиянием с африканской природой. Голубым, упавшим с неба пером, маслянистой каплей, оброненной цветком.

Среди несчётных звуков он уловил едва различимый шелест. Над ним тихо шуршало. В паутине билась огромная перламутровая бабочка. Её резные крылья увязли в клейкой сети. Лапки беспомощно дергались. Вокруг неё кружил мохнатый чёрный паук. Его передние цепкие лапы оплетали бабочку, набрасывали на неё новые петли, стискивали крылья. Паук отбегал по паутине назад, словно любовался добычей, а потом приближал свой клюв. Лемнер чувствовал ужас бабочки, предсмертные усилия спастись, умчаться в благоухающий лес. Лемнер смотрел на гибнущую бабочку. У него появлялось желание вызволить её из паутины, прогнать паука, спасти от смерти крохотное, бьющееся в хрупком тельце сердце. Но он себя останавливал. Он находился среди природы, жившей по своим заповедным законам, которые властны над пауком и бабочкой. Он не вправе вторгаться в таинственную природу своей примитивной волей. Паук касался бабочки лапами с колючими крючками, бабочка вздрагивала, её крылья не бились, а только мучительно выгибались. Было в этой бабочке сходство с Аллой — её красота, грация, обречённость.

Лемнер достал десантный нож, сунул в паутину. Паук стремглав умчался в листву близкой ветки. Лемнер осторожно рвал ножом паутину, нежно извлекал бабочку из плена. Стараясь не смахнуть пыльцу, снимал липкую паутину с крыльев. Рассматривал крохотные рубиновые пятна на перламутре. Отнёс бабочку с просеки и посадил на глянцевитый лист. Она сидела, тёрла лапкой о лапку, снимала клейкую паутину. Лемнер смотрел на неё. Он явился в Африку со своим справедливым законом и отрицал закон джунглей. Он принёс в Африку гармонию и станет преображать континент, данный ему в управление.

Бабочка освободилась от паутины, сверкнула перламутром и улетела, оставив пустой глянцевитый лист. Лемнер тронул лист, где только что сидела бабочка. Он любил Африку, а Африка любила его.

Лемнер получил то, о чём мечтал. У него была небольшая боеспособная армия, укомплектованная обстрелянными солдатами, вооружённая мелким и крупным стрелковым оружием, посаженная на транспортёры, обеспеченная космической связью и переносными зенитно-ракетными комплексами. Эта армия звалась «Пушкин», носила шевроны с профилем поэта и распевала

романсы Глинки на стихи Пушкина. Это не мешало «пушкинистам» исполнять гимн со словами «У каждой пули есть своя улыбка» и «Несу на блюде голову врага».

Армия «Пушкин» взяла под контроль золотые месторождения, вытеснив французов. Французы уходили неохотно, оставляя убитых солдат Иностранного легиона. Если погибал «пушкинист», его накрывали флагом, где на серебряном блюде лежала отсечённая голова овна. На закрытые веки героя клали золотые самородки. Самородки имели каплевидную форму, и казалось, убитый солдат плачет золотыми слезами.

Лемнер получил во владение золотоносный рудник в Чомбо, и его банковские счета разбухли от поступлений. Чомбо находился в предгорьях. Там работали гигантские экскаваторы, крутились камнедробилки и мельницы. Водяные помпы вымывали из размельчённой породы самородки. Самородки, как капли, срывались с ленты транспортёра, и казалось, Африка плачет золотыми слезами.

Чомбо являл собой барачный посёлок для чёрных рабочих и несколько коттеджей с кондиционером для французского персонала. Когда «пушкинисты» окружили рудник и нацелили на коттеджи пулемёты, Лемнер на великолепном французском обратился в мегафон к испуганному персоналу:

— Месье, Россия не злопамятна и не мстит Франции за злодеяние Дантеса. Африка долго выбирала между Вольтером и Пушкиным и выбрала Пушкина. Надеюсь, через три часа рассеется пыль от ваших пикапов. На моих часах полдень, месье!

Французы оценили произношение Лемнера и покинули рудник, захватив дневную добычу самородков. Лемнер стал владельцем рудника, выписал из России технический персонал, оставив рабочие места за африканцами.

Он сидел в конторе, разбирая бумаги, чувствуя себя крупным дельцом, чьё дело вышло за пределы России и превратило его в игрока мировых рынков. Рация воспалённо забулькала, Вава хрипло известил:

— Командир, воздух!

Лемнер выскочил в пекло. Среди слепящего жара, размытые, словно оплавленные, стояли цеха, склады, гаражи, высилась смотровая вышка под козырьком, виднелся укрытый в тени часовой. Из пыльного рыжего неба слышался тихий стрёкот. Казалось, пиликает кузнечик. Лемнер крутил головой, стараясь среди солнечного тумана разглядеть вертолёт. «Апачи», пучеглазый, пятнистый, как тритон, делал вираж. Мерцала кабина, как слюда, трепетали винты, виднелись подвески с ракетами.

— Командир, француз прилетел. Будем сбивать? — Вава держал пенал на плече, водил по небу. В панаме, в тропической форме, в башмаках на толстой подошве, он приседал, был похож на плакат, поясняющий работу переносного зенитно-ракетного комплекса. Вертолёт совершал вираж, искал в небе точку,

удобную для ракетного удара. Нашёл, замер, словно повис. Стал косо падать, сверкая винтами. Из-под брюха бледно полыхнуло, чёрные острия метнулись к земле. Вокруг Лемнера страшно хлестнуло, взрыхлило пустырь, продырявило стены цехов, повалило вышку, из которой вылетел, махая руками, солдат. Вертолёт уходил. Горели постройки, ошалело бежали люди, часовой с оторванными ногами дёргался, окружённый дымом.

— Твою мать! — Вава целил пеналом в пустое небо, где не было вертолёта, и оставался затихающий стрёкот. — Твою мать!

Лемнер, оглушённый, слышал, как начинается озноб. Было холодно на пекле. Казалось, в животе намерзает глыба льда.

Стрёкот вернулся. Замерцало под солнцем. «Апачи» возник из рыжего неба. Стекло кабины мерцало, как бриллиант. Лемнер видел линию, соединяющую бриллиант с его сердцем. Хотел бежать и не мог. Среди раскалённого африканского дня его бил колотун, трясла судорога. Яды, в детстве залетевшие в кровь, проснулись, гуляли в крови. Это разливалась в крови его смерть. Она превратила его в неподвижную мишень. Он находился в прицеле. Невидимый лётчик сводил на его сердце перекрестье прицела. Лемнер слышал приближение смерти. Она издавала нежный стрекочущий звук. Так звенит кузнечик на опушке русского леса.

Вертолёт выбирал точку, откуда удобнее убить Лемнера. Лемнер видел эту точку. Она казалась лиловым пятнышком. Её искал вертолёт, чтобы из этой точки убить Лемнера. Он не мог убежать — превратился в ледяной столб и был идеальной мишенью. Вертолёт искал лиловую точку, и Вава её искал. Вертолёт и Вава нашли эту точку, и Вава пальнул. Змея огня вильнула в небе, ушла к вертолёту и ужалила. Взрыв был бледный и почти беззвучный. Лемнер видел, как от вертолёта отвалился хвост. Вертолёт кувыркнулся, как подстреленный селезень, продолжая лететь после смерти. Полыхнул ещё один взрыв, и горящие ломти упали на близкую пустошь.

— Твою мать, командир! Силь ву пле! — ликовал Вава, притоптывая, исполняя ритуальный танец. — Мерси, мадам!

Ледяная глыба в животе Лемнера расплавилась. Лёд в глазах растаял, и глаза жадно смотрели на пустошь, где горел вертолёт. Там сгорала смерть Лемнера.

Они вскочили в джип и помчали на пустошь. Следом скользнули два бэтээра. Мелкие обломки широко усеяли пустошь. Фюзеляж уцелел, горбился без винтов, сочился дымом. Пахло бензином, горелой пластмассой и чем-то ещё, чем пахнут шашлыки. Трупы лётчиков были разбросаны, на них дымилась одежда. Но в фюзеляже оставался живой. Его не тронул взрыв, не сжёг огонь. Оглушённый, он шевелился, растопырил пальцы, как это делают блатные.

— Добрый день, месье, — Лемнер говорил по-французски, рассматривая человека. — Со счастливым приземлением!

Человек бормотал, совал Лемнеру в нос растопыренные пальцы. Это забавляло Лемнера. Блатной француз был любимчик Господа.

Вава смотрел на француза, как на подранка перед тем, как добить. Он помог французу выбраться из обломков и поставил на ноги, удерживал, чтобы тот не упал.

— Не знаю, что мне с вами делать, месье? — спросил Лемнер. — Вы напали на моих людей и некоторых убили. Не знаю, что с вами делать.

Из впалых щёк француза ушла плоть. Осталась кожа, облегавшая челюсть.

— Я не военный, — просипел француз. — Я геолог. Я пассажир.

— Вы пассажир военного вертолёта, который напал на моих людей. Некоторых из них убил и хотел убить меня.

— Я не хотел убивать. Я не военный. Я геолог. Ищу золото. Мне нужен врач.

— Считайте, что золото вы нашли. С врачом сложнее. Как ваше имя?

— Гастон Велье.

— Откуда вы родом, месье Велье?

— Из Гавра.

— Это не рядом с Оверном? Возле Оверна такие прекрасные пшеничные поля. Не приходилось видеть?

— Я геолог, ищу золото. Я никого не убивал. Мне нужен врач.

— Жаль, что вы не были в Оверне. Там действительно прекрасные поля пшеницы.

Лемнер смотрел на впалые щёки француза. Сквозь кожу щеки угадывались зубы. На голове француза было так мало плоти, что голова казалась голым черепом. Смотрели мутные глаза, чудом удержавшиеся в глазницах.

Этот француз, любимчик Господа, выпал из той фиолетовой точки, откуда смерть прочертила к Лемнеру прямую линию. Лемнер, стоя под прицелом вертолёта, пережил детский ужас, когда спасался от смерти, бежал на второй этаж к спасительным дверям с табличкой «Блюменфельд». Француз был родом из Гавра, а Гавр находился в подвале, из которого француз с голым черепом гнался за ним, желая убить. Догнал в Африке, нашёл фиолетовую точку в африканском небе и оттуда хотел его убить. Лемнер, избегнув смерти, чувствовал игривую весёлость. Смотрел, как сквозь впалую щёку француза проступает челюсть.

— Вы ищете золото, месье Велье? Я помогу вам его найти! Оно здесь, под ногами.

— Что делать с французом? — спросил Вава.

— Что сказано по этому поводу в уставе подразделения «Пушкин»?

— Добить врага.

Солдаты вышли из бэтээров и ковырялись в обломках.

— Копайте яму! — приказал Лемнер.

Солдаты копали, а Лемнер расспрашивал француза о Гавре. Верно ли, что Гавр находится в подвале пятиэтажного дома и соединён подземным ходом с Миусским кладбищем? И покойники через подземелье попадают в подвал? И нет ли среди этих покойников француза по имени Гастон Велье? Француз не понимал, стонал от ушибов, повторял:

— Мне нужен доктор! Пожалуйста, месье, нужен доктор!

Солдаты сапёрными лопатками сняли зелёный дерн. Удалили тонкий слой коричневого перегноя. Рыли красноватую пористую землю, под которой открылся серый песчаный грунт. Стояли по плечи в яме, выбрасывая на поверхность древний вулканический пепел.

— Что вы делаете? — француз со страхом смотрел на солдат.

— Ищем золото, месье Велье!

Солдаты с трудом выбирались из ямы, отрытой в рост человека.

— Ты меня понял? — спросил Лемнер солдата с пшеничными бровями и маленьким клювом хищной птицы. — Доходчиво объяснил?

— Доходчиво, командир.

Солдаты схватили француза, толкнули к яме, опрокинули вниз головой. Держали за ноги. Француз висел, бился. Его кожаные, с блестящими пряжками башмаки торчали наружу. Кричащая голова касалась дна ямы.

— Ищите золото, месье Велье! Поскребите дно. Там полно самородков!

Солдаты в две лопаты забрасывали яму. Голова француза скрылась в земле, но он ещё бился. Обмяк, тяжело висел в солдатских руках. Яму забросали так, что из земли торчали башмаки с застёжками. Лемнер содрал башмаки. Обнажились стопы с костяными пятками и кривыми пальцами. Солдаты отаптывали землю вокруг торчащих ног.

— Не понимаю, зачем вверх ногами? — пожимал плечами Вава.

— Так ближе к центру Земли.

— А пятки зачем оставил?

— Пусть загорают.

Они погрузились в джип и вернулись на прииск. Там уже ничего не горело. На брезенте лежал безногий солдат, и товарищи прикладывали к туловищу оторванную ногу.

Это была Африка, и Лемнер её любил.

Он сидел в ванной с чернокожей красавицей, которую прислал ему в подарок президент Мкомбо.

Ванна была чёрной, пена перламутровой, из радужных пузырей поднимала свои чёрные плечи красавица, поводила белками, улыбалась, показывая алый язык. Лемнер, погружённый в пену, ловил ногами её ноги. Ноги были струящиеся, ускользали, казались таинственными, живущими под водой существами.

— Как тебя звать? — спросил Лемнер, сжимая коленями её стопу.

— Нуар, — улыбнулась красавица, слизывая пену алым языком.

— Какого цвета душа у чёрных женщин?

— У чёрных женщин душа белая, а у белых женщин душа чёрная.

Нуар плеснула в Лемнера пеной. Он почувствовал на губах аромат её тела. Несколько перламутровых пузырей повисли в воздухе.

Она поднялась из ванной и стояла, переливаясь разноцветными огнями. Лемнер подумал, что чёрная Афродита рождается из пены, стоя в чёрной раковине.

— У африканских женщин бёдра широкие, как у вазы. Ты похожа на вазу, Нуар.

— Тогда поставь в неё букет, — засмеялась она.

Она вышла из ванной, медленно перенося через край длинную ногу. С ноги летела пена. Нуар была похожа на танцовщицу. Шла, оставляя на полу мокрые отпечатки.

— Сумел бы я с закрытыми глазами отличить тебя от белой женщины?

Закрыв глаза, он касался пальцами её тела. Груди её были длинные, шёлковые, сужались к соскам, а соски были сладкие на вкус, как финик. Плечи были острые, чуткие, а ключицы хрупкие, с углублениями, в которых сохранились капли воды. Бёдра были широкие, овальные, теплые, он гладил их, и они слабо волновались в его ладонях. Её набедренная повязка была из каракуля, и он погружал в каракуль пальцы, и они тонули в кольцах тёплого меха. Он вёл рукой по её ноге и ждал, когда в его ладони окажется круглая пятка. Медленно перебирал пальцы её ног, как перебирают лепестки цветка.

— Теперь, если ослепну, то узнаю тебя.

Он её обнимал, и она кричала то разгневанной львицей, то танцующим любовный танец фламинго, то предсмертным воплем гибнущей антилопы. В её криках были лесные звуки. Клёкот попугаев, шлепок о дерево летящей на лиане обезьяны, шелест бабочки, попавшей в сеть паука, трубный зов потерявшей слонёнка слонихи. В его объятьях волновалась Африка с лунными озёрами, солнечными водопадами, стадами антилоп, стаями лебедей и фламинго, с тихим шёпотом распустившегося на рассвете цветка.

Она уходила от него, надевая яркое жёлтое платье, под которым скрылось бархатное чёрное тело. Он подарил ей золотой самородок, похожий на голову антилопы. У порога она обернулась.

— Меня зовут Франсуаза Гонкур. Я училась в Сорбонне. Изучала Пушкина. Письмо Татьяны к Онегину. «Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала б горького мученья».

Она исчезла. На полу оставались следы её босых ног. Лемнер смотрел, как следы высыхают. Это была Африка, и он любил её.

Глава тринадцатая

Лемнер думал о Лане Веретеновой, вспоминал её смуглое лицо с маленьким пунцовым ртом, тонкие пальцы, сжимавшие его запястье, её гадания, в которых она предсказала ему Северный полюс и Африку. Ланы не было рядом, но струились незримые волны, приносившие её бессловесные послания. Он их читал, не умея раскрыть содержание.

Лемнер сидел в кабинете перед компьютером, направляя потоки золота в банк Анатолия Ефремовича Чулаки, в личные хранилища президента Мкомбо и в свою сокровищницу, делавшую его богачом. Он был владелец рудника в Чомбо, Африка одаривала его самородками. Африка была Богородицей с чёрным лицом, которая плакала золотыми слезами. Лемнер подставлял ладони под золотую капель, как под рукомойник. Ладони и пальцы его становились золотыми.

Могучие ковши драли землю предгорий. Громадные самосвалы везли на фабрику породу, начинённую самородками. Мельницы дробили породу. Мощные струи воды отделяли шлаки от золота. Чёрнокожие рабочие в белых халатах пинцетами выклёвывали с ленты транспортёра золотые крупицы, а чуткие пальцы хватали крупные самородки.

Лемнер отвлёкся от компьютера и смотрел, как по столу ползёт большой зелёный богомол. Тварь случайно попала в кабинет из тропического леса и теперь искала дорогу обратно. Богомол медленно передвигался по столу, не замечая Лемнера. А тот ждал, когда богомол достигнет края стола и упадёт на пол. С падением богомола на пол Лемнер связывал таинственное, копившееся в нём знание, невнятное, неоформленное мыслью, но огромное, как вероучение. Богомол имел зелёное, тонкое, как спица, тело, громадные, согнутые в коленях ноги, тяжёлую, опущенную книзу голову с крохотными зелёными глазками. Богомол был похож на министра иностранных дел Клёнова, которого Лемнер видел в Доме приёмов. Знание, что копилось в Лемнере, соотносило министра Клёнова, богомола, чернокожего министра Мкомбо, ставшего теперь президентом, Северный полюс, Африку и смуглолицую ведунью с прелестной лодыжкой и маленьким пунцовым ртом. Из пунцовых губ звучали предсказания о России Мнимой и о чудесном воителе, соединившем Россию Подлинную и Россию Мнимую.

Богомол полз по столу. Преодолел препятствие в виде ручки «Паркер», прополз по деловому письму с профилем Пушкина. Остановился у края, словно раздумывал, не повернуть ли обратно. Лемнер, томимый вероучением, побуждал богомола: «Ну, давай же, вперёд!» Умолял: «Упади и разбейся!» Его суеверная мысль подсказывала, что смерть богомола обещает Лемнеру бессмертие.

Богомол качнулся, занёс зелёную ногу над краем стала, подался вперёд и рухнул. Лемнер слышал едва уловимый треск сухого хитина.

И случилось прозрение. Лемнер, бесподобный избранник, несравненный воитель, полководец Светоча, апостол Чулаки, посланник Ивана Артаковича, он, Михаил Соломонович Лемнер, не дожидаясь заветного дня, совершил Великий Переход. Оказался в России Мнимой. Этой Мнимой Россией была Африка. Он овладел тайной мнимого числа, извлёк корень квадратный из минус единицы и создал математику мнимых чисел, математику парадоксов. Африка, будучи мнимой, есть Подлинная Россия, а Подлинная Россия, будучи Африкой, есть Россия Мнимая. Такое возможно лишь в точке пересечения обеих Россий. Он достиг мнимой подлинности и подлинной мнимости. Его сердце есть точка пересечения обеих Россий, место Великого Перехода. Ведунья с пунцовым ртом угадала в нём перешеек, соединяющий обе России. Он и Пушкин, два выходца из России Подлинной в Россию Мнимую, теперь вернулись на свою заповедную Родину.

«Да, да, Президент Троевидов соединил Крым и Россию и назовётся Троевидов Таврический. А я повенчал Россию и Африку и буду наречен Лемнер Африканский. Величие России Африкой прирастать будет!»

Лавина открытий ошеломила Лемнера. Это могло показаться безумием, если бы не богомол, упавший на пол. Если бы не тайные волны, приносившие посланья Ланы Веретеновой.

«О, Боже, как прекрасна её ослепительная, из-под синего шёлка, лодыжка!»

В кабинет Лемнера вломились. То был Вава и четверо охранников-«пушкинистов». Они волокли чернокожего рабочего в белом халате. Рабочий отбивался, высовывал жаркий красный язык, дико водил белками. Он был не молод, его кудрявые волосы посыпала белая мука.

— Командир, этот толстогубый вор украл самородки! Спрятал в свою чёрную задницу. В камере слежения было видно, как он спустил штаны и засовывал в зад самородки. Они у него в жопе.

— Проведём дознание, — Лемнеру была неприятна роль дознавателя, но украденные самородки взывали. — Снимайте с него портки!

С рабочего стянули полосатые штаны. Лемнер осмотрел круглые, как чёрные шары, ягодицы.

— Зажмите ему ноздри и рот и раздвиньте ягодицы!

Рабочего нагнули, заломили руки, стиснули ноздри, зажали рот. Раздвинули ягодицы. Рабочий сипел, задыхался. Его живот сотрясался. Из чёрных ягодиц стали выпадать самородки, один, другой, третий. Звякали об пол.

Рабочего отпустили. Он стоял без штанов, смотрел на выпавшие самородки.

— Тебя, парень, нужно беречь, — Лемнер носком туфли двигал самородки. — Из тебя золото капает.

— Месье, у меня трое детей. Старые мать, отец. Брат больной. У сестры мужа убили. Простите, месье! Я раскаиваюсь!

— Не раскаивайся. Никто тебя не винит. Ты человек драгоценный. Можно сказать, обогатительная фабрика на двух ногах. В рот кладёшь породу, а из жопы достаёшь самородки, — Лемнер повернулся к охранникам. — Набейте ему рот породой, пусть переварит в самородки!

Рабочего вытащили из кабинета на двор. Держали за руки, совали в рот куски породы. Он кричал. Порода рвала ему губы. Текла кровь. Куски заталкивали. Он задыхался, хрипел. Осел, сотрясался. Его длинные голые ноги дергались. Из ноздрей, из глаз текла кровь.

— Что с ним делать, командир? — Вава ткнул мертвеца башмаком.

— Киньте в мельницу. Может, в нём осталось золото, — Лемнер повернулся и пошёл. Рабочего волокли в цех, где грохотала камнедробилка, перемалывала тяжёлые глыбы породы. Кинули под жернова, и он исчез среди железных катков.

Лемнер, тем временем, продолжал извлекать корень квадратный из минус единицы и множил парадоксы. Он думал о заветном дне, когда случится Великий Переход, и все обитатели России Подлинной устремятся в Россию Мнимую, и местом перехода будет его сердце, ибо там пересекаются обе России. Миллионы людей устремятся в его сердце, чтобы поскорее покинуть Россию и населить Африку. И хватит ли в его сердце места, чтобы принять миллионы русских? Сможет ли его еврейское сердце принять несметное количество русских, желающих покинуть Россию? Он знал, что сердца расширяются от ненависти и любви. Ненависть была неприемлема. Любовь расширит его сердце настолько, что оно пропустит сквозь себя всех, желающих покинуть Россию. И тогда встанет проблема их расселения и смешения с населением Африки. Чёрные русские смешаются с белыми неграми, и возникнет серая раса. Москва превратится в Банги, а здесь появится колокольня Ивана Великого и Выставка достижений народного хозяйства, где будет открыта великолепная картинная галерея, куда переедет коллекция картин из склада древесных изделий. Смотрителями в галерее будут Аркадий Францевич, только чёрный, и Франсуаза Гонкур, у которой на ногах шесть пальцев. Среди картин на самом видном месте будет висеть «Пшеничное поле возле Оверна». А «Гернику» он не поместит в галерею. «Гернику» он отвезёт в джунгли, и пусть населяющие картину чудища сойдут с холста и растворятся среди обезьян, бегемотов и попугаев. И ночью среди множества звуков будет слышен жуткий рёв минотавра.

Так думал Лемнер, отправляясь во дворец президента Мкомбо, чтобы обсудить приобретение ещё одного золотого прииска в провинции Дымбо.

Президентский дворец, бирюзовый, окружённый цветниками, с чудесным фиолетовым деревом, был отмыт от недавней копоти, на нём исчезли пулевые отверстия, метины гранатомётов. Лемнер прошёл сквозь золочёные ворота, вспоминая, как они висели на носу прорвавшегося бэтээра. У входа, пышного,

окружённого лепниной, стоял вольер. В нём метались, грызли железные прутья собаки. Свирепые морды, мокрые клыки, ненавидящие кровавые глаза. Лемнер поспешил пройти мимо хрипящих зверюг.

Кабинет президента Мкомбо был таким же, каким запомнил его Лемнер в день штурма. На столе стоял золотой слон, теснились золотые телефоны, и только не было золотого пистолета. Пистолет был спрятан за поясом Лемнера.

— Дорогой брат, месье Лемнер! — ему навстречу шёл президент Мкомбо, благодушный, пахнущий дорогим одеколоном. Казалось, его лицо было покрыто дорогим чёрным лаком, на щеке сиял надрез, оставленный острой раковиной. — Вопрос с рудником Дымбо улажен. Теперь вы полный его владелец. Как негодовал французский посол! Грозил вторжением. Но умолк, когда я показал ему фотографии русских танков с профилем Пушкина на броне.

— Пушкина убил француз Дантес. Стреляя в Пушкина, метил в Африку. Мы извлекли французскую пулю из тела Африки и внимательно её изучили. Как известно, у каждой пули есть своя улыбка. У пули Дантеса улыбка президента Макрона.

— Мне сообщили, что один французский геолог спрятал голову в африканской земле и там улыбается.

— Правда? Ничего об этом не слышал. А скажите, месье президент, зачем вы держите у дворца свирепых мерзких собак?

— В целях безопасности, месье Лемнер. Я не кормлю их неделями. Ночью выпускаю, они носятся вокруг дворца и рвут на куски всякого, кто сюда забредёт.

В кабинет мягко вошёл секретарь. Наклонился к президенту Мкомбо.

— Блумбо готов назвать счета и перевести деньги.

— Долго же упиралась эта чёрная скотина! — воскликнул президент Мкомбо. — Как вам удалось добиться согласия?

— Мы применили к нему крайнее средство, «Абиссинских пилигримов».

— Что за средство? — поинтересовался Лемнер.

— О, это старое африканское средство, — пояснил президент Мкомбо. — В задний проход узнику вставляют бамбуковую трубку и по ней запускают чёрных ядовитых муравьёв. Мало кто после этого продолжает молчать.

— Надо спуститься к Блумбо, пока он жив, — поторопил секретарь. — Возьмите свой персональный компьютер.

Они покинули золочёный кабинет и шли по сияющим коридорам, где недавно гремела рукопашная, и Лемнер спас Ваву, набив свинцом чёрного великана в малиновом берете. Парадные лестницы кончились, и они оказались в подвалах дворца. Здесь помещалась тюрьма. Лемнер с детства не любил подвалов, полагая, что они сообщаются с преисподней, и в них обитают чудища. В этом подвале обитало чудище, недавно бывшее президентом Блумбо. Он был голый, на чёрном теле взбухли красные рубцы. Раны сочились гноем. Нижняя

губа была отрезана, и в голой десне осталось несколько белых зубов. Один глаз выбит, и в нём хлюпала жижа. Другой дико сверкнул белком, когда увидел вошедших.

— Дорогой Блумбо, надеюсь, с тобой хорошо обращаются? Ты звал меня?

— Мкомбо, ты не можешь меня убить! Наши дяди троюродные братья великого Сванги. Выходцы из народа минене. В нас течёт одна кровь!

— Только твоя почти вытекла, а моя течёт в президентских венах. Ты хотел совершить перевод со своих счетов на мои восемьсот миллионов долларов. Вот компьютер. Набери код, и ты избавишься от денег, сделавших тебя несчастным.

— Они сделают и тебя несчастным! Когда-нибудь к тебе в подвал спустится новый президент и потребует, чтобы ты назвал код.

— Блумбо, у меня наверху остывает кофе. Ты будешь совершать перевод?

— Нет, никогда!

— Принесите бамбуковую трубку и коробку с «абиссинскими пилигримами».

— О, нет, не надо! Я сделаю перевод!

Президент Мкомбо открыл компьютер, поставил на пол у ног Блумбо. Пальцы ног были обрублены, и торчали розовые косточки. Блумбо шарил по клавишам. Живой глаз дико блестел, а из другого лилась на компьютер красная жижа.

— Все деньги твои! Будь ты проклят, Мкомбо! Пусть тебе и твоим русским друзьям вставят бамбуковую трубку и пустят «абиссинских пилигримов»!

Президент Мкомбо убедился, что перевод прошёл. Вынул пистолет и выстрелил в Блумбо. Выстрел был неудачный, пуля миновала сердце и попала в живот. Блумбо катался по полу, зажимая рану. Лемнер извлек золотой пистолет, когда-то принадлежавший президенту Блумбо, и выстрелил. Блумбо затих.

Лемнер и президент Мкомбо вернулись в золотой кабинет и продолжали пить кофе.

Лемнер, покидая дворец, проходил мимо вольера с собаками. Звери хрипели, брызгали слюной, обгладывали кости. Это был скелет президента Блумбо.

Один парадокс сменялся другим. Вероучение России Мнимой состояло из парадоксов. Парадоксы были формой, что удержала в себе зыбкое, ускользающее вероучение России Мнимой. Лемнер задавался вопросом, кто он и к какому народу принадлежит. Ни принадлежит ли он к народу минене, подарившему миру великого правителя Кванго? Или он из ильменских славян? Или, что там хитрить, из колена Аронова? Лемнер хотел приложиться к каждому из этих народов, но народы не принимали его. Он чувствовал своё сиротство, своё одиночество среди народов Земли. И ему открылось, что он принадлежит к исчезнувшему народу, рождённому при сотворении мира и владевшему тайной этого сотворения. Народ ушёл и унёс с собой тайну. Лемнер, последний

уцелевший из народа, хранит эту тайну. Но она мнима и может быть выражена в форме парадокса. Ему предстоит возродить исчезнувший народ, чтобы он царил среди других народов и открыл им тайну сотворения мира. Но для этого нужна женщина, в лоно которой он бросит своё раскалённое семя, и она станет прародительницей народа, который через неё вернётся на Землю. Но где то лоно, что примет его раскалённое семя? Где женщина, от которой поведётся народ? Рыжей красавице Матильде он подарил золотую змейку, и Матильда принимала в лоно его раскалённое семя. Но её сожгли инквизиторы, и семя сгорело в костре. Чудесная несравненная Алла, носившая в себе его семя, замёрзла на льдине перед букетом красных роз, и его сын превратился в ломтик льда. Где найти женщину, ведущую концы и начала, готовую претерпеть ожог его раскалённого семени и вернуть на Землю народ, знающий тайны сотворения мира? Эта женщина — Лана Веретенова, чья ослепительная лодыжка будит его среди африканской ночи. Таинственные волны эфира несут ему весть о их скорой встрече.

На центральной площади Банги состоялось открытие памятника Пушкину. Изваяние было вырезано из огромного ствола чёрного дерева. Пушкин был могучим воином с выпуклыми бицепсами штангиста, литыми икрами бегуна, с торсом борца, чуть прикрытым набедренной повязкой. Его белки сверкали белым мрамором.

Губы переливались перламутром. На щёках красовались ритуальные надрезы. В одной могучей руке он сжимал копьё с наконечником из красного дерева. Казалось, он только что выдернул копьё из тела врага. В другой руке он держал отсечённую голову Дантеса. Голова была из мучнистого известняка с пустыми глазницами и красным языком. Множество людей стеклось на площадь. Приехали делегации из всех стран Африки, гонцы многочисленных африканских племён. Литым строем стояли бойцы подразделения «Пушкин». Африканские солдаты в малиновых беретах походили на грибы-красноголовики. Президент Мкомбо произнёс речь, в которой называл Пушкина прародителем африканских народов, праотцом всех африканских племён. Началось жертвоприношение. Одна за одной подходили к подножию памятника прекрасные африканки. Качая бёдрами, несли на прелестных маленьких головах корзины с дарами. Складывали перед богоподобным Пушкиным.

Здесь были слоновьи бивни из Занзибара, шкуры жирафа из Конго, алмазы из Намибии, плоды манго из Танзании, раковины из Эфиопии, розовые кораллы из Анголы, страусиные перья из Ливии. Пушкин утопал в дарах, и ему на плечи накинули пятнистую шкуру леопарда.

Последовали ритуалы. Юноши подходили к памятнику и лишали себя целомудрия. Ударялись пахом об острие копья. Сочилась кровь. Юноши молча терпели боль. Им тут же выдавали малиновые береты, и они становились в строй. Женщины, пожелавшие иметь детей от Пушкина, поднимали

разноцветные платья, присаживались на острие копья и уходили, унося плод. Зазвенели танцы и песнопения. Гремели тамтамы, топотали босые стопы, раскачивались ожерелья из цветов и раковин. Исполнялось на суахили письмо Татьяны к Онегину. К памятнику выходили поэты и читали стихи. Особенно хорош был стих про крокодила, грозящего клеветникам. Выскочили пигмеи с луками. У них были раздутые животы и выпученные пупки. Они метали стрелы в голову Дантеса. Воины стреляли в Дантеса из автоматов Калашникова. Голова рассыпалась, из неё вылетали термиты.

Уже появились черногрудые девы, неся чаши с пьянящими настоями, и все готовились предаться безудержной любви, когда Вава подошёл к Лемнеру:

— Командир, к нам гости.

— Кто?

— Наши задержали двух писак из Москвы. Похоже, они вынюхивают про тебя, про золотые рудники и подразделение «Пушкин».

— Едем, — Лемнер покинул празднество. В джипе с Вавой они вынеслись из Банги, свернули с шоссе и мчались по просёлку, поднимая красную пыль.

На дороге, стиснутый двумя бэтээрами, жался пикап. Двери и багажник были открыты. На траве валялись рюкзаки, кинокамеры, компьютер, телефон космической связи, куртки, брюки — всё, что составляет поклажу путешественников. У дороги высился термитник, похожий на глиняного болвана. Окружённые автоматчиками, стояли два путника в кроссовках, джинсах, футболках, пропитанных тёмным потом. Лемнер их сразу узнал. Это были журналисты Чук и Гек. Он познакомился с ними на лекции Ивана Артаковича Сюрлёниса. Они подошли в перерыве к столику, за которым Лемнер, Лана Веретенова и её друзья пили кофе. Лемнер вспомнил, что оба журналиста занимаются расследованиями. Одно касалось загадочной персоны, появившейся на киевском майдане, после чего пролилась кровь, в Россию вернулся Крым и восстал Донбасс. Случились сдвиги, толкающие мир к погибели.

— Добрый день, господа, — произнёс Лемнер. — Куда держите путь? Здесь у нас в Африке небезопасно.

— Мы это заметили, — сказал Чук, красавец с лицом Чкалова.

— Ваши люди чуть не переехали нашу машину своими бэтээрами, — Гек напряг крутые плечи, сжал кулаки, стал похож на боксёра среднего веса.

— Здесь Африка, господа, и нет светофоров. Чем могу вам помочь? Что вас интересует в Африке?

— Мы журналисты. Хотим узнать, что делают в Африке русские охранные подразделения. Правда ли, что они захватили золотые рудники, совершили государственный переворот и свергли законного президента Блумбо?

Из рыжей горчичной тучи жгло солнце. Термитник казался глиняной скульптурой, обожжённой в печи. По броне транспортёра полз жук, отливая

синим металлом. Автоматчики в линялых панамах, с профилем Пушкина на шевронах, нацелили автоматы с солнечными огоньками на стволах.

— Чем именно могу вам помочь?

— Мы видим, вы влиятельная персона. Не могли бы отвезти нас к господину Лемнеру? Говорят, он олицетворяет русскую экспансию в Африке.

— Я, Лемнер, господа. Вы Чук и Гек. Добро пожаловать в Африку!

Журналисты узнали Лемнера. В панаме, тропической пятнистой форме, он не был похож на застенчивого молчуна. Его представила Лана Веретенова исследователем Африки.

— Какая удача, господин Лемнер! Правда ли, что вы стали владельцем крупнейшего золотоносного рудника в Чомбо? Правда ли, что там был убит французский геолог и похоронен вверх ногами по изуверскому обряду? Верно ли, что президента Блумбо вы скормили собакам? Сейчас в Банги происходит освящение памятника Пушкину. Мы ещё успеем попасть на праздник?

— Всё правда, господа. Кроме одного. Вы не успеете попасть на праздник.

— Почему? Разве это так далеко?

— Потому, господа, что сейчас вы будете убиты. Вас похоронят ногами вверх, как здесь хоронят лазутчиков. Готовьтесь умереть, господа, — Лемнер достал золотой пистолет. Оружие засияло на ладони, как слиток.

— Вы не имеете права! Мы требуем встречи с послом!

— Здесь я посол, господа. Вы изложили мне ваши требования. Они неприемлемы.

Солнце жгло из рыжей горчичной тучи. Синий жук полз по броне. Слиток сиял на ладони. Кругом желтели чахлые, с мелкими листочками заросли. У дороги высился термитник, похожий на запёкшийся ком глины.

— У вас есть возможность выжить, господа. Расскажите, какого человека в нахлобученном капюшоне вы видели в Киеве на Майдане. Кто тот, что подвёл мир к роковой черте и держит палец на спусковом крючке?

— Но, господин Лемнер!

— Кого вы узнали, заглянув под капюшон?

Лемнер поднимал пистолет, который драгоценно горел в кулаке.

— Это был… — заикался Чук. — Это был…

— Ну!

— Это был Иван Артакович Сюрлёнис!

Душная буря понеслась над дорогой, согнула чахлые заросли, закружила до неба красную африканскую пыль. Лемнер пытался устоять в страшном вихре. Буря срывала панаму, отдирала от земли, уносила в пылающее небо. Он был жалкой соринкой, красной пылинкой, бессмысленной и ничтожной. Он исчезнет, так и не поняв тайну своего появления, тайну сотворения мира, тайну той облупленной двери с табличкой «Блюменфельд», перед которой он замирал, слыша, как отстаёт погоня. Чудища возвращались в подвал. Там обитал жуткий

испанский мертвец с огромным рогом из черепа. Там же таилась страшная «Герника», и минотавр оглашал джунгли истошным рёвом. Голые пятки француза ещё шевелились, когда голова и тулово были уже в земле.

Страшные клещи сдавили Лемнеру череп. Он хотел угадать: зачем понадобился тем, кто управляет мировыми стихиями? Зачем призвал его Светоч, а потом Чулаки, а потом Иван Артакович. Они крутят колёса жуткой русской мельницы, перемалывают красное зёрнышко перца, красную пылинку, Михаила Соломоновича Лемнера, повелителя Африки, отпрыска колена Аронова, занесённого мировой непогодой в русскую жизнь.

— Как страшно жить среди неразгаданных тайн, вместо отгадки довольствоваться парадоксами!

Буря утихла, унесла с кустов часть листвы, оставила ожоги на лицах, натёрла песком броню бэтээров, и она зеркально блестела.

— Господа, поначалу я решил, что вы оба умрёте. Но сердце мое расширилось от любви. Умрёт один из вас. Его убьёт другой. Вот пистолет. Кто из вас его возьмёт?

— Господин Лемнер, это невозможно! — воскликнул Чук. — Ведь мы с вами знакомы! Нас познакомила Лана Веретенова. Она так хорошо о вас отзывалась. Вы мягкий, добрый, благородный человек. Посвятили себя изучению Африки, этого рвущегося на свободу континента. Если вам не нравится наша миссия, мы готовы повернуть обратно и вернуться в Москву. Рассказать Лане о нашей встрече, какой вы великолепный воин в этой панаме, с золотым пистолетом. Нам говорили, что он принадлежал убитому президенту Блумбо. Но теперь мы видим, что это не так. Вы позволите нам уехать? Гек, собирай вещи! Мы едем обратно!

Синий жук на броне дополз до профиля Пушкина. Раскалённая броня жгла ему лапки. Он отпал от брони, побежал по дороге у ног Лемнера, сверкнув синей сталью.

— Я предлагаю одному из вас жизнь. Иначе оба умрёте!

Лемнер водил пистолетом, посылая золотые вспышки Чуку и Геку.

— Возьми пистолет, — сказал Гек. — Я умру. Скажи маме, что это несчастный случай. Упал в пропасть, утонул в озере, попал в пасть льва.

— Не могу! Господин Лемнер, проявите милосердие! Ведь мы русские люди! Мы православные! На нас кресты!

— На мне нет креста, — Лемнер расстегнул на груди рубаху. — Когда-нибудь умерев, я буду лежать под иконой. Но хватит лирики. Кто возьмёт пистолет?

Гек напряг плечи, расставил ноги, сжал кулаки, принял боксёрскую стойку. Он был на ринге и готов был погибнуть в схватке. Чук мучительно тянулся к пистолету, отдергивал руку, словно обжигался. Взял пистолет.

Держал неумело. Лемнер ждал, что Чук мгновенно взметнёт пистолет и выстрелит в него, в своего палача, и будет стрелять, пока автоматчики не срежут его. Чук поднял пистолет, жаркий, как слиток. Направил в лоб Гека.

У Лемнера оставались секунды, чтобы остановить выстрел. Он искал в своей душе хоть малую искру милосердия, слабую тень сострадания. Его мысль вызывала лицо отца, Соломона Моисеевича, безобидного добряка, знатока французской литературы. Матери, Софьи Семёновны, декламатора еврейских стихов. Не было милосердия, сострадания. Была пустота с металлическим проблеском скользнувшего жука.

Чук выстрелил. На лбу Гека появилась маленькая красная клякса. Гек упал на дорогу лицом вниз, и Лемнер искал на его бритом затылке выходное отверстие. Не находил.

Взял из рук Чука пистолет.

— У каждой пули есть своя улыбка. У пули, которой ты убил друга, улыбка Иуды. Такие люди, как ты, не должны населять Землю.

Лемнер выстрелил Чуку в переносицу. Красивое лицо лётчика Чкалова вдруг сжалось, сморщилось, стало маленьким, как у амулета, которые продаются в лавках мексиканских колдуний.

— Копайте яму, — приказал Лемнер автоматчикам. — Одну на двоих. Им будет о чём поговорить.

Вырыли яму. Тёмная земля на солнце светлела, превращалась в пепел. Из ямы тянуло прохладой. Журналистов окунули головами в яму и держали, засыпая землей. Торчали стопы в кроссовках. Лемнер содрал обувь. Пересчитывал голые пальцы. Их было двадцать.

— Командир, зачем содрал обувь? — спросил Вава.

— У них незагорелые пятки.

Вечером в отеле Лемнер, после прохладного душа, облачился в махровый халат. Пил белый Мартини со льдом.

В дверь номера постучались.

— Кому ещё там не спится?

Дверь отворилась. На пороге стояла Лана Веретенова.

Глава четырнадцатая

Он целовал её пунцовый рот, не давая дышать, погружал лицо в душистые волосы и сам задыхался, бежал губами по бровям, ресницам, подбородку, тёплой груди, коленям, находил лодыжку и целовал ненасытно, а потом вновь бежал губами по коленям, бёдрам, дышащему животу, к пунцовому рту, не давая вздохнуть. Она летала пальцами по груди, плечам, спине, и у него от касаний случались вспышки. На мгновение он видел золотой пистолет, синего жука, фиолетовую точку, куда подлетал вертолёт, и сиреневый глаз антилопы, и цветущее дерево перед дворцом, и он втыкает ствол автомата под рёбра великана, и фламинго плавно летит над водой, и следом течёт его розовое отражение. Она будила в нём видения, словно просматривала его жизнь и что-то искала в ней, то, что он сам не сумел разглядеть. Он вбегал в подъезд московского дома, проносился мимо подвала, тьма догоняла, и он добегал до двери с табличкой «Блюменфельд», молил, чтобы дверь отворилась, и она открывалась, и оттуда поток слепящего света, несказанного счастья, и он падал в ослепительный свет, и счастливый лежал, обнимая её. Казалось, их выплеснуло море, ещё шумит, отступает.

— Как меня нашла? Как здесь оказалась?

— Я тебя не теряла. Была с тобой.

— Там, в Доме приёмов, ты взяла мою руку, стала ворожить, и я почувствовал, как ты вошла в мою жизнь.

— Ты получал мои послания? Я направляла тебе письма по волнам эфира. Эти волны соединяют одну человеческую душу с другой.

— Твои письма приходили, но я не мог распечатать конверты. Они оставались не прочитаны.

— Теперь ты понял их содержание? Я старалась предостеречь тебя об опасностях. Отводила от тебя беду.

— Какую беду отводила?

— Когда ты врывался во дворец, и золочёные ворота повисли на носу бэтээра, я заставила тебя нагнуться, и автоматная очередь прошла над твоей панамой. Когда на рынке ты шёл с безумным африканцем, я обрушила полку с рухлядью на стрелка, который метил в тебя, и он уронил пистолет. Когда французский вертолёт искал в небе фиолетовую точку, из которой хотел послать в тебя ракету, я сдвигала эту точку, и твой товарищ успел сбить вертолёт. Когда в джунглях тебя собиралась ужалить ядовитая оса, я напустила на неё жёлтого попугая, и он склевал осу.

— Ты всё это видела? Ты ясновидящая?

— Я вижу всё, что с тобой происходит. Каждый твой шаг.

— Видела, как я гонюсь на бэтээре за антилопами?

— Видела, как испуганная антилопа прыгнула и пронеслась над твоей головой, едва не сбив панаму копытами.

— Видела, как я спас из паутины перламутровую бабочку?

— Ты посадил её на глянцевитый лист и ждал, когда она улетит.

— Видела, как достал золотой пистолет и передал Чуку, тому парню, что подошёл к нам в отеле?

— Пистолет горел в твоей руке, как слиток. Чук не брал его, словно боялся обжечься.

— Ты не осуждаешь меня за то, что я закопал их обоих верх ногами?

— Они знали, на что идут. Они хотели тебя погубить. Я путала их маршрут, мотала по африканским просёлкам, пока не навела их пикап на блокпост твоих «пушкинистов».

— Ты видела, как я гладил чёрные груди африканки?

— Я познакомилась с Франсуазой Гонкур в Париже, и мы кормили уток в Сене у Нотр-Дам де Пари. Мне казалось, что она связана с французской разведкой.

— Зачем я тебе? Почему ты мне помогаешь?

Она касалась его висков, рисовала маленькие кольца. Крохотные колечки погружались в него, пьянили, вызывали кружение. Появлялось лазурное перо неведомой птицы. Малиновая заря над тёмными водами озера. Фарфоровый циферблат старинных часов с бегущей стрелкой. Появлялись кубы, жёлтые, зелёные, красные, превращались в шары, а те распадались на множество линий, которые складывались в картину Вермеера «Шоколадница», и вместо чашечки шоколада сидел зелёный богомол. Вставал на задние лапки и вёл под фонарями чернокожего министра, а тот держал букет алых роз, и букет удалялся, и льдина блестела, и тёмная полынья затягивалась хрупкой слюдой.

— Почему ты мне помогаешь?

— Я узнала о тебе от моей подруги, рыжеволосой Матильды. Она была влюблена в тебя, но не смела открыться. Мужчин, которым ты её отдавал, она называла твоим именем, и ей казалось, это ты её обнимаешь. Она забывалась, называла их твоим именем. Я уговаривала её уйти из твоего заведения «Лоск», иначе она умрёт. Но она осталась, чтобы только видеть тебя. Её рыжие великолепные волосы были украшением эскортов, сводили с ума арабских шейхов и кавказских сенаторов. Она сказала, что ты снаряжаешь эскорт в село Свиристелово. Там собрались дизайнеры, рекламирующие шампуни. Я умоляла её не ехать в Свиристелово, бежать от тебя. Мне приснился страшный огонь, в нём горела Матильда. Её огненные волосы летели по ветру и поджигали леса. Там, где опускались её горящие волосы, там появлялись очаги пожаров. Парашютисты кидались с самолётов в огонь и гибли. От неё, от моей бедной Матильды, я узнала о тебе. О той таинственной силе, которая в тебе таится.

Влечёт по линии жизни, ещё не начертанной на твоей ладони. Я захотела тебя увидеть, хотела увидеть твою ладонь и обнаружила эту линию жизни. Это линия Величия.

Лана роняла в него крохотные кольца, и они рождали несказанную сладость Он боялся вздохнуть, чтобы не спугнуть небывалое блаженство.

— Я хотела тебя узнать. Ходила по двору твоего дома на Сущевском Валу напротив Миусского кладбища. Видела подвал, где обитал мёртвый испанец с рогом во лбу и хрипели свирепые минотавры. Поднималась на второй этаж к дверям с табличкой «Блюменфельд». Правда теперь там висит табличка «Фельдман». Одни евреи съехали, уступив место другим. Я побывала в твоей квартире, где обитали милые Соломон Моисеевич и Софья Семёновна. Они разговаривали между собой по-французски. Разговор шёл о тебе. Ты подрался в классе, и родителей вызывали в школу. Я видела то место, где ты насмерть дрался с Вавой, чудом не убил куском асфальта. С тех пор вы неразлучны и спасаете друг друга от смерти. Я видела окно в доме напротив. Там по утрам появлялась нагая женщина. Ты подстерегал её, как охотник подстерегает добычу. У неё было удлинённое средиземноморское лицо, маленький пунцовый рот, и ты искал с ней встречи. Но она исчезла. Я исследовала тебя, твоё детство, юность, твои университетские годы. Твой страх, когда ты читал «Сон Татьяны», и то головокружение, когда читал библейского пророка Даниила и надпись на стене Валтасара. Искал появление надписи на колокольне Ивана Великого. И я тебя угадала.

— Что угадала? — слабо спросил Лемнер, погружаясь на дно Средиземного моря. Видел под водой мраморную капитель, на которой сидела морская звезда, и мимо, плавно, окружённая серебряными пузырями, проплыла нереида.

— Что обо мне угадала?

Она продолжала касаться его висков. С её пальцев слетали лёгкие вихри, погружались в него, плыли, как плывут по реке солнечные воронки. Каждая уносила его волю, его жизнь, и он исчезал, не противился, был счастлив. Ведунья, ворожея, она обрела над ним колдовскую власть, и он не ведал, как она распорядится этой властью. Наградит ли вечным блаженством или обречёт на вечную муку.

— Три попугая, жёлтый, синий и красный, жестоко дерутся, роняют перья. Каждый хочет склевать орех. Три ветра, с севера, с юга, с востока, сшибаются в бурю, и каждый желает сломать пшеничный колос. Три воды, небесная, земная, морская, хотят унести гнездо с волшебным яйцом. Три стрелы с железным, серебряным, золотым наконечниками целят в горячее сердце. Три пули, у каждой своя улыбка, хотят поразить холодный ум. А теперь отгадай, о чём притчи.

Она не говорила, а причитала. Древнее, колдовское, сказочное, похожее на песнопение, берестяную грамоту, тайный знак на камне было в её причитаниях.

— Не пойму притчу, — он блаженно улыбался, исчезая среди солнечных воронок. Желал, чтобы власть её не кончалась. — Не пойму твои притчи.

— Три попугая, что дерутся из-за ореха, три ветра, что ломают пшеничный колос, три воды, что стремятся унести яйцо, три стрелы, целящие в жаркое сердце, три пули, стреляющие в холодный ум, суть Антон Ростиславович Светлов, Анатолий Ефремович Чулаки и Иван Артакович Сюрлёнис. Орех, пшеничный колос, волшебное яйцо, жаркое сердце и холодный ум — это ты, Михаил Соломонович Лемнер. Ты оказался в центре ужасной схватки, которая тебя уничтожит. Три громадных и жутких соперника хотят овладеть тобой. Каждый хочет сделать тебя пистолетом в своей руке, направить твои выстрелы в двух других. А потом тебя устранить, как устраняют оружие с места убийства.

Она пророчествовала. Так звучали пророчества царям иудейским, фараонам египетским, полководцам персидским. Он был царём иудейским, фараоном египетским, полководцем персидским. Пророчества были путаны, невнятны, необъяснимы. Они сулили смерть, но были сладки, изрекаемые её голосом. Смерть была не мгновенной, а тягучей, как мед.

— Значит, я обречён? — слабо пролепетал Лемнер, превращённый в солнечную воронку, сносимую по реке.

— Ты обречён победить. Ты победитель. Все трое падут, а ты пойдёшь дорогой Величия.

— Какого Величия? — он пугался ещё одной тайны, которую не в силах постичь.

— Ты попал на великие русские качели в момент их взлета. Тебя ждут испытания, вокруг тебя произойдут разрушения, падут сильные мира сего, и ты займёшь их место. Ты будешь полководцем великой армии, победителем в великой войне. Станешь народным кумиром и возглавишь великое царство.

— То, у которого Василий Блаженный, Байкал и Пушкин? — он слабо отводил от себя тайну.

— То царство, у которого ты.

— Твои предсказанья сбываются? — он надеялся, что это прихоть её женских фантазий. Она играет ведунью. Игра окончится, ведунья исчезнет. Вновь вернётся любимая женщина, у которой в волосах крохотный лепесток фиолетового цветка.

— Я предсказала тебе поход на Северный полюс, и ты видел, как тысячи радуг играют над полярными льдами. Я предсказала тебе африканский поход, и ты сбил французский вертолёт над африканской саванной. Ты идёшь дорогой Величия. Линия Величия проступает на твоей ладони всё отчётливей.

Она провела по его ладони пальцем. Засверкала, как надрез, линия от запястья к среднему пальцу. Линия Величия.

— Какая в тебе сила? Какое колдовство? Ты видишь будущее?

— Я смотрю в человеческое сердце. Будущее человека в его сердце. Он носит с собой своё будущее. Гадалка умеет заглянуть человеку в сердце. Умеет рассказать человеку о его сердце.

— Верно ли, что все великие люди имели своих гадалок? Они раскрывали великим людям их будущее?

— У последнего царя была гадалка Леночка Таганская. Она нагадала царю Цусиму, предсказала белокровие у наследника, предупредила об январском Кровавом воскресенье, о войне с Германией, о казни в Ипатьевском доме. Она говорила царю: «Иван в море, Матрена в горе. У сына твоего не кровь, а вода. В январе посеешь, в феврале пожнёшь. Мельница германская, зерно русское. С Ипатом пришёл, с Ипатом уйдёшь». Царь услышал пророчицу и заплакал. А Леночку Таганскую в прорубе утопили.

— И у Сталина была гадалка?

— Когда он в ссылке, в Сибири жил, была рядом с ним гадалка Ксения Ягодка. Она Сталину нагадала, что прямо из Сибири он в Петрограде, в Смольном окажется. Что много будет кругом революционеров, а уцелеет он один. Что свастика «о четырёх топорах», придёт в Россию. Что в Ялте соберутся трое, а в Берлин приедет один. Что ему друг в вино яд насыплет. Она говорила: «Нырнешь в Енисей, вынырнешь в Неве. Снопов много, а колос один. В Россию придёт креститель с крестом о четырёх топорах. Рюмки три, а нальют в одну. Пригубишь чарку и пойдёшь насмарку».

— Ты мне предсказала Величие. Но меня склюют три попугая. Сдуют три ветра. Смоют три воды. Вопьются три стрелы. Улыбнутся три пули. Как мне увильнуть от пуль, избежать попугаев? Как прийти к Величию?

— Я буду рядом. Проведу мимо засад, «волчьих ям». Ты будешь знать о кознях врагов, успевать выстрелить первым, упасть прежде, чем пуля в тебя вопьётся, отскочить, чтобы стрела пролетела мимо, притвориться камнем, чтобы попугаи от тебя отвернулись. Я вхожа к Антону Ростиславовичу Светлову, Анатолию Ефремовичу Чулаки, Ивану Артаковичу Сюрлёнису. Они ждут моих предсказаний. Я буду знать их замыслы. Буду путать их ложными предсказаниями. Ты пройдешь к Величию не прямым путем, а по ломаной линии, по какой бежит по полю пехотинец, уклоняясь от гранат, очередей и снарядов. Ты будешь падать, вскакивать, метаться в сторону, притворяться убитым, бросаться вперёд. За тобой останется изрытое снарядами поле боя, усеянное поверженными врагами. Ты поднимешься на Царское крыльцо и воссядешь в Грановитой палате.

— Я должен верить в твои предсказания?

Она говорила о невозможном, но для него было важно лишь то, что казалось невозможным.

— Должен верить в свое Величие. Я выбрала тебя среди тысяч. На тебе перст судьбы.

Она подняла тонкий перст. С него срывался луч света. Поднесла к его лбу. Луч проник в него, ослепил. Распахнул границы мира в беспредельность. Он лежал в ослепительном свете.

Глава пятнадцатая

Утром они не вставали. Оставались в просторной постели под балдахином с золочёным гербом несуществующего королевского рода. В окне, в знойном розовом небе пальма качала плюмажем. В номер постучали. Прислужник в красной ливрее с золотыми пуговицами и аксельбантами, похожий на гвардейца, протянул серебряный поднос с картой. Лемнера приглашали на правительственный приём, вечером, на берег озера Чамо.

— Можем не ходить, если не хочешь, — Лемнер небрежно помахал приглашением и уронил на пол.

— Сегодня роковой день, — Лана подняла карту и положила на стол с суеверной осторожностью, исправляя допущенную Лемнером небрежность. — Сегодня нельзя ничего ронять. Это грозит большими потерями. Сегодня случится грозное, роковое.

— О чём ты?

— Мне приснился сон. Не могу разгадать. Будто идём с тобой по аллее, и наперерез чёрная кошка. Ты выхватил золотой пистолет и выстрелил в кошку. Пуля пробила кошку и полетела дальше. Попала в цветок подсолнуха. Подсолнух разлетелся, с него опали лепестки. Мёртвая чёрная кошка лежит на алее, и кругом жёлтые лепестки подсолнуха.

— Никогда не стреляю в кошек из пистолета. Тем более, по цветам.

— Не могу разгадать сон. Но сегодня случится роковое.

Они подкатили на чёрном «Вольво» к озеру Чамо. Там располагалась загородная резиденция президента. Автоматчики в малиновых беретах пропустили их к белоснежному дворцу, напоминавшему Версаль своей барочной лепниной и гранёными хрустальными фонарями. Скользили, как чёрные рыбы, великолепные машины. Из них выходили чернолицые дамы в вечерних туалетах, министры, военные. Мелькали мундиры, орденские колодки. Возникла под фонарём и тут же пропала ряса священника. Тропическая чёрная ночь, блеск близкого тёмного озера, множество чёрных лиц, неразличимых во тьме. Только горят белки. Кажется, вечерние платья из алых, голубых, изумрудных шелков плывут без тел, как облачение невидимок.

Лемнер избавился от выгоревшей панамы, линялого камуфляжа, избитых башмаков. На нём был смокинг, галстук-бабочка, туфли стиля «Оксфорд». Лана была в розовом шёлке, цвета фламинго, с голой спиной, вольно раскрытой грудью. На груди готовый скользнуть за вырез, сиял голубой бриллиант.

— Меня не оставляет чувство, что должно случиться несчастье. Быть может, лучше уйти?

— Многие из гостей хотят превратиться в твой бриллиант и скользнуть за вырез твоего чудесного платья.

Приём проходил на открытой веранде. Дворец, освещённый огнями, сказочно сиял. Ступени веранды спускались к воде. Были расставлены столы под белоснежными скатертями. Блестели хромированные чаны с яствами, под каждым горел голубой огонёк спиртовки. Бармен с ловкостью факира мешал коктейли, вливал разноцветные струйки, бросал в тяжёлые стаканы кубики льда. Гости брали стаканы, подносили к губам. Блестели зубы, появлялись алые языки, на пальцах, сжимавших стакан, переливались бриллианты.

— Почему мне так тревожно? — Лана держала под руку Лемнера, и он вёл её по веранде, раскланиваясь с незнакомцами в мундирах и смокингах, искавшими его внимания.

Озеро мерцало под фонарями. Стена тростников чернела среди слюдяной воды. Озеро трепетало, вспыхивало множеством всплесков. Бессчётные жизни наполняли воду, кружили, танцевали, любили друг друга, чертили на воде гаснущие линии. Вода чуть слышно звенела. Тростники молчали. В них таилась притихшая, не спящая, чуткая жизнь, слушала звуки воды и неба.

— Мне кажется, здесь кто-то есть, невидимый, смотрит на нас. Руку протяни, и его коснёшься.

— Чёрная кошка в чёрной Африке.

Лана протянула голую руку. Рука попала в свет фонаря, стала серебряной. На неё из мрака слетелось множество прозрачных существ, покрыли руку слюдой. Рука переливалась, словно стеклянная.

К ним подошёл статный, грациозный человек в смокинге, с золотыми запонками в манжетах. Его чёрное лицо было едва различимо. Фарфоровые белки, рубашка, золото в манжетах сияли.

— Я профессор лингвистики Муранго Мунене, — представились белки. — Я слушал вашу речь, месье Лемнер, на открытии памятника Пушкину. А знаете ли вы, что в моей родовой деревне Кнамбо живёт дочь Пушкина от Анны Керн? Она перевела на суахили стих отца «Я помню чудное мгновенье». Теперь, когда мы хороним односельчан, мы читаем этот замечательный стих.

— Прошу прощения, профессор Мунене. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом моей жене? Я хочу поприветствовать президента Мкомбо.

На веранде появился президент, радушный, белозубый, с осанкой милостивого повелителя, утомлённого народным обожанием. Его окружала охрана, могучие, с лицами львов, телохранители. Они с ненавистью смотрели на гостей, отыскивая того, в кого влепят пулю. К президенту тянулись, боялись подходить, кланялись издалека.

Лемнер прошёл сквозь охрану.

— Чувствую, месье президент, как под вашим мудрым правлением страна идёт к процветанию.

— Вы имеете в виду ещё два золотых рудника, которые перешли в вашу собственность?

— Я имею в виду настроение в подразделении «Пушкин». Мои люди перегрызут глотку всякому, кто оспорит ваше право на власть.

— Передайте мою благодарность подразделению «Пушкин». Кстати, я не знал, что в России мертвецов хоронят головой вниз. Почему?

— Так легче думать, месье президент. Какие уж мысли, если твой труп сжирают собаки?

— Мой дом — ваш дом, месье Лемнер. Африка любит вас.

Лемнер возвращался к покинутой Лане. Его остановил китайский военный атташе.

— Правда ли, господин Лемнер, что русские войска концентрируются у границ Украины? Возможна ли война?

— Возможна ли война между Китаем и Тайванем? — Лемнер задал встречный вопрос. Китаец посмотрел на Лемнера прорезями снайперских глаз, и они расстались. Иногда встречный вопрос красноречивее любого ответа.

Его задержал священник. Чёрная ряса, чёрная борода, чёрное лицо делали его невидимым, если бы не яркие, как фарфоровые изоляторы, белки и розовый язык. Да ещё запах елея, который пахнул плодами манго.

— Хотел вам сказать, сын мой, что православие нашло, наконец, свой народ. Африканцы приняли православие естественно, кротко, ибо оно созвучно нашим культам и традициям. Когда мы в храме читаем «Символ веры», то начинаем танцевать и не можем остановиться до конца службы. Мы слегка переиначили Евангелие от Иоанна. Мы говорим: «Вначале был Пушкин, и Пушкин был у Бога, и Пушкин был Бог».

— Аминь, — произнёс Лемнер и заспешил к Лане. Лингвист продолжал увлечённо втолковывать:

— Мы считаем, что всё произошло от Пушкина. Люди, животные, птицы, рыбы, цветы, камни, звёзды. Когда наши рыбаки уходят на рыбный лов, они произносят молитву: «Пушкин, отдай нам свою чешую, свои плавники, свой рыбий пузырь!» Когда охотники идут убивать антилопу, они взывают: «Пушкин, одари нас своими копытами, своими рогами, своей пятнистой кожей!»

Лемнер подошёл и некоторое время внимал. Не перебивал лингвиста, видя, как интересен Лане его рассказ. Но на эстраде появились музыканты, все в белых пиджаках, с драгоценными трубами, флейтами и саксофонами. Сунули мундштуки инструментов в пухлые губы, раздули чёрные щеки. Полилась волшебная музыка, бархатная, как шерсть пантеры, сладостная, как сок манго, пьянящая, как цветок фиолетовой акации. Музыка пьянила Лемнера. Два глотка виски, серебряная, усыпанная стеклянными мерцаниями рука. Тёмное озеро с трепещущей водой, множество голубых и изумрудных мальков. На свет фонаря из озера всплывает большая рыба. Это Пушкин с алыми жабрами, в

перламутровой чешуе. Плавником он ласкал Анну Керн. Китайский атташе целит лучиками в православного священника, а тот издалека благословляет президента Мкомбо. Стакан в руках бармена из голубого становится алым. Пальцы батюшки, благословляющие президента, тонкие, как чёрные лепестки.

Лемнер танцевал с Ланой. Вел её в чудесном кружении. Они ступают по водам, струятся её шелка, сияет голубой бриллиант. Вместе с бриллиантом он сливается за вырез её розового платья.

Они танцевали. Гости расступились, смотрели фарфоровыми глазами, как он обнимает её, водит по кругам с закрытыми глазами. Не раскрывая глаз, он слышал, как чудесно волнуется её спина, её нога сильно, плавно касается его ноги.

— Люблю тебя. С детства, когда ждал твоё появление в окне, и ты на мгновение представала в ослепительной наготе. Исчезала, и наутро я ждал твоё появление. Зачем нам другая жизнь? Зачем нам попугаи, безумные ветры, слепые воды, дурные стрелы и горючие пули? Останемся в Африке. Ты станешь моей женой. Каждый месяц я буду вешать на твою дивную грудь новый голубой бриллиант.

Лемнер боковым взором увидел летящую из озера тень. Лёгкий, в чёрном трико и маске человек вырвался из озера. Сбросил с плеч гриву воды. Блестя под фонарями мокрым трико, бросился на веранду. Протягивал в беге обе руки. В руках были пистолеты, направленные на золочёное кресло, где восседал президент Мкомбо. Лемнер, продолжая танцевать, отводя глаза от голубого бриллианта, выхватил пистолет и выстрелил, ещё и ещё, в бегущего стрелка. Тот нырнул головой вперёд, падал и стрелял, не в президента, а в пол веранды. Скользил, сжимая пистолеты, и замер, длинный, в чёрном трико и маске, продолжая сжимать пистолеты. Охрана гурьбой уводила президента. Гости, визжа, убегали с веранды. Из камышей поднялась шумная стая фламинго. Лемнер подошёл к убитому. Туфлей модели «Оксфорд» выбил пистолеты из рук убитого, оттолкнул в сторону. Содрал маску с лица. То была Франсуаза Гонкур. Её огромные неживые глаза, тонкие руки, пальцы с малиновым маникюром.

— Она была из французской разведки, — сказала Лана.

К ним подошёл китайский атташе:

— Вы слышали новость, господин Лемнер? Русские войска перешли границу Украины. Это война.

— Я разгадала сон. Чёрная кошка — это Франсуаза Гонкур, желавшая убить президента. Цветок подсолнуха, куда вонзилась твоя пуля — Украина. Это твоя война. Ты должен лететь в Москву.

Глава шестнадцатая

Тяжёлые транспортные самолёты уносили подразделение «Пушкин» из Африки. Она махала вслед своими пальмами. Лемнера в Москве ожидали встречи. Готовясь к ним, он помнил притчу о трёх попугаях и орехе. Он был орех с костяной кожурой, нежной сердцевиной и потаённой завязью. В завязи таилась его судьба, сулившая Величие. Он решил позаботиться о «пушкинистах». Расставание с Африкой было для них мучительно. Они полюбили континент, где на каждом дереве растут сладчайшие плоды, ночами под окнами ревут львы, женщины имеют цвет натурального кофе, а на дорогах и рынках стреляют без предупреждения. Чтобы переезд из Африки в Россию не казался «пушкинистам» слишком резким, Лемнер решил устроить соратникам ещё одно прощание с Африкой.

Он собрал всех африканских студенток, получающих образование в московских институтах и попутно работающих проститутками. Пригласил их на корабль, плавающий по Москве-реке от Воробьевых гор до Ново-Спасского монастыря. «Пушкинисты», кто в десантных тельняшках, кто голый по пояс, с юными африканками на коленях плыли по Москве-реке, распевая гимн подразделения «Пушкин». В гимне были прежние слова «У каждой пули есть своя улыбка» и «Несу на блюде голову врага». Но Лемнер добавил новый куплет: «Тятя, тятя, наши сети притащили…» Тятей был Лемнер. Так по-сыновьи называли его «пушкинисты».

Когда корабль проплывал Лужники, африканки превратились в команду художественных гимнасток. Они крутили обручи, раскаляли их бёдрами добела. Делали шпагаты, для чего сбрасывали с себя остатки одежд. Летали и прыгали с лентой, словно раскачивались на лианах. Студентка юридического факультета Анзор залезла на мачту, вертелась, показывая язык и гримасничая, пока Вава не поймал её за пятку, стянул с мачты и увлёк с палубы в трюм. Проходивший в Лужниках футбольный матч «Спартак» — «Динамо» был сорван. Болельщики покинули стадион и смотрели на чудесный корабль, скандируя: «Россия! Россия!»

Корабль проплывал мимо Министерства обороны. Африканские студентки ходили по палубе строем, выполняли фигуры дефиле, демонстрировали приёмы рукопашного боя, с воплями рубили кирпичи, ложились под танк, сбивали самолёты, брали в плен оробевших «пушкинистов» и волокли их в трюм. Студентка философского факультета Аума выгнула грудь колесом, а у неё было два колеса, и стала ходить по палубе строевым шагом, отдавая честь офицерам министерства, что прилипли к окнам, на время оставив управление боевыми действиями на Украине. Их не отогнал от окон министр. Стоял, приложив

ладонь к фуражке с золотой кокардой, а студентка Аума тянула мысок, поедала министра огненными глазами. Вава, уставший её урезонивать, схватил Ауму за пучок косичек и поволок в трюм. Та упиралась, обвиняла Ваву в расизме, салютовала министру.

Корабль проплывал мимо Храма Христа Спасителя, по его золотому отражению. Африканские студентки пали на колени и каялись в грехах, которые были столь ужасны, что золотые главы собора почернели. Священник прервал службу и вышел к блудницам. У каждой принял исповедь, накрывая маленькую головку с косичками золотой епитрахилью. Девушка, очищенная от грехов, выныривала из-под епитрахили счастливая, а священник смущённо улыбался. Девушки обещали больше не грешить. Не лязгать зубами, не чмокать, не чесаться за столом, не искать в волосах подруги блоху, не качаться на люстре, не драться с товарками из-за упавшего с дерева персика. Студентка финансового факультета Сэмбия обещала носить трусы. Некоторые тут же постригались. Вава осуществлял постриг. Десантным ножом срезал косички и бросал в реку. Косички плыли, их вылавливали бомжи и делали из них плетки для вразумления бомжих.

Кремль восхитил студенток. Они хлопали в ладоши, сосали кончики пальцев, шлёпали себя по смуглым ляжкам. Изображая фламинго, вставали на одну ногу. Ложились на палубу и щёлкали зубами, как крокодилы. Грациозно подскакивали, подобно антилопам. Восклицали: «Леонид! Леонид!», веря, что Президент Леонид Леонидович Троевидов любуется ими из окон дворца.

Храм Василия Блаженного был для них родным. Его строили архитекторы-африканцы, взяв за основу блюдо с плодами ананасов, бананов, манго, фиников и особых африканских тыкв, из которых африканские маменьки делают люльки для новорождённых.

Корабль доплыл до Ново-Спасского монастыря. «Пушкинисты» похватали студенток и унеслись в город, прощаться с Африкой.

Лемнер осмотрел разбросанные по палубе чёрные косички, ожерелья из раковин и розовые трусики и сошёл на берег. Там, у монастырских врат, он ждал Лану Веретенову.

Она возникла из пустоты, из золотистого воздуха ранней московской осени. Она обладала способностью возникать из пустоты, вдруг собиралась из лучей, золотистых пылинок. В первый день их знакомства в Кремле она вышла из деревянного оклада, как ожившая икона, ослепила его. В Африке, ночью, на пороге отеля, она возникла из пыльцы ночных бабочек, мерцанья светлячков. И теперь там, где высилась монастырская стена с могучей колокольней, вдруг появилась она, показывая на колокольню, на циферблат высоких часов. Издали извиняясь за опоздание. Лемнер, видя, как её смуглое лицо окружено свечением осени, испытал внезапную нежность, чудесную слабость, сладкое бессилие, её власть над собой. Власть, о которой говорят: «Иго моё легко».

— Как мне тебя не хватало! Хочу, чтобы ты касалась пальцами моих висков, и я плыл по бескрайней реке среди солнечных золотых колец.

— Не теперь. Ты должен быть очень чуток. Предстоят опасные встречи. Тебя будут обманывать, искушать, прельщать, устрашать. Всё, что ты услышишь, будет ложь. Но ты делай вид, что веришь, обманываешься. И обманутым окажется обманщик.

— Тебя не будет рядом? Я могу оступиться. Мой путь к Величию будет прерван.

— Я должна сообщить тебе тайну. Твою тайну. Она тебя укрепит.

— Какая тайна?

Она повела его в монастырь. Над вратами висела икона. Спас взирал чёрными ужаснувшимися глазами. Лана перекрестилась, а Лемнер смиренно потупил взор.

В монастыре было тесно от огромных соборов, синих и золотых куполов. Повсюду благоухали цветы прощальными ароматами лета. Чудесны были розовые и лиловые астры. Розы с утомлёнными лепестками грелись в последнем бледном солнце. Среди белых соборов на мгновение возникала чёрная ряса и тут же скрывалась.

Они остановились у входа в каменные палаты. Ступени вели вниз, над входом синей и золотой мозаикой был выложен Спас.

— Здесь находится усыпальница бояр Романовых.

— Я не монархист. Равнодушен к проблеме останков.

— Ступай за мной.

Они оказались под низкими белыми сводами. Стояли саркофаги, горела перед иконой лампада. Пахло тёплыми кадильными дымами, но сквозь тонкие благоухания доносился холод камня.

— Я долго сомневалась, не ошибаюсь ли. Изучала древо Романовых. Оно восходит к Рюрику. Исследовала изображения Рюриковичей и Романовых. Фреску в Свияжске под Казанью, с изображением Ивана Грозного. Парсуну с ликом Алексея Михайловича Романова. Портреты всех русских царей и великих князей, вплоть до фотографий цесаревича Алексея. Но у меня оставались сомнения. Я взяла пробы с окровавленной рубашки Николая Второго. Ну, ты помнишь, его ранил в Токио безумец. Я сравнила результаты анализа с генетической экспертизой твоего волоса. Я взяла волос с подушки после нашей тропической ночи. И все сомнения отпали.

— Какие сомнения? — На Лемнера надвигалось наваждение. Лана создавала наваждения, как пишут сказки или разрисовывают карнавальные маски. Она приносила ему наваждение и вручала. Её сны становились его явью. Наваждения были невозможны, из сумасшедших домов. Их не принимал разум. Они не умещались в его опыт, не укладывались в его судьбу. Но она находила в

нём малый сосудик, крохотный капилляр и вливала в его кровь наваждения. Он тихо сходил с ума, верил в наваждение, дорожил своим сладким безумием.

— В тебе течёт кровь Романовых. Ты из Романовых.

— Я? Михаил Соломонович Лемнер?

— Ты, Михаил Соломонович Лемнер. Лемнер-Романов.

— Но как такое возможно? — он пугался её горящих глаз. Такие глаза бывают у безумных открывателей, узревших среди галактик элементарную частицу. — Такое исключено.

— Что мы знаем о нравах принцесс Голдштинских? Или Рамштадтских? В ту пору богатые еврейские купцы ссужали деньги европейским дворам. Может, одна из принцесс отдала долг еврейскому купцу?

— Невероятно! — Лемнер уже был под наркозом. В нём тихо звенел сосудик, вливалось наваждение.

Он смотрел на каменные саркофаги. Минуту назад они казались глыбами, холодными, навеки остывшими. И вдруг потеплели. Камень стал прозрачным. Из него исходило свечение. Свечение коснулось Лемнера. Камни взывали. Он услышал, как в нём дрогнуло, откликнулось на зов. Зов доносился из камня, словно в глубине таилась родная жизнь. Она узнала Лемнера, потянулась к нему. Это был зов предков. Звенела, пела крохотная молекула его тела, в пояснице, у копчика, где из спинного мозга исходили жгуты нервных волокон. Там жила, трепетала молекула, делавшая его Романовым. Он тянулся к саркофагам, был готов упасть на них и рыдать. Слепящая молния вонзилась в него. Он превратился в свет и мчался по световоду, который вел сквозь род Романовых, а от них к Рюриковичам, к варягам, ходившим на ладьях по Волхову, к норманнским племенам среди гранитов с рунами и солярными знаками. Световод тянулся от царя к царю, от Михаила Романова к Петру и Павлу, к двум Александрам, к двум Николаям. К роковому подвалу, где гремели револьверы, и царь прижимал к груди цесаревича, и оба падали, а их добивал цареубийца в кожанке, с дымящимся револьвером.

Лемнер упал на каменный пол усыпальницы. Минуту был мёртв. Очнулся, видя над собой испуганное лицо Ланы, её целующие пунцовые губы.

— Боже мой, ты жив!

— Я побывал в том ужасном подвале. «С Ипатом пришёл, с Ипатом ушёл».

— Не ушёл. Ты Романов. У тебя есть права на российский престол. Но об этом ни слова! Это твоя смертельная тайна. Храни её до поры, когда измученная смутами Россия призовёт тебя!

— Хочу, чтобы ты стала моей женой, взошла на российский престол, — наваждение медленно его покидало. Он лепетал, лежа на каменном полу. Она его целовала.

— Не вздумай умирать, — ласкала она его. — Не то я стану вдовствующей императрицей!

Они обнимали друг друга. Из каменных саркофагов изливалось тепло. То была их родня.

Глава семнадцатая

Лемнер был зван в Кремль, третий раз за минувшее время. Не было названо имя приглашающего, но Лемнер сладко предчувствовал, что зван Президентом. Репетировал перед зеркалом эту встречу. То смиренно кланялся, потупив глаза, не смея взглянуть в лицо высочайшего повелителя. То восторженно улыбался, озарённый милостью обожаемого правителя. То твердо, как преданный воин, смотрел Президенту в глаза. Произносил уместные фразы. «Африка любит вас, Леонид Леонидович». «Величие России Африкой прирастать будет». «Мы все немного африканцы, не правда ли?»

Он вышел из машины на Ивановской площади и стал вчитываться в золотую надпись, бегущую под куполом Ивана Великого. «Тятя, тятя, наши сети притащили». То были слова гимна. В Кремле знали об африканском триумфе Лемнера. Знали, что бойцы зовут его «тятей». Быть может, Президент при встрече обратится к нему: «Здравствуй, тятя!» Но тогда возникнет двусмысленность. Если Лемнер тятя, то Леонид Леонидович Троевидов один из его детей? И тогда сети притащили из Африки в Кремль мертвеца? Неужели выкопали француза, зарытого пятками вверх?

«Господи, как странно устроена мысль. Начинаешь с триумфа, а кончаешь грязными пятками».

Лемнер шагал по брусчатке к дворцу и замер. Ему навстречу шёл Президент Леонид Леонидович Троевидов. Вылитый император Александр Первый. Царственная осанка, мягкое округлое лицо, светлые бакенбарды, голубые, как талая вода, глаза чуть навыкате. Президент вышел из дворца встречать Лемнера, так дорог он был Президенту, так высока была оценка африканского похода. Президент прошагал мимо, чуть улыбнулся, заметив восхищение Лемнера. Лемнер был не в обиде. Президент хотел сначала увидеть Лемнера, угадать его мысли и чувства и лишь позже принять в знаменитом малахитовом кабинете.

Лемнер шёл к дворцу, и перед ним вновь возник Президент Леонид Леонидович Троевидов. Всё те же голубые, как апрельская вода, глаза. Мягкие губы улыбались мимолетно мелькнувшей мысли. Шаг плавный, вольный. Так царь прогуливался по аллеям Летнего сада мимо мраморных статуй. Но удивляла быстрота, с какой Президент обошёл Ивановскую площадь, обогнул Архангельский собор, Арсенал и снова вышел к Ивану Великому.

Лемнер отступил на шаг, пропуская Президента. Произнёс вслед:

— Африка любит вас, Леонид Леонидович!

На него шли сразу два Президента. Голубые глаза, бакенбарды, начинавшие полнеть подбородки. Президенты прошли, весело болтая. До Лемнера донеслось:

— Да включи голову! Ей всё одно, по барабану!

Лемнер пролепетал им вслед:

— Все мы немного африканцы, не правда ли?

Он увидел строй из полтора десятка Президентов. Перед ними расхаживал известный актёр театра Вахтангова и наставлял:

— Так, хорошо! А теперь покашляем!

Все пятнадцать Президентов начинали кашлять, повторяя манеру Президента Леонида Леонидовича Троевидова слегка покашливать.

— Так, хорошо. А теперь ручкой, ручкой махнём!

Все пятнадцать резко взмахивали левой рукой, повторяя характерную для Леонида Леонидовича Троевидова отмашку.

— Теперь отдыхаем. В следующий раз покажу, как правильно целовать в живот выхухоль!

— Михаил Соломонович, — к Лемнеру подошёл любезный человек с типовым лицом референта. — Антон Ростиславович Светлов ждёт вас.

Светоч принял Лемнера в том же кабинете. В окне золотые главы Успенского собора походили на мятые перезрелые груши.

Убранство по-прежнему выглядело скупо, но прибавился высокий железный шкаф, напоминавший громадный сейф.

Светоч пожал Лемнеру руку. В его пожатии не было прежней небрежности. Оно было крепче и продолжительней. В их отношениях наметилась перемена. Этим твёрдым пожатием Светоч приближал к себе Лемнера.

— Президент Блумбо нарушил данные нашему Президенту обещания и заслужил того, чтобы его обглодали собаки, — Светоч жалил Лемнера хрустальным глазом.

— Президент Мкомбо сдержит все обещания, — Лемнер видел, что Светоч благоволит ему.

— Вы застрелили паука, пробегавшего над головой Мкомбо. Полагаю, это убережёт его от вероломных поступков, — хрусталь в глазу Светоча вспыхнул рубином и померк. — У каждой пули есть своя улыбка, не правда ли?

— Величие России Африкой прирастать будет, — Лемнер видел, как в глазнице Светоча загорается изумруд.

Эта фраза патриота, готового служить государству, была по душе Светочу.

— Вам, господин Лемнер, удалось создать боевое подразделение, способное совершать спецоперации далеко от Родины. Вы штурмуете дворцы, сбиваете вертолёты, уничтожаете агентов недружественных России стран. Вам удалось создать «идеологию пушкинизма», оправдывающую появление русских военных в Африке. Вот только напрасно вы устроили этот День Африки на Москве-реке. Я наблюдал в окно это безобразие и поневоле становился расистом.

— Поверьте, Антон Ростиславович, мы хотели разбудить в вас добрые чувства.

Ответ был дерзок. Лемнер испугался, что допустил вольность. Но Светоч улыбнулся уцелевшей половиной рта. Другая половина оставалась куском вулканической пемзы.

— Мы начали войну на Украине, чтобы восстановить историческую справедливость, — хрусталь в глазнице наполнился лазурью. — Две оранты, в Киевской и Новгородской Софии, станут святынями объединённой России. Мы рассчитывали на скорую победу, но в Генштабе оказались агенты Украины. Они сорвали план наступления. Война затянулась. Нам не хватает войск, на счету каждый батальон, — Светоч умолк.

Лемнер использовал секунду молчания, чтобы не ошибиться с высказыванием.

— Агентов Украины в Генштабе следует расстрелять, как изменников. Подразделение «Пушкин» готово отправиться на Украинский фронт.

— Я ждал этот ответ, господин Лемнер, — Светоч жалил Лемнера хрустальными лучами. Просвечивал, как просвечивают на свет купюру, опасаясь фальшивки.

— Мы резко усилим подразделение «Пушкин». Вы получите крупное финансирование и пополните ряды «пушкинистов». Мы дадим вам современные танки, самоходные гаубицы, реактивные установки. У вас будут самолёты и вертолёты. На вас станут работать наши космические группировки. Вы создадите армию нового типа, мобильную, яростную, пассионарную. Вы создадите новый тип солдата и офицера. Новый тип полководца. Этим полководцем будете вы, господин Лемнер! — Светоч наделял Лемнера высшими полномочиями, не объясняя, как ими распорядиться. — Война с Украиной должна родить новых Жуковых, Рокоссовских, Коневых. Вы, господин Лемнер, будете новый Жуков!

Хрустальный глаз Светоча переливался спектрами, как бриллиантовый Орден Победы. Излучал разноцветные вспышки, подобные тем, что блуждают в просторах галактик. Мысли Светоча превращались в спектральные вспышки. Лемнер чувствовал их космическую природу. Светоч был подключен к Космосу. Взрыв, что изуродовал его плоть, сочетал его разум с Космосом. Вспышки горного хрусталя проникали в сознание Лемнера, делали сознание космическим. Ему предлагалась великая роль. Россия доверяла ему свою судьбу. Ставила вровень с победоносными маршалами, помещала рядом с Кутузовым и Суворовым, с Александром Невским и Дмитрием Донским. Приближала к святости. Со временем напишут икону. На ней лик Лемнера будет окружён золотым нимбом.

Лемнер прогнал искусительную мысль.

— Мы оправдаем доверие Президента. Россия получит армию нового типа. Мы прорвём оборону украинцев и начнем глубокий рейд по тылам. Будем вывешивать в городах флаги России. Украинцы побегут, как бежало стадо

африканских антилоп, когда я гнал их на бэтээре, — Лемнер старался использовать короткие фразы, как это делают офицеры во время докладов.

— Вы вернётесь в Москву героем, господин Лемнер. Вы совершите личный подвиг. Подобьёте из орудия танк. Или поразите вражеский самолёт. Или вынесете из боя товарища. Или подорвёте себя гранатой. Или не заговорите под пыткой. Или возьмёте в плен президента Украины, привезёте в Москву в клетке, и мы поместим его в зоопарк в разделе рептилий. Вы станете национальным героем. Телевидение посвятит вам центральные программы. Стихотворцы напишут о вас поэмы. Музыканты сочинят песни. Художники нарисуют картины. Народ станет вас обожать. Начнёт называть вашим именем детей. Улицы в городах получат ваше имя. На воду спустят ледокол «Лемнер». На футболках фанатов появится ваше лицо.

Искусственный глаз Светоча напоминал глазок мартены. Кипела сталь, лопались пузыри, летели всплески. Мозг Светоча бурлил адским кипятком. Жароупорный кварц удерживал жуткий расплав.

Лемнер понимал, что он брошен в переплав. Его превращают в жидкую сталь. Из стального кипятка он поднимется другим человеком. Лемнер Стальной. Он торопил преображение. Тяготился отжившими формами. Доверялся дивному сталевару, который превратит его сначала в «ничто», а потом наградит «всем». Лемнер был предан Светочу, подчинялся безраздельно. И это подчинение было сладостным, было блаженством.

— Государство Российское для меня священно, — Лемнер исповедовался грозному пастырю. — Мы приходим и уходим, а священное государство Российское, остаётся вовеки. Что без государства народ? Он прозябает в тени другого государства. Государство — солнце русской истории. Счастье служить своему государству преданно, бескорыстно. Счастье служить ему в час его триумфа и в минуту смертельной опасности. Счастье, когда государством управляет вождь, подобный нашему Президенту, и у него есть неколебимые соратники. Клянусь оправдать доверие Президента. В служении Государству Российскому, как говорили наши предки, «не пожалею живота своего»!

Преображение состоялось. Он вышел из стальной купели, отекая огненными каплями. Он был могуч, ясен. Был великан. Песчинка, маковая соринка, он слился с государством, и оно превратило его в великана. Он растворился, расплавился в государстве, и оно наделило его могуществом. Если придется, он умрёт за государство, и оно воскресит его, сделает бессмертным.

Лемнер приносил присягу верности государству. Светоч, жрец священного государства, принимал присягу, а вместе с ней душу Лемнера, с которой тот охотно расставался.

— Государство Российское, — Светоч внял присяге, говорил с Лемнером, как с посвящённым. — Государство есть проявление божественной воли в истории. Эта воля возносит Государство Российское к Величию, а потом

опрокидывает в бездну, чтобы снова вознести к Величию. Государство Российское было опрокинуто в бездну, исчезло среди адских дымов. Бесы преисподней вылезли из адских глубин и терзали народ. Государство воскресло и снова движется из глубин к высотам, — Светоч воздел глаза, и Лемнер, проследив его взгляд, увидел сверкающие высоты и среди солнечных льдов божественный лик.

— Творец послал России Леонида Леонидовича Троевидова. Он воскресил государство и повёл от великих потрясений к Величию. Мы находимся на восходящей волне великой русской синусоиды, — Светоч провёл в воздухе волнистую линию, и воздух за его пальцем светился. — Государство ищет тех, кто чувствует эту великую синусоиду. Вы, господин Лемнер, один из них.

Лемнера ослепляли протуберанцы, летящие из горного хрусталя. Ему казалось, его поместили в трубу циклотрона. Гонят круг за кругом могучей волной, разгоняют, чтобы метнуть в беспредельность. Его подхватила великая русская синусоида и мчит к Величию.

Лемнер задыхался. Скорость полёта была неземная, равнялась скорости света.

— Русское восхождение сотрясёт мир, — голос Светоча ревел, как рельсы, по которым мчит бронепоезд. Глаз пламенел. — Все силы ада противятся русскому восхождению, — хрустальный глаз Светоча наполнился тьмой. — Бесы взметнулись с кровли Кёльнского собора и Собора Парижской богоматери и кинулись на Россию. Вылетели из готических арок Вестминстерского аббатства и из ушей Статуи Свободы, где свили нетопыриные гнёзда. Главный бес России — Анатолий Ефремович Чулаки и его отродья. Ректор Высшей школы экономики Лео, публицист Формер, вице-премьер Аполинарьев, режиссёр Серебряковский. За каждым стоит иностранная разведка. У них влияние среди интеллигенции, дипломатов, военных, в деловых кругах. Они противятся русскому восхождению. Готовят заговор против Президента. Помогают украинцам на фронте. Хотят вновь опрокинуть Россию в бездну. Они основали сатанинскую церковь «Россия Мнимая». Готовят Великий Переход России Подлинной в Россию Мнимую, что означает возвращение европейского ига, которое сбросила с себя Россия. Они хотят перевезти на Запад бесценную коллекцию мировых шедевров, похищенных из картинных галерей России. Быть может, вам, господин Лемнер, будет интересно узнать, что террористка Франсуаза Гонкур хотела убить не президента Мкомбо, а вас. Знала, что вас выбрала великая русская синусоида.

Лемнер был сокрушён. Как мог он обманываться, слушая путаные речения Чулаки? Уверовать в еретическое учение о России Мнимой? Полагать, что можно нырнуть в корень квадратный из минус единицы и оказаться в несказанном раю, в России Мнимой? Забыть многострадальную Родину, Россию

Подлинную, где над русскими селеньями вьётся вороньё, расклёвывает золото русских церквей, кидает в русскую колыбель могильную кость?

Он был принят в сатанинское братство, стал апостолом сатанинской церкви, братом извращенцев Чулаки, Формера, Лео, Серебряковского и Аполинарьева. Он и сам стал бесом. И пусть бы его застрелила Франсуаза Гонкур, у которой подмышки пахли апельсинами, а на алом языке мерцал бриллиантик. «Достоин смерти!» — беззвучно возопил Лемнер, желая пасть ниц и поведать Светочу о своём окаянстве.

Уже стали гнуться колени, но Светоч остановил его.

— Не надо каяться. Вы искупите свой грех не покаянием, а ударом топора. Вы — топор Божий. Бог вложил топор в ваш кулак, а уж плаху вы сами найдёте.

Мы устроим над бесами суд, проведём открытый процесс. Обнародуем записи их сатанинских оргий. Эти записи вы, господин Лемнер, добыли, рискуя жизнью. Пусть русский народ увидит, кто хотел убить Президента и установить сатанинскую власть. Бесов запаяем в железный шар и разведём под ними костёр. Пусть Россия слышит их истошные визги. Вам, господин Лемнер, русская синусоида поручает исполнить проект Президента «Очищение топором». Готовы ли вы, господин Лемнер?

Лемнер снова был счастлив. Он прощён. Ему Президент поручает проект «Очищение топором». Как страстно он его исполнит! Как неистово станет швырять на плаху головы Чулаки, Лео, Формера, Серебряковского и Аполинарьева. Бить топором в шейные позвонки, смотреть, как отскакивают ненавистные головы. Хлопая глазами, катятся по эшафоту.

— Вы готовы, господин Лемнер?

— Готов! — Лемнер вскинул кулак, будто в нём было зажато топорище.

И вдруг Светоч исчез. Перед Лемнером сидел огромный красный попугай. Смотрел кровавым глазком, наклонил голову с кривым костяным клювом. Лемнер был орех. Попугай целил ударить костяным клювом.

Лемнер погибал, искал спасенья от попугая. Костяной клюв приближался, удар был неминуем. Но вдруг явилось чудесное средиземноморское лицо с пунцовым ртом, и страшный удар не случился.

Красный попугай вновь превратился в Светоча.

— Вы готовы, господин Лемнер?

— Да, готов! Служу Государству Российскому! — его голос был слаб. Красный попугай был наваждением. Видением утомлённого разума. Но чьё лицо с маленьким пунцовым ртом и любящими глазами проплыло над ним, как облако?

Встреча завершилась. Лемнер направился к дверям, но Светоч остановил его.

— Ещё минуту, господин Лемнер!

Светоч подошёл к железному шкафу, пультом открыл замок. Стальные дверцы распахнулись. Внутри шкафа помещалась большая стеклянная колба, полная желтоватой жидкости. В колбе, заспиртованный, стоял голый человек. Это был Борис Ефимович Штум, оппозиционный политик, убитый несколько лет назад на Кремлёвском мосту чеченским стрелком. Блестящий оратор, бесстрашный вития, любимец женщин, обвинявший Президента Троевидова в подрыве московских домов, он стоял в колбе, слегка приоткрыв выцветшие губы. Виднелись зубы и прикушенный язык. Чернели волоски, покрывавшие тело. Ладони были раскрыты, кожа на них сморщилась. Ногти ног пожелтели, голые стопы были повернуты носками внутрь. На лбу темнела крохотная дырочка, пулевое отверстие.

Лемнер рассматривал оппозиционного политика. Это была их первая личная встреча.

— Он не сдержал данные обещания. Мне кажется, вас заинтересовало это зрелище.

— Чья улыбка была на пуле, убившей Штума?

— Эта пуля не улыбалась. Об Иване Артаковиче Сюрлёнисе мы поговорим в другой раз. До свиданья, господин Лемнер.

Лемнер уходил, не оглядываясь. Ему казалось, за ним мокро шлёпают мёртвые ноги.

Глава восемнадцатая

Лемнера пригласили в Красавино, загородное поместье Чулаки. Анатолий Ефремович Чулаки был поборник европейского авангарда, учредитель «центров будущего», ревнитель уникальных технологий, позволявших уменьшить вес настолько, что человек обретал способность летать, как еврейские левиты. Он основал лабораторию трансгуманизма, продлевавшую жизнь до шестисот библейских лет и сулившую бессмертие. Занимаясь генетикой, Чулаки выращивал человечка столь малых форм, что его запускали в кровеносную систему и следили за странствием по венам, аортам, сердечным клапанам, сосудам головной мозга. Человечек блуждал по капиллярам, исследовал «тайну крови», выявляя исчезнувшие «колена Израилевы». Но невзирая на весь модернизм, Анатолий Ефремович Чулаки жил в загородном поместье Красавино, как русский аристократ восемнадцатого века. Он восстановил из руин усадьбу графа Шереметева. Насадил чудесный парк. Поставил среди аллей мраморные статуи. В слугах держал арапов в белых тюрбанах и чувяках с загнутыми мысами. В усадьбе сновали карлицы и карлики. Устраивались костюмированные балы. Гости одевались в античные туники и тоги, а сам Чулаки являлся в золотом венце цезаря. Играли в «пастушек», легкомысленно одетые барышни забирались на деревья, а гости стояли под деревьями и манили пастушек на землю. Устраивались рыцарские турниры, венецианские маскарады, королевские охоты, состязались чтецы, подобные Фидию и Цицерону. Именно в эту загородную усадьбу Красавино был зван Лемнер.

Въезд в усадьбу украшали ворота с каменными львами. Лемнера пересадили из автомобиля в золочёную карету. Её влекли шесть лошадей со страусиными плюмажами. Управлял каретой горбун. На его горбу сидела смешливая карлица. Лемнер, зная театральные наклонности Чулаки, ждал, что его оденут в наряд сарацина, или испанского гранда, или оставят в набедренной повязке дикаря, украшенной морскими ракушками. Но ему оставили его платье и ввели в дворцовую залу. Среди колонн под хрустальной люстрой танцевали кавалеры и дамы времён Людовика, короля-солнце. Лемнер небрежно станцевал менуэт, и его провели в кабинет. Готические витражи, дубовые стены, столы с дымящими ретортами, склянки с разноцветными растворами. Циркуль, мастерок, песочные часы, аптекарские весы. Казалось, здесь искали философский камень и лишь недавно прервали поиски.

Навстречу поднялся Анатолий Ефремович Чулаки, а вместе с ним апостолы вероучения России Мнимой, братья ордена Великого Перехода. Режиссёр Серебряковский, публицист Формер, ректор Лео, вице-премьер Аполинарьев.

Все в тёмном, в застёгнутых на горле рубашках, похожие на баптистских пресвитеров.

— Брат Лемнер, прежде, чем начать разговор, признайтесь. Вы уже побывали в Кремле, в этой ужасной кунсткамере с железным шкафом? Светоч, этот истязатель, держит в шкафу заспиртованного брата Бориса Штума. Вы там были?

Веснушки на лице Чулаки казались рыжими мошками. Лемнер смотрел, как мошки перебегают с одной щеки на другую. Это был признак коварства. Одно неверное слово, опрометчивое признание, легковерная искренность, и Лемнер погиб. Апостолы смотрели на него одинаковыми неверящими глазами, у каждого на переносице взбухли одинаковые морщинки.

— Вы побывали в Кремле у Светоча?

Лемнер старался не выдать себя. Заслонялся скабрёзной картинкой, на которой Чулаки в собачьем ошейнике держал в зубах женскую туфлю, и Алла хлестала его плеткой.

— Вы первый, к кому я пришёл, брат Чулаки, — солгал Лемнер, удивляясь лёгкости своей лжи.

— И вы не знаете, что этот кровавый палач замыслил очередную «Чистку топором»? Под эту чистку попадаем мы, братья ордена Великого Перехода, как прежде уже попали братья других орденов, «Кёльнской звезды», «Толедской свирели», «Иерусалимской свечи».

«Абиссинских пилигримов», — чуть было не добавил Лемнер. Заслонился картинкой, на которой Алла оседлала костлявый хребет Чулаки, била острыми пятками, а тот норовил куснуть её колено.

— Ничего не знаю о «Чистке топором», — снова солгал Лемнер, представляя, как кинет на лохматую плаху рыжую голову Чулаки, и она, хлопая веками, покатится по эшафоту, кусая доски.

— Что ж, брат Лемнер, рады вашему возвращению из Африки, — Чулаки обнял Лемнера, и тот почувствовал, как быстрые пальцы пробежали по его позвоночнику, словно перебирали кнопки флейты.

— Вы прекрасный постановщик, брат Лемнер, — режиссёр Серебряковский убрал с переносицы морщинки. — Ваш корабль с африканками — это настоящий спектакль. Я ставлю в театре «Пиковую даму». Чёрная студентка Анзор — непревзойдённая Лиза! Она так ловко вскарабкалась на мачту!

— Вы заметили, у неё на ногах шесть пальцев? Возможно, её предкам так было удобнее срывать бананы, — публицист Формер имел обыкновение посещать салоны красоты и смотреть, как женщинам делают педикюр.

— Я заметил, они отличаются набожностью и могли бы всем племенем уйти в монастырь. Можно в мужской. Своими выпуклыми глазами они напоминают собачек корги, — вице-премьер Аполинарьев курировал в

правительстве сельское хозяйство и разводил собачек корги. Собачки вечно дрожали, и Аполинарьев научился у собачек вздрагивать и нежно поскуливать.

— Как жаль, что на вашем корабле, брат Лемнер, мы не увидели нашу общую любимицу Франсуазу Гонкур. Её сразила ваша пуля, брат Лемнер, — ректор Лео печально закрыл глаза. Лемнеру захотелось положить на них пятаки.

— Видите ли, брат Лемнер, — Чулаки пояснил Лемнеру, что опечалило брата Лео: — Франсуаза Гонкур была отправлена нами в Африку, чтобы незримо оберегать вас. Она полюбила вас, и когда рядом с вами появилась другая женщина Лана Веретенова, Франсуаза взревновала и решила убить соперницу. Но вы её подстрелили. Увы, в любой профессии бывают осечки.

— Только не у моего пистолета, — деликатно возразил Лемнер.

— Все, кого вы, брат Лемнер, считаете чёрными студентками московских вузов, на самом деле окончили Высшую школу экономики. Мы подготовили их к переброске в Африку. Место несчастной Франсуазы Гонкур займёт моя любимая ученица Аума.

Лемнер понимал, его подозревают в связях со Светочем. Но было много картинок, которыми он заслонялся, скрывая правду. Сцена ада, где черти ввинчивают в глазницу брата Серебряковского железный болт. Жуткое доение, когда брат Аполинарьев мычал коровой и норовил ударить копытом подойник. Парад памятников, в которые превращался брат Формер, залезая нагишом на табуретку. Все эти картинки спасали от разоблачения. Подозрения отпали. Он был безупречный член братства Великого Перехода, исповедник вероучения России Мнимой.

— Светоч вернул вас из Африки, брат Лемнер, чтобы под вашим командованием создать армию «Пушкин» для победы на Украинском фронте, — Чулаки сидел под готическим витражом, похожий на разноцветную африканскую бабочку. — Не верьте! Он создаёт из вас армию карателей. Она должна кроваво расправиться с нами, исповедниками России Мнимой. Россия Мнимая — это Европа. Не правда ли, брат Серебряковский? Ваши волшебные русские спектакли идут во всех европейских столицах.

Режиссёр Серебряковский кивнул, как кивает утомлённый похвалами маэстро.

— Брат Чулаки попросил меня открыть вам, брат Лемнер, смысл парадоксов. Тех, что мучили вас в Африке. Европа сбрасывает ветхое облачение и облекается в сверкающие ризы. Она стряхивает перхоть изношенных «европейских ценностей» и провозглашает нетленные ценности. Она зовет нас к истокам творения. В то первое мгновение, когда сотворённый мир ещё не был удалён от Бога, ещё трепетала пуповина, соединяющая мир с Богом, и мир не был подвержен порче разобщения. Но всё было едино. Нет ни добра, ни зла. Ни дня, ни ночи. Ни мужчины, ни женщины. Ни цветка, ни звезды. Ни рождения, ни смерти. Ни Бога, ни дьявола. Ни льда, ни пламени. Ни камня, ни хлеба. Ни

рыбы, ни мяса. Ни кола, ни двора. Ни шила, ни мыла. Ни дна, ни покрышки. Ни юга, ни севера. Ни земли, ни неба. Ни того, ни сего. А есть единство, когда существовал таинственный перешеек от Бога к миру. По этому перешейку совершился Великий Переход от Бога к миру. Новая Европа становится этим перешейком. Россия Мнимая и есть Европа Великого Перехода!

Разум Лемнера, ускользавший от пытливой прозорливости Чулаки, вдруг изнемог среди парадоксов. Обессилел от магических воздействий, приводивших к слипанию всего сущего. Мир казался огромным пластилиновым комом, где слились все цвета, образуя бесформенную серую массу.

— Вы, брат Лемнер, призваны защитить Великий Переход и не позволить карателю Светочу затеять «Очищение топором». Вы, Пётр Великий наших дней, соедините Россию с Европой, — вице-премьер Аполинарьев вздрагивал, как собачка корги.

— Но ведь нет ни дна, ни покрышки! Ни двора, ни кола! — Лемнер пробовал играть парадоксами. — Значит, нет ни Европы, ни России! А что есть? — Лемнер изнемогал от парадоксов, игра в которые не удавалась ему. — Что есть Великий Переход? От «того» к «сему», или от «сего» к «тому»?

— Великий Переход — это вы, брат Лемнер! Вы мост, по которому Бог переходит в мир. Пуповина, по которой течёт не подверженное порче мироздание! — публицист Формер стал на минуту памятником азиатскому поэту Абаю, но тут же вернул себе европейскую внешность.

Лемнер страшился мира, в котором царило единство. Он любил разделённый мир, где было и то и се, и пятое и десятое, и горнее и дольнее. Любил тёплые женские груди, тёмные, как бархат, и лиловые, как спелые сливы, соски. Любил тяжёлый пулемёт, бьющий по дворцу, и золотой пистолет, посылающий пулю в лоб.

«Я — Пётр Великий, ибо во мне кровь Романовых, — его мысль неслась по часовой стрелке. — Но я и Иван Грозный, потому что я Рюрикович, — его мысль неслась против часовой стрелки. — Иван Грозный убил сына железным посохом. Пётр Великий засёк сына на дыбе. Я отвёз сына на Северный полюс и превратил его в красную ледышку. Мне нужно встать и уйти».

Лемнер начинал вставать, но тяжёлая длань Чулаки удержала его.

Чулаки был страшен. Таким его пугались губернаторы и министры, а зеркала лопались, не выдерживая его отражения. Рыжие волосы стали, как медь, и дымились. Лицо раскалилось докрасна, и проступили кости черепа. Веснушки, как искры, сыпались со щёк и прожигали ковёр. Голос хрипел, как уличный репродуктор, объявляющий о начале войны.

— Вы, брат Лемнер, создали подразделение «Пушкин» и покорили Африку. Вы закопали французского геолога пятками вверх, ибо тот проповедовал в Африке европейские ценности и мешал Великому Переходу. Теперь его пятками лакомятся термиты. Вы создадите армию «Пушкин», отправитесь на

Украинский фронт и совершите подвиг. Наши европейские друзья укажут вам наилучший участок для подвига. Вы вернётесь в Москву победителем, героем, народным любимцем. Всю мощь своей армии «Пушкин» обрушите на Президента Троевидова и его клеврета Светоча. Огнемётом «Солнцепёк» пройдёте по всем губерниям и выжжете всё, что мешает Великому Переходу. Губернаторов, министров, учёных, инженеров, журналистов, писателей, учителей, священников. Всех, кто мучает народ несуществующей Русской Мечтой, несуществующими русскими кодами. Кто называет Европу «гнездом Сатаны». Кто мутит мир революциями. Ваш гнев будет праведным, беспощадным. Вы сожжёте всё, что является Россией Подлинной, и останется Россия Мнимая. Это будет «Очищение Солнцепёком»!

Изо рта Чулаки летели языки огня. Воздух раскалился. В нём пахло железной окалиной. Реторты с растворами бурлили. В них кипели голубые, алые, зелёные жидкости. Выпадали осадки. Сотворялся философский камень, превращавший слова Чулаки в самородки.

Лемнер ощутил буйную мощь. От неё взбухли мускулы, расширилось сердце, воля устремилась в Кремль, где изувер и мучитель Светоч держал в колбах заспиртованных мучеников, что погибли во имя Великого Перехода. Он был готов мчаться в казарму подразделения «Пушкин», поднимать «пушкинистов» и вести их на Кремль. Но в едком тумане сгоравшего железа, в ядовитых дымах алхимической лаборатории проплыл восхитительный образ. Лана, как видение, возникла и положила на лоб Лемнера прохладную руку. И спала завеса. Перед Лемнером сидел огромный жёлтый попугай и нацелил кривой, как клещи, клюв. К Лемнеру вернулась чуткость и ясность мысли. Этой ясной мыслью он ощипал попугая, жёлтые перья осыпались, и открылось пупырчатое мерзкое тело, лысая голова с костяным уродливым клювом. Жёлтая птица пропала. Чулаки был лжец, обольститель. Не было России Мнимой. Не было Великого Перехода. Был Лемнер, идущий путем Величия.

— Вы меня услышали, брат Лемнер?

— У меня хороший слух, брат Чулаки.

Он собирался уйти, но Чулаки хлопнул в ладоши. Арапы в белых тюрбанах внесли в кабинет огромную клетку и поставили перед Чулаки. В клетке сидел Президент Леонид Леонидович Троевидов.

Лемнер ахнул, кинулся к дверям, удержался на месте. Смотрел на Президента сквозь железные прутья. Всё то же поразительное сходство с императором Александром Первым. Но мягкое округлое лицо осунулось. Бакенбарды поблекли, в них появилась седина. Водянистые голубые глаза были полны слёз. Президент сидел на железном полу клетки, поджав к подбородку колени. Рядом стояла жестяная миска с собачьим кормом. Пахло псиной.

— Суд над преступником, бывшим Президентом России Леонидом Леонидовичем Троевидовым объявляю отрытым. Встать, суд идёт!

Чулаки и апостолы встали. Встал и Лемнер, становясь соучастником беззаконного судилища.

Арапы принесли тёмные судейские мантии и четырёхугольные колпаки. Все обрядились в средневековые одеяния, каждому вручили деревянный молоток. Лемнер путался в мантии, поправлял съезжавший колпак. Молоток выпадал из рук. Лемнер понимал, что его принуждают к злодейству. Президент Троевидов попытался встать в клетке, но ударился головой о прутья и со стоном сел.

— Господа благородные судьи, мы судим преступника Троевидова судом народов, которые незримо присутствуют в зале Гаагского трибунала. Пусть каждый из вас, благородные судьи, прежде, чем вынести вердикт, перечислит преступления, в которых обвиняется бывший Президент Троевидов. Начну первый, господа!

Чулаки был грозен. В его лице появилась синева воронёного ствола. В глазах полыхал чёрный жар. Веснушки казались прорастающей железной щетиной. В нём бушевала яростная непреклонность жестоковыйных предков, что изводили ханаанские племена, предавали заклятию города, клали народы под молотки и железные пилы. Деревянный молоток в кулаке Чулаки стал железным. Президент в клетке с ужасом смотрел на это оружие убийства.

— Этот человек, перед которым ещё недавно трепетала Европа и падали ниц бессловесные народы России, обвиняется. В убийстве Бориса Ефимовича Штума, застреленного по его приказу на Кремлевском мосту. В убийстве мэра Санкт-Петербурга Анатолия Сверчка, которого в бане захлестали железным веником. В умерщвлении первого Президента России Бориса Николаевича Лебёдушкина, которого Троевидов уложил под хирургический нож, и тому вместо сердца вживили змею. Всё это были выдающиеся деятели русской политики, что сближали первобытную Россию с цивилизованной Европой. Их обезображенные тела находятся в стеклянных колбах. Троевидов показывал колбы послам африканских стран, говорил: «Они сделали европейский выбор!» Я, как Верховный судья Гаагского трибунала, заявляю, что доставленный в клетке экс-президент Троевидов виновен! — Чулаки с размаха ударил молотком по прутьям клетки. Прутья страшно прозвенели. Леонид Леонидович Троевидов сжался, закрыл уши ладонями, спасаясь от ужасного звона.

Лемнер сострадал Президенту, хотел вызволить из постыдного плена. Но клетка была на замке, а ключ таился под чёрной мантией Чулаки.

Публицист Формер, ласковый, как породистый кот, сладкий, как мармелад, вдруг стал шершавым, как наждак. На его маслянистом сияющем черепе вздулись чёрные бугры. В них кипела ненависть. Казалось, они прорвутся, как грязевые вулканы, и хлынет раскалённая грязь. Его замшевый голос превратился в клёкот. Он отхаркивал слова, которые летели в клетку, жгли Президента Троевидова. Тот метался, кричал от ожогов.

— Братья, мы старались вырвать у России её имперские клыки. Хотели превратить Россию из саблезубого тигра в травоядную лань. Мы в этом преуспели. Но Троевидов вставил России её имперский клык, вернул саблезубую империю. На кровавом аркане втянул Чечню в Россию, поставил в вонючее русское стойло. Оторвал у беззащитной Грузии Абхазию и Осетию. Теперь две эти мерзкие карлицы тешут Троевидова в его имперском дворце. Он вторгся в Сирию, сделал её русской колонией. Захватил Крым, превратив чудесную античную амфору в свою ночную вазу. Напал на Украину, тащит чудесную свободолюбивую страну в зловонную русскую берлогу. Братья, Троевидов совершил преступление против человечности. Возродил российскую империю и натравливает на Европу. Виновен!

Формер ударил молотком по клетке. Президент Троевидов шарахнулся и разбил о прутья затылок. Собачий корм вылетел из миски и рассыпался по клетке. Один из бугров на черепе Формера лопнул, и потекла раскалённая слизь.

Вице-премьер Аполинарьев вёл себя неспокойно. Вздрагивал, гладил себе живот. Под мантией был чёрный сюртук, который раздувался на животе. Под сюртуком шло непрерывное шевеление. Иногда из ворота сюртука выглядывала собачья мордочка с вислыми ушами. Аполинарьев целовал собачий носик, приговаривал: «Люблю тебя, Мисюсь!» Собачка пряталась. Через минуту выглядывала другая мордочка с розовыми глазами. И её Аполинарьев целовал в носик, приговаривая: «Люблю тебя, Зюзю!» Мордочка скрывалась. Под сюртуком слышалось тихое повизгивание. Аполинарьев напоминал животное из отряда сумчатых. В его брюшной сумке пряталось множество собачек корги. Он поцеловал собачку с васильковыми глазами по имени Туту и произнёс:

— Братья, Троевидов виновен! Он взорвал газопроводы «Северный поток» и отсёк Россию от Европы. Не просто от европейского рынка. Он замуровал окно, которое Петр Великий прорубил в Европу. Он направил русскую нефть и газ в Китай, способствуя могуществу Китая, граница которого очень скоро пройдёт по Байкалу. К тому же он не любит собачек корги. Виновен!

Аполинарьев ударил деревянным молотком по клетке. Сюртук расстегнулся, множество собачек корги разбежалось по кабинету. Стали хватать рассыпанный по полу собачий корм. Аполинарьев ловил собачек, засовывал под сюртук. Собачки забирались в брюшную суму и затихали.

Лемнера тяготило судилище. Президент в клетке являл собой посрамлённое Величие. Жизнь русских властителей, как всегда, завершалась поношением. Лемнер, согласно предсказанию, шёл путями Величия. Как уберечься от поношения? Как запечатлеть свой образ в ореоле Величия?

Ректор Высшей школы экономики Лео нетерпеливо поигрывал молотком, целя в голову Президента Троевидова. От удара спасали прутья клетки.

— Как тупой громила топчет сапогам клумбу экзотических цветов, так Троевидов затоптал все духовные, политические, культурные побеги, сочетавшие

Россию с Европой. Засыпал колодцы, из которых изнывающий от жажды русский человек пил живую воду Сены, Темзы, Тибра, Рейна, Гудзона. Где наша чудесная молодёжь, выходившая с белыми ленточками на Болотную? Где наше удивительное телевидение с великими телеведущими? Одни задохнулись в петле, другие томятся на чужбине, третьи сломлены тюрьмой.

Где эталоны нашей совести «Мемориал», «Сахаровский центр», «Эхо Москвы»? На их месте Троевидов построил казармы и центры военной подготовки. Своим кумиром Троевидов выбрал царя Александра Третьего, с его культом военщины и еврейскими погромами. Братья, готовьтесь, что на ваши смокинги скоро пришьют жёлтую звезду! Виновен!

Удар молотка по клетке был столь силён, что один из железных прутьев хлестнул Троевидова по носу, и у того пошла кровь.

Режиссёр Серебряковский был малословен.

— Троевидов убил в себе европейца. Он совершил самоубийство задолго до того, как его доставили к нам в клетке. В этой клетке находится не Президент Троевидов, а труп Президента Троевидова. Он мог бы сгодиться в моей новой постановке «Дядя Ваня». Там действие происходит на Новодевичьем кладбище. Труп может сгодиться в моей постановке Дантова «Ада». Там черти вставляют ему в задний проход воздухопровод и надувают до размеров памятника Александру Третьему. Вина Троевидова очевидна, как очевиден приговор Гаагского трибунала!

Последовал удар молотка по клетке. Все стали яростно бить молотками, восклицая: «Смерть! Смерть!» Клетка звенела, скакала. Президент Троевидов стенал от ужаса.

— Теперь, брат Лемнер, когда приговор оглашён, вам выпадает высокая честь его исполнить. Достаньте золотой пистолет, из которого вы застрелили президента Блумбо, французского геолога Гастона Велье, лазутчиков Чука и Гека и нашего африканского резидента Франсуазу Гонкур. Люди забывают имена царей, но помнят имена цареубийц. Достаньте золотой пистолет, брат Лемнер!

Лемнер повиновался. Его рукой управляла чужая воля. Глаза Чулаки, бездонные, как у осьминога, понуждали Лемнера. Тяжёлое золотое оружие легло на ладонь. Президент Троевидов сквозь прутья жалобно лепетал:

— Не надо! Умоляю, не надо!

Лемнер боялся поднять пистолет. Он был не из тех, кто убивает цезарей, царей, президентов.

«Я не Брут, не Юровский, не Ли Харви Освальд. Я Романов, Рюрикович! Меня убили в подвале Ипатьевского дома, убил Ипат Юровский. Но я убил президента Блумбо в подвале дворца. И кого убили в подвале дома, что напротив Миусского кладбища? Я прыгал через три ступеньки, спасаясь от испанца с кровавым глазом, останавливался перед спасительной дверью с табличкой

«Блюменфельд». Уже знал, что случится день, когда буду стоять с золотым пистолетом и целить в лоб Президента!»

— Брат Лемнер, стреляйте! — чернильные глаза осьминога казались бездной, куда проваливался Лемнер. Ему хотел бросить золотой пистолет и убежать, забыть навсегда о Величии, о России Мнимой, о Великом Переходе, и помнить только одно любимое средиземноморское лицо с пунцовым ртом. Её лодыжку, сверкнувшую из-под синего шёлка. Волосы, пахнущие садовыми хризантемами. Пальцы, с которых слетают золотые кольца, и он плывёт по реке среди золотых колец.

Лемнер хотел убежать, но Чулаки вдруг превратился в огромного красного попугая с белым костяным клювом и серебряным глазом. Лемнер был орех, который собиралась склевать отвратительная птица. Обман обнаружился. Это было ещё одно испытание на пути к Величию. Малодушие отступило. На ладони была прочерчена линия Величия, и на этой линии лежал золотой пистолет.

Попугай стряхнул красное оперенье, превратился в Чулаки. В клетке сидел Президент Троевидов. Его пухлые, как оладья, щеки, начинавший двоиться подбородок, водянистые, как у лягушки, глаза, седые бакенбарды были отвратительны. Лемнер нажал на спуск. Пуля ушла в череп Президента Троевидова, и тот упал на дно клетки. На его царском лице появилось облегчение.

— Брат Лемнер, вы совершили подвиг во имя Европы Подлинной. Что касается трупа… — Чулаки кивнул на убитого Президента Троевидова. — Это двойник Президента. Настоящий выстрел вам ещё предстоит совершить!

Арапы в тюрбанах вынесли клетку с убиенным в парк. Здесь была вырыта могила. В неё, вниз головой, опустили двойника и засыпали землёй так, что снаружи остались голые пятки. Дамы и кавалеры танцевали у могилы менуэт. Карлица щекотала мертвецу пятки, а другая прикладывала ухо к земле, слушая, не хохочет ли мертвец от щекотки. Дамы подходили к пяткам и осыпали их прощальными поцелуями. Пятки смазали медом, и на них слетелись осы. Чёрно-золотые, облепили пятки, вкушали сладость.

Глава девятнадцатая

Лемнер ждал приглашение от Ивана Артаковича Сюрлёниса, и оно последовало. Встреча проходила в знакомом особняке с античным двориком и фонтаном, под стеклянным солнечным куполом. Иван Артакович кормил попугая орехами. Разгрызал кожуру, хрустя вставными зубами, выкатывал на ладонь ядрышко, держа двумя пальцами, просовывал в клетку. Синий попугай прицеливался, наклонял голову из стороны в сторону, молниеносно хватал орех, и его зоб под синими перьям раздувался. Лемнер помнил притчу о трёх попугаях, трёх ветрах, трёх водах, трёх стрелах и трёх пулях. Орехом был Лемнер. Он пришёл туда, где его собирались расколоть и склевать.

— Наше знакомство, Михаил Соломонович, перейдет в сотрудничество, затем в симпатию и неизбежно в дружбу, — Иван Артакович любезно усадил Лемнера, легко поправил воротник его пиджака, скорее для вида, чем по необходимости. Так, возлагая к надгробью венки, поправляют траурные ленты. — Вы чувствовали, что и в Африке я не оставлял вас моим вниманием? Мысленно направлял вам ненавязчивые советы. Они шли вам на пользу.

— Мне поступали советы, но я не знал, что они от вас.

— В аэропорту над головой Мкомбо бежал огромный паук. Я посоветовал вам его застрелить.

— Помню, кто-то невидимый посоветовал застрелить паука. Значит, это были вы, Иван Артакович?

— Когда вы штурмовали дворец президента Блумбо, я посоветовал вам посмотреть направо. Там охранник ломал горло вашему другу Ваве.

— Я оглянулся направо, всадил в охранника всю обойму и спас Ваву.

— Когда вы сбили французский вертолёт, допрашивали геолога Гастона Велье и хотели отпустить, я посоветовал его добить. Ибо раненых врагов добивают, не так ли?

— Мне действительно стало жаль этого француза из Гавра. Он ничего не знал о шедевре Ван Гога «Поле пшеницы возле Оверна».

— Это я выявил чернокожего вора на вашем руднике. Вы вернули себе самородки, которые он запихнул в свою чёрную задницу.

— Его задница плакала золотыми слезами.

— И это я направил вам моего референта Франсуазу Гонкур. У неё длинные козьи груди, подмышки пахнут апельсинами, а на правой ноге шесть пальцев.

— Это было лучшее, что вы могли для меня сделать!

Лемнер плавно вплывал в беседу. Иван Артакович был к нему расположен. Накрыл клетку с синим попугаем накидкой, и суетливая птица затихла. Теперь предстояло угадать потаённые замыслы самого большого лукавца.

— Стараюсь понять, Михаил Соломонович, почему вас выбрала русская история? Принято думать, что ей нравятся курносые, голубоглазые лица. У вас же нос иудейского пророка, волосы царя Давида, глаза, как плоды маслин на Масличной горе. И, тем не менее, русская история выбрала вас.

— Выходит, она неразборчива. Или выбрала меня по оплошности.

— Русская история не ошибается. Ошибаются цари, вожди, президенты. Русская история безошибочна.

— Значит, ей полюбился мой нос.

На этой встрече, как и на двух предшествующих, Лемнеру предлагали судить о возвышенном. И это было тягостно. Приятнее было вспоминать, как блуждала в небе лиловая точка, ускользая от вертолёта. Как дрожало огромное чёрное тело, набиваемое раскалённым свинцом. Как взлетело, испуганное выстрелом, стадо фламинго. Как на белой женской груди сиял голубой бриллиант.

— Вы попали на русскую качель, Михаил Соломонович. Никому не удавалось с неё соскочить. Но вам, быть может, удастся остановить.

— Я не люблю качелей, Иван Артакович. Предпочитаю карусель.

— Карусель раскручивают Антон Ростиславович Светлов и Анатолий Ефремович Чулаки. Моя же специальность — русская качель. И те, кто на ней оказался, — Иван Артакович говорил голосом, который рождался в глубинах его желудка и напоминал икоту. Это пугало Лемнера, делало разговор дробным и непредсказуемым.

— Что за русская качель, Иван Артакович?

Иван Артакович икнул и прислушался к звуку, излетевшему из желудка. В желудке Ивана Артаковича сидел другой Иван Артакович и подавал внутренний голос. Это затрудняло беседу. Приходилось слушать обоих Иванов Артаковичей, последовательно отвечая тому и другому.

— Россия из века в век шатается туда-сюда. То хочет зваться исконной, домом Богородицы, «Богом сданной». Торит по колдобинам свой «русский путь». То нарекает себя Европой, говорит по-французски, заставляет женщин под юбкой носить трусы. Выбирает «европейский путь». Это шатание дорого обходится русским. Все революции, гонения, сожжение книг, разрушение городов, усекновения глав, ниспровержение основ, оскудение умов, ожесточение сердец, осквернение святынь, опустошение житниц, обмеление рек, иссушение чувств, оскопление родов, обнуление знаний, обожествление зла. Всё это превращение России в мировое чудище, от которого мир хочет избавиться. Это видно теперь, после рокового вторжения на Украину.

Иван Артакович продолжал негромко икать. Поводил рукой с птичьими пальцами слева направо, справа налево и снова слева направо, как капельмейстер, управлявший незримым оркестром. Глаза его, круглые, со множеством цветных ободков, следили за громадной качелью. Качель на

мгновение замирала в крайней точке, и глаза останавливались, цветные колечки гасли. А потом качель рушилась, и глаза, сверкая ободками, устремлялись вниз. Лемнер стоял на качели. Качель была поднебесной, летала с рёвом, вгрызаясь в пространства. Держась за стропы, Лемнер искал момент, чтобы соскочить с качели. Но пропускал исчезающий миг остановки и ввергался в падение, в неистовый рёв пространств.

— Вам страшно? — Иван Артакович водил перстом с длинным птичьим когтем. — И мне страшно. Миру страшно.

Иван Артакович икнул. Сидящий в нём Иван Артакович то и дело подавал внутренний голос и мешал говорить. Иван Артакович налил в стакан воду и медленно пил, проливая воду на голову внутреннего Ивана Артаковича. Тот вымок и обиженно смолк.

— Как остановить качель? — из двух Иванов Артаковичей беседовать остался один. Исчезала двусмысленность ответов. — Вы остановите, Михаил Соломонович! Вы!

— Но как?

— Отпилите у качели концы. И тех и других под пилу, «европейца» Чулаки и «патриота» Светоча. Сбросить с русской качели, и качель остановится. Мир вздохнет, Россия вздохнет. Кончится вековечная русская мука. Вы, Михаил Соломонович, остановите русскую пытку.

— Но что я могу? — на Лемнера в который раз возлагали непосильную ношу. Его принуждали управлять историей. Принуждение было жестоким.

— Вы проведёте «Очищение топором». Президент Троевидов даст вам в руки топор, и вы проведёте «Очищение». Вернётесь с войны победителем, героем. Ваша голова будет в бинтах, а грудь в орденах. Народ понесёт вас на руках. Поэты напишут о вас поэмы. Композиторы сложат песни. Художники нарисуют ваши портреты. Вы обратитесь к народу и назовёте имена предателей. Агентов Европы, что за спиной воюющего народа помогают врагу. Продолжают стяжать неправедные миллиарды. Наживаются на русской крови. И народ грозно и истово скажет: «Убей их!» И вы взмахнёте топором. Дубовая плаха станет мохнатой от ударов топора, захлюпает кровью. И каждая упавшая на эшафот голова будет вызывать у народа восторг. Казни будут прилюдные. Казнимых станут выводить на эшафот в белых колпаках и балахонах. Будет видно, какому врагу помогал предатель. На балахоне Анатолия Ефремовича Чулаки будет намалёвана Статуя Свободы. На балахоне ректора Высшей школы экономики Лео будет начертано Вестминстерское аббатство. На балахоне вице-премьера Аполинарьева, который перед казнью станет в слезах прощаться с собачками корги, изобразят Бранденбургские ворота. Публицист Формер, гражданин Франции, будет помечен Эйфелевой башней. А режиссёр Серебряковский, обожатель итальянского театра дель арте, понесёт на эшафот римский Колизей. С каким чудесным хрустом ваш праведный топор, Михаил Соломонович, станет

ломать шейные позвонки предателей! С каким славным стуком станут падать на эшафот головы, замышлявшие измену! Каждый удар вашего топора народ будет приветствовать восторженными криками!

Иван Артакович взмахивал руками, подпрыгивал, описывал в воздухе круги, хлопал ножкой о ножку, вальсировал, пускался в неистовый русский пляс, отбивал чечётку. Это был «танец топора». Победный танец вождя, сокрушившего зверя. Зверь лежал, издыхая, вывалив окровавленный язык.

Лемнеру стало худо. Вокруг витали жгучие смерчи. Пахло палёной шерстью. Иван Артакович, изысканный модник, придворный любезник, искусный льстец, обворожительный царедворец, был бешеный вихрь, волчок, вырвался из глубин русского ада.

— Но как же? — лепетал Лемнер. — Ведь все они ваши друзья?

— О, вы правы, Михаил Соломонович, больно отправлять друзей на плаху! Больно смотреть, как у отрубленной головы мигают глаза, которые недавно смотрели на тебя с обожанием. Страшно взирать, как вываливается из губ искусанный язык, который признавался тебе в вечной дружбе. Но мы государственники, Михаил Соломонович. Россия вручила нам топор. Перед каждым взмахом Родина говорит нам: «Аминь!»

Лемнер слышал, как звенит в нём кровь. Это был звон русского колокола и русского топора. Колокол взывал к топору. Россия выбрала Лемнера из сонма государственников, мечтавших о топоре, но топор вручила ему.

— А другой конец качели? Как с другим концом? — Лемнер ждал наставлений. Его рука сжимала гладкое топорище, отшлифованное прежними палачами. Иван Артакович был мудрец, искушённый в выборе топоров. Он даст Лемнеру топор, чтобы тот был по руке. Чтобы солнце играло при взмахе. Иван Артакович был наставник, терпеливый и мудрый учитель. Вел Лемнера путями Величия. — Как быть с другой половиной качели? Как быть с Президентом Леонидом Леонидовичем Троевидовым?

— Вы разрядите в него всю обойму золотого пистолета.

— Я? В Президента? Я присягнул ему на верность!

— Но вы же застрелили Президента, сидящего в клетке, а потом закопали пятками в небо.

— Но ведь это был двойник!

— Как знать, Михаил Соломонович, как знать!

Иван Артакович опустил глаза и печально улыбнулся. Лемнеру стало жутко. Он убил Президента, убил царя, был цареубийцей. Убил Романова, убил самого себя, был самоубийца. Был Юровский, был царь-мученик, был царь-мучитель. Но кем он был на самом деле, он не знал.

Перед ним сидел огромный синий попугай с кривым клювом и глазом, окружённым цветными ободками. Лемнер был орех.

«Явись, умоляю!» — взывал Лемнер, чувствуя, как синий попугай пахнет куриным помётом.

Увидел проплывшее любимое лицо. Её пунцовые, готовые к поцелую губы. Из адских дымов вернулся в кабинет. Иван Артакович улыбался, клетка с синим попугаем была накрыта холстиной.

Иван Артакович был изобличён. Он не являлся синей птицей, а Лемнер не являлся орехом.

— Но, Иван Артакович, ведь своим восхождением вы обязаны Президенту Троевидову. Он поднял вас так высоко, что вы сравнялись с колокольней Ивана Великого. Стали Иваном Артаковичем Великим. Мы, простые смертные, стараемся прочитать бегущую золотую строку под куполом колокольни. На вашем лбу, Иван Артакович. Вы собираетесь убить Президента?

— Президента давно нет в живых. Светоч держал его в заточении, скрывал от народа его болезнь. А когда Президента не стало, создал лабораторию по выращиванию двойников. Их выращивают в колбах из биоматериала, оставшегося от почившего Леонида Леонидовича Троевидова. Светоч — узурпатор, и правит Россией от имени Президента. Бедный Президент! Я скорблю о его безвременном уходе. В его смерти виню вице-премьера Аполинарьева и его собачек корги.

— Мерзкие собачки, — сказал Лемнер. — Но при чём они?

— Президент умер от укусов «пёсьей мухи». Той самой, что кусала египетского фараона, не отпускавшего из плена евреев. Вице-премьер Аполинарьев попросил аудиенцию у Президента, пришёл к нему с собачкой корги, и та напустила на Президента пёсью муху. Кончина была мучительной.

— Я отомщу! — Лемнер больше не выбирал между Светочем, Чулаки и Иваном Артаковичем, как не выбирают между торговыми лавчонками и колокольней Ивана Великого.

— Вы привезёте с украинского фронта огнемёт «Солнцепёк» и совершите в Кремле «Очищение Солнцепёком».

Лемнер, испытав колдовскую силу Ивана Артаковича, причинял себе боль, сжимая колени, чтобы не впасть в забытье.

— Иван Артакович, мы остановим русскую качель. Но что будет с Россией? — Лемнер что есть силы сжимал колени, и боль в паху была нестерпима. — Что с Россией, Иван Артакович?

— Мы начнём писать историю России с чистого листа. Я — ум России, вы — её воля и мускулы. Мы поведём историю России с чистого листа. То будет Россия Райская! Там будут русские перволюди, и от них поведётся русский райский народ. Подойдите сюда, Михаил Соломонович.

Иван Артакович отдернул гардину, заслонявшую стену. Стена оказалась стеклянной. За стеклом открылся вид с высоким зелёным деревом. В листве светились румяные яблоки. Под деревом сидели русские перволюди. Они были

нагие, целомудренные, не ведали стыда. То были голая Ксения Сверчок, телеведущая программы «Дом Два», дочь губернатора Анатолия Сверчка, засечённого насмерть железным веником. И африканец, что встретился Лемнеру на рынке в Банги. Африканец был голый, тёмный, как крепко заваренный кофе. Его белки казались фарфором, появлялся и пропадал красный язык. Через колено был небрежно переброшен отросток размером с хобот небольшого слона. Тогда, в Банги, этот отросток смущал Лемнера. Здесь же в отростке было много наивного, целомудренного. Над ним кружила бабочка-белянка.

— Эти русские перволюди ещё не знают, что от них поведётся Россия Райская. Мы стоим у истоков России Райской, запускаем исторический процесс. Смотрите, Михаил Соломонович!

Из зелёного древа протянулась рука. Она сорвала яблоко. Рука принадлежала публицисту Формеру, который обвился вокруг ствола гибким змеевидным телом. Он надкусил яблоко, напитав ядовитой слюной. Протянул отравленный плод Ксении Сверчок. Та вкусила. Её глаза сладко зажмурились и тут же открылись, полные жутких страстей. Она узрела отросток африканца, невинно свисавший с колена. Бабочка-белянка сидела на нем. Ксения Сверчок потянулась к отростку, тронула пальчиком и тут же пальчик отдернула. Бабочка-белянка улетела. Ксения Сверчок снова потянулась, погладила отросток, схватила обеими руками, силясь поднять. Змеевидный Формер лукаво усмехался. Он был искуситель, и он положил начало России Райской.

Иван Артакович задёрнул штору. История России Райской была запущена. Теперь оставалось ей управлять. Крики, визги, рычание раздавались из-за шторы. Сулили много исторических сюрпризов.

— Нас ждут два великих очищения, — Иван Артакович провожал Лемнера до дверей кабинета. — «Очищение топором» и «Очищение Солнцепёком». Возвращайтесь с победой, Михаил Соломонович. Вы нужны России!

Глава двадцатая

Лемнер и Лана лежали беззвучные, недвижные. Казалось, у них исчезло дыхание. Огромный, упавший свыше шар света расплескал окружавший мир, и открылось океанское дно с таинственными сущностями, которые не удавалось разглядеть. Они исчезли, накрытые волной вернувшегося в свои очертания мира. Вернулась на стену картина с пшеничным полем. Повисло на спинке стула шёлковое малиновое платье. Легли на пол подушки с персидским узором. Её рука опустилась ему на грудь, и не было сил её целовать, а только смотреть на бриллиантик в золотом кольце, дрожащий, как утренняя росинка.

— Все эти дни я страшно за тебя волновалась. Каждый твой визит был для меня испытанием. Три ужасных попугая, красный, жёлтый и синий, хотели тебя расклевать.

— Я превращался в орех. Попугаи долбили меня кривыми клювами. Ты видела на моей спине следы их клевков. Я раскалывался, но появлялась ты. Попугаи сбрасывали перья и превращались в Светоча, Чулаки и Ивана Артаковича.

— После каждой схватки с попугаем я так изнемогала, что ложилась в ванну с тёплым кокосовым молоком и засыпала.

— Откуда у тебя столько кокосов?

— Меня одарил президент Мкомбо. Кокосы с той пальмы, что росла у веранды, где мы с тобой танцевали.

— Люблю тебя, — он закрыл глаза, подхваченный чудесным кружением. Он сладко погружался на дно океана, где обитали таинственные сущности, и он старался их разглядеть.

Лана встала из кровати, пошла в соседнюю комнату. На столе оставалась недопитая бутылка вина. Лемнер смотрел, как колышутся её бёдра, светятся розовые пятки, вздрагивают лопатки, льются чёрные стеклянные волосы. И была в нём нежность, обожание, желание запомнить ненаглядную женщину, что несёт ему бокал золотистого вина. Всё это уберечь, запечатлеть до скончания дней.

— Теперь ты знаешь, какие силы разрывают Россию, — её голое колено погрузилось в подушку у самых его глаз. Он не хотел отвечать, хотел целовать её колено, как в ту волшебную африканскую ночь, когда в их комнату влетел светлячок и чертил в темноте загадочные письмена. Хотел молча и сладостно вспоминать. Но она говорила:

— Три хищных попугая расклюют Россию, как большой орех. Украинские части войдут в Москву, спилят рубиновые звёзды с кремлёвских башен и вознесут золотые трезубцы. Ты слышишь меня?

— Что же нам делать? — он не хотел возвращаться в мир парадоксов, где качается жуткая русская качель, крутится жестокая русская мельница, колокол зовёт к топору, множатся двойники, у России есть зеркальный двойник, и уже не понять, где Россия, а где её отражение.

— Каждый из трёх попугаев хочет уничтожить других двоих твоими руками. А потом отрубить эти руки, убить тебя. Ты меня слышишь? — она требовала его внимания, мешала вспоминать. Возвращала в мир парадоксов.

— Нам нужно бежать в Африку, на озеро Чамо. Там растёт кокосовая пальма, на деревянную веранду падают плоды манго. Мы танцуем, у тебя на груди голубой бриллиант. Из тростников взлетают фламинго. Светлячок залетел в нашу комнату и в темноте рисует твоё лицо.

— Ты должен их уничтожить! Во имя России! Во имя Величия!

— Не могу! — отвернулся он. — Не могу это слышать!

— Ты уничтожишь их по одному, — её голос был струнный, звонкий. Она назидала, приказывала. — Объединишься со Светочем и Иваном Артаковичем и уничтожишь Чулаки. Объединишься с Сюрлёнисом и уничтожишь Светоча. Потом уничтожишь Ивана Артаковича. Все трое исчезнут, а ты останешься наедине с Русской историей.

Лемнер смотрел на её колено, раздавившее персидскую подушку. На её приподнятое острое плечо. На ключицу с лункой, которую целовал, как сладкую медовую соту. Кто она, появившаяся в его жизни, и жизнь изменила русло, устремилась к грозной, пугающей цели, что зовётся Величием? Кто она, что властно ведёт его, словно знает, что значит Величие?

— Ты останешься наедине с Русской историей. Она изольётся в мир через твои мысли, мечты, деяния, через молитвы, ночные ужасы и откровения. Русская история ужасна и восхитительна. Как ты. Она привередлива и неумолима. Как ты. Русская история стремится к Величию и увлекает тебя за собой. Все подвиги, что ты совершишь, все злодеяния, что станешь чинить, будут во имя Русской истории, её и твоего Величия!

В солнечной тёплой комнате Лемнеру стало холодно. Солнце погасло. Надвинулась тьма, холодная, необъятная, пустая. Из тьмы на него летела огромная глыба льда, обломок потухшей галактики. Он слышал гул мироздания. Это был гул Русской истории. Он был один в холодной тьме. На него летел обломок погасшей галактики. Между ним и обломком была пустота. Ни звезды, ни Бога, ни предка, ни отпрыска. Он был наедине с Русской историей. Русская история приближалась, была готова в него вселиться. Россия с её непролазными топями, дремучими чащобами, зыбучими песками, сырыми гранитами, дурными смутами, кровавыми войнами, лохматыми плахами, скрипучими дыбами, весёлыми палачами, несчётными мучениками, елейными лжепророками, потешными лжецарями — Россия стремилась в него вселиться. Он хотел убежать, но она настигала. Он слышал, как рвутся его сухожилия, ломаются

кости. Огромная непомерная жуть вселялась в него, становилась им. Россия была в нём, и он был Россией.

Лемнера бил колотун. Он трясся, лязгал зубами:

— Не хочу! Не желаю! Будь она проклята, Русская история!

— Поздно. Ты повенчан с Русской историей.

— Не желаю! Уйдите все от меня! Ухожу от вас! От тебя ухожу!

Лана ударила его по щеке, ещё и ещё.

— Ухожу! Сейчас ухожу! — он кричал, искал рубаху. Лана хлестала его по щекам. Он дрожал, плакал, искал её руку, чтобы целовать, а рука хлестала его. Чёрные гневные глаза смотрели на него с отвращением.

— Зачем я вам? — рыдал он. — Какая Русская история! Я еврей! Меня не касается ваша Русская история!

— Не смей говорить, что ты еврей! Ты русский, самый русский из русских! Ты Романов, Рюрикович! Ты князь Дмитрий Донской! Князь Александр Невский! У тебя в руках меч Русской истории и крест Русской истории!

Она перестала его бить. Он плакал. Поймал её руку, целовал, всхлипывал. Она прижала его к груди, гладила по волосам, целовала в макушку.

— Ну, что ты, мой маленький, мой хороший!

Она была его мать, качала на руках. Он прятал лицо на её материнской груди, а она целовала, баюкала:

— Спи, царевич, мой прекрасный, баюшки-баю!

Он утих. Лежал, глядя, как солнце уходит с её голых ног. Теперь оно горело на картине «Пшеничное поле возле Оверна», и он хотел разглядеть среди колосьев синие васильки.

— Пора, — сказал он. — Меня ждёт эшелон.

— С Богом, мой воин! — она перекрестила его и поцеловала в губы.

Танки с упорством жуков карабкались на платформы, скребли железо, двигали боками, шевелили пушками. Эшелон стоял на путях на московской товарной станции. Танки на платформах целили пушки вдаль, где их ожидали гранатомёты врага, пробоины, содранные гусеницы, чёрная украинская пашня. На башнях белой краской был начертан профиль Пушкина, из тех, что украшают поля его рукописей. Лемнер смотрел, как танк дерёт гусеницами платформу, поудобней устраивается, вписывая горбатое тулово в ряд одинаковых угрюмых машин. Рядом Вава следил за вползающим танком, помогал ему взглядом, бровями, плечами, поворачивал шею, сжимал кулаки. Он превратился в танк, и Лемнеру было забавно перевоплощение Вавы, на виске которого оставался след губной помады.

— Вава, на твоем лице боевая раскраска, — Лемнер чистым платком стёр с лица Вавы мазок помады и показал ему розовое пятно на платке.

— Командир, она рисовала мне на лбу профиль Пушкина. Но я же не танк!

— Ты принял материальную часть батальона. Не забыл комплекты чёрных мешков? В них нас с тобой доставят обратно.

— Командир, в этих мешках мы привезём яблоки из украинских садов. Моя чёрненькая Зюзю будет грызть красные яблоки своими белыми зубками!

Строй бойцов стоял вдоль состава. Тепловоз с красной камергерской полосой на синем борту сотрясался двигателем. Был готов повлечь эшелон с танками, бэтээрами, гаубицами через осенние леса, ветряные пустые поля, туда, где бэтээры осядут на обугленных ободах, у танков будут сорваны башни, а красный крест на санитарном фургоне станет серым от копоти.

Лемнер говорил перед строем:

— Бойцы, с ваших лиц не сошёл африканский загар, ваши рты помнят вкус плодов манго. Теперь вы изведаете вкус спелых яблок из садов Украины. В Африке вы храбро сражались с солдатами Французского легиона. На войне, куда влечёт вас судьба, вы снова увидите французов, а также немцев, англичан, американцев, голландцев, поляков, румын, болгар, эстонцев, латышей и литовцев. Все они ненавидят матушку Россию, ненавидят Пушкина. Разрушают памятники нашему духовному праотцу, сжигают поэмы «Евгений Онегин», «Полтава», «Медный всадник». А также стихотворение «Я помню чудное мгновение», которое стало нашим походным маршем. Мы вернём на место все разрушенные памятники Пушкину и поставим новые. Проведём большие Пушкинские чтения в Киеве, Варшаве, Лондоне, Берлине, Париже, Риме и других городах, помельче, где забыли «Сказку о Золотом петушке», «О царе Салтане». Нам предстоит жестокая схватка. Если кто-нибудь из вас оставит без приказа позицию и побежит, я застрелю его из золотого пистолета. Если побегу я, пусть тот, кто окажется рядом, прострелит мне голову. Не все из вас примут участие в Пушкинских чтениях. Одних разорвут снаряды, других пробьют пули, третьи сгорят в огне. Сейчас, перед тем как погрузиться в вагоны, я обращаюсь к вам, бойцы. Если кто-либо не уверен в себе, боится оказаться трусом, он может остаться, и это будет поступок не труса, а мужественного человека. Потому что отказ идти на фронт с братьями по оружию требует большего мужества, чем идти на пулемёт в атаку. На размышление две минуты!

Лемнер отодвинул рукав, открыл на запястье офицерские часы, на которых среди множества стрелок была одна, с бриллиантом, которая показывала время до смерти.

Строй молчал. Было слышно, как содрогаются в тепловозе двигатели. Через минуту строй покинул солдат, невысокий, худой, с пухлыми, почти детскими губами.

— Имя, боец! — Лемнер надвинул рукав на часы.

— Лукашин Степан.

— Подойди!

Солдат несмело подошёл. Лемнер обнял его.

— Спасибо за честность, Степан Лукашин. Мой наказ. Иди в монастырь и молись за нас. Богородица тебя услышит.

Солдат уходил, переставляя вялые ноги. Строй молча смотрел ему вслед.

— Вава, командуй оркестру! Пусть играют походный марш!

Оркестр блеснул трубами, ударил в тарелки, глухо забил в барабан. Строй качнулся и единым дыханием ухнул:

— Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты!

Вава двигал желваками, сводил на сторону челюсти, пел:

— Как мимолётное виденье!

Строй в камуфляже, с тяжёлыми автоматами, с набухшими на лбах складками рычал:

— Как гений чистой красоты!

Романс в исполнении суровых непреклонных певцов слушали машинисты тепловоза, жители соседних со станцией домов, летящие над составом вороны. Романс слушала рыжекудрая Матильда, сгоревшая в усадьбе Свиристелово, проститутка Алла, замёрзшая на полярной льдине, чернокожая Франсуаза Гонкур, сражённая пулей у озера Чомбо. Слушала женщина с голой грудью, которую он видел в детстве в окне. Слушали обитатели квартиры с надписью «Блюменфельд». Слушала Русская история, наедине с которой остался Лемнер.

Глава двадцать первая

В детстве Лемнер жил на даче, в подмосковной деревне Лаговская. Дачу снимали у деревенской хозяйки Ефросиньи Ивановны, тёти Фроси. Она любила маленького Мишу, кормила его малиной, лазала с ним на чердак, показывая старые прялки, веретёна, деревянные корыта и ступы. Ветхое, руками струганное дерево волновало Мишу, было из русских сказок. Миша представлял, как тётя Фрося ночами залезает в ступу, хватает помело и летает над Лаговской. Тётя Фрося смеялась, гладила Мишу по головке, приговаривая:

— Да какой же ты, Мишенька, ладный, пригожий!

Теперь, спустя годы, отправляясь на Украинский фронт, Лемнер вдруг вспомнил чудесную деревню, кусты малины с красными ягодами, корзину с сыроежками, лисичками и подберёзовиками, и добрые глаза тёти Фроси, и её певучее: «Да какой же ты, Мишенька, ладный, пригожий». Выбирая себе позывной, он выбрал «Пригожий». Вава стал зваться «Крутой».

Лемнер шёл в колонне к линии фронта. Опустил ноги в командирский люк бэтээра, оглядывался на идущие следом грузовики, тягачи с пушками, фургон с красным крестом. Дорога была разбита, бэтээр нырял и всплывал. Над колонной стояла жирная гарь. Поля кругом, неубранные, с жёлтой пшеницей под синим небом, напоминали волосы рыжей Матильды, когда она последний раз взглянула на Лемнера любящими голубыми глазами.

Три танка отстали. Лемнер по рации связывался с Вавой, который вёл танки.

— «Крутой», «Крутой»! Я — «Пригожий»! Если танк потеряешь, я тебя вниз головой закопаю!

— «Пригожий», я «Крутой»! Командир, только прошу, не мажь пятки мёдом. Очень мух боюсь!

Фронт ухал артиллерией. Вначале гулы казались глухими, ватными, но вскоре стали различимы отдельные удары. Канонада гуляла, будто ходила туча с громом, но небо оставалось ясное, холодное. Высоко, мерцая, как стеклорезы, прошли штурмовики. Обратно самолёты не возвращались, видно, после ударов садились на другие аэродромы.

Близко от дороги, в открытом поле, был развёрнут ремонтный батальон. Стояли подбитые танки. Ремонтники искрили сваркой, водили синими огнями автогенов. Лемнер смотрел на изуродованные машины. Чернели пробоины, торчали выдранные клочья стали, башни съехали, как сбитые набок шапки, отвалились, как железные черви, гусеницы. Лемнер чувствовал, как пахнуло окалиной, кислой вонью сгоревшей брони. Среди железных запахов убитых

машин слабо тянуло горелой плотью, запахом погибших экипажей. У Лемнера заныли испуганные запахами кости.

Одни танки были мертвы. Другие жили, стонали от ран, дрожали от прикосновений ремонтников. Боялись возвращаться туда, где ухало и горели невидимые танки.

Грохот передовой приближался. Тяжёлые взрывы, как кули, падали с неба, ударялись, рассыпались на мелкие взрывы. Между ними различались отдельные короткие стуки.

Проезжали вертолётную площадку. Два пятнистых, с красными звёздами вертолёта стояли в стороне от дороги. У одного вращались винты. Подкатывал фургон с красным крестом. Солдаты вытягивали из фургона носилки, несли к вертолёту. Брезент носилок проседал под тяжестью раненых. Виднелись бинты, запрокинутые бледные лица. Солдаты бежали рядом с носилками, держали на бегу капельницы. Флаконы мерцали на солнце.

Лемнер вдруг испытал нестерпимое жжение в мышцах, будто над его перевязанной головой дрожал солнечный флакон.

Далеко впереди, над дорогой синее небо мутнело. Стояла белёсая копоть. В этой копоти прыгало огромное, ревущее, отталкивалось от земли, перепрыгивало препятствие и вновь приземлялось, топая громадными сапогами.

У дороги в поломанных колосьях, лежали мертвецы, головами все в одну сторону. Лемнер с брони видел запрокинутые лица, выбитые глаза, вырванные носы, оскаленные, без губ, рты. Некоторые были без ног, их оторванные ноги лежали рядом. У других в животах темнела полная чёрной крови дыра. Все были в пятнистых робах, солдатских башмаках. На одном удержалась каска. К другой голове прилипла пропитанная кровью повязка. Вдоль убитых расхаживали солдаты, стягивали с грузовика рулоны брезента. Лемнер окликнул солдата:

— Откуда «двухсотые»?

— Хохлы. Готовим к обмену, — вяло ответил солдат, пнув башмаком оторванную, согнутую в колене ногу. Лемнер подумал: там, где грохотало и стояла муть, на таком же пшеничном поле лягут его бойцы, и он вместе с ними, и чужой солдат ударит башмаком его оторванную ногу.

Муть приближалась, нависала над колонной, над грузовиками. В кузовах под брезентом бойцы слышали близкую канонаду. Лемнер, чувствуя неотвратимость судьбы, уповая на благую, сущую в небесах силу, стал молиться. Не о спасении жизни, не об избежании мук, а о том, чтобы сила небесная не отводила от него глаз, теперь и в час его смерти.

Они подкатили к посёлку. Солнце опускалось в поля. Колосья стали стеклянными, земля казалась черничным вареньем. Посёлок с изуродованными домами и посечёнными садами был празднично озарён. На кирпичных развалинах, железной арматуре, убитой лошади, обгорелом грузовике лежала позолота. Лемнер, зачарованный волшебной позолотой, хотел продлить

очарование. Из посёлка уходила пехота. Поодиночке, парами, группами, вялые, сутулые. На лицах, освещённых солнцем, была золотая маска, какую кладут в гроб фараонов. Они казались мертвецами, увидели перед смертью ужасное, сделавшее их одинаковыми. Уходившие солдаты не смотрели на вновь прибывших, словно боялись, что их остановят и вернут в посёлок.

На боевой машине пехоты, на броне, на стёганом ватном одеяле лежал комбат. Смотрел, как уходит с позиций батальон. Он был голый по пояс, грудь перевязана, на бинтах проступало коричневое пятно. Он уходил из посёлка последним.

Лемнер заскочил к нему на броню. Слушал хрипы его пробитого лёгкого.

— Давай, получай район! От батальона осталась рота! На левом флаге мужик нормальный! На правом дурак! Занимай оборону! — комбат тянул ему руку с часами, у которых сорвало стрелки. — Держи оборону!

— Живи! — Лемнер пожал комбату руку, спрыгнул с брони, слыша, как комбат харкает кровью.

Формирование «Пушкин» занимало оборону, устраивалось в окопах, полных бинтов и стреляных гильз. Обживали снайперские гнёзда в слуховых окнах, на уцелевшей колокольне. Прятали подошедшие танки во дворах и посечённых садах. Казалось, над посёлком пробушевал, прокружил смерч. Отламывал от земли дома, подбрасывал и ронял на новое место. Деревья были закручены, словно их вывинчивали из земли. Обломки машин, тряпьё, домашняя рухлядь были насыпаны по земле по спирали, будто кружил дикий волчок. Завтра этот волчок вернётся и скрутит их всех в жгут огня и крови.

Предчувствия тяготили Лемнера, согнули его. Он медленно выпрямлялся под тяжестью ещё не наступившего дня.

— Командир, погляди! Взял яблоко, думал попробовать, а в нём пуля! — Вава держал в одной руке румяное яблоко, а в другой пулю. — На излёте попала!

— В самое яблочко, — усмехнулся Лемнер. Был благодарен Ваве, угадавшему его дурные предчувствия.

Ночь наступила быстро, без зари. Чуть посинело на западе и померкло. Канонада стихла. На далёких флангах редко ухало. В посёлке простучит испуганная очередь и смолкнет. Взлетит сигнальная ракета, повисит и погаснет. Развалины были чернее неба, их посыпало звёздами.

Лемнер обходил позиции, проверяя готовность к завтрашнему бою, в котором не многие уцелеют. Он спускался в окопы, останавливался у танков, карабкался по лестницам к пулемётным гнёздам. Всматривался в лица бойцов, стараясь угадать на них тень смерти, но было темно, лица под касками чуть белели. Смертная тень не угадывалась, или смерть ещё не сделала выбор.

Лемнер спрыгнул в траншею, обрушив изрытую снарядами землю. Бойцы, уложив на бруствер пулемёт, сидели на корточках и курили, чтобы наружу не светили огоньки сигарет.

— Командир, как же оно так поучается? Я Ступенко, хохол. Деды мои из Чернигова. А кто меня завтра убивать будет? Петров, русский, который по-хохлятски ни слова. Если я, хохол, убью Петрова, значит, хохлы победили? А если он, русский меня прихлопнет, значит, наша победа?

Бойца одолевали сомнения. Он отвернулся, чтобы дым не попал на Лемнера. Лемнер помнил, как в Банги, после штурма дворца, Ступенко расставлял под цветущим фиолетовым деревом пленных охранников. Те стояли, длинные, оглушённые, в малиновых беретах. Ступенко деловито спросил у Лемнера:

— Командир, расстрелять «красноголовиков», или пусть живут?

Теперь, в окопе, он искал разъяснения у командира.

— В этом деле, Ступенко, есть много вопросов, — уклонился от ответа Лемнер. — Когда убьёшь Петрова, я тебе всё объясню. А если он тебя, то извини, не успел! — Лемнер легонько ткнул бойца кулаком в грудь, услышал стук бронежилета.

У бэтээра, постелив на землю бушлаты, сидели бойцы. Лемнер различал чёрное колесо с ребристым протектором, белевшие лица солдат. Бэтээр раздавил цветочную клумбу. Боец держал хризантему, нюхал, стараясь уловить печальный запах осеннего цветка.

— Я, мужики, заметил, что африканские бабы пахнут водяной травой. Как водоросли, — сказал тот, что держал цветок.

— А русские бабы чем? — хмыкнул другой, расстегнув ворот бушлата. Лемнер видел полосы его тельняшки.

— Русские бабы? Как это по-хохлятски? Цибулей!

— А хохлушки?

— Те кавунами.

— Все бабы на земле пахнут мужским потом! — сказал третий. Зажёг и тут же погасил фонарь. Лемнер успел рассмотреть грубо тёсанное лицо и белые, выгоревшие в Африке брови.

— Завтра попотеем, — сказал Лемнер, отбирая у солдата хризантему. Почувствовал аромат исчезнувшего лета. Испугался, что отнял у солдата сберегающий жизнь талисман, и вернул цветок.

Миномётчики разместили в развалинах батарею, установили на плитах трубы. Сидели на ящиках с минами. Солдат, которого в Африке укусила змея, и он зажигалкой жёг себе место укуса, а другие солдаты смотрели, как он молча терпит боль, — этот маленький солдат с шаровидной, без шеи, головой, уступил Лемнеру место на зарядном ящике.

— Я что заметил, командир. У нас в селе церковь. Люди в неё идут разные, каждый со своей бедой. А выходят одинаковые, на одно лицо. Сегодня отступала пехота, и у всех было одно лицо. Как из церкви. Есть чёрный Бог, командир?

— Молись Богу, боец. А какой он, чёрный или белый, не важно. Какой-нибудь да поможет!

Лемнер обошёл позиции и вернулся в сад, где стояла уцелевшая беседка и пахло соками расщеплённых яблонь. На столе лежало надкусанное Вавой яблоко и тёмная пулька. Из беседки виднелось небо, усыпанное мелкими, как толчёное стекло, звёздами. Лемнер блуждающей мыслью, словно бреднем, захватывал земли и времена прожитой жизни. Земли и времена рыбами плескались в бредне его памяти, ускользая сквозь ячею. Парижское варьете с огненными бабочками танцовщиц. Золочёная ложа Большого театра с генералом и красавицей в мехах. Мама с чудесным лицом читает ему на ночь нарядную книгу «Сказки братьев Гримм». Беззубая, пахнущая уксусом старуха обнажает вислые синие груди. Лежащие при дороге изуродованные украинские трупы. Три нахохленных попугая с кривыми, как клещи, клювами. Их ошпаривают кипятком, перья выпадают, остаются пупырчатые, костлявые тела.

Лемнер услышал сиплое мяуканье. Оно приближалось из сада к беседке. У беседки стояло живое, неразличимое и истошно мяукало. Лемнер зажёг фонарь, посветил. Перед ним стоял огромный чёрный кот с огненными золотыми глазами. Виднелись усы, острые зубы, горящий красный язык. Глаза кота были огромные, безумные, полные ненависти. Кот топтался у беседки, хотел войти. Он уцелел среди побоища. В нём жил звериный ужас, людские проклятия и вопли. Глаза напоминали смотровые зрачки в мартенах, где плескался жуткий кипяток. Лемнер подумал, что это пришла за ним смерть. Кот был вместилищем смерти. Смерть, поблуждав по посёлку, выбрала Лемнера и теперь стоит на пороге, требуя, чтобы Лемнер принял её.

Он крикнул, топнул ногой, замахнулся на кота. Кот, ненавидя, с воплями, повернулся и исчез в саду. Лемнер слышал, как удаляются его вопли. Лемнер прогнал смерть и отправил её другому. Быть может, солдату, что держал цветок, или тому, кто спрашивал о чёрном Боге. Лемнер убил солдата с цветком ещё до того, как его сразит осколок или пуля.

Хотел кинуться в темноту, настичь кота, спасти солдата. Остался в беседке, бессильный проникнуть в лабиринты, где блуждали людские жизни. Блуждала его жизнь, обманываясь недостижимой целью, влекомая к этой цели таинственной волей.

Он заснул, прислонившись к резному столбику беседки. Ему приснилась бабушка Сара Зиновьевна, которую плохо помнил и от которой пахло жареными кофейными зёрнами. Бабушка работала бухгалтером в «чайном магазине» на Мясницкой, и её одежду пропитали кофейные запахи. Мама сказала, что её кофту можно бросать в кипяток и заваривать кофе. Бабушка приснилась лежащая в ванной, голая, с закрытыми глазами. В ванной не было воды. Лемнер чувствовал, как холодно бабушке в этой эмалированной ванне. Хотел поддеть руки под худую спину бабушки и вынуть её из ванной. Проснулся от холода.

Было утро. Заря над полями, розовая, голубая, золотая, играла, как перламутр. Танк среди яблонь, мокрый от росы, отражал зарю и переливался, как морская раковина.

— Вава, сдурел? Оставил танк на виду! Первое попадание, и мы без танка! — напустился Лемнер на Ваву. Тот спал у танковой гусеницы, завернувшись в ватное одеяло.

— Командир, здесь домик один уцелел. Загоню в него танк.

Среди разбитых артиллерией строений и срезанных осколками садов чудом сохранился дом. Земля кругом была изрыта, торчал хвостовик неразорвавшейся мины, ограда была сметена, и сквозь пни и обрубки яблонь открывалось поле с неубранной пшеницей, лесополоса, делившая поле. Окрестность, освещённая утренним солнцем, казалась яркой, как рыжие волосы Матильды. Её розовое любящее лицо проплыло над Лемнером, когда он входил в дом.

В сенях стоял двухколёсный велосипед. Дверь из сеней вела в гостиную. На стене висел дорогой ковёр. Стол под небольшой хрустальной люстрой был накрыт. Белели чашки, тарелки, сахарница. Из гостиной двери вели в спальню и в детскую. В спальной широкая кровать была застелена цветным покрывалом, висело зеркало, на столике пестрели флакончики, баночки, пудреницы. Стоял приоткрытый шкаф, полный платьев и пиджаков. В детской комнате были разбросаны цветные пластмассовые кубики и стоял недостроенный замок. Казалось, люди, населявшие дом, всё ещё здесь, только стали невидимы. Лемнер, ходя по комнатам, чувствовал их бестелесные прикосновения.

Снаружи рычал танк. Вава управлял машиной, пятился, прицеливался, чтобы точнее направить танк. Лемнер ощущал беззащитность дома, хрупкий мир, сложенный из разноцветных кубиков, из хрусталей, фарфора, накидок и платьев. Витали тени недавних жильцов. Жильцы ждали, когда стихнет канонада, уедут танки, и они вернутся в дом, наденут праздничные костюмы и платья, достроят из кубиков замок и усядутся за стол под хрустальной люстрой.

Лемнер стоял на крыльце, чувствовал власть над домом. Он мог остановить Ваву, отогнать от дома танк, направить к руинам. Эта возможность тяготила его. Была неуместна накануне боя. Он махнул Ваве. Стал пятиться, подзывая танк.

Танк неуклюже, медленно, ворочая гусеницами, пошёл на дом. Мягко погрузился, наполнив дом своей громадой, дымом, осыпая на броню стропила и кровлю. Застыл внутри дома, чуть выставив из окна пушку. Нацелил в рыжее поле. Лемнер видел, как плотно стальная туша танка заняла место среди стен. На стене продолжал висеть ковёр. Под гусеницами лежало несколько цветных кубиков.

Лемнер услышал тихий, трепещущий звон. Так звенит тонкая серебряная фольга или стеклянные рюмочки. Звук доносился из просторного неба. Лемнер искал в синеве источник нежного звона. Высоко, озарённый солнцем, летел беспилотник. Медленно, плавно, разведя прямые крылья, вытянул длинный,

увенчанный килем хвост. Чуть видный, как солнечный всплеск, крутился винт. Беспилотник летел высоко, переливался на солнце. Лемнер чувствовал, как шарит по посёлку невидимый луч, заглядывает в окопы, осматривает руины, ведёт счёт танкам и бэтээрам. Этот луч лизнул и Лемнера, и тот ощутил едва слышный ожог, словно коснулась крапива… Ожог не причинил сильной боли, породил весёлое раздражение. Эта была первая встреча с врагом, неопасная, среди просторных осенних полей, прозрачного, как голубое стекло, неба. Эта встреча не страшила. Рождала азарт охотника, на которого вышел одинокий зверь. Охота предстояла азартная, весёлая.

То же чувствовали бойцы. Развалины застучали очередями. Полетели в небо красные трассеры. Гасли на солнце. Вава, сидя в танковом люке, вёл зенитным пулемётом по небу, грохоча, стараясь достать беспилотник. Лемнер схватил ручной пулемёт и, не целясь, от живота, водил грохочущим стволом, окружённый мерцаньем стреляных гильз. Беспилотник безбедно проплыл над посёлком, повернул и, поблескивая хвостовым винтом, удалился в поля.

Было тихо, прозрачно, солнечно. Воздух сладко пах яблоками, мокрой землёй, полями, где осыпалась пшеница. Лемнер слышал, как остановилось время, застыло среди полей, хрустальных небес. Быть может, это было последнее время его жизни. В хрустальное стекло была запаяна сломанная яблоня, разбросанные по земле яблоки, мерцающие латунные гильзы, блёклая предзимняя ромашка, воронёный ствол пулемёта, розовое, с рыжими волосами лицо Матильды. Прежде он почти не вспоминал о ней, но она вдруг стала являться, как златовласое видение.

Он старался удержать остановившееся время. Время не двигалось, копилось, вспухало в запрудах. Прорвалось. Просвистело и страшно ахнуло, подняв из развалин высокий фонтан взрыва.

«Тятя, тятя, наши сети!» — Лемнер вжал голову, желая накрыться воротником. Взрыв опадал из неба дымящими камнями. Ещё один взрыв тряхнул посёлок. Завыло, взревело. Взрывы гуляли по посёлку лохматыми столбами, ломали остатки стен, рылись в окопах.

«Тятя, тятя, наши сети!» — Лемнер в ужасе скатился в окоп. Воздух твёрдо сотрясался, бил в лоб, в скулы, в уши. Набухали глаза, содрогался желудок. Ужас гнал из окопа, из посёлка, в поля, в пшеницу, где можно упасть и не видеть, как пузырится земля, взлетают кирпичи, и липкое, скользкое, что недавно было жизнью, а теперь стало красными кляксами.

«Тятя, тятя, наши сети» — из Лемнера со рвотой вываливались внутренности. Он лежал на мокром дне окопа, лишь рваной мыслью знал, что кругом гибнут люди, лопаются их кости и сухожилия. Чёрный кот с огненными глазами ходил по посёлку, выбирая смертников. Лемнер, не зная молитв, повторял: «Наши сети! Тятя, тятя!»

Обстрел прекратился. Ещё два-три взрыва, и тишина. Слабо звенело, остывало. В развалинах горело, дымилось, и гарь уносило ветром.

— Командир, живой? Два бэтээра к чертям! Танки целы! О потерях не докладывали!

«Тятя, тятя!» — бормотал Лемнер, благодаря «тятю», что сохранил ему жизнь.

Он сидел, свесив ноги в люк бэтээра, и по рации связывался с командирами отделений:

— «Косой»! «Косой»! Я «Пригожий»! Двухсотых оставь, трёхсотых в тыл! «Лошак» долбаный, за бэтээры ответишь! Я тебя на пальме повешу! «Малюта», разуй глаза! Фланг у тебя голый! Присылаю танк!

Лемнер видел, как формирование «Пушкин» шевелится, приходит в себя, стряхивает мусор. Раненых на бэтээрах увозили на край посёлка, где в палатке санитары бинтовали раны, вкалывали обезболивающее, готовили эвакуацию. Убитых сносили в центр посёлка, клали за кирпичной стенкой, чтобы они избежали повторного попадания.

Вава пережил обстрел в танке, слыша, как щёлкают по броне осколки. Теперь сновал в окопах, подбадривал новобранцев весёлым матом.

Лемнер, сидя на броне, смотрел в поля, рыжие, как волосы проститутки Матильды, и искал в просторах незримую точку, которая стягивала в себя прозрачную синь неба, жёлтую ширь полей. Точка превращалась в сверхплотный сгусток. Этот невидимый сгусток приближался. Его приближение рождало ломоту во лбу. От лесополосы, от золотой бахромы деревьев отделился тёмный ломоть. Выползал на поле. За первым танком появились второй, третий. Выкатили из деревьев один за одним, развернулись во фронт и шли через поле к посёлку. За ними из полосы высыпала пехота, тёмными горошинами катилась за танками.

— Я «Пригожий»! К бою! — скомандовал Лемнер, слыша, как напряглась, натянулась в развалинах незримая жила. Все глаза, все стволы, все лбы обратились в поле, по которому к посёлку шли танки.

— Вава, жги «коробки»! Дай подойти и жги! По-нашему, по-пушкински, Вава!

У танков, у дула пушек, полыхнуло. Два снаряда со свистом вонзились в посёлок, вырвали из земли множество яблонь, и сад повис в небе, опадая яблоками. О броню, на которой сидел Лемнер, разбилось красное яблоко, и он ощутил сквозь гарь медовый запах.

Танки шли к посёлку. Солнце вспыхивало на мокрой броне, гусеницы тонули в жёлтых колосьях. Пехотинцы, два десятка, быстро шли, держа автоматы стволами вниз. Поспевая за танками, начинали бежать. Лемнеру казалось, он чувствует, как стучат их сердца, сипло дышат груди, как воротят они лица от синей танковой гари. В нём поднималась ярость, едкое веселье, стремление

дотянуться до пехотинцев, слепиться с ними в орущий ком, бить, рвать, дырявить пулями, сечь ножом, хватать зубами. Ярость была слепящей, огненной, без мыслей, затмевала поле, туманила танки, бегущую следом пехоту. Его срывало с брони, он готов был бежать навстречу, не дожидаясь, когда танки вломятся в поселок, и по окопам покатится вой рукопашной.

— Вава, по танкам огонь! — прижимал он тангенту к клокочущему горлу. — Жги хохлятских сук!

Тряхнуло землю. Дом, где скрывался танк, содрогнулся. Из окна полыхнуло. В поле, перед идущими танками, поднялся косматый гриб. Его шапка накрыла танк. Танк встал, окружённый копотью. Другие два танка продолжали идти. Пехота обежала застывший танк, устремилась за двумя другими. С танка сдуло копоть, и он тронулся, пошатываясь, словно щупал гусеницами землю.

— Вава, мудило, добей!

Дом приподнялся с фундамента, осел. Снаряд ушёл в поле, отыскал отставший танк. Седой, кудрявый взрыв скрыл машину, а когда гарь снесло, танк горел, башню скривило, пушка смотрела вкось.

Два других танка шли, стреляя. Взрывы искали дом, где прятался Вава. Лемнер ждал, что снаряд пробьёт стену с ковром, расплавит броню и убьёт Ваву.

Дом огрызнулся выстрелом. Второй украинский танк, опередивший пехоту, напоролся на снаряд и вертелся, как собака, когда её ужалит оса.

— Вава, целую тебя! — Лемнер видел, как из люка подбитой машины выпадают танкисты. Уцелевший танк стал разворачиваться, подставляя борт под выстрел. Но Вава промахивался, кудрявил вокруг танка воздух. Танк убегал, выбрасывая за кормой фонтаны земли. Солдаты повернули и убегали за танком. Лемнер жал к кадыку тангенту.

— Я «Пригожий! «Косой»! «Лошак»! «Лютый»! На бэтээры! Догнать хохлатых!

На броню прыгали бойцы, прилипали к стальным ромбам.

— Я «Пригожий»! Вперёд! — командовал Лемнер. Бэтээр узко, длинно выскользнул из посёлка, ринулся в поле. Другие два бэтээра по-змеиному скользнули следом.

Мчались в пшеничном поле. Колосья осыпали бэтээры зерном. Украинский танк ушёл в посадку и удалялся, ломая деревья. Пехота укрылась в зарослях.

— Я «Пригожий»! За мной!

Бэтээры вломились в посадку, ударяли бронёй в стволы. Пулемёты секли вслепую, дырявя деревья. Шёл листопад. На убитых падали жёлтые кленовые звёзды, как посмертные награды.

Из кустов било пламя. Лемнер продирался сквозь чёрный куст с белыми пухлыми ягодами.

— Я — «Пригожий»!

Пролетела граната. Он успел нырнуть за толстое дерево, слышал, как осколки шмякнули в древесную мякоть.

— Я — «Пригожий»!

Впереди из куста встал солдат. Узкие глаза, жёлтое, как у китайца, лицо. Лемнер хлестнул очередью, промахнулся, срезал верхушку куста.

— Я — «Пригожий»!

Рядом сцепились двое, кувыркались, распадались и снова схватывались. Один добивал другого, взмахивал ножом, ударяя в лежащего. Лемнер промчался мимо, не успев разглядеть шеврон на рукаве победителя.

Кругом стучало, хрустело, орало. Падали и поднимались, сталкивались и разбегались, и снова впивались друг в друга.

На Лемнера сквозь кусты шёл пятнистый верзила, переставлял бутсы, стрелял в упор. Лемнеру казалось, что пули в него попадают, но он не чувствовал боли. Автомат в руках верзилы пульсировал огненными лепестками. Лемнер видел, как в крике блестят у верзилы зубы, на небритом лице дико гуляют желваки. Лемнер целил в близкое оскаленное лицо, но автомат молчал. Они набегали один на другого, занося приклады не стреляющих автоматов. Верзила мощью огромных хрустнувших лап ударил прикладом. Лемнер выставил автомат. Удар опрокинул наземь. Лемнер упал, а верзила встал над ним, раздвинув ноги, взмахнул автоматом, готовясь опустить оббитый железом приклад. Последним предсмертным рывком Лемнер выхватил золотой пистолет и выстрелил снизу вверх. Пробил верзиле пах, желудок. Верзила покачался и рухнул. Открылась бледная синь неба с золотой вершиной, из которой тихо сыпались листья. Лемнер обессилел, не мог подняться. Сидел рядом с убитым, глядя на шеврон с трезубцем.

Бой стих. Рычал поблизости подоспевший танк. Вава в танковом шлеме понукал бойцов, заставляя окапываться:

— Рой окоп, чтоб не рыть могилу!

Раненых бинтовали. На бинтах проступала кровь, будто под марлей раздавили красную ягоду. Снесли убитых. Их было трое. Лемнер смотрел в открытые, полные смертных слёз глаза, на пальцы в царапинах. Узнавал тех троих, с кем накануне в ночи вёл разговоры. Ступенко, что боялся получить пулю от русского Петрова. Тот, что нюхал цветок хризантемы, вспоминая, как пахнут подмышки африканок. Тот, что спрашивал о чёрном Боге. Все лежали бок о бок, усыпанные листвой. Лемнер вяло подумал, что это он послал им смерть с чёрным котом. Он прогнал эту мысль. Множество совпадений окружало его, но он был бессилен их объяснить.

— Командир, смотри какой крендель! — Вава толкал автоматом пленного. Тот был косолап, с косматыми бровями, затравленным волчьим взглядом. Из ноздрей сочилась красная слизь. Рукав на пятнистой рубахе был оторван. На

белой мускулистой руке чернела татуировка. Длинная змея несколько раз обвивала руку и у запястья скалила клыкастую пасть.

— Куда его, командир? В тыл или кокнуть?

Пленный топтался, водил глазами, в которых загоралась и гасла злая искра.

— А ну, сними рубаху! — приказал Лемнер. — Снимай, говорю, рубаху!

Вава больно ткнул его автоматом. Пленный стал расстёгивать рубаху от горла к животу. Лемнер следил, как толстые пальцы неохотно толкают пуговицы в петли.

— Шевелись, хохлатый! — торопил Вава.

Пленный стянул рубаху, и обнажилось мускулистое незагорелое тело в тёмных наколках. Кресты, свастики, орлы, мечи, земноводные, пернатые, черепа. Казалось, демонические сущности гнездились в глубинах тела и проступили мрачными пятнами.

— Да с тебя шкуру снять и ковриков наделать! — изумлялся Вава.

Лемнер рассматривал мрачный орнамент, и в нём начинала глухо ныть больная еврейская память. Хотелось спрятаться от крестов, пауков и клювов. Наброситься и соскабливать скребком этот страшный орнамент, сдирая кожу до костей с толсторукого, узколобого пленника. Тот побывал в жутких подземельях и вынес на свет демонические знаки.

Лемнер поднял с земли веточку, подошёл к пленному. Тронул прутиком чёрного, с раскрытыми крыльями, беркута.

— Это кто?

Пленный скосил глаза на грудь, просипел:

— Дух неба.

— А это? — Лемнер ткнул прутиком в черепаху.

— Дух земли.

— А это? — прутик коснулся зубастой рыбы.

— Дух воды.

— А это? — Лемнер веточкой обвёл свастику. Грудь пленного содрогнулась, и свастика ожила. — Это что?

— Дух войны.

— А сам ты кто?

Пленный поднял на Лемнера ненавидящие глаза.

— Я дух.

— Бессмертный?

— Бессмертный.

Лемнер вспомнил ночной сон, бабушку Сару Зиновьевну. Она лежит голая в холодной ванне. Он поддевает под спину бабушки руки. Её худые лопатки вздрагивают. И в ней такая тоска вековечных еврейских страхов, слёз и гонений. Стая чёрных демонов облепила голое тело и летела с этого тела на Лемнера, била, клевала, жалила. Секла мечами, жгла раскалёнными крестами.

Лемнер, заслоняясь локтём от налетающих демонов, поднял золотой пистолет, приставил к узкому, в кожаных складках, лбу пленного и выстрелил. Тяжёлая пуля прошила череп и ударила в дерево. Пленный подогнул колени, присел и свалился на бок. С дерева полетела листва.

— Не дух, а падаль! — пробормотал Вава. Лемнер отошёл, чувствуя страшную пустоту, будто демоны выпили его жизнь.

Ему хотелось унестись из этой безвестной лесной полосы, посаженной заботливыми руками для сбережения урожаев. Теперь среди расщеплённых деревьев солдаты рыли траншеи, лежали носами вверх убитые, голое тело, покрытое крестами, мечами и свастиками, уткнулось лицом в землю. И на голую спину с перепончатым драконом упало несколько жёлтых листьев.

Лемнер искал, где бы прилечь, но истошный голос Вавы возопил:

— Танки! К бою!

Танки шли через поле от соседней полосы, выползая из деревьев. Один, другой, четвёртый, шестой. Шесть танков чернели на рыжем поле. За ними змеились транспортёры с бугорками пехоты.

— Вава, где «коробка»? — Лемнер смотрел на тупое приближение танков. Это были демоны, слетевшие с мёртвого тела. Лемнер, застрелив пленника, спугнул их стаю. Они сорвались с мёртвой кожи и летели на Лемнера. От них не укрыться. Они преследовали его мать и отца, тихих московских евреев. Преследовали бабушку Сару Зиновьевну, пережившую ужас гонений. Преследовали все колена, укрывшиеся среди других народов и не узнавших от них тепла. Теперь они углядели его, и от них нет спасенья.

Паника Лемнера была велика, отчаянье нестерпимо. Мутный волдырь набухал во лбу, пучил глаза. Лемнер выхватил золотой пистолет, вырвался из кустов на поле, помчался в колосьях, воздев пистолет, подобно легендарному комиссару, подымавшему роту в атаку.

— Я — «Пригожий»! — он бежал навстречу танкам.

Чёрный разрыв затмил небо. Лемнер исчез.

Очнулся от тряски. Он трясся на сгорбленной спине. Спина была Вавы. Лемнер висел на Ваве, обняв его плечи. Вава держал его запястья, встряхивал поясницей. Лемнер подскакивал, и Вава бежал. Кругом горело. Была ночь, горело хлебное поле. Они бежали среди горящей пшеницы. Лемнер видел рыжие космы огня, падающие колосья, слышал запах горелого хлеба. Он опять исчезал и перед тем, как исчезнуть, косноязычно простонал:

— Вава, меня не бросай!

Очнулся на холодной земле. Была ночь, небо едва светилось. Вава лежал рядом и сипло дышал. Близко темнела громада танка. Лемнер различал башню, съехавшую набок пушку. Не знал, чей танк, свой, чужой? Слышал запах окалины. Моргнуло и посветлело. В небе зажглась осветительная бомба, жёлтая, как дыня. Слабо покачивалась, озаряла танковые катки, отвалившуюся гусеницу и убитых

танкистов. Самый ближний лежал лицом вверх. Бомба освещала жёлтое, с чёрным ртом, лицо. От носа на щёку падала острая тень. Бомба померкла, погасла. Лица танкистов исчезли. Лемнер успел промычать:

— Вава, не бросай! — и канул.

Он снова очнулся на спине у Вавы. Ноги его волоклись по земле. Вава хрипел, останавливался, бормотал, чертыхался.

— Вава, не бросай!

Лемнеру казалось, за ними стремится погоня. Его настигает голый по пояс пленник с крестами и свастиками. Бежит чернолицый африканец в малиновом берете, играя белками. Скачет президент Блумбо, требуя назад золотой пистолет. Французский геолог ударяет в землю голыми пятками. Чук и Гек, все в земле, прыгают огромными скачками, как кенгуру. Африканка Франсуаза Гонкур летит, не касаясь земли. Проститутка Алла развевает шёлковое платье. Все стремятся его настичь, тянут руки, и он лепечет:

— Вава, не бросай!

Погоня отстала. Лишь в чёрных полях семенил младенец на крохотных ножках.

— Вава, не бросай, умоляю!

Лемнер очнулся от холода. Кругом текла ночная вода. Они перебредали реку. Вава останавливался среди потока. Лемнеру казалось, что Вава хочет сбросить его. Далеко по реке, среди тёмных вод, светилось, переливалось, мерцало, как новогодняя ёлка. Лемнер знал, что там находится рай. Мама вешает на ветку серебряный шар. Папа сажает на вершину стеклянное самоцветное остриё. Лемнер тянулся к мерцанию, хотел попасть в рай.

— Вава, оставь меня здесь!

Он очнулся один, на земле. Над ним было огромное звёздное небо. Щёки, губы, лоб чувствовали холод звёзд. Огромным жемчужным мазком сиял Млечный путь. Между Лемнером и Млечным путём не было ничего, что их разделяло. Лемнер был наедине с Русской историей. Млечный путь был Русской историей.

Беспамятство Лемнера прерывалось мгновениями мутных пробуждений, и тогда ему казалось, он слышит свист вертолётных винтов, видит бородатое лицо в белой шапочке, флакон капельницы с мерцающей каплей солнца.

Ему являлся рай, далёкий, мерцающий, среди тёмных вод. Он стремился в рай, благодарный Ваве, что тот его отпустил. Он плыл по тёмным водам, приближаясь к раю, уповая на близкое блаженство, на прекращение мук, на чудесное избавление. Рай был близок, плыть становилось легче. Но неизвестные руки хватали его ногу, тянули обратно, против течения, и рай удалялся.

Лемнер очнулся в белой палате. Огромное окно было белым, шёл снег. Над ним склонилась Лана, её чудесное средиземноморские лицо, пунцовый рот. Прохладная рука у него на лбу.

— Я в раю? — прошептал Лемнер, радуясь волшебной белизне, из которой возникла Лана.

— Ты умирал, уходил, удалялся. Но я хватала тебя за ногу и не пускала. Врачи начинали над тобой хлопотать, ставили капельницы. Но ты уходил, и я хватала тебя за ногу и не пускала.

— Ты колдовала, ворожила? Они гнались за мной, хотели меня растерзать!

— Тебе оставалось жить несколько минут. Я отняла от моей жизни половину и отдала тебе. Ты не умер. Теперь мы будем жить и умрём в одночасье.

— Любовь моя, — он чувствовал у себя на губах её дивные пальцы и целовал. Она разделась, легла в его больничную кровать, прижалась всем своим длинным телом, ногами, плечами, бёдрами. Выплеснула ему на грудь свои груди. Лежали, и он чувствовал, как переливается в него её жизнь. Дремал, блаженно улыбался.

Глава двадцать вторая

Исцелённый, с запекшейся раной на голове, Лемнер вернулся в Москву героем. О нём писали, о нём говорили, его имя звенело в военных сводках. Именитый художник Шилов выставил в Манеже картину, где Лемнер с золотым пистолетом бежит на вражеские танки. Картина называлась «Золотой пистолет». Литератор Войский сочинил поэму «Лемнер». Там были строки: «И пусть промчатся сотни лет, истают в медленной реке. Твой златокрылый пистолет сияет в поднятой руке». Певица Вика Цыганова распевала: «Красавчик Лемнер, улыбнитесь. Я вас люблю, мой храбрый витязь!» Вышел президентский указ о награждении Лемнера Михаила Соломоновича орденом Мужества. Лемнер сбросил опостылевший камуфляж, обрядился в безупречный костюм, белоснежную шёлковую рубаху, повязал итальянский лазурный галстук и отправился в Кремль получать награду из рук Президента Леонида Леонидовича Троевидова.

Награждение проходило в Георгиевском зале Кремля. Лемнера восхищало царственное великолепие зала. Беломраморные плиты с золотыми письменами, где значились полки, батареи, флотские экипажи, послужившие Отечеству. Письмена волновали Лемнера. Он представлял, как среди прославленных имён появится имя его героического формирования «Пушкин». Хрустальные люстры сверкали, как солнца. Лемнер, сжимая веки, превращал люстры в волшебные радужные светила. Спасаясь от погони, на чёрной реке он видел далекое волшебное сверкание. Теперь он понял, что мерцали эти дивные люстры, светились золотые письмена. Он хотел доплыть до них по чёрным водам, но они угасали. Во время бреда люстры снова явились, как огромные бриллианты. То был образ рая. Он хотел оказаться в райском сверкании, но его схватили за ногу и не пускали. Теперь царственная красота окружала его. У резных золочёных дверей стояли два гвардейца в киверах, красных мундирах и серебряных аксельбантах. Они распахнут двери, и в золотом сиянии появится Президент России Леонид Леонидович Троевидов. Поглядывая на заветную дверь, расхаживали приглашённые на церемонию именитые персоны. Виднелись телекамеры.

Лемнер, ступив на дворцовый пол, собранный из драгоценных пород, увидел Анатолия Ефремовича Чулаки. Рядом теснились апостолы вероучения России Мнимой. Вице-премьер Аполинарьев, ректор Высшей школы экономики Лео, публицист Формер и театральный режиссёр Серебряковский.

В стороне, не приближаясь к Чулаки, окружённый генералами, министрами, сенаторами, стоял Антон Ярославович Светлов. Светоч, разговаривая с сенатором, сверкнул на Лемнера хрустальным глазом.

Поодаль от Чулаки и Светоча находился Иван Артакович Сюрлёнис. На этот раз он сменил пёстрый туалет попугая на чопорный чёрный костюм.

Все приветствовали Лемнера, поздравляли с наградой, славили его героизм. Президент Леонид Леонидович Троевидов по обыкновению запаздывал. Эту особенность объясняли тем, что Президент вёл исчисление по лунному календарю, переводил часы только в полнолуние.

К Лемнеру подлетела дама-депутат. Косметика и пластическая хирургия превратили её лицо в картофельный клубень с едва заметными глазками и присоской ротика:

— Ах, как мы восхищаемся вами! Не перевелись на Руси героические мужчины. У меня родился внучек, и как мы его назвали? Михаил! Архистратиг! Небесный воин! — дама улетела, чмокнув воздух маленьким ротиком.

Подошёл известный музыкант, тряхнул душистой гривой:

— Боже, как вы один с пистолетом кинулись на армаду танков! Как бы мне хотелось попасть на фронт, услышать музыку войны! Если позовут, я отложу смычок и возьму автомат!

Щёлкали камеры, крутились репортёры. Лемнер, то и дело отвлекаемый журналистами, плавными кругами подплывал к Чулаки. Чуткие ноздри Лемнера уловили запах горелой пластмассы. Лемнер стал оглядываться, не случился ли пожар. Пожара не было, сияло золото, сверкали хрустали, светился жёлтый галстук Чулаки.

Лемнера обступили апостолы вероучения России Мнимой. Каждый подал тайный знак, легонько боднул воздух. Лемнер, член тайного общества, ответил тем же.

— Брат Лемнер, должен вам сообщить. Известный драматург пишет для моего театра пьесу о золотом пистолете, — режиссёр Серебряковский стряхнул с пиджака Лемнера несуществующую пылинку. — Пистолет был отлит из золота Соломонова храма. Еврейский мальчик прокрался в сектор Газа и сразил из этого пистолета главного террориста «Хамаса». Хочу, чтобы вы играли роль мальчика, брат Лемнер.

— Но я не совсем мальчик, — заметил Лемнер.

— Но и не девочка, не правда ли? — и ещё одна несуществующая пылинка исчезла с пиджака Лемнера.

Публицист Формер отдал Лемнеру честь двумя пальцами, как это делают солдаты Иностранного легиона.

— Ваши поступки, брат Лемнер, напоминают действия евреев в Шестидневной войне. То же безрассудство и та же воля к победе!

— Моше Даян служил мне примером, — скромно потупился Лемнер.

Вице-премьер Аполинарьев хотел обнять Лемнера, но его пиджак расстегнулся. Дюжина собачек корги высыпалась на пол. Цокая коготками, собачки стала бегать по залу, рвали дамам платья, мочились на хромовые сапоги

гвардейцев. Те, в киверах и аксельбантах, оставили пост у золочёных дверей и гонялись за корги. Возвращали собачек Аполинарьеву, тот засовывал злобных зверьков под пиджак, а те противились и кусались.

Чулаки дождался, когда уляжется поднятая собачками суета, и обратился к Лемнеру:

— Брат Лемнер, вы блестяще реализуете план «Очищение Солнцепёком», — Чулаки ждал, когда Лемнер кивнёт, благодарный за похвалу. — Вы, брат Лемнер, несомненный герой, любимец русского народа. В окровавленных бинтах, вы на себе изведали ужасы войны, — Чулаки награждал Лемнера похвалой, полагая, что для Лемнера его похвала дороже награды Президента. — Вы герой и одновременно жертва войны. Вы назовёте Президента Троевидова кровопийцей, — Чулаки посмотрел на золочёную дверь, за которой стоял готовый к выходу Президент. — Народ услышит вас, выйдет на площадь, потребует закончить войну, — голос Чулаки стал требовательным. Это был ультиматум. Тысячи, заполонившие площадь, внимали трибуну. — Троевидов, держиморда и палач, пошлёт формирование «Пушкин» подавить демонстрацию. Будет кровь, баррикады, выстрелы, народные мученики, — Чулаки был теоретик народных восстаний. Он знал, как запалить восстание, как подбрасывать топливо, чтобы оно не погасло. Этим топливом станут разбросанные по улицам трупы, погребение мучеников, ненависть и ярость народных вождей. — Вы, брат Лемнер, приведёте войска на площадь и соединитесь с народом. Народ побратается с армией и свергнет палача Троевидова. Вас поддержит Европа. Я встречался с потомками старых европейских династий и венецианских родов. Вы им близки. В вас течёт кровь Рюриковичей и Романовых, — Чулаки был повелитель. За ним таилась громадная англосаксонская мощь. Аналитические центры, разведки, авианосцы, социальные сети, маги и колдуны. Лемнеру казалось, от его властных слов меркнут люстры, тускнеют золотые надписи. У Лемнера начинался озноб. — Близок день Великого Перехода. Россия станет долгожданной Европой. Мы устроим грандиозные торжества. Разрушим памятник Александру Третьему с его «традиционными ценностями» и еврейскими погромами. Распустим столь любезные царю армию и флот, этих вечных «друзей» России. Пусть уж лучше гей-парады и рок-фестивали, чем казармы и танковые биатлоны. Мы торжественно преподнесём народу России коллекцию европейских шедевров. Ту, что вы, брат Лемнер, спасли от Троевидова, желавшего заполучить картины в личное собрание. — Чулаки был победитель. Поглядывал издалека на Светоча мстительно и торжествующе. — Президента Троевидова и Светоча, этого одноглазого циклопа, стража «традиционных ценностей», мы отдадим на съедение собачкам корги. Брат Аполинарьев не будет кормить их неделю. Ведь, кажется, так поступил президент Мкомбо, не без вашего участия? — Чулаки вдруг захохотал, и так грозно, что у дамы-депутата разошёлся на лице шов, и

вылезла голубоватая плоть. — Поздравляю с правительственной наградой, брат Лемнер! — Чулаки легонько боднул воздух, и Лемнер ответил тем же.

Он становился участником громадных событий, меняющих ход истории. Их творцом и вершителем. Он больше не был бессловесным слугой. К нему протянулись гремучие струны заговора. Он был волен сыграть на них «музыку золотого пистолета».

— Сейчас вы получите награду от Президента, — Чулаки поглаживал жёлтый галстук. Его цвет тревожил Лемнера, напоминал о жёлтом попугае. — Не обольщайтесь. Это будет не Президент, а двойник. Вы заметите у него на горле легкий мазок крема. Микро-модулятор звука. Наделяет двойника голосом Президента. За ушами разглядите шрамы пластической операции. Настоящий Президент Троевидов не показывается на людях. Быть может, Светоч его умертвил.

— Благодаря вам, брат Чулаки, я знаю, как вести себя с двойниками Президента, — Лемнер поклонился и отошёл.

Волны поздравлений, приветствий перенесли Лемнера в другой конец зала. Оттуда жалил его лазерный луч Светоча. На Светоче был строгий чёрный костюм и красный галстук. Цвет галстука напомнил Лемнеру красного попугая. От воспоминания заныла рана на голове.

— Ну, что ж, господин Лемнер, вы заслужили орден, — Светоч благосклонно смотрел на Лемнера здоровым глазом. Хрустальный глаз скользил по золотым начертаниям, и они горели. — Мы с Президентом Троевидовым наблюдали, как вы сражаетесь. Спутник с чувствительной оптикой передавал изображения ваших подвигов. Президент приглашал меня в свой кабинет, мы пили Шабли, любимое вино Президента, и наблюдали за вами.

— Значит, в армии есть спутники, не уступающие Илону Маску? — Лемнер почувствовал себя голым. Хрустальный глаз Светоча жёг его. Одежда не скрывала наготу. Тело покрывалось татуировкой, которую он сможет рассмотреть дома перед зеркалом.

— Космическая оптика в сочетании с хрустальным глазом делает меня ясновидящим, — Светоч усмехнулся, но хрусталь в глазнице грозно сверкнул. — Вы приближались к линии фронта и задержались у растерзанных украинских трупов. Вы были слишком чувствительны, но заставили себя смотреть на изуродованных мертвецов. Повстречали раненого комбата. Вам стало страшно идти в посёлок, где был разгромлен батальон. Но вы подавили страх. Ночью вы сидели в окопах и задушевно говорили с солдатами. Это была отеческая забота командира о подчиненных, но она не спасла их жизни. К вам в беседку явился кот, и вы приняли его за свою смерть. Это и была ваша смерть, но вы уступили её вашим солдатам. Так поступают все полководцы. Вы загнали танк в дом, и вам было жаль хрустальной люстры, детских кубиков, ковра на стене. Но вы превозмогли жалость, разрушив дом, спасли танк, ваше оружие. Вы стреляли из

пулемёта по беспилотнику. Негоже поддаваться необдуманному азарту. Во время обстрела вы проявили минутное малодушие и хотели покинуть позицию. Но когда появились украинские танки, вы бесстрашно вступили в бой. В лесополосе вы участвовали в рукопашной наравне со своими бойцами. Это в традиции русских офицеров. Вы пристрелили фашиста из батальона «Азов», и ваша бабушка Сара Зиновьевна может вами гордиться. Когда началось наступление украинских танков, и ваше подразделение охватила паника, вы поступили, как герой. Кинулись на танки с золотым пистолетом. Вас выносил из боя друг, кругом горели хлеба, вы тонули в реке. Мы с Президентом волновались за вас. Президент позвонил Патриарху, и тот велел всем монастырям молиться о вашем избавлении. И вы спаслись. Президент сказал: «Вот тот, кого мы искали. Он возглавит армию. Армия пойдёт за ним и победит»! — Светоч говорил холодно. Острый луч жалил Лемнера сквозь одежду. Казалось, Светоч лазерным жалом рисует на его теле батальные сцены.

— Мне лестно, что мой скромный вклад так высоко оценён Леонидом Леонидовичем, — Лемнер ждал, что вслед за этим вступлением последует грозное продолжение. — Я безгранично предан Президенту. По его приказу русская армия дойдет до Киева, Варшавы, Парижа, Лондона. Русский солдат и русский Президент — неодолимая сила! — Лемнер присягал на верность Президенту, но тут же спохватился: — Когда у Президента такие блистательные помощники, как вы, Антон Ростиславович.

— Вы будете командовать армейской группировкой, — Светоч казался равнодушным к лести. — У вас будут танки, транспортёры, ракетные системы, армейская авиация, космическая разведка. Вам надлежит переломить ситуацию на фронте. Но прежде вы разгромите внутреннего врага. В этом видит ваше предназначение Президент Леонид Леонидович Троевидов.

— Кто этот внутренний враг? — Лемнер знал, кого Светоч считает врагом, но лукавил, выведывал замысел придворного стратега. — Неужели у нашего Президента, несомненного лидера России, есть внутренний враг?

— Вы только что с ним беседовали. И весьма любезно, — Светоч через весь зал навёл искусственный глаз на Чулаки. Глаз вращался в глазнице. Вращением управляла система наведения, вероятно, космическая. Чулаки попал в прицел и вздрогнул. Искал причину ожога. Но Светоч отвёл глаз. Луч скользил по мраморной плите, где славилась батарея Семёновского полка, и золотая надпись горела. — Нужно вырвать клык, который Европа вонзила в русское тело. Чулаки и его извращенцы — клыки, рвущие русское горло. Вам надлежит вырвать клыки. Я бы мог арестовать их немедленно, но не хочу омрачать торжество вашего награждения.

Лемнер всё глубже погружался в заговор, до конца не понимая, в какой. Заговор, в который он погружался, состоял из трёх заговоров, а те ещё из трёх. Была анфилада заговоров. Заговоры множились, плодились, как лесные грибы.

Одни возникали на глазах, как после дождя. Другие проступали медленно, неохотно, созревая на глубоких грибницах. Третьи приходили из прошлого, засеянного дремлющими спорами. Заговоры сражались друг с другом, сливались, распадались на множество микроскопических заговоров. Вся русская история была засеяна заговорами. Лемнер был заговорщик, с помощью заговоров управлял русской историей.

— Но в чём вина Чулаки и его приспешников? — Лемнер боялся, что Светочу известны его тайные встречи с Чулаки, членство в ордене России Мнимой. — Мне казалось, что Чулаки, невзирая на некоторые странности, полезен России.

Изуродованное лицо Светоча закипело. Ожоги пузырились, надрезы сочились кровью. Застывшая лава расплавилась и превращалась в жижу. Лицо начинало сползать, и Лемнер боялся, что покажется костяная челюсть со вставными зубами.

— Чулаки — резидент американской разведки. Управляет сетью, заложенной им в министерствах, в Администрации Президента, в университетской и культурной среде. Он извещает врага о наших стратегических планах. Ректор Высшей школы экономики Лео — агент английской разведки. Передает англичанам чертежи наших подводных лодок. Публицист Формер — агент французской разведки, сообщает врагу расположение секретных резиденций Президента. Режиссёр Серебряковский — агент итальянской разведки, использует магическую эстетику итальянского театра дель арте, чтобы вербовать именитых персон, посещающих его спектакль. Театралы среди генералов, ядерных физиков, вирусологов стали работать на итальянскую разведку. Вице-премьер Аполинарьев — украинский агент, тормозит производство беспилотников, поставляет некачественную сталь для бронежилетов. Все они будут уничтожены.

— Но зачем откладывать? Не бойтесь омрачить моё торжество. Для меня высшим торжеством будет уничтожение врагов Президента!

— Не станем торопиться, — кипящее лицо Светоча стало остывать. Съехавшие части вернулись на место. — Очень скоро Чулаки себя обнаружит. Выведет на улицы толпу, затеет погромы, пойдёт на Кремль. Вы поднимете формирование «Пушкин» и их разгромите. Мы арестуем агентов и устроим народный суд. На открытых процессах они сознаются в преступлениях. Мы покажем народу плёнки, которые вы добыли. Народ ужаснётся. Потребует казнить извращенцев, убийц и изменников.

— Так вот о чём вы думали, Антон Ростиславович, когда давали мне щекотливые поручения! Восхищаюсь вашей прозорливости!

— Мы очистим Россию от западной нечисти, — Светоч повернул в глазнице кристалл. Нацелил на Ивана Артаковича. Тот смешил даму-депутата, похожую на картофельный клубень. Она вставала на цыпочки, желая дотянуться

до щеки Ивана Артаковича похожим на присоску ротиком. — Всю, всю нечисть! — повторил Светоч, включая в число нечистых даму-депутата. — Мы совершим «Очищение топором». И тогда Президент Троевидов начнёт претворять свой великий проект «Россия Дивная»!

В Георгиевском зал вдруг стало светлее. В глазнице Светоча сиял бриллиант.

В своём кружении по Георгиевскому залу, принимая поздравления генералов, дипломатов, министров, Лемнер причалил к Ивану Артаковичу Сюрлёнису. Тот отпустил хохочущую даму-депутата и обнял Лемнера. Его порыв был искренний и сердечный. Но возникло чувство опасности. На Иване Артаковиче был синий галстук, того же цвета, что и попугай. Иван Артакович был опаснее Чулаки и Светоча. От него веяло тухлым сквознячком старинных подземелий со множеством прикованных к стенам скелетов.

— Вы герой, мой друг, истинный герой! Андрей Болконский наших дней! Я сделал всё, чтобы ваш подвиг стал известен народу. Предложил художнику Шилову запечатлеть ваш бросок на танк с золотым пистолетом. Подсказал литератору Войскому сюжет поэмы «Лемнер». И даже несколько строк: «Пускай промчатся сотни лет, истают в медленной реке. Твой златокрылый пистолет сияет в поднятой руке». А певица Вика Цыганова поёт песню на мои слова: «Красавчик Лемнер, улыбнитесь. Я вас люблю, мой храбрый витязь!»

— Неужели всё это вы, Иван Артакович? — благодарил Лемнер, слыша дуновение тухлого сквознячка. — Мне казалось, вы испытываете ко мне неприязнь.

— Только казалось, мой друг, только казалось. Я угадал в вас человека небесной судьбы, избранника. Мои предчувствия подтвердились. Вы явились с войны героем, как Александр Невский после Ледового побоища. Вы пролили кровь за Россию. Вы гордость нации. На вашем примере будут воспитывать молодёжь. Но, мой друг, одно дело открытый бой на фронте, другое дело незримые придворные схватки. В них решается судьба государства.

— Я далёк от лабиринтов российской власти, — Лемнер рассматривал синий шёлк галстука, той же лазури, что и оперение волшебной птицы.

— Вы, мой друг, уже погрузились в лабиринты российской власти. В этих лабиринтах вам нужен поводырь.

— Ах, если бы вы, Иван Артакович, согласились быть для меня путеводной звездой!

— Что ж, если вы доверяете моему скромном опыту, я готов указывать на подстерегающие вас опасности. А они уже обступили вас.

— Что мне грозит?

— Мне думается, Анатолий Ефремович Чулаки посвятил вас, хотя бы отчасти, в свой заговор.

— Ничего не знаю!

— Ну хорошо, хорошо, я вам верю. Наши «европейцы» готовят заговор, чтобы срезать носителей «Русской идеи». Сменить Президента Троевидова на Президента Чулаки. Вернуть Россию на «европейский путь». Роли распределены. Режиссёр Серебряковский ставит в театр пьесу «Голова императора». В пьесе иносказательно говорится о Светоче, который умертвил Президента Троевидова и захватил власть. В финальной сцене возникает огромная колба. В ней плавает труп императора, похожего на Президента Троевидова. Зрители театра прозревают, направляются в Кремль, требуют показать Президента. К ним выходит Президент, но все видят, что это двойник. Народ бунтует. На Тверской проходит «шествие гробов». Всех умерших в московских моргах кладут в гробы, накрывают государственными флагами и выдают за жертв войны. Матери жгут военкоматы. Студенты, подлежащие мобилизации, выходят на улицу и кидают «коктейли Молотова». Москва охвачена беспорядками. Светоч обращается к вам. Вы своими войсками подавляете мятеж, уничтожаете «европейцев», и Светоч становится хозяином России. Вас же, сыгравшего свою роль, убирают. Страна забывает о золотом пистолете!

Иван Артакович рассказывал всё это весело, схватив руку Лемнера длинными птичьими пальцами. Для Ивана Артаковича не было тайн. Мир для него был прозрачен. Лемнер пугался прозрачности мира. В этом мире не было тайн. Все тайное немедленно становилось для Ивана Артаковича явью.

— Но если я не приду на помощь Чулаки? Если заключу союз со Светочем?

— Мне известно, что Антон Ростиславович заказал шесть железных шкафов и шесть стеклянных сосудов. Пять из них для Чулаки, Формера, Серебряковского, Лео и Аполинарьева. Они пополнят коллекцию заспиртованных врагов. А шестой шкаф и шестой флакон для кого?

— Для кого? — Лемнер гнал прочь догадку.

— Для вас, мой друг! Для вас!

Лемнер представил кабинет Светоча с мятым золотом куполов. Железный шкаф. Светоч подзывает посетителя к шкафу, раскрываются железные дверцы. Сквозь толстое стекло флакона, в желтоватом формалине стоит он, Лемнер, голый, растопырив пальцы, хранящие предсмертную судорогу. Тело покрылось жёлтыми трупными складками.

— Что же мне делать? — умоляюще воскликнул Лемнер.

— Будем вместе. Сначала мы разгромим «европейцев» и позволим Светочу их заспиртовать. А потом заспиртуем Светоча.

— Нам это удастся?

— Очень скоро, любезный Михаил Соломонович, у России будет другой Президент, и если на то ваша воля, этим Президентом стану я. На время. В ваших венах течет кровь Романовых. России нужен монарх. Не правда ли, ваше

величество? — Иван Артакович нагнул голову, поклонившись монарху. Сам же тихо, счастливо смеялся.

К ним подошёл музыкант с душистой гривой.

— А как ваши перволюди, Иван Артакович? Как Россия Райская? — музыкант был наслышан о тайном проекте Президента.

— Представляете, — Иван Артакович схватился за голову. — Ксения Сверчок родила негритенка!

Музыкант тряс наполненной ароматами гривой.

Пышный, восторженный, как упавший с небес, голос возвестил:

— Президент Российской Федерации Леонид Леонидович Троевидов!

Словно пахнуло ветром. Как клонятся колосья в поле, так все обратились к золочёным дверям. Гвардейцы балетными жестами распахнули резные створки. Из золота, озарённый небесами, появился Президент Леонид Леонидович Троевидов.

Лемнер был поражён. Небесный глас, райские золотые врата, дивное явление богоподобного повелителя — всё было во имя него, Лемнера, ему одному посвящалось.

Президент ступал царственно, почти не касаясь земли. Так появлялись в дворцовых залах цари, принимая поклонение подданных. Все, кто был в Георгиевском зале, расступились, открывая пустое пространство между Лемнером и Президентом. Президент шёл прямо к Лемнеру. Казалось удивительным его сходство с императором Александром Первым. То же мягкое, полное лицо с милостивой улыбкой. Белокурые, словно у девушки, волосы. Кудрявые бакенбарды. Голубые, как апрельская вода, глаза. На нём был тёмный костюм, строгий галстук, но Лемнеру казалось, что на Президенте голубой кавалергардский мундир с орденами и серебряными эполетами. Президент шёл прямо к Лемнеру. От него исходила царственность, побуждавшая не страшиться, а любить. Властная сила, заставлявшая не трепетать, а поклоняться. И Лемнер любил, поклонялся. Президент вышел из золотых ворот к Лемнеру, нёс награду. Его награждала сама Россия, Русская история заносила его имя золотыми письменами на беломраморные доски рядом с именами великих русских героев.

— Здравствуйте, Михаил Соломонович, — Президент протянул Лемнеру руку, и тот, пожимая, почувствовал волнующую силу пожатия, благодатное тепло, пролившееся из этой царственной руки. — Я видел ваш порыв, когда вы бросились на танки с золотым пистолетом. Это напоминало русский эпос. Битву Пересвета с Челубеем. Багратиона на Бородинском поле. Советского комиссара в Сталинграде. В вас вековечный русский дух, что делает русский народ победителем.

Похвала из уст Президента вызвала близкие слёзы. Лемнер любил Президента, задыхался от любви.

— Я русский! Самый русский из русских! Как святой князь Дмитрий Донской! Как святой Александр Невский!

— И как Суворов, Кутузов и Жуков. Россия богата славными полководцами. Не сомневаюсь, вы станете одним из них.

— Я оправдаю доверие, Леонид Леонидович! Счастье служить вам! — он едва не сказал «ваше величество», но спохватился и произнёс: — Честь служить вам, Леонид Леонидович!

— Вы послужили Отечеству на поле брани. Послужите на мирной ниве. Россия накануне великих перемен. Мы начинаем проект «Россия Дивная». Мне нужны верные помощники. Вы один из них. Всё возвышенное, ненаглядное нуждается в защите. Вы защитите проект от врагов, мечтающих посеять в России смуту. Толкнуть её от Величия к великим потрясениям. В надежде на это я прикрепляю к вашей мужественной груди орден Мужества!

Президент, не оглядываясь, чуть отвёл руку, и проворный служитель положил на президентскую ладонь орден, крест из тёмного серебра. Казалось, он упал на ладонь с неба. Президент пронёс ладонь по воздуху и прижал к груди Лемнера. Лемнер почувствовал, как горячая волна хлынула в сердце. Президент убрал руку. Крест остался на груди, словно проступил из глубин его души. Один крест из серебра светился на тёмном пиджаке, другой пламенел в сердце.

Взыграли фанфары. Кругом рукоплескали. Служители в белых сюртуках и перчатках несли на подносах шампанское. В бокалах отражались люстры и золотые письмена. Лемнер поднял узкий, полный золота и бриллиантов бокал. Президент поднял свой. Они чокнулись с тихим звоном. Лемнер знал, что этот дивный звон он пронесёт через всю свою жизнь. Он благоговейно следил, как губы Президента коснулись бокала, и он пьёт из бокала, полного золота и бриллиантов.

Возвращая бокал на поднос служителя, Президент наклонился, и Лемнер увидел у него на шее небольшой, телесного цвета, мазок. Его скрывал высокий ворот рубахи. Теперь, во время наклона, мазок обнаружился. Лемнер беззвучно ахнул. Это был модулятор звука, сообщавший голосу двойника интонации и тембр Президента. Голова Президента склонилась, и Лемнер разглядел за ухом маленький розовый шрам, оставленный скальпелем. Перед ним был двойник. Величие, исходившее от двойника, было фальшивым. Обожание, которое испытал Лемнер к кумиру, было фальшивым. Награда на груди была фальшивым жетоном. Пылавший в сердце крест остыл, превратился в тромб. Сердце остановилось, кровь в венах стала сворачиваться. Лемнер испытал ужас. А когда сердце колыхнулось и снова забилось, почувствовал ненависть. Стал искать на лбу двойника место, куда всадил пулю другому двойнику.

Лемнер раскланивался, принимал поздравления, позировал перед камерами. Смотрел, как царственно, походкой императора, удаляется двойник, пропадая в золочёных дверях.

Глава двадцать третья

Лемнер был уловлен. Был африканской перламутровой бабочкой, попавшей в липкую паутину. В Африке к бабочке подбирался один чёрный паук. Теперь же три чёрных паука оплели паутиной Лемнера. Три паука, три попугая, три ветра, три воды, три стрелы, три пули. Лемнер был уловлен в бесчисленные треугольники. Они накладывались один на другой, вращались, образуя кабалистические звёзды. Пятиконечная, шестиконечная, восьмиконечная, и в каждой звезде был Лемнер. От него исходили лучи. Он был воздет на кремлёвскую башню и сиял рубином. Был на флаге государства Израиль и грозил Палестине. Был на православной иконе над ликом Богородицы.

Но он не хотел быть звездой, желал вырваться из колдовских треугольников. Нуждался в волшебных заклинаниях, что вырвут его из магических треугольников. Он нуждался в Лане.

Но Ланы не было. Не было в Георгиевском зале при награждении. Её телефон не откликался. Лемнер не знал её адрес, они всегда встречались у него дома.

Он пугался. Болезнь, несчастный случай? Они были неразлучны, а если расставались ненадолго, то перезванивались, Лемнер всегда знал, где её искать, и если час или два не видел её, набирал номер. Но теперь телефон молчал. Являлись ужасные подозрения. Она бросила его. Он ей наскучил. Он оказался мелким честолюбцем, возмечтал о Величии, которого не достоин. Она позабавилась с ним и бросила, как надоевшую куклу. Всё, на что он годится, — это муштровать проституток или охранять магазины и склады воров. Величие не про него. Не он мчался на бэтээре за стадом антилоп, вдыхая запах их жарких тел. Не он врывался в золотые ворота дворца, проносясь мимо фиолетового дерева. Не он целил из пистолета в лоб президента Блумбо. Не он закапывал вниз головой француза из Гавра, и на его голых пятках были жёлтые мозоли. Не он стрелял из пулемёта по беспилотнику, похожему на летающую рыбу. Не он, прижимая к горлу тангенту, управлял орудием, поражавшим украинские танки. Не он в лесопосадке схватился в рукопашной, продырявил верзилу с трезубцем на рукаве. Не он застрелил пятнистого, в змеях, орлах, черепахах, солдата в память о бабушке Саре Зиновьевне. Не он горел в полях пшеницы, и перед ним летели рыжие волосы проститутки Матильды. Не он плыл по чёрным водам, и вдали таинственно и волшебно мерцало, и он стремился в это неземное мерцание, но его не пускали, и он рвался прочь из этого мира, в котором бежала лёгкая, как антилопа, Франсуаза Гонкур и падала на деревянный настил веранды, и летели фламинго, и у танка лежал убитый танкист, и над ним висела жёлтая, как дыня, осветительная бомба, на запястье танкиста виднелись часы, и

он хотел узнать час своей смерти, но бомба погасла, часы исчезли, и он не узнал час своей смерти.

Лемнер кружил по зимней Москве. Ему казалось, он встретит Лану в местах, где они были вместе. У Дома приёмов сквозь чугунную решетку он смотрел на заснеженный двор, на чёрные деревья, где летом в листве горели изумрудные фонари, трепетали белые бабочки, и Лана в алом платье гадала ему по руке. Он посетил особняк в Палашёвском переулке. Оттуда Лана провожала его в африканский поход, зачерпнула из фонтана воду и пролила ему на голову. Он посетил Ново-Спасский монастырь с золотыми, занесёнными снегом куполами. В усыпальнице Романовых был слышен глухой колокол, и Лемнер вспоминал запах её горьких духов.

Он тосковал безмерно. Страдали губы, помнящие нежность её плеч. Страдали пальцы, касавшиеся её бровей и дрожащих ресниц. Страдали глаза, в которых вдруг чёрной синевой вспыхивали её волосы. Страдали уши, в которых звучал её шепот.

Он посещал рестораны, куда они забредали, и она кружила ему голову предсказаниями, а он сладко пьянел, его охватывало чудесное безволие, и он танцевал с ней с закрытыми глазами.

Желая воскресить драгоценные воспоминания, он зашёл в ресторан на вершине башни, что у Смоленской. Все так же сверкал мелко нарубленный лёд. В нём стыли мидии, усатые, из костяных пластин, омары. В аквариумах открывали рты рыбы тёплых морей. Официант вычерпывал сачком скользкую вялую рыбину, и через час она подавалась к столу, розовая, окружённая паром, в цветастой фарфоровой рыбнице.

Им принесли осьминога, отсекали завитки щупалец, и Лана сказал, что осьминог похож на Ивана Артаковича Сюрлёниса, и Лемнер изумился подмеченному сходству.

Он продолжал искать, звонил, ждал звонка. Перебирал все их встречи, искал свои оплошности, гадал, чем мог оттолкнуть её и обидеть. И вдруг жгучая догадка. Она увидела в нём еврея, и это её оттолкнуло. В ней, как в каждом русском, таилась неискоренимая юдофобия, взлелеянная великими русскими юдофобами Гоголем, Достоевским, Лесковым. Волшебная русская словесность не стеснялась слова «жид». Этим словом Тургенев озаглавил рассказ, от которого Лемнера, студента-филолога, хватала оторопь, и на теле выступала сыпь.

Она издевалась над ним, евреем, находя в нём корни Рюриковичей и Романовых. Издевалась, суля ему, еврею, русское Величие. Она презирала его, обнимая и целуя, кропя «святой водой» из фонтана. «“Ко мне постучался презренный еврей…” — писал Пушкин. И было ещё: — “Будь жид, — и это не беда”». Именем юдофоба Лемнер назвал своё боевое подразделение. Она не

пускала его в бриллиантовый рай, чтобы в русском раю не оказался еврей. Она не приглашала его в свой дом, чтобы он не осквернил его.

«Господи, как я смею так думать! Она оставалась рядом в мой предсмертный час и не пустила в смерть. Подарила отпущенную ей жизнь, и я жив, а она умерла. Я отнял её жизнь и жив, а она, любимая, мертва! Её похитили те, кто желает мне смерти. Они желают лишить меня её волшебных наущений, колдовских предсказаний. Они держат её в заточении, мучают, требуют, чтобы она отреклась от меня, лишила меня свого сберегающего покрова!»

Это было безумие. Лемнер знал, что это безумие, и продолжал мучить себя безумием. Желал вызвать рыдания, но вызывал сухой сиплый кашель.

Таким, изведённым, тоскуя о Лане, страшась за неё, Лемнер был зван на телевидение, в программу «Алхимия власти», к известному телеведущему Эрнесту Алфимову. В рубрике «Алхимик». Программа и впрямь походила на таинственную лабораторию. В ней мерещились незримые реторты, колбы, горелки. Кипели растворы, поднимались пахучие пары, выпадали цветные осадки. Алфимов был кудесник, знаток придворных тайн, прихотей сильных мира сего. Он выполнял поручения двора, создавая угодных власти кумиров, разрушая репутации вчерашних любимцев. Он управлял энергиями народного недовольства и обожания, создавал мифы, угодные власть имущим. Из пыли рождались герои, они же превращались в пыль. Эрнест Алфимов управлял облаками пыли. В эту лабораторию был зван Лемнер, чтобы прослыть, как сулила ему Лана, «героем нации».

Телестудия являла собой круглую арену с огромным экраном. Скользили кабалистические знаки, загадочные письмена, тени духов, управлявших мировыми стихиями. Лемнера усадили в золочёное кресло, направили прожектор. Он сидел, ослеплённый, с бинтом на раненой голове, сквозь бинт проступала кровь. На его груди красовался серебряный крест. Вокруг, за стойками поместились приглашённые гости, готовые славить героя. Ведущий Алфимов стоял на кафедре, откуда управлял магическим действием. Превращал Лемнера в «героя нации».

Алфимов имел изможднное бледное лицо с фиолетовыми подглазьями. Когда он бурно говорил, губы наливались красным соком. Чёрные брови, как два ворона, слетались, стремясь расклевать друг друга. Под ними загорались полные жути глаза. На щеках проступали пятна, свидетельства тайных пороков. Он был облачен в длинную, до колен, блузу, глухо застёгнутую до горла. На голове поблёскивала шитая бисером восточная шапочка. Воздух вокруг него стеклянно трепетал и струился. Алфимов был миражом, готовым исчезнуть.

Таким он предстал на кафедре. Его появление взволновало экран. Полетели иероглифы, пифагорейские числа, письмена исчезнувших алфавитов.

— Россия плодоносит героями! — воскликнул Алфимов, указывая на Лемнера. — Омытая слезами, окроплённая кровью, Россия дерзновенно

вступила в бой с единорогом. С тем зверем апокалипсиса, чьё число начертано на железе Эйфелевой башни, на каменьях Кёльнского собора, на колоннах Бранденбургских ворот, на развалинах Колизея, на лбу статуи Свободы. Эта дьяволица стережёт вход в храм страны. Праведная кровь, окропившая Россию, проступает на бинтах Михаила Лемнера. Наш Президент сравнил его с Пересветом. У Пересвета в руках было копьё с золотым наконечником. У Лемнера в кулаке был золотой пистолет. С ним он вступил в бой с единорогом. Увидим, как это было! — губы Алфимова покраснели, словно их испачкали вишнёвым вареньем. Брови срослись, два ворона клевали друг друга. Глаза засверкали, как чёрные зеркала чародея.

На экране Лемнер увидел себя. Он стоял под рябиной, осыпались красные ягоды. Желтело поле с неубранной пшеницей. По полю клином шли танки. За ними поспевала пехота. Лемнер отводил от глаз красную гроздь рябины. Звал бойцов, убегавших от танков. Его рот чернел, рука загребала убегавших солдат. Он выхватил золотой пистолет, выбежал на поле и один мчался навстречу танкам, вытянув руку с пистолетом навстречу танкам.

— Но позвольте, кто это мог заснять? — Лемнер вскочил из кресла. — С нами не было военкора!

— Открою секрет, — Алфимов приложил палец с длинным лакированным ногтём к красным губам. — Эти кадры предоставила близкая вам Лана Веретенова. Она утверждает, что ей были видения. Она их запечатлела на камеру и предоставила нам.

Лемнер был счастлив. Лана жива. Он сможет её отыскать. Его сердце, как чуткая антенна, раскрылось, искало её в Москве, среди заснеженных бульваров, стылых подворотен, огненных новогодних ёлок.

— Хочу предоставить слово нашим гостям, — Алфимов поблескивал бисерной шапочкой. — Пусть генерал Буславин расскажет, как подвиг Лемнера вписывается в концепцию войны двадцать первого века.

У генерала было сухое подвижное тело, мундир со множеством колодок, граненое лицо и раздвоенный, как гвоздодёр, подбородок.

— Докладываю. Принято считать, что войны двадцать первого века выигрываются ядерным оружием, авианосцами, массированным применением авиации, артиллерии и танков. Но подвиг Лемнера показал, что один человек, движимый воинским долгом и любовью к Родине, может переломить ход войны. Тогда пистолет становится сильней атомной бомбы, воля храбреца останавливает наступление армии. Мы в Академии Генерального штаба начали исследование: «Подвиг Лемнера».

Загорелся экран. Озарённое солнцем поле, утренняя лазурь. Высоко, переливаясь на солнце, реет беспилотник. Его крылья кажутся плавниками. Он ныряет, как летучая рыба. Лемнер, расставив ноги, из ручного пулемёта, от

живота, бьёт в беспилотник, окружённый ворохами стреляных гильз. Лицо его безумное и счастливое.

Не было на том утреннем поле военкоров, не было камер. Лана посылала ему на войну сберегающую молитву, и молитва возвращалась, приносила с собой видения.

Рана в голове Лемнера проснулась. Рана вспомнила тот ужасный взрыв и засочилась кровью.

— Подвиг Лемнера — не одинокий жест храбреца, не случайный эпизод войны, — Алфимов вонзал в воздух бледные пальцы с длинными лакированными ногтями. Ворожил, священнодействовал, переставлял невидимые реторты, сыпал неведомые порошки. — В Лемнере воплотилась воля народа и государства, ведущих священную войну с англосаксонским миром. Пусть уважаемый философ Клавдиев откроет нам глубинный смысл противостояния России и Запада. Вскроет историческую закономерность подвига Лемнера.

Философ Клавдиев схватил обеими руками бороду, медленно оторвал от груди. Борода была свинцовая, руки с трудом держали её. Клавдиев, устав держать, осторожно вернул бороду на грудь.

— Европа — сакральное зло. В основе европейской культуры лежит не христианство, как многие полагают, а сатанинские культы, адские мистерии, демонические тайны. Они пришли в Европу из египетских саркофагов, от халдейских алтарей, где приносились человеческие жертвы. Народы-людоеды не исчезли, а получили имена англичан, немцев, французов. Солнечное православие России всегда вызывало ненависть этих сатанинских народов. Запад шёл в Россию уничтожить божественный замысел, сделавший Россию Солнцем мира. Схватка Европы и России отображена на иконе «Чудо святого Георгия о змие». В нашем случае, это схватка танковой армады и одинокого героя Лемнера. Присмотритесь к этой русской иконе, и вы увидите в руках Георгия золотой пистолет. Присмотритесь к голове Лемнера, и вы увидите золотое свечение, — Клавдиев поддел бороду, желая оторвать от груди, но борода была столь тяжела, что не поддавалась, и Клавдиев оставил её лежать.

Загорелся экран. Понуро, морща на лбу угрюмые складки, стоял голый по пояс пленник. На его мускулистом торсе темнели черепахи, ящерицы, змеи. Шевелились пауки и свастики. Лемнер вопрошал, касаясь прутиком мрачных наколок. Пленник вздрагивал, и казалось, существа, испятнавшие его кожу, ползут. Лемнер приставил золотой пистолет к складчатому лбу, выстрелил. Пленник упал, сотрясался, паук на его груди шевелился, хотел уползти.

Лемнер сидел в золочёном кресле, освещённый прожектором. С него художник писал портрет. На портрет вносили черты, которых не было у Лемнера. Лицо становилось плакатным, грозным, беспощадным. Лемнер был былинный герой, сокрушающий адские сущности. Сущностями были Анатолий

Ефремович Чулаки, ректор Лео, вице-премьер Аполинарьев, режиссёр Серебряковский и публицист Формер.

Но Лемнер не был былинным богатырём. Он безвольно сидел в золочёном кресле и думал о Лане. Она находилась в руках злодеев, и он не мог ей помочь. Рана на голове Лемнера сочилась кровью, бинт покраснел. Раненая голова рождала видения о Лане, и эти видения были окрашены кровью.

— Подвиг Лемнера разбудил сонное воображение писателей и художников, — Алфимов воздел брови. Два чёрных ворона взлетели со старой колокольни и закружили, пророча гибель. — Творцы не находили в русской действительности героев и изображали уродцев, нытиков, ненавистников. Лемнер подтвердил, что сегодняшний русский, как и во все века, отважен, исполнен света, несокрушим в своей праведной воле. Пусть наш известный писатель Войский расскажет, какие переживания вызвал в нём подвиг Лемнера.

Писатель Войский напоминал кенгуру. Полный, свисающий таз, круглый живот, маленькие, с растопыренными пальцами руки и чуткое испуганное лицо. Видно, его предок был однажды напуган, и страх передавался по наследству.

— В первый день войны с Украиной мне приснился сон. Будто в небе сражаются две вещие птицы. Чёрный ворон и Ясный сокол. Чёрный ворон одолевает Ясна сокола, гонит его к земле, опрокидывает, готов нанести смертельный удар стальным клювом. Но Ясен сокол последним предсмертным усилием встрепенулся, ударил Чёрна ворона, сшиб на землю, рассёк когтями воронью грудь и вырвал чёрное сердце. Я долго не смог разгадать этот сон. И только теперь разгадал. Битва Чёрного ворона и Ясна сокола — это битва Запада и России. Запад почти одолел Россию, но Россия последним порывом сокрушила Запад. Этот порыв — подвиг Лемнера. Этот подвиг сегодня совершает русский солдат, русский художник, русский монах и русский Президент. Леонид Леонидович Троевидов угадал в Михаиле Лемнере прообраз будущего русского человека! Я сочинил поэму «Лемнер». Там есть такие строки: «Пускай истают сотни лет, утонут в медленной реке. Твой златокрылый пистолет сияет в поднятой руке!»

Загорелся экран. Среди деревьев Лемнер бился с верзилой. Они лязгали пустыми автоматами. Лемнер упал, верзила занёс железный приклад, чтобы добить Лемнера, но тот, погибая, выхватил золотой пистолет и разрядил в верзилу. Верзила лежал, выпучив мёртвые, полные слизи глаза, и на лицо ему упал жёлтый осенний лист.

Рана Лемнера кровоточила. Страшные мысли роились. И вдруг его осенило. Лана молилась о нём, её молитва летела над полями сражений, находила его среди боев, спасала и возвращалась к Лане, приносила картины сражений. Между Лемнером и Ланой существовала молитвенная связь. Если послать молитву Лане, молитва вернётся и укажет Лемнеру место, где скрывается Лана.

Мысль была восхитительной. Лемнер приготовился молиться. Изгнал всё суетное, помыслы о славе, ненависть к врагам. Очистил сознание от страхов, ревности, зависти. Искал божественный свет в воспоминаниях детства, в картинах дивной природы, в стихах Пушкина. Окружил божественным светом любимое лицо и был готов послать молитву в заснеженную Москву. Пусть молитва облетит город, отыщет среди снегопадов Лану и вернётся, указав желанное место.

— Паскаль сказал: «Камень, брошенный в море, меняет всё море», — Алфимов кинул невидимый камень в невидимое море и отшатнулся от огромной, вызванной камнем волны. — Совершённый Лемнером подвиг изменил всё наше общество. Начались победные перемены. Возникает победная Россия, с победным народом, с победоносным Президентом. Пусть наш искушённый политолог Суровин укажет на тектонические сдвиги, которые произвёл золотой пистолет!

Лицо Суровина состояло из множества морщин и складок. Они шевелились, менялись местами. Одни исчезали, появлялись новые. У лица не было постоянного выражения. Так пульсирует и сотрясается моллюск, не находя раковины.

— Вы правы, — морщины Суровина побежали в разные стороны. Стараясь их удержать, он схватил руками лицо, но морщины ускользали сквозь пальцы, и он ловил их. — Этот выстрел изменил мир. Очень скоро с карты мира исчезнут целые государства и образуются новые. Изменятся границы. Одни народы будут посрамлены и унизятся, другие прославятся и возвысятся. Цветущие города будут испепелены, и возникнут новые прекрасные города. Тот посёлок, где Лемнер совершил подвиг, разрушен до последнего камня, имя его забыто. На его месте возникнет новый город Лемнер, и он будет прекраснейший в мире. Лучшие архитекторы построят дивные здания. В город съедутся художники, философы, исповедники. Здесь будет университет, изучающий божественную природу подвига. Будет научный центр, изучающий бессмертие. На центральной площади среди садов и фонтанов возведут храм Архистратига Михаила. К нему будет вести Пистолетный проспект, и лучший скульптор России изваяет памятник Лемнеру и его золотому пистолету!

Загорелся экран. Взрывы сметали дома, поднимали к небу яблоневые сады, и яблони висели корнями ввысь, осыпая на землю яблоки. В окопах корчились растерзанные тела, и казалось, огромный скребок соскабливает с земли всякую жизнь.

Едва политолог Суровин начал свой монолог, Лемнер послал молитву в заснеженную Москву. Молитва летала над Кремлём, облетала арбатские переулки, заглядывала в кабинеты, храмы, театры, больницы. Ответа не было. Лемнер мучился. Но когда Суровин умолк и, схватив лицо, удерживал пойманные морщины, молитва вернулась. Принесла желанную весть. Лемнер

видел новогоднюю ёлку, ель стояла, увешенная хлопушками и шарами, её лапы покрывал снег. Под ёлкой, едва видная среди падающего снега, притулилась Лана, недвижная, застывшая, в короткой норковой шубке, без шапки, с волосами, полными снега. Лемнер вскрикнул, хотел бежать. Алфимов остановил его:

— В этом волшебном городе будет множество благоухающих цветов. Наши цветоводы вывели дивный сорт алых роз и назвали розу «Лемнер». Теперь мы дарим герою букет из ста роз!

В студию вбежал рыжеволосый синеглазый мальчик. Держал огромный алый букет. Букет был столь велик, что мальчик сам казался золотистым цветком, окружённым розами. Подбежал к Лемнеру и вручил цветы. Одна роза упала. Лемнер протянул её мальчику, поцеловал его. Забыв букет, выбежал из студии.

Глава двадцать четвёртая

Алхимик в колдовской лаборатории мешал растворы, вливал зелья, окутывался разноцветными дымами. Сотворял миф «Лемнер». Миф разлетался по России, как семена одуванчика. В миф «Лемнер» уверовали рыбаки Сахалина, шахтёры Кемерово, металлурги Урала, хлеборобы Кубани, учёные Новосибирска, студенты Москвы, монахи Валаама, узники «Чёрного дельфина». Все узнали о богатыре, явленном в час русской беды.

Сам же Лемнер, с красным бинтом на голове, носился по Москве, отыскивая ёлку, под которой замерзала Лана. За рулем «бентли» сидел Вава. Он вёл машину так, словно по нему вела огонь скорострельная пушка, и он уклонялся от попаданий. От него шарахались машины, неслись вслед гудки и проклятья, гнались, мигая вспышками, дорожные патрули. Лемнер торопил Ваву:

— Быстрей, Вава, быстрей! Я тебя пристрелю!

Он знал, что случилось. Иван Артакович Сюрлёнис желал разлучить его с Ланой, отсечь от её вещих предвидений, занять её место и увести от Величия. Заманить в колдовское подземелье и превратить в золотого Будду. Множество соперников Ивана Артаковича было превращено в безжизненных золотых истуканов, которыми злой ведун уставил дорогу к Величию.

Москва в снегопадах блистала новогодними ёлками. Они были, как прекрасные дамы в бриллиантах, в нарядах, золотых, голубых, изумрудных. Ёлки сверкали среди московской метели. Снег осыпал их и казался алым, золотым, изумрудным.

Ёлку у Самотёки украшали гирлянды, мерцавшие, как ожерелья на груди светской дамы. Лемнеру почудилось, что он видит под ёлкой Лану. Выскочил из машины, кинулся в колючую, усыпанную бисером хвою, торопясь обнять Лану. Но руки обняли стеклянную, висящую на ветке балерину. Ветер раскачивал игрушку, и балерина вращалась в пленительном фуэте. Иван Артакович злым колдовством превратил Лану в стеклянную балерину.

Ёлка на Трубной полыхала голубым пламенем. Синий огонь взлетал по веткам к вершине, зажигал Вифлеемскую звезду. Звезда текла над Москвой, возвещая о чуде. Лемнер кинулся к ёлке, желая обнять любимую. Но пальцы коснулись стеклянной серебряной рыбы. Иван Артакович превратил Лану в морское диво, Лемнер удалялся от ёлки. Синим факелом она полыхала в метели.

Ёлка на Театральной была, как золотой дождь, льющийся на белые колонны, бронзовых коней, венценосного возницу. Золотые ручьи стекали с ветвей, люди шли мимо ёлки, на лицах, шапках, воротниках лежала позолота. Лемнеру показалось, он видит Лану среди стеклянных шаров и ожерелий.

Кинулся её целовать, но губы коснулись золотого шара, который покрылся инеем от его поцелуя.

Ёлка на Лубянке была в алых маках, пылала на морозе. Цветы усыпали ветви, среди цветов мерцали стеклянные стрекозы и бабочки. Их крылья звенели. Казалось, из ёлки изливается дивная музыка. Лемнер бросился к ёлке, раздвинул смоляные лапы, ожидая увидеть любимую. Но у глаз качалась перламутровая бабочка, прилетевшая из Африки в ледяную Москву. Иван Артакович спрятал Лану, повесил на ёлку стеклянную бабочку.

Было множество чудесных ёлок. Москва казалась огромной бальной залой, куда сошлись великосветские красавицы. Лемнер подбегал к каждой, принимая её за Лану, целовал руку, приглашал на танец. Кружил с красавицей в вальсе. Кровь сочилась сквозь бинт, капала на снег, и он оставлял красавицу и устремлялся к другой.

Оставалась одна, последняя ёлка, которую он не успел осмотреть. Она стояла в Измайловском парке, далеко от входа. Лемнер оставил Ваву в машине. Сквозь открытые ворота вошёл в парк. Всё было озарено, в тине горели высокие фонари, в снегу сверкали бриллиантовые светильники. И не было ни души. На снежных аллеях не было следов. Алебастровые цветочницы полнились снегом. Изваяния физкультурников стояли в белых кроличьих шапках. Обнажённая спортсменка куталась в снежный воротник. Озарённое, с разноцветными лучами, как ночное солнце, застыло колесо обозрения, люльки были полны снега.

Лемнер шёл по аллее, чувствуя, что сейчас упадёт. Кровь капала на снег, под фонарями тянулся красный след.

Он увидел ёлку. Она стояла одиноко на деревянном помосте, где летом танцевали, а теперь высилось огромное дерево, похожее на многокрылую птицу, распустившую во все стороны крылья. На ветвях висели хлопушки, усыпанные блёстками, покачивались петухи, олени, зайцы. Вилась на ветру серебряная повитель. Под ёлкой, среди хлопушек, засыпанная снегом, сидела Лана. Её шубка была белой от снега, чёрные волосы казались седыми.

— Лана! — Лемнер с воплем кинулся к ней. — Лана!

Он обнял её, поднял на руки.

— Что с тобой, любимая?

Он целовал её холодные губы, целовал ресницы, на которых был иней. Понёс на руках от ёлки по деревянному помосту, хрустящему от мороза, по аллее, где красными каплями горела его кровь, мимо физкультурников в кроличьих шапках, к машине.

Вава торопился навстречу:

— Командир, это кто? Что ты делаешь?

— Выношу из боя!

Дома Лемнер наполнил ванну тёплой водой. Раздел Лану и погрузил в воду, поддерживая голову. Хромированный кран блестел, переливались изразцы. Её длинное тело лежало в воде, и он смотрел, как слабо вздымается её грудь. Несколько капель крови упало в воду и расплылось, растворилось. Её ресницы дрогнули, она открыла глаза:

— Мой родной! — слабо сказала она.

Он отёр её полотенцем, перенёс в кровать, накрыл несколькими одеялами. Её голова бессильно лежала на подушке. В тёмных волосах не было стеклянного блеска, губы, всегда пунцовые, цвета вишни, теперь были бесцветные, белые.

Лемнер достал бутылку красного вина, вылил в эмалированный ковш, выжал из апельсина сок, кинул в ковш ломтик корицы — всё, что приберёг для глинтвейна. Поставил ковш на огонь и ждал, когда расточится пьяное благоухание. Перелил тёмно-красный глинтвейн в толстый стакан и отнёс Лане. Приподнял её голову и осторожно поднёс стекло к губам. Она пила маленькими глотками, оттаивала. В волосах появилась блестящая синева, губы покраснели от вина.

— Слава богу! — Лемнер убрал стакан. На подушке осталось несколько красных метин — то ли от вина, то ли от его крови.

Он разделся и лёг рядом с ней, чувствуя её прохладные стопы и колени, слабое дыхание груди. Он согревал её, переливал своё тепло, возвращал ту жизнь, что она подарила ему в полевом лазарете. Они лежали, дремали, и в них струилась их общая жизнь, делавшая их неразлучными.

— Что случилось? Почему ты оказалась в Измайлове?

— Ты позвонил и сказал, чтобы я приезжала в Измайлово.

— Я не звонил.

— Ты позвонил и сказал, что должен сообщить мне срочное. Кругом глаза, уши, а в Измайлово нас не найдут.

— Я не звонил.

— Это был твой голос.

— Модулятор голоса! Иван Артакович разговаривал с тобой моим голосом.

— Я думала, это ты, и сразу поехала. Там было безлюдно, красиво. Аллеи белоснежные, без единого следа. Цветочница, полная снега. Физкультурница, бедняжка, совсем голая, кутается в снежный, негреющий воротник. Колесо обозрения, как ночное солнце с зелёными, красными, золотыми лучами. И чудесная ёлка. Я любовалась хлопушками, петухами, забавными зайцами, а потом, чтобы согреться, стала танцевать. Мне казалось, мы танцуем с тобой, как тогда в Африке, у озера Чамо. Я стала засыпать, хотела приклониться к ёлке и забылась. Проснулась в ванне, в тёплой воде, когда упала капля твоей крови.

— Это злодей Иван Артакович! Он тебя заманил и усыпил. Хотел превратить в золотого Будду. У него есть подземелье, уставленное золотыми Буддами. Сейчас поеду к нему и застрелю из золотого пистолета!

Лемнер с отвращением представил Ивана Артакович, его утиный нос, загнутый полумесяцем подбородок, круглые совиные глаза со множеством цветных ободков. На сутулой спине сохранились остатки горба, который он сточил, продираясь сквозь игольное ушко российской политики.

— Застрелю из золотого пистолета и закопаю пятками вверх в Измайловском парке!

Лемнер ослабел от потери крови. Ему казалось, он танцует с Ланой у ёлки, подмостки поскрипывают от мороза, на её голой шее голубой бриллиант, запах апельсина и корицы, на ёлке мерцают стеклянные фламинго, антилопы, жирафы, рыжеволосый солнечный мальчик держит красную розу, на запястье танкиста остановились часы, голые пятки из красной африканской земли, он плывёт по тёмной реке, на чёрных водах мерцает новогодняя ёлка, по белому снегу скачет голая негритянка, он стреляет в неё на лету, она ложится на снег, длинная, чёрная, показывает ему алый язык.

Это была минутная потеря сознания. Несуществующая жизнь, сотканная из лоскутов прожитой жизни.

— Мы снова вместе, милая. Какое счастье! — он возвращался из несуществующей жизни в ту, где была она, обретённая. Теперь ему было не страшно. Она обнимала его своим сберегающим покровом.

— Я хотела тебе сказать.

— Что, милая?

— Ты плыл по чёрной реке, и вдали мерцало, переливалось, манило. Это был рай.

— Какой он?

— В раю множество новогодних ёлок. Там нет времени и царит вечный Новый год. Каждый, кто попадает в рай, превращается в новогоднюю ёлку. Ёлка украшена самоцветами. Самоцветы — это благие дела, совершённые нами при жизни. Этот рай ты видел, когда, раненый, плыл по чёрной реке.

— В Москве много новогодних ёлок, усыпанных самоцветами. Значит, Москва — это рай?

— А разве мы не в раю?

Он обнимал её. Она тихо дула ему на рану, шептала, водила над его головой узкой ладонью. Кровь унялась, боль утихла, в голове стало ясно и чисто.

— Кто тебя научил ворожить? Цыганка? Чёрно-книжник? Валаамский монах? Ты предсказала мне путь на Северный полюс и в Африку, а теперь ведёшь к Величию. Я послушно иду, хотя не знаю, что оно. Кто ты, любовь моя?

За окном шёл снег, пахло апельсином, на спинке стула висело её голубое платье. Она встала из постели, сняла платье, оторвала от подола синюю трескучую ленту. Вернулась в кровать, неся за собой синюю бахрому. Размотала на его голове спекшийся бинт. Дула на рану, остужала, вдувала в рану свой шёпот. Обвязала ему голову синей шёлковой лентой.

— В детстве я приезжала в деревню к бабушке Аграфене Петровне. Баба Груня рассыпала на клеёнке сухой горох, смотрела на горох своими зелёными глазами, и горох начинал прорастать. Баба Груня собирала проросший горох и сажала в грядку. Если долго не было дождя, и всё на огороде сохло, баба Груня выходила на луг за деревню, смотрела в пустое небо, и в небе появлялось облачко. Оно разрасталось, темнело, баба Груня смотрела на тучу, и из неё лил дождь, поливал деревенские огороды. К бабе Груне привели пастушонка, которого искусали осы. Он весь распух, задыхался, умирал от яда. Баба Груня прижала его к груди, положила на голову руки, и отёк начал спадать, пастушонок задышал, а к вечеру уже играл с другими мальчишками. А у бабы Груни распухли руки, она задыхалась всю ночь, а утром ушла в луга и лечилась травами.

— Ты училась у бабы Груни? Чему она тебя научила?

— Если хочешь, чтобы горох пророс, должен поселиться в горошину и прорасти вместе с ней. Хочешь, чтобы из тучи полил дождь, поднимись к туче, поселись в ней, и прольёшься дождем. Если хочешь исцелить кровавую рану, войди в неё, стань раной и исцелись вместе с кровавой раной.

— Сейчас ты вошла в мою рану, стала моей раной, и из меня капала твоя кровь?

— В Париже я брала уроки магии у «повелителя стихий» Жака Бонэ. Он собирал учеников в Музее магии недалеко от площади Этуаль де Франс. Там было много таинственных приборов и инструментов. Циркули, астролябии, телескопы, подзорные трубы, магниты, куски янтаря, стеклянные шары, песочные и солнечные часы, компасы, циферблаты. Жак Бонэ ставил перед собой бутылку красного Бордо, наполнял бокал и делал редкие глотки. Возбуждался, бегал по комнате, поднимал вихри, направлял вихри в мироздание. А потом затихал, впадал в транс, улавливал текущие в мироздании силовые линии. Перемещался по этим линиям в разные концы света, и ему открывались видения. Он видел, как в Атлантическом океана горит нефтяной танкер, и люди с палубы бросаются в воду. Видел, как в Боливии повстанцы забивают насмерть палками плантатора, и тот, на коленях, показывает мучителям нагрудный крестик. Видел, как в Виндзорском замке стало дурно английской королеве, она упала на ковёр, и врачи обнажили её худую, с тёмными венами руку и мерят давление. Многие из этих видений на другой день подтверждались в прессе. Он учил нас слушать звуки мира, становиться раковиной, в которой слышен гул мира. Учил изгонять из себя все чувства, мысли, переживания, опустошать свой разум, чтобы тот становился резонатором, улавливал звуки мира. Когда ты воевал на Украине, я превращалась в раковину, улавливала из всех мировых звуков тот, что приносил весть о тебе. Эти видения я передавала Алфимову, и он их показывал публике.

— Мне казалось, я чувствовал твоё присутствие. Ты заслоняла меня от пуль и осколков.

— Я жила послушницей в Боголюбском монастыре под Владимиром. С горы открываются бескрайние луга, синяя Нерль и, как белая лебёдушка, храм Покрова на Нерли. Духовник монастыря отец Пётр учил меня ночным молитвам. Три дня строгого поста, и ночью идёшь в собор, тёмный, сумрачный, иконостас чуть мерцает позолотой. Вместе со схимницей матерью Меланьей молилась в ночи. Становилась лёгкой, бестелесной, взмывала под самый купол, и открывалось вещее зрение. О ком подумаешь, видишь его судьбу. Человек идёт по судьбе, как по дороге, и ты знаешь, куда он придет, что с ним случится. В этом дар предсказаний. Так я предсказала крушение самолёта, на котором мама и папа летели на Кавказ. Я видела их летящий самолёт и взрыв в воздухе. Бросилась звонить домой. «Не летите! Останьтесь дома!» Но папа отшутился: «Ты смиренная монашка!» Через три дня полетели, и самолёт взорвался.

— Ты постилась, когда предсказала мне путь на Северный полюс и в Африку? Постилась, когда увидела во сне простреленный пулей подсолнух и предсказала войну с Украиной? Как ты меня увидала? Почему выбрала для своих предсказаний?

— Однажды я вышла на берег озера Светлояр. Небольшое, круглое, окружено лесом. Оно святое. В него скрылся град Китеж, когда татары окружили город и хотели сжечь. Град Китеж укрылся в озере и ждёт часа, когда случится чудо, и он будет явлен во всей красе своих золотых куполов, белых палат, звенящих колоколов. Град Китеж — это русский рай, русское Величие. Я сидела на берегу, смотрела на тихую воду. Вдруг подул ветер, вода заволновалась, и на ней возникло твоё лицо. Я узнала тебя, когда увидела в приёмной Светоча. Твой лик появился на воде и исчез. И я поняла, что ты обретешь Величие, и я буду рядом с тобой.

Лемнер чувствовал таинственность мира. Рядом была женщина, управлявшая его судьбой. Он вручил ей свою судьбу, верил в её ясновидение, в колдовские умения, в её любовь. Он верил ей неоглядно. Было легко отречься от собственной воли и вручить свою волю ей, зная, что она, любящая и любимая, воспользуется своей властью над ним не во вред, а во благо.

— Что меня ждёт на пути к Величию?

— Ждёт война, жестокая, священная. В этой войне России не помогут танки, ракеты, подводные лодки. Только Господь. Ты возьмёшь с собой на войну тех, кто угоден Господу.

— Как я узнаю, кто угоден Господу?

— Почитай Евангелие. Богу угоден разбойник благоразумный, душегуб, который на кресте уверовал и спасся. Богу угоден слепец, который уверовал и прозрел. Богу угодна грешница и распутница Магдалина, которая раскаялась и

стала святой. Богу угодны дети, ибо о них он сказал апостолам: «Будьте, как дети». С ними пойдёшь в бой и одолеешь.

За окном сыпал снег. Пахло апельсином. Висело на стуле разорванное синее платье. Лемнер обнимал Лану. Она спала у него на плече.

Глава двадцать пятая

Лемнер и начальник штаба Вава формировали корпус «Пушкин», готовились к отправке на фронт. Приходили эшелоны с танками, на их новой, не тронутой «Джавелинами» броне рисовали профиль Пушкина. Из военкоматов прибывали новобранцы, их учили бою в условиях города, а также разучивали романс на стихи Пушкина: «Я помню чудное мгновенье».

— Вава, мне было предсказано, что мы победим, если в наших рядах будут угодные Богу. Угодны Богу разбойник, слепец, блудница, непорочные дети. Что бы это значило, Вава?

— Командир, лучше бы ты оставил ту бабу под ёлкой.

— Вава, не говори плохо об этой женщине, а то станешь неугодным Богу.

— Половина России состоит из разбойников. Они сидят по тюрьмам без дела. Записывай их в корпус «Пушкин». В Обществе слепых все узрели Бога, все снайперы Божьи. Берём на фронт. С блудницами проще. Если эскорту проституток выдать бронежилеты и сказать, что за линией фронта их ждут мужики, они будут неудержимы. В школах вводится военное дело. Спецназ из детей, которые прибежали в избу и второпях зовут Отца небесного: «Тятя, тятя, наши сети!» — такому спецназу позавидует любая армия. Командир, я займусь танками и беспилотниками, а ты формируй батальоны из проституток и угодников! — так Вава истолковал предсказания Ланы, и Лемнер в который раз изумился его проницательности.

Тюрьма пожизненно заключённых «Чёрный дельфин» находилась под Оренбургом. Тюремное начальство, стремясь опоэтизировать своё мрачное ремесло, воздвигло перед входом в тюрьму скульптуру дельфина, блестящую, как из чёрного стекла. Лемнера встретил начальник тюрьмы, тяжеловесный полковник, и повёл сквозь бесчисленные турникеты, электронные системы, пропускные пункты, лязгающие замки. Вокруг Лемнера скрежетало, чавкало, мерцало едкими огоньками, и он подумал, что проходит врата ада. Огромный тюремный двор был наглухо окружён тёмными корпусами со множеством зарешёченных окон. Стояли контейнеры с мусором. Прячась за эти контейнеры, метнулись лёгкие тени, выглядывали глаза запуганных зверьков.

Лемнера вели коридором тюрьмы. Гулко, бессловесно рыкнула команда. Лемнер заглядывал в глазки камер. Видел железные клетки, спины заключённых, расставленные ноги, поднятые руки с растопыренными пальцами.

В этих одинаковых позах было послушание сломленных, подвергаемых дрессировке людей.

Одна из камер открылась. Громадный охранник вывел человека в серой робе, нагнул его до земли, заломил скованные руки и повёл. Тот ковылял,

уродливо переставляя ноги, выгнув костлявую спину. Лемнер увидел глаза исподлобья, полные ужаса.

— Будете беседовать, не приближайтесь, — предупредил полковник. — Опасно для жизни. Руки заключённого в наручниках, но могут убить ногой.

Комната, куда привели Лемнера, была той же камерой. Стены в грязно-зелёной краске, два привинченных к полу железных стула. Под потолком лампа в стальной решетке. Глазок в дверях. Лемнер сел, чувствуя мертвящую силу стен, построенных и покрашенных так, чтобы среди них никогда не появлялся намёк на радость.

Охранник ввёл в комнату согбенного человека, похожего на ползающего жука. Рывком распрямил, усадил на стул, вышел из комнаты. В стеклянном зрачке угадывался его глаз.

Человек и Лемнер сидели напротив друг друга. На серой робе светлела пришитая бирка с номером. Под грубой тканью торчали тощие плечи, на жилистой шее ходил кадык. В лицо въелась серая железная пыль. В глубоких глазницах дрожали чёрные, ждущие насилия глаза. Лемнер улавливал исходящий от человека чуть слышный запах тления, словно человек был мёртв и начинал разлагаться. Они смотрели молча один на другого.

— Как зовут? — спросил Лемнер, глядя на бирку с номером.

Человек молчал, стараясь угадать, какое ужасное испытание ему уготовано.

— Спрашиваю, как зовут?

— Славников Фёдор Иванович, — голос человека был скрипучий (так скрипят плохо смазанные дверные петли).

— За что сидишь?

Человек молчал, ожидая начала мучений.

— Спрашиваю, за что сидишь?

— За людоедство, — человек двинул кадыком, словно сглотнул слюну.

— Съел человека?

— Да.

— Всего съел?

— Только часть.

— Вкусно? — Лемнеру стало смешно. Он вспомнил Африку, где тщетно искал людоедов, а они обитали в России.

Человек, увидев ухмылку Лемнера, понял, что мучений не будет. Распрямился, покачал плечами, пошевелил за спиной скованными руками.

— Расскажи, как стал людоедом? — Лемнер испытал интерес к человеку, одержимому адской страстью. Той, что, быть может, таится и в Лемнере, но, подавленная, не находит выхода. — Расскажи, как тебя угораздило?

Фёдор Славников, чуткий к тюремному злу, усмотрел в Лемнере посетителя из-за тюремной стены. Его появление сулило облегчение участи, и узник, цепляясь за эту надежду, желал угодить посетителю.

— Спрашиваете, как стал? Постепенно, шаг за шагом. Как учёный, пока не сделал открытия.

— Ты действительно большой учёный. Альберт Эйнштейн. Нобелевский лауреат.

Фёдор Славников обрадовался насмешке. Его не собирались мучить. От него ждали рассказа, исповеди. Сидящий перед ним посетитель был священник, без облачения, но полный сочувствия. И ему, исполненному милосердия и сострадания, захотел Фёдор Славников открыться и поведать о своём несчастье.

— Спрашиваете, как стал людоедом? Опытным путём, постепенно. Я рос в посёлке фабричном. Столовка на фабрике, в магазинчике хлеб, консервы, конфеты дешёвые. Дома каша, картошка, иногда молоко, по праздникам курица. А на чердаке у деда старая книга «О вкусной и здоровой пище», с цветными картинками. Какая там еда нарисована! И форель, и осётр, и оленина, и куропатки. Тарелки фарфоровые, ложки и вилки серебряные. Салаты, соусы, подливы! Я с этой книжкой запирался в сарае и слюни пускал. Мне ночью шницели и отбивные снились, ананасы под сбитыми сливками, колбасы копчёные, варёные, торты, наполеоны, эклеры. Хожу по улицам, а передо мной фарфоровое блюдо плывёт, и на нём жареная индейка, пар идёт. Я в обморок падал. Будто мне под язык червячок поселился, дракончик с крыльцами и кривыми ножками. Вьётся, скребет ножками. Я эту книгу до дыр зачитал, а некоторые страницы с картинками выдрал и съел, — Федор Славников посветлел, из лица улетучилась железная окалина. Он встрепенулся на железном стуле, вытянул шею, как птица, желавшая взлететь. — Переехал в Москву, и сразу в рестораны. Каких только нет! Узбекские, чебуреки, кебабы, лагман, кутапы! Грузинские, хачапури, хинкали, шашлыки! Корейские, лапша с морепродуктами, разносолы! Китайские, утка по-пекински, собачье мясо! Итальянская кухня, спагетти, устрицы, осьминоги! Французская, лягушки! Английская, стейки! Всё перепробовал. Дождевых червей, гусениц, кузнечиков, муравьёв, жужелиц ел. Ещё, ещё! Ел мыло, зубную пасту, моющие средства, железные опилки, битое стекло. Каждый новый вкус — наслаждение! Не надо ни театров, ни кино, ни женщин. Только попробовать новое на вкус, подержать под языком, «уморить червячка»! — Фёдор Славников закрыл глаза, и не было грязно-зелёных тюремных стен, наручников на запястьях. Были дивные блюда, роскошные яства, необъятная планета, твари, растения, минералы, тучи, цветочная пыльца, заводские отходы. Всё можно отведать, всё имело вкус, всё таило усладу. В глазах Фёдора Славникова была страсть испытателя, накануне великого открытия, которое дано ему совершить после долгих поисков и прозрений. — Ел ворон, мышей, кошек, воробьёв. Но рядом ходили люди. Они имело запах, цвет, форму и, конечно, вкус. Я долго крепился. Ходил в церковь. Бил молотком по пальцам. Хотел выброситься из окна. Дракончик под языком скрёб лапами. Я слышал его голос: «Давай, отведай! Такого не пробовал!» И я

решился. Ребёнок ещё не созрел, в нём мало плоти, не тот вкус. Мужчина груб, костляв. Только женщина! Ходил в Тимирязевский парк и выбирал женщину. Пристроюсь и иду следом по аллее. То за одной, то за другой. Будто кушанье выбираю. Выбрал одну. Лет тридцать. Пухленькая, щёчки розовые, ножки упитанные. В соку! Аппетитная! Дождался, когда на аллее никого, подошёл и гантелей череп проломил. Отволок в заросли. Топориком разрубил и в рюкзаке по частям перетаскал домой, в морозильник.

Фёдор Славников тихо улыбался. Так улыбаются, вспоминая нежное, доброе, невинное. Лемнер смотрел на людоеда и думал, является ли тот «разбойником благоразумным», и сколь сильна должна быть его вера, чтобы он со своим топориком попал в рай.

— Господь Бог запретил человеку поедать другого и лишил радости. И человек бедный мается, ищет радость. Кто стишки пишет, кто песенки, кто рисует. Туризмом занимается. Ищет радость. А радость рядом. Колумб переплыл океан и открыл Америку. А я отведал человечину. Узнал радость. Я ел женщину целый месяц. Не знал, как её звали, назвал Фросей. У Фроси каждая часть тела имела свой вкус. Я отрезал ломтик её груди и варил бульон, он был сладкий. Тушил её печень, она была горьковатой. Ел стейк из её ягодицы, он таял во рту. Её мозг был, как сбитые сливки, а глаз имел вкус маслины. Я радовался целый месяц, пока не нагрянула полиция. Соседи нашли в мусорном баке кости Фроси. Я сдуру выбрасывал их на помойку. Потом был суд, высшая мера и пожизненное. Иногда мне снится Фрося, но не та, в морозильнике, а та, что идёт по аллее парка, среди весенних берез, и в руках у неё синий подснежник.

Фёдор Славников плакал, сидя на железном стуле. Слёзы текли в чёрные ямы щёк и тускло блестели под тюремной лампой.

— Хочешь выйти отсюда? — Лемнер не испытывал сострадания, как не испытывал отвращения. На его пути к Величию лежали руины городов, множество мертвецов, зловонные ямы истории, через которые он перепрыгнет. Перед ним находилась зловонная яма истории, которую он перепрыгнет. — Хочешь выбраться из этой вонючей тюрьмы, где тебя превратили в жука? Хочешь снова стать человеком?

— Как? — тихо ахнул Фёдор Славников. Его глаза полыхнули безумием.

— Пойдёшь со мной на войну. Сбросишь вонючую робу, наденешь военную форму, каску, бронежилет. Дам тебе автомат, гранаты. Поведу в бой. Скорее всего тебя убьют. Либо застрелят пулей, либо растерзают снарядом. Но ты умрёшь солдатом в бою за Родину. Тебя похоронят не в безвестной тюремной могиле, а на воинском кладбище, под государственным флагом. Согласен?

— Да! — захлёбывался Фёдор Славников.

— Жди, я тебя позову.

Дюжий охранник рывком поднял Фёдора Славникова с железного стула, нагнул к земле, вывернул руки, как на дыбе. Повёл из комнаты. Лемнер увидел

глаза узника. Они сияли.

Чавкнула дверь. Охранник втолкнул согбенного человека. Его лицо почти касалось пола, руки вывернуты и воздеты. Он был похож на ныряльщика, прыгающего в чёрную жуть. Охранник плюхнул его на железный стул, и тощие ягодицы издали костяной стук. Всё та же серая роба, белый лоскут с номером, скуластое, с раскосыми глазами лицо, крепкий, расплющенный нос. Такие лица бывают у русских, породнившихся со степными народами. Узник смотрел на Лемнера узкими затравленными глазами, был похож на хищную птицу, пойманную в степи и прибитую гвоздями к стене.

— Как зовут? — Лемнер видел, как из узких глаз заключённого сыпется множество мелких иголок. — Какое имя?

— Крутых Борис Сергеевич, — узник ожидал насилия, руки его были скованы, и только глаза, защищаясь, сыпали иголки.

— Сибиряк?

— Дед из Иркутска.

— А сам?

— Из Тулы.

— Чем занимался?

— Бухгалтер.

— За что сидишь?

— Тройное убийство.

Лемнер рассматривал Бориса Крутых, его расплющенный, с большими ноздрями, нос, острые упрямые плечи с заведёнными за спину руками. Тюрьма его не сломала, а только согнула в пружину.

— Убивал за что? Деньги?

— Нет.

— Обида?

— Нет.

— Женщина?

— Нет.

— За что?

— Люблю убивать.

Лемнер подумал, перед ним человек, не упомянутый в романах, философских трактатах, учебниках этики и психологии. Он выпадает за пределы познания. Лемнеру дана возможность проникнуть в непознанное.

— Любишь убивать? Садист?

— Нет.

— В убийстве сладость?

— Радость.

— Какая радость?

Лемнер старался понять. Он и сам убивал, но убийства были не в радость. Убивал в ярости, в гневе, как убил дизайнера, сжёгшего на костре рыжеволосую проститутку Матильду. Убивал по заданию, как убил под фиолетовым деревом охранников президента Блумбо, а позже и самого Блумбо. Убивал, защищаясь, как убил француза Гастона, прилетевшего на боевом вертолёте, или лазутчиков Чука и Гека. Убивал на войне, отражая атаку врага. Убил пятнистого, как тритон, пленника, разукрашенного крестами и свастиками, мстя за бабушку Сару Зиновьевну. Но никогда не испытывал радость, а только угрюмое торжество победителя.

— В чём радость, Борис Крутых? Радость смерти?

— Радость жизни! — закованный узник, сидя на привинченном стуле, просиял. Его узкие глаза расширились. Казалось, смотрели в потолок с тусклой лампой, но видели лазурь. — Жизнь во всех одна, поделена между всеми живущими. Когда убьёшь одного, его жизнь покидает мёртвое тело и достаётся другим. Тебе достаётся больше жизни, ты испытываешь прилив жизненных сил и живёшь дольше. Если убить всех людей на земле, их жизни достанутся тебе, и ты будешь жить вечно.

Перед Лемнером сидел человек, познавший тайну бессмертия. Он благоговел перед жизнью, обладал мировоззрением, за которое попал в тюрьму. Он был «узник совести». Лемнер хотел понять истоки мировоззрения, обогатить себя знанием, расширить пределы познания.

— Как тебе открылось учение о бессмертии?

— В детстве, на даче. Была у меня «духовушка». Духовое ружьё со свинцовыми пульками. Пошёл в парк, а там пруд полон лягушек. Квакают, синие, пузыри раздувают, друг на друге сидят. Лягушачья свадьба. Я в одну прицелился, чмок! Слышал, как пулька в неё попала. Лягушка дёрнулась, задними лапами потолкалась и замерла. Я почувствовал, как мне стало хорошо. Целюсь в другую, чмок! Попал! Лягушка дёрнулась и ко дну. Пулька свинцовая в ней застряла и утянула на дно. А во мне лёгкость, будто свежего воздуха вдохнул. Такой бывает после грозы, сладкий. Это лягушачья жизнь из лягушки изошла и в меня вселилась. Ходил вокруг пруда и стрелял лягушек. Когда попадал, чувствовал радость. Шёл домой радостный, будто подарок получил. И пока жил на даче, ходил стрелять лягушек. Чувствовал радость, любовь. Любил лягушек, пруд, водяные цветы, липы в парке, девочку на аллее. Тогда узнал, что убить не горе, а радость. В убийстве радость жизни! — узник стал моложе, краше. Появился румянец. Он упивался воспоминаниями: — В городе, в нашем дворе, стоял мусорный бак. Туда ходили кормиться бездомные кошки. Раз вижу, в мусорном баке кот, громадный, лохматый, грязный. Я взял камень, кинул, попал в кота. Он из бака выскочил, а бежать не может, ноги перебиты. Я другой камень беру. Кот кричит, глазища жёлтые, в ужасе. Я подошёл и ударил камнем, ещё, ещё, по башке. Слышу, как кость хрустит. Кот обмяк, затих, глаза открыты, изо

рта язык, а на камне, что у меня в руке, кровь. И такая во мне радость, сила, любовь! Кота люблю, мусорный бак с пакетами и огрызками люблю, фасад дома и бельё на балконах люблю, старика, ковыляющего через двор, люблю. Кошачья жизнь из мёртвого кота в меня вселилась, кот умер, а мою жизнь продлил, и оттого радость!

Лемнер вспомнил, как в детстве бил куском асфальта Ваву. Был готов проломить череп, но неведомая сила удержала его руку, и удар получился слабый, не смертельный. Жизнь Вавы не вселилась в Лемнера, и Лемнер не пережил блаженства, не обрёл долголетия. Теперь, слушая Бориса Крутых, он сожалел об упущенном блаженстве.

— С тех пор я убивал. Мух убивал, комаров, муравьёв, стрекоз. Убивал воробьёв, мышей, убил ежа, щенка. Зарезал свинью, утром, на синем снегу. Хозяйка вывела её из сарая, я упал на свинью, сбил с ног и тесак вонзил в сердце. Свинья визжит, кровь на снег хлещет, а я чувствую, как звериная жизнь в меня перетекает, и такая радость! Снег синий, кровь яркая, солома жёлтая. Над избой дымок. Хозяйка плачет, свинью жалко, а мне кажется, что сила во мне такая, радость такая, что весь мир вместе с мёртвой свиньей, хозяйкой, хочу расцеловать! — узник сложил искусанные бледные губы для поцелуя. Лемнер видел, как губы порозовели. — И зародилась во мне мысль убить человека. Страшно, а ничего не могу поделать, хочу убить. Иду по улице, пристроюсь сзади к прохожему и иду следом. Думаю, убью, и его жизнь мне достанется, и я проживу вдвое. Ходил за прохожими, держал под пальто нож, а они не знали, что за ними смерть ходит. Наконец, решился. В соседней школе учитель, молодой, крепкий, румяный, с усиками. Его облюбовал, следил, как и куда ходит. Он бегал трусцой в парке. Я надел спортивный костюм, бегаю по аллеям, его поджидаю. Бежит навстречу, лёгкий, ртом дышит, усики дергаются. Увидел меня, улыбается. И я улыбаюсь. Так с этой улыбкой нож в него и всадил. Он тут же умер, а во мне такая радость, будто ангел меня на руках поднял и показал весь мир с океанами, странами, городами. И я на руках у ангела, как его любимое дитя. Весь мир люблю, все города, народы, и убитого учителя, и кота, и лягушек. Радуюсь и знаю, что теперь не умру.

Лемнер стал замерзать. Холод поднимался от бетонного пола, мёрзли ноги. Холод спускался с потолка, стыла голова. Холод надвигался от стен, дрожали плечи, тряслись челюсти. Его охватил озноб, бил колотун. В нём оживал кошмар подвала, когда он бежал, спасаясь от ужаса, на второй этаж к дверям с табличкой «Блюменфельд». Убийца Борис Крутых был порождением кошмара. Людоед Фёдор Славников был порождением кошмара. Лемнер был порождением кошмара. Кошмар дремал в нём, как притаившийся вирус, и вдруг просыпался, превращался в струи яда, отравлял кровь, и случался изнурительный колотун. Лемнер сидел на тюремном стуле, лязгал зубами. Слушал рассказ Бориса Крутых, как тот выследил продавщицу соседнего

магазина, дородную, грудастую, крикливую. Подстерёг в тёмном подъезде и зарезал. Держал в ней нож, слыша, как бьётся её тяжёлое тело, излетает её жаркая жизнь. Ангел поднял его в лазурь, и он, ликуя, любил лежащую с ножом в груди продавщицу, немытые ступени, жестяные почтовые ящики и слышал небывалую музыку.

Лемнер дослушал рассказ Бориса Крутых, как тот напал у тихого озера на рыбака и зарезал его. Всё тот же ангел вознёс его в небеса, где цвели райские сады, плодоносило волшебное дерево, и плодами райского дерева были убитые учитель, продавщица, рыбак, а также кот, лягушки, ёж и множество других, загубленных жизней, что даровали бессмертие.

— Должно быть, худо тебе в тюрьме, Борис Крутых? Не дают убивать, жизнь укорачивается, бессмертие не наступает.

— Я мысленно убиваю. Надзирателей убиваю. Начальника тюрьмы, Мать, которая письма пишет. Жену, которая передачи шлёт. Детей, которые рисуночки рисуют. Тебя уже несколько раз убил. Мысленно убиваю, а радости нет.

— Хочешь поубивать всласть, Борис Крутых?

— Ещё как хочу!

— Записывайся в мой батальон. Получишь автомат, гранаты, нож. Убивай врага. Но учти, и он тебя может убить.

— Я бессмертный.

— Добро, «разбойник благоразумный». Встретимся на войне.

Узника увели. Стул пустовал не долго.

Вновь появился узник, напоминавший ползущее насекомое. Охранник рывком воздел заключённого и ткнул в стул, как втыкают кол в землю. Лицо узника было прозрачное, как лунная тень. На переносице голубела жилка, на носу белел хрящик. Глаза, полные не просыхающих слёз, блестели. Слёзы не выливались, дрожали множеством капель.

— Имя? — Лемнер чувствовал, как от заключённого исходит трепет. Воздух вокруг него дрожал. Он передавал свою боль молекулам воздуха, и воздух трепетал: — Имя?

— Колокольчиков Сергей Анисимович.

— Ты кто?

— Птенец.

— Кто, повтори!

— Птенец. Я человек в яйце.

— В желтке или в белке?

— В яйце. Но я скоро вылуплюсь из яйца.

— Какая курица тебя снесла?

— Меня снесла птица Русской истории. Она высиживает меня, и скоро я выйду из яйца.

— Ты в хорошем инкубаторе. Здесь много таких птенцов.

— Я птенец Русской истории. Она снесла яйцо, и я в яйце. Я человек в яйце, а яйцо в гнезде Русской истории.

— Гнездо Русской истории — это тюрьма?

— В гнезде Русской истории лежит яйцо, а в яйце птенец Русской истории. Я человек в яйце, и я птенец Русской истории.

От Сергея Колокольчикова исходили волны помрачения. Через трепещущие молекулы воздуха помешательство передавалось Лемнеру. Сидящий перед ним узник был окружён трепетом. Он был мираж. Разум Лемнера начинал трепетать, поражённый безумием. В безумии была сладость.

— Как ты здесь оказался, Сергей Колокольчиков? — Лемнер и Сергей Колокольчиков были окружены стеклянным трепещущим воздухом. Оба были миражами. Они общались друг с другом, как общаются миражи, от одного трепещущего сердца к другому.

— Я попал сюда по воле Русской истории. Русская истории — птица, которая вьёт гнездо и откладывает яйца, — Сергей Колокольчиков возвёл глаза к потолку, словно искал гнездо, переполненное яйцами. Но гнезда не было. Сквозь железную решетку светила тюремная лампа. — В яйце живёт птенец, и птица Русской истории его высиживает. Это птенец Русской истории. Когда птенец Русской истории выходит из яйца, он становится лидером Русской истории. Лидер правит Россией, пока не устанет, и Русская история сносит новое яйцо, и в нём зреет новый птенец Русской истории. Президент Троевидов был птенцом Русской истории, вышел из яйца и стал лидером Русской истории. Но теперь он устал, и время его истекло. Птица Русской истории снесла новое яйцо, и в этом яйце живу я. Я птенец Русской истории и стану русским лидером. Президент Троевидов знает, что вызревает новый птенец Русской истории и не даёт ему родиться. Он не даёт мне выйти из яйца. Он хочет войти в яйцо и занять в нём моё место, чтобы родиться из яйца второй раз и опять стать русским лидером. Но проникнуть в яйцо извне невозможно. Птенец Русской истории зарождается только в яйце. Президент Троевидов узнал, что я стану Президентом России, и посадил меня в тюрьму. Здесь меня мучат, морят голодом, сыпят в еду яд. Но я не умираю. Я в яйце. Меня высиживает птица Русской истории. Я выйду из яйца и умерщвлю Президента Троевидова. Не стану в него стрелять, не стану вешать. Я просто перережу пуповину, соединяющую его с Русской историей, и он упадёт замертво. В тюрьме мне не нужна пища и вода. Я всё это получаю через пуповину Русской истории. Я жду, когда выйду из яйца и умерщвлю Президента Троевидова.

Сергей Колокольчиков ясно смотрел на Лемнера. Слёзы не вытекали из глаз. Их становилось всё больше, но они не вытекали. Он сидел на железном стуле, скованный по рукам. Его освещал мутный свет тюремной лампы, но слёзы превращали тюремный светильник в солнечные люстры. На беломраморных стенах золотились имена геройских полков, гвардейцы в киверах и малиновых

мундирах растворяли золочёные двери, и все восторженно ахали, приветствуя Президента Сергея Колокольчикова.

Ветерок безумия, овевавший Лемнера, стих.

— Сергей Колокольцев, ты лидер Русской истории. Возьми автомат, связку гранат и ступай на фронт, где сражается твой народ. Поведи полки на врага, как их вёл под Полтавой царь Пётр. А яйцом твоим будет танк с профилем Пушкина на броне.

— Я готов! — Сергей Колокольчиков ликовал. Пуповина Русской истории вливала в него несметные силы. Слёзы копились в глазах, не в силах излиться.

К ночи Лемнер завершил собеседования. Заключенных «Чёрного дельфина» вывели из камер на тюремный двор и построили. Их руки оставались скованы, на головах ватные шапки, на тощих телах стёганки. Тесный строй чернел на ночном снегу. Светила полная луна. От тюремных корпусов лежали чёрные тени. Снег сверкал. В ряду заключённых вдруг вспыхивал глаз, поймавший лунный луч. Лемнер выступал перед строем. Не видя лиц, только пар их дыханий. При луне пар казался голубым.

— Граждане заключённые! Зэки, мать вашу! — Лемнер пробивал голосом металлический мёрзлый воздух. — Все вы убийцы, насильники, людоеды! Вы худшие из худших! Вы слизь, перхоть! Ваш удел гнить годами, умереть и сгинуть в безвестных могилах, на которые не придут ваши жены и дети, не положат цветок, не уронят слезу. Вы живёте, как насаженные на иголку жуки, шевелите лапками и мечтаете о смерти. Но я принёс вам свободу. Россия, наша матушка Русь, в беде! Она матушка и для Президента, и для убийцы. Ваши смерти не оплачут родные и близкие, а Россия оплачет. Государство казнит, а Россия оплакивает. Я обещаю вам славную смерть в бою за Россию. Вы сбросите проклятые наручники, возьмёте автоматы и пойдёте в бой за Родину. Вы умрёте героями, и вас похоронят с воинскими почестями. Ваши гробы будут покрыты флагом России, а на ваши могилы родные принесут алые розы. Согласны ли вы поступить в мой батальон, чтобы я повёл вас в бой? Тем героям, кто выживёт, прикреплю на грудь орден. А погибшим отдам честь. Кто согласен вступить в подразделение «Дельфин», шаг вперёд!

Лемнер отступил, освобождал место. Чувствовал, как у заключённых взбухают сердца, сипят дыхания. Тяжко ухнув, громыхнув башмаками, шагнул весь строй. Полная луна сияла над тюремным двором. И все они, убийцы, людоеды, маньяки, выбрали смерть в бою и были прощены. Прямо из боя, разорванные снарядами, изрезанные пулями, они попадут в рай.

Глава двадцать шестая

Помня евангельскую притчу о прозревшем слепце, Лемнер отправился в Общество слепых, к тем, у кого вместо двух погасших отрылся третий всевидящий глаз. Его отвели в клуб, где репетировал хор слепых. В клубе на стенах висели яркие масляные картины. Румяные яблоки. Клумбы красных цветов. Осенняя золотая берёза. Синее небо с белой чайкой. К картинам подходили слепые. Прислоняли к стене свои палочки, ощупывали холсты чуткими пальцами. Касались румяных яблок, гладили чайку, прикладывали ладони к алым цветам.

Улыбались.

В зале кресла были заполнены слепыми слушателями. На сцене пел хор слепых. Слушатели внимали, чуть вытянув шеи, поворачивали к сцене то одно, то другое ухо.

Лемнера усадили в первом ряду. По одну руку сидела молодая женщина в вязаной кофте, криво надетой, с пуговицей, попавшей не в ту петлю. По другую руку сидел седовласый мужчина в чёрных очках, зажав между колен узорную трость.

Хор был разношёрстый, мужской, женский, детский. В нём пела немолодая красивая женщина с голубой сединой. Молодая певунья в мини-юбке, с голыми коленями, на высоких каблуках. Круглолицый стриженый мальчик с розовым румянцем. Худой бодрый старик, по виду бывший офицер, стриженный под бобрик. Одни были в тёмных очках, у других глаза слиплись в щёлки, у третьих глаза были полны млечной белизны. Открытые тёмные рты, приподнятые подбородки, устремлённые к небу невидящие глаза, дрожащие вокруг невидящих глаз ресницы. В них было общее, родственное, семейное. Их объединило несчастье, и они сообща с ним боролись.

Они пели песни о России, страстно, истово, разом вскидывали головы, разом воздевали брови, сопровождали пение одинаковыми взволнованными жестами.

«Ты, Россия моя, золотые края, я люблю тебя, Родина светлая!» «Русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось». «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть». «Россия, Родина моя!»

Песни были задушевные, пелись от чистого сердца. Каждая была молитвой, обращалась к светлому божеству с просьбой вернуть им зрение.

Лемнер был тронут пением. Запевалой был мужчина с царственным носом, благородными залысинами, большим ртом, Рот становился кругом, превращался в эллипс, смещался в одну, в другую сторону, словно каталось по лицу колесо.

Мимика певца изображала простор полей, высоту гор, неразгаданную тайну, богатырскую стать.

Хор кончил петь, осторожно сошёл со сцены. Певцы помогали друг другу, держались за руки, щупали палочками ступеньки.

Запевалу подвели к Лемнеру.

— Вениамин Маркович Блюменфельд, — представился запевала. Слегка поводя лицом, улавливая исходящее от Лемнера тепло. Его рот перестал изображать колесо, губы казались мягкими, робкими. — Мне сказали, вас интересует наш хор. Мы готовимся к конкурсу. Весной в Орле состоится конкурс «незрячих хоров». Прошлой осенью нас возили в Петербург. Там мы заняли первое место.

— Поздравляю, — в Лемнере дрожало, испуганно трепетало имя «Блюменфельд». Возникла лестничная площадка, дверь, оббитая утеплителем с медными кнопками, электрический звонок и бирка с фамилией «Блюменфельд».

— Какой прекрасный город Петербург! Мы гуляли и не могли наглядеться! Бирюзовый Зимний дворец, золотой купол Исаакия, отражение в Неве золотой Петропавловской иглы, эти белые львы на воротах, изумительная решетка Летнего сада. А как прекрасен Медный всадник с летящим конём и Петром, простершим длань! — Блюменфельд с восхищением описывал краски города. Он постигал их не слепыми глазами, а зрячим «третьим оком».

Лемнер слабо слушал. Перед ним был жилец заповедной квартиры, спасавшей от детского ужаса. Жуткие силы подвала гнались за ним до второго этажа и останавливались перед именем «Блюменфельд», не в силах преступить заветную черту. В квартире жил праведник, запрещавший зло. Зло, готовое поглотить Лемнера, отступало, скатывалось по лестнице, укрывалось в гнилом подвале.

— А теперь, если мы выиграем конкурс, нас повезут в Ярославль. Там разноцветные изразцы, белые церкви, синие фрески и раздольная, без берегов, Волга. Как я хочу повидать Волгу!

Волосы у Блюменфельда были лёгкие, редкие, лоб высокий, чистый, брови кустились, ресницы вздрагивали, в глазницы были влиты две ложки сгущённого молока.

— Вениамин Маркович, а вы не жили в доме на углу Тихвинской улицы и Сущевского Вала? — Лемнер спрашивал робко, боясь ошибиться. Знал, что не ошибся. От запевалы исходила таинственная благодать, что останавливала зло и спасала Лемнеру жизнь.

— Да, я жил! Конечно жил! Окна нашей квартиры выходили на Миусское кладбище. Я слышал звуки погребального оркестра. Папа подводил меня к окну и рассказывал, как блестят трубы оркестра, краснеют венки. Я всё ждал, когда вновь зазвучат похоронные марши.

— Мы жили в одном доме, на одной лестнице и не знали друг друга. Я жил на четвёртом этаже.

— Мне говорили, что там живёт мальчик, мой ровесник. Но мама редко выводила меня из дома. Скоро папе дали другую квартиру, и мы уехали.

— А вы не испытывали ужас, когда проходили мимо подвала? За вами не гнались чудовища?

— Должно быть, они гнались за мамой и папой, поэтому я родился слепым, — печально улыбнулся Блюменфельд.

— Вы не знаете своей силы! В вас сила останавливать зло! Для меня фамилия Блюменфельд — как молитва «Господи, помилуй!». Чудовища наталкивались на вашу квартиру с надписью «Блюменфельд» и обжигались. Убегали в своё логово. Тем, что я жив, обязан вам, Вениамин Маркович. Я ваш должник. Что я могу сделать для вас?

— Верните мне зрение, — так же печально улыбнулся Блюменфельд. — Меня лечили лучшие врачи России. Смотрели глазники Германии, Израиля. Я так и остался слепым.

— Я знаю, как вас излечить! — воскликнул Лемнер. — Вы пели песни о России, как поют псалмы. Вы верите в Россию, как в божество. Россия вас исцелит. Она скажет вам: «Встань и иди! Иди в бой!» Я зову вас в мой батальон. Вы будете командовать подразделением «Око». Я дам вам оружие. Вы пойдёте в бой с песнями «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь», «И навеки не понятна чужеземным мудрецам», «Я в Россию воротился, сердцу слышится привет!» Вы услышите рёв миномётов, лязг танков, рокот штурмовиков, и прозреете! Все ваши люди прозреют! Вы пойдёте на войну слепыми, а вернетесь зрячими. Я буду с вами. Поведу вас в бой! Решайтесь, Вениамин Маркович!

Блюменфельд страшно побледнел. Сжал веки, словно хотел выдавить из глаз бельма. Протянул к Лемнеру руку, большими тёплыми пальцами стал ощупывать лоб, подбородок, губы, желая убедиться, что в словах Лемнера нет насмешки.

— Я согласен, — произнёс Блюменфельд тихо. Склонил голову, прислушиваясь. Быть может, к трубам погребального оркестра среди могил Миусского кладбища.

Предстояло исполнить ещё одно предначертание Ланы. Сформировать батальон из блудниц, повторявших судьбу Марии Магдалины. Этих блудниц было множество в агентстве сексуальных услуг «Лоск», принадлежавшем Лемнеру. Среди эскортов, снаряжаемых агентством, случались проститутки-садистки. Они наносили клиентам увечья, не опасные для жизни. Проститутки-садистки пользовались спросом среди министров, депутатов, профессоров и священников. Если Лемнер встречал хромающего депутата, одноглазого профессора, безносого батюшку или министра-заику, то угадывал почерк

проституток из агентства «Лоск». К ним, мастерицам увечий, отправился Лемнер, формировать батальон «Магдалина».

Агентство «Лоск» располагало помещением в виде пыточной камеры. Там тренировались проститутки-садистки. Грубые бетонные стены, свисающие цепи, торчащие из стен крюки. Жаровня с пылающими углями, раскалённые клещи, штыри. Пилы, свёрла, скальпели. Пыточная размещалась над элитным ночным клубом, куда являлись высшие чиновники, миллиардеры, политики. Они ужинали в роскошном ресторане, обменивались новостями, обговаривали дела и поднимались на второй этаж в «пыточную». Там их поджидали проститутки-садистки в облачении палачей, в масках, с бичами, ошейниками. Непроницаемые стены глушили дикие вопли подвешенного на дыбу министра, стенания лежащего на углях сенатора.

В дневные часы элитный клуб оставался закрытым. У шеста упражнялась длинноногая танцовщица, встряхивала волосами, змеёй обвивалась вокруг хромированного шеста. Лемнер, сбросив пальто на руки портье, взбежал на второй этаж. Не стал входить в «пыточную», а прильнул к глазку в стене, позволявшему наблюдать истязания. В ночные часы это место не пустовало. За высокую плату в глазок подглядывали депутаты, чиновники, режиссёры, желавшие посмотреть, как истязают их товарища. Теперь же, днём, в «пыточной» тренировались проститутки-садистки. Они поддерживали форму, чтобы ночью порадовать именитых клиентов разнообразием средневековых пыток. Они тренировались на статисте, добровольно позволявшем себя истязать. Это был чиновник Министерства просвещения Семён Аркадьевич. Он внедрял прогрессивные формы школьного образования и попутно отдавал себя проституткам-садисткам. Те превратили его в наглядное пособие для патологоанатомов и следователей-дознавателей. У Семёна Аркадьевича, Сёмушки, были выдраны ноздри, усохла рука, отсутствовали пальцы на ногах. Он был кривой, горбатый, покрыт шрамами от ударов и ожогов. В разговоре вдруг начинал плакать и умолять: «Ой, ещё! Ой, ещё!»

Лемнер прильнул к глазку, наблюдал тренировку.

Проститутка, имевшая имя Госпожа Эмма, длинноволосая, голая, в блестящих, до колен, сапогах, размахивала хлыстом. Сёмушка, на четвереньках, в железном ошейнике, дергался на цепи под ударами хлыста. Вскрикивал: «Ой, ещё! Ой, ещё!» Он был толстенький, с пухлым задом, с комочком бороды. Вскидывал зад, норовил лизнуть сапог мучительницы. Госпожа Эмма кружилась, взлетала, чёрные волосы развевались, груди плескались. В полёте она наносила удар хлыстом, оставляя на толстой спине Сёмушки розовый рубец.

— Ой, ещё! Ой, ещё! — взвизгивал Сёмушка.

Лемнер наблюдал истязание. Госпожа Эмма была виртуозна, пластична, как художественная гимнастка. Лемнер подумал, что танец с бичом может стать ещё одним видом олимпийского спорта.

Госпожа Эмма устало отбросила хлыст, пнула Сёмушку острым каблуком и ушла. Появился фельдшер, делал Сёмушке примочки, клеил пластырь, отирал ватой розовую слюнку.

Фельдшер ещё собирал свой саквояж, как в пыточную влетела проститутка по имени Госпожа Зоя. Обнажённая, в розовых чулках, бритая наголо, она развевала голубой шёлковый шарф. Взлетала невесомо, и шарф змеился за ней. Крутилась на одной ноге, отведя вторую, и шарф свивался в кольцо Шарф струился над Сёмушкой, и тот лязгал цепью, подпрыгивал, по-собачьи хватал шарф зубами. Лысая плясунья танцевала, закрывала глаза, как во сне, а потом кинулась на Сёмушку, обмотала шарф вокруг его горла и стала душить. Сёмушка бился, сипел, пучил глаза. Госпожа Зоя ослабляла петлю, давая ему вздохнуть, а потом с силой затягивала шарф, мускулистая, жилистая, с гладкой, как яйцо, головой. Сёмушка, едва дыша, сипел:

— О, ещё! О, ещё!

Госпожа Зоя мучила его до тех пор, пока у Сёмушки не случилось семяизвержение. Со смехом убежала. Фельдшер принёс кислородную маску, прилепил к носу Сёмушки, давая ему надышаться.

В пыточной появилась Госпожа Яна, белотелая, с большими, как пшеничные караваи, грудями, голубоглазая, с русой косой. Она ступала босиком, держа горячую свечку. Подошла к изможденному Сёмушке, стала гладить ему загривок, чесать за ухом. Сёмушка благодарно лизал ей руку, слюняво улыбался, тёрся головой о её бедро. Госпожа Яна наклонила горящую свечу и стала капать Сёмушке на спину расплавленный воск. Сёмушка выл, рвался на цепи, умолял:

— Ещё! Ну, ещё!

Госпожа Яна вставила ему свечу между ягодиц, и Сёмушка замер, залитый воском, как подсвечник.

Появилась ещё одна умелица наносить увечья, Госпожа Влада, огромная, со слоновьими ногами, чугунным животом и громадными двухпудовыми грудями. У неё была стрижка «бобрик», голова, суровое лицо скифской бабы. Госпожа Влада, переваливаясь, подошла к лежащему Сёмушке, вынула из его ягодиц свечу, задула, отложила в сторону. Стояла над Сёмушкой, как тёмное изваяние. Подпрыгнула и всей каменной тушей прыгнула на спину Сёмушки, мощно колыхнув гирями грудей. Сёмушка охнул, оглушённый, скрёб пальцами пол. Похоже, у него был сломан позвоночник. Госпожа Влада рассматривала его задумчиво, как раздавленного жука. Поглаживала «бобрик», а потом подпрыгнула с утробным храпом, обрушилась на Сёмушку. Тот жалобно пискнул и затих. Господа Влада одной рукой приподняла его, покрутила в воздухе и швырнула на пол. Сёмушка ударился головой о бетон. Вбежал фельдшер, стал отгонять Госпожу Владу, и та уходила, переставляя огромные ноги, как уходят с ринга победительницы кикбоксинга.

Лемнер вошёл в помещение, когда санитары уносили Сёмушку. В «пыточной» стоял парной мясной запах. На полу виднелся хлыст, свеча и оставленная Сёмушкой лужа.

Появились Госпожа Эмма, Госпожа Зоя, Госпожа Яна и Госпожа Влада. Все были возбуждены, нервничали. Им не позволили добить Сёмушку. Они посматривали на Лемнера, на хлыст, на свечу. Он чувствовал опасность, достал золотой пистолет и держал палец на спуске:

— Милые дамы, позвольте выразить моё восхищение. В своём ремесле вы достигли совершенства, превратили ремесло в искусство. Кстати, в моём пистолете семь патронов, и я неплохо стреляю.

— Сёмушку пора менять. Он выдохся. С ним мы теряем квалификацию, — сказала Госпожа Эмма. Зло поглядывала на золотой пистолет, смирявший её побуждения.

— У меня есть клиент, работник Министерства финансов, Степан Васильевич. Он мог бы сменить Сёмушку. Был Сёмушка, стал Стёпушка. — Госпожа Зоя держала в руках голубой шарф так, словно хотела накинуть на Лемнера шёлковую удавку. Он погрозил ей пистолетом.

— У меня на Кавказе есть клиент Ибрагим. Несколько раз я доводила его до клинической смерти. После этого он платил мне вдвойне. Могу поговорить с ним. Будет у нас Ибрагимушка. — Госпожа Яна подняла обгоравшую свечу, Лемнер вдруг почувствовал себя подсвечником. Погрозил Госпоже Яне пистолетом.

— По мне что Ибрагимушка, что Моисеюшка. Всё одно. Я с клиентами играю в игру: «Ладушки, Ладушки, где были? У Владушки». Мало кто до конца доигрывает. — Госпожа Влада вздохнула так глубоко, что одна грудь ударила в другую, и раздался удар колокола. Госпожа Влада стояла, уперев ноги, как звонница.

— Прекрасные дамы, — Лемнер видел, как приятен женщинам запах парного мяса, — вам нужны мужчины, которым вы можете обрезать носы и уши, заталкивать в зад бутылки, подключать к электрическим розеткам. Я подарю вам таких мужчин. У вас в руках будет не хлыст, а автомат, не горящая свечка, а ручная граната. Вы будете душить их не шёлковым шарфом, а телефонным проводом. Не станете запрыгивать на них, как на батут, а наедете танком. Приглашаю вас записаться в женский батальон «Магдалина». Вы пойдёте на штурм укрепрайонов, добывать себе мужиков. Вы сбросите свои мини-юбки и бикини, наденете форму русского солдата и пройдёте «коробкой» по Красной площади. На вашей груди будут воинские награды, и Президент станет любоваться вашей стальной беспощадной красотой. Вы согласны?

— Я согласна, — кивнула Госпожа Эмма, — но верните мой хлыст. С ним столько связано.

— А я возьму с собой синий шарф. К проводам ещё нужно привыкнуть, а с шарфом сподручнее, — Госпожа Зоя вскинула шарф, прицеливаясь к горлу Лемнера.

— Дело говорят подруги, — строго заметила Госпожа Яна. — Гранату засовывать — возня. А свечку вставил, и светло.

— Танком не интересно. Ты его сама додави, чтоб расплющился, — госпожа Влада подняла слоновью ногу, топнула так, что дрогнули стены с цепями.

— Не сомневался, — произнёс Лемнер. — Всё, что вы показали на примере Сёмушки, пригодится на фронте. Это были приёмы рукопашного боя.

Лемнер покидал «пыточную», прятал золотой пистолет.

Он выполнял наставления Ланы, заключённые в иносказаниях. Начальник штаба Вава приступил к формированию батальона «Дельфин» из узников тюрем и исправительных колоний. В батальон «Око» поступали слепцы, некоторые с собаками-поводырями. Собак учили бросаться под танки. Пополнялся блудницами батальон «Магдалина». Блудниц обнаружилось много больше, чем могло показаться.

Теперь Лемнер исполнял евангельскую заповедь: «Будьте, как дети». Он отправился в подмосковный спортивный лагерь, где детям читали патриотические лекции и давали уроки рукопашного боя. Лагерь окружал заснеженный сосновый бор. Стволы были янтарные, с жаркими пятнами солнца. Хвоя серебрилась, снег падал с вершин, не долетал до земли, рассыпался в сверкающую пыль. В деревянном корпусе жарко топилась печь. На стенах выступала золотая смола. Висели портреты русских полководцев, победоносных князей, маршалов, героев русских войн. Среди блистательной галереи Лемнер увидел и свой портрет — забинтованная голова, орден на груди, золотой пистолет в руке.

Воспитатель в погонах полковника, с офицерскими седеющими усами, отдал Лемнеру честь. Командирским рыком возгласил:

— Товарищи юнармейцы!

На этот рык строй мальчиков в камуфляже замер. Острые плечи, сияющие глаза, поднятые подбородки. Лемнер шёл вдоль шеренги, чувствуя их обожание, детский восторг. Они встречали героя, готовые вслед за ним ринуться в бой. Среди мальчиков, их по-солдатски стриженных голов, хрупких неокрепших тел он увидел рыжеволосого юнармейца. От него веяло свежестью, радостью. Как подсолнух обращает свой лик вслед за солнцем, так мальчик не отводил глаз от Лемнера, идущего вдоль строя. Рыжеволосый мальчик жадно ждал его приближения. Лемнер узнал его. Это был мальчик, что во время телевизионного представления преподнёс Лемнеру букет из ста роз. Сорт роз был выведен искусными цветоводами и получил имя «Лемнер». Одна роза упала, и Лемнер подарил её мальчику.

— Как зовут? — Лемнер пожал крепкую небольшую ладонь бойца.

— Рой, — белое лицо бойца стало розовым, и на нём появились веснушки.

— Как поживает моя роза? Засохла? Выкинул?

— Никак нет. Ношу с собой.

Он сунул руку в нагрудный карман, достал блокнот, раскрыл. Страницы были переложены тёмно-красными лепестками розы. Мальчик не желал расставаться с подарком и носил у сердца.

Дети расселись на лавках. Лемнера посадили в центре. Воспитатель, волнуясь, знакомил Лемнера с успехами своих подопечных.

— У каждого воспитанника есть любимый герой, — пояснял полковник. — Воспитанник ему подражает. Сейчас воспитанники расскажут о своих любимых героях. Коля, — по-отечески позвал полковник, — выходи, докладывай!

Худенький мальчик в очках поднялся с лавки, скрылся в соседней комнате и вновь появился. На его голове сиял самодельный шлем, покрытый бронзовой краской. В руках он сжимал копьё с золотым остриём. Он был голый по пояс, из-под шлема мерцали очки, он держал под мышкой копьё, и его хрупкие рёбра шевелились.

— Мой любимый герой — Пересвет. Он сразился на Куликовом поле с татарским богатырём Челубеем. Его копьё было короче, чем у татарского богатыря. Пересвет снял кольчугу, разделся по пояс, вскочил на коня, помчался на татарского богатыря. Копьё богатыря пронзило Пересвета, но он, насаженный на копьё, приблизился к богатырю и нанёс ему смертельный удар копьём. Русские на Куликовом поле победили!

Мальчик Коля разбежался, с разбегу ударил копьём в деревянную стену. Уронил копьё, упал. Шлем отвалился, он лежал, как сражённый витязь. Его очки блестели, хрупкие рёбра дышали.

Все хлопали. Мальчик Коля встал, подобрал шлем и копьё и скрылся в соседней комнате.

— Теперь ты, Олег, докладывай! — приказал полковник.

Встал тонкий красивый мальчик с большими печальными глазами.

— Мой любимый герой Андрей Болконский из произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Он, аристократ, князь, шёл в атаку вместе с простыми солдатами и нёс знамя. Его ранило, он упал, но не выпустил знамя. И сам Наполеон оценил его подвиг и сказал: «Когда у русских есть такие полководцы, они непобедимы».

Мальчик Олег удалился в соседнюю комнату, появился с бело-серебряным знаменем, на котором был вышит двуглавый орёл. С криком «ура» побежал, развевая знамя, и упал. Лежал, распростёр руки, знамя накрыло его своим серебром.

Все аплодировали. Лемнера трогала детская искренность, готовность следовать за любимыми героями. Из таких русских мальчишек он сформирует

ударный батальон «Тятя».

— Федя, докладывай! — приказал полковник.

С лавки поднялся крепыш с недетской складкой на лбу. Исчез за дверью и появился в солдатской каске. На ней краснела звезда.

— Мой любимый герой Александр Матросов. Его полк шёл в атаку и натолкнулся на немецкий пулемёт. Пулемёт стрелял из амбразуры и косил товарищей Александра Матросова. Матросову явился ангел и сказал: «Пойди и накрой своим телом пулемёт. Спасешь товарищей, а я сразу отнесу тебя к Богу». Матросов побежал к пулемёту, закрыл его грудью, товарищи прорвались вперёд, а Матросов предстал перед Богом. Бог снял с него каску и надел золотую корону!

Мальчик Фёдор с криком «ура!» кинулся на стену, прижался грудью, медленно сполз, А когда встал, на голове вместо каски сияла самодельная корона из золотой фольги.

Все радовались. Полковник похлопывал героя по плечу, а мальчик Фёдор, увенчанный короной, сжимал кулаки.

— Рой, твой доклад! — приказал полковник.

Поднялся рыжеволосый мальчик Рой. Его розовое лицо окружали золотые лепестки. Он казался Лемнеру цветком подсолнуха. Лемнер испытал к нему внезапную нежность, дрогнувшую в сердце любовь.

— Мой герой — Лемнер, — мальчик Рой обратил к Лемнеру лицо, свежее и чистое, как цветок. — Мой герой сидит среди нас. У меня на сердце роза «Лемнер». В моих руках золотой пистолет «Лемнер»! Будет день, я выхвачу пистолет и кинусь на вражеские танки. За мной устремится вся победоносная русская армия! — Рой выхватил деревянный, в бронзовой краске, пистолет, крикнул: «За Россию!» Распахнул наружную дверь и помчался по солнечному снегу, размахивая деревянным пистолетом. На снегах горели его золотые волосы. Лемнер с обожанием смотрел ему вслед.

Тут же, в лагере, состоялась запись в батальон «Тятя». Записались все мальчики. Командиром батальона был назначен Рой. Лемнер поцеловал его розовое лицо, окружённое золотыми лепестками.

Глава двадцать седьмая

В Москве у Лемнера появилась штаб-квартира на Якиманке. Там разместилось его военное ведомство «Пушкин». Мраморные лестницы, бесшумные лифты, великолепные кабинеты, подземные гаражи, посты охраны, камеры наблюдения, электронная защита. Лемнер, снимая трубки с белых, украшенных орлами телефонов, связывался с Министерством обороны, Генеральным штабом, Администрацией Президента. По закрытой связи мог разговаривать со Светочем, с Чулаки, с Иваном Артаковичем Сюрлёнисом. Здесь он принимал журналистов, наперебой желавших взять у него интервью. Здесь же разместился его пресс-центр, куда он пригласил яростных и беззастенчивых журналистов, создавших в сетях образ народного полководца. Таких было немало в пору Гражданской войны. Лемнер, под пером журналистов, становился народным героем, подобным Чапаеву или Щорсу. О нём писались книги, пелись песни, слагались легенды. Сюда же несколько раз приходила Лана. Он уводил её из кабинета в соседнюю комнату. Её малиновая юбка, розовое бельё, итальянские туфли были бурно разбросаны. Утомленно, не поднимаясь из кресла, он смотрел, как она одевается, её нагота исчезает.

В кабинете с чудесным портретом Пушкина работы Кипренского Лемнер принимал начальника штаба Ваву. Золочёная рама портрета потускнела от времени. По портрету разбегались едва заметные трещинки. Лемнер раздумывал, не поручить ли златошвеям выткать на алом бархатном знамени подразделения «Пушкин» копию портрета Кипренского. За этим раздумьем его застал Вава.

Начальник штаба спешно формировал батальоны из добровольцев, ветеранов, контрактников. Принимал с заводов и военных складов танки, транспортёры, самоходные орудия, радиостанции, средства поражения дронов. Неделями пропадал в полевых лагерях, среди морозов и снегопадов. Являясь в Москву, преображался. Пропадал на телепередачах, раутах, светских вечеринках. Сбрасывал измызганный камуфляж, грязные бутсы, смывал пороховой нагар и окопную копоть. Становился изысканным кавалером, посещал балет и дорогие рестораны, увозил балерин в дорогой машине.

В таком виде модника и светского льва, благоухая дорогим одеколоном и душистым коньяком, он предстал перед Лемнером.

— Вава, ты выглядишь, как лорд. Это правда, что ты закончил Оксфорд?

— Не знаю, кого я прикончил, но суку портного я точно пришибу. Говорил: «Шей, сука, просторней!» Нет, сузил! Когда танцую, рукава трещат!

Вава напряг могучий бицепс, его изысканный французский пиджак туго набух, в нём гневно бурлило могучее тело, швы тонкой ткани опасно

потрескивали.

— Вава, пощади пиджак. Он не приспособлен для рукопашного боя.

Вава, вернувшись с войны и готовясь вновь на неё отправиться, использовал мирную передышку, чтобы ощутить запоздалую сладость богатства. В Африке ему принадлежала доля золотоносного рудника. Маленькие, похожие на слёзки африканские самородки превратили его в московского миллионера.

Он купил подмосковное имение среди роскошных вилл дипломатов, министерских чиновников, именитых режиссёров. Стал перестраивать жилище сообразно своим представлениям о прекрасном. Воздвиг перед домом огромный фонтан с мраморной белогрудой русалкой, из которой сочились журчащие воды.

— Зачем тебе такой громадный фонтан, Вава? — спросил Лемнер, глядя на отражение русалки в лазурной воде.

— Командир, у меня много друзей десантников, — был ответ. Лемнер представил, как здоровяки в тельняшках, оставив недопитые стаканы, рыча бегут к фонтану, ухают в воду, тянут лапища к белым грудям русалки.

Вава построил шашлычную в виде часовни с крестом на куполе. Среди белых колонн дымился мангал, румянились на шампурах ломти, крепкие, как у собак, зубы вонзались в горячее мясо, звякали стаканы, и над пиршеством сиял православный крест.

— Ведь это богохульство, Вава, устраивать харчевню в храме, — журил его Лемнер.

— Командир, встреча друзей — святое дело, — пояснял Вава. — Мы пьем «За други своя» и за Русь православную!

Крышу своей усадьбы он покрыл сусальным золотом. Крыша горела, как Храм Христа Спасителя, затмевала соседние строения, вызывая раздражение чопорных соседей.

— Вава, твоя крыша — отличная мишень для украинских дронов, — мягко укорял Лемнер.

— Командир, я родился в подвале. Отец был водопроводчиком, мать лифтёршей. Оба в раю. Пусть оттуда видят, как живёт их сынок.

Вава завел любовницу-балерину, загонял её, голую, в фонтан и показывал друзьям, называя это представление «Лебединым озером». Он охотно раздавал интервью, сочиняя множество забавных африканских историй про носорогов, дикие племена, и показывал ягодицы с ритуальной татуировкой. Татуировку перед началом интервью балерина наносила акварелью на его деревянный зад.

Теперь, в кабинете Лемнера, Вава боялся присесть, ибо акварель на ягодицах не совсем просохла.

— Командир, не пойму, какого хрена я должен тренировать людоедов, слепышей, молососов и шлюх? Ты их хочешь везти на фронт? Лучше сразу перестреляй перед погрузкой.

— Вава, ты отличный начальник штаба. Но у всякой войны есть тайны, которым не учат в Академии генерального штаба. Мы сражаемся в этой войне за Святую Русь, за евангельские смыслы. На этой войне «разбойник благоразумный» становится святым. Слепец прозревает. Шлюха превращается в Марию Магдалину. А все мы, в проломленных касках и дырявых бронежилетах, становимся чистыми, как дети. Я объяснил, Вава?

— Командир, ты всегда прав. Мне не нужно тебя понимать. Мне нужно тебя любить. Ты всегда прав, а я всегда люблю тебя. Ты хотел меня убить куском асфальта, а спас во дворце президента Блумбо от черномазого охранника, сделав ему свинцовую начинку. Я буду с тобой всегда, командир. Если ты станешь самым великим человеком в мире, я буду рядом, в твоей тени. Если тебя поведут на расстрел, пусть нас расстреляют вместе. Я тебя вынес из боя, а ты меня вынес из сучьей тоски, когда я превращался в кусок дерьма. Я верен тебе навек. Можешь не оглядываться, за спиной у тебя я.

Лицо Вавы, закопчённое, мятое, как походный алюминиевый котелок, светилось. Лемнер подумал, что если исследовать это выражение его лица, то можно угадать, каким оно было в младенчестве. Лемнер был благодарен Ваве. Вава был русский, был воин, был умница, был родной. Вместе они переплывали чёрные воды, на которых недостижимо и чудесно переливался русский рай.

— Командир, этот чёртов пиджак я засуну в задницу портному, — Вава выставил большой палец, показывая, как станет ввинчивать пиджак в зад портного. Палец был огромный, красный, как морковь. Лемнер видел этот палец, просунутый в скобу автомата, на спусковом крючке. — Командир, я не создан для пиджаков, не создан для французских галстуков, голубого фонтана с мраморной бабой, не создан для гребаного дворца с золотой крышей. Я создан для камуфляжа с брезентовой разгрузкой на две обоймы и пары гранат, создан для окопа с мокрой глиной, для галет, которые хорошо погрызть после атаки. Но есть у меня мечта, командир!

— Никогда не думал, что скорострельная пушка может мечтать.

— Есть мечта, командир. Прихожу я домой, сволакиваю с себя пятнистую потную шкуру, принимаю душистую ванну, отираюсь мохнатым полотенцем, подхожу к шкафу. Тихонечко, нежно, чтоб не скрипнула, отворяю дверцу и вижу на вешалке китель кремового цвета, и на нём золотые погоны с двумя генеральскими звёздами. Надеваю этот китель, встаю перед зеркалом, и говорю: «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Разрешите обратиться?»

— Почему не генерал-полковник, Вава?

— До генерал-полковника не дотягиваю, а генерал-лейтенант в самый раз.

— Заказываю тебе кремовый китель, Вава. Буду просить Президента присвоить тебе звание генерал-лейтенанта.

— Спасибо, командир, — Вава ушёл, так и не присев. Унёс на ягодицах ритуальную татуировку африканского племени.

Лемнеру доложили о посетителе. Дверь приоткрылась, и в кабинет скользнул публицист Формер. Простроился, просочился, прозмеился, в чёрном пиджаке с блестящими отворотами. Стеклянным блеском отвороты напоминали змеиную чешую. Появление Формера сопровождалось уксусным запахом змеи. Полированная лысина Формера лоснилась, маленькие бирюзовые глаза холодно и точно смотрели, искали, куда бы ужалить.

— Брат Лемнер, — тихо прошелестел Формер и боднул воздух.

— Брат Формер, — прошептал Лемнер и легонько боднул воздух. Они обменялись знаками, которые подавали друг другу члены тайного ордена. Формер посмотрел в потолок, обежал глазами кабинет, приложил палец к губам. Палец Формера был длинный, голубой, заострённый, как сосулька.

— Брат Чулаки прислал передать, что через три дня наступит День Великого Перехода. Россия Истинная станет Россией Мнимой. «Корень квадратный из минус единицы» раскроет своё сокровенное содержание. Брат Чулаки хочет, чтобы вы, брат Лемнер, были готовы к Великому Переходу, способствовали раскрытию сокровенного содержания «корня квадратного из минус единицы». Вы обещали брату Чулаки в этот священный день быть с нами и открыть России врата из явного настоящего в мнимое будущее. Я готов изложить вам план, — Формер снова приложил к губам голубую сосульку. Лемнеру показалось, что с пальца упала талая капля.

— Но почему брат Чулаки решил, что Великий Переход состоится через три дня?

— Брат Чулаки наблюдает звёздное небо. Он уезжает в снежные ночные поля и наблюдает звёзды. Он смотрит на Млечный путь, который является Русской историей, и видит, как Русская история начинает искривляться. Млечный путь открывает свою бездонную глубину, и в ней сверкает усыпанный алмазами «корень квадратный из минус единицы». Млечный путь готов принять в своё сокровенное лоно Россию, и Русская история из подлинной становится мнимой. В этот день мы совершим Великий Переход, уйдём в сокровенное лоно Млечного пути. Туда, где в бриллиантах сияет Русский рай, он же «корень квадратный из минус единицы». Брат Чулаки, гадатель по звёздам, угадал в вас, брат Лемнер, поводыря, что поведёт Россию из подлинной завершённости в мнимую бесконечность. Вы готовы, брат Лемнер?

Лемнеру было известно увлечение высших лиц государства тайными учениями. Астрология и алхимия, пифагорейские исчисления и учение гностиков, масонские обряды и культ африканских племён. Обретая новое положение в обществе, встречаясь с высшими носителями власти, Лемнер следовал этим увлечениям.

— Вы готовы, брат Лемнер?

— Готов, — ответил Лемнер, глядя на кисть публициста Формера с пятью заострёнными пальцами, похожими на гроздь голубых сосулек.

План, изложенный Формером, был рождён несомненным стратегом, коим являлся Анатолий Ефремович Чулаки. Через день Президент Леонид Леонидович Троевидов отправится в дальний монастырь на реке Свирь молиться о спасении России. В отсутствии Президента охрана Кремля получит послабление, офицеры разойдутся по домам к жёнам, личный состав поротно отбудет на дискотеки. В этот день на московскую улицу выйдет погребальная процессия. Понесут гробы, покрытые трехцветными российскими флагами. В гробах убитые на Украине солдаты. Но не солдаты, а собранные по моргам бездомные бродяги, застывшие в крещенские морозы. Народ на тротуарах, оплакивая солдат, будет снимать шапки и рыдать. С процессией пойдут малые дети, понесут в озябших ручонках фотографии убитых отцов и плакаты: «Верните наших пап». Женщины в чёрных платках станут рвать на себе одежды, проклинать кремлёвских кровопийц, пославших на убой их сыновей. Разгневанные матери обольют военкоматы бензином и подожгут. Испуганные толстячки-военкомы разбегутся, оставив в огне списки призывников. К процессии присоединятся студенты, кому грозит мобилизация. Они обклеят себя надписями «Груз 200». Студентов поведёт ректор Высшей школы экономики Лео. Режиссёр Серебряковский поведёт за собой зрителей и актёров московских театров, протестующих против преступной войны. Впереди процессии черти из спектакля Серебряковского «Ад» будут колотить палками чучело Президента Троевидова. Вице-премьер Аполинарьев возглавит толпы молодых клерков, которых война лишила возможности ездить в Европу. Возмущённые толпы с разных концов Москвы притекут на Манежную площадь. Там развернётся громадный антивоенный митинг. С жаркой обличительной речью выступит Анатолий Ефремович Чулаки. Он направит толпу на Красную площадь. Гробы поставят перед Спасскими воротами и потребуют выйти к народу Президента Троевидова. Оставшийся в Кремле Антон Ростиславович Светлов, попросту Светоч, двинет поредевший Кремлёвский полк на толпу. В перестрелке погибнут люди, будет принесена «сакральная жертва». Полиция перейдёт на сторону народа. Войска под командованием народного любимца Лемнера войдут в Кремль, арестуют Светоча, возьмут под контроль все учреждения Москвы. Низложат Президента Троевидова, провозгласят Президентом Анатолия Ефремовича Чулаки. Блистательный телеведущий Алфимов восславит нового Президента. Философ Клавдиев возвестит о долгожданном возвращении России на европейский путь. Писатель Войский опубликует написанный в стол роман «Кровавый Леонид». Политолог Суровин назовёт Россию европейской страной, насильно загнанной Президентом Троевидовым в чулан «традиционных ценностей». Главы европейских государств пришлют приветствия Анатолию Ефремовичу Чулаки, вернувшему Россию в семью европейских народов. Тем временем пройдёт чистка по всей России. Станут вылавливать и уничтожать сторонников «традиционных

ценностей», выскабливать всех приспешников Светоча в университетах, учреждениях и гарнизонах. Михаил Соломонович Лемнер будет назван спасителем России, станет премьер-министром, и войска с развернутыми знамёнами возвратятся с фронта и разойдутся по домам. Война сама собой выдохнется.

Таков был план Великого Перехода, который должен состояться через три дня. Лемнеру предстояло сообщить Анатолию. Ефремовичу Чулаки, согласен ли он возглавить Великий Переход.

Лемнер слушал план в изложении брата Формера. На полу образовалась лужа от растаявших пальцев брата. Прощаясь, Лемнер пожал мокрую беспалую ладонь брата Формера…

Глава двадцать восьмая

Лемнер чувствовал, как его разрывают две могучие силы. Это были два дерева Русской истории, к которым он был привязан. Согнутые деревья содрогались, пружинили, как натянутые луки, стремились разойтись, распрямиться и разорвать привязанного к ним Лемнера. Млечный путь, что горел над ним в украинской степи, был Русской историей, был дорогой к Величию. Теперь дорога раздваивалась. Он стоял на перекрестке двух млечных дорог. Одна вела к Величию, а другая в чёрную бездну. Он не знал, какая куда ведет.

Брат Чулаки звал его в восхитительную Европу, дышащую смуглыми каменьями Колизея, железными кружевами Эйфелевой башни, витражами Кёльнского собора, изобилующую королевскими династиями, изысканной историей, где даже казни были овеяны траурной красотой. В этой Европе ему уготовано место, увлекательные знакомства, пленительные встречи, дворцы у лазурного моря, общество утончённых политиков, обаяние светских дам. И забвение этой тяжкой, свирепой, оскаленной и хрипящей России, застрявшей между эшафотами и алтарями, казнями и богомольями, среди которых заблудилась его библейская душа, обреченная на вечное сиротство среди хмурых снегов и чадных пожаров.

Но Величие, о котором мечтал, было возможно лишь в этой ужасной стране, среди её монастырей и казарм, её свирепых вождей и безмолвных мучеников, её взысканий, обращённых к небу из тюремных камер и кабаков. Его еврейское сиротство, его библейская неприкаянность и обида превращались в огненную лаву, в трясение русских вод и земель. Среди унылых пространств и тусклых веков начинал сверкать Млечный путь Русской истории, ведущий к Величию.

Лемнер не знал, на какую дорогу ступить. И только Лана с её колдовской прозорливостью, её всеведением, её чуткой нежностью могла наставить его, уберечь от ложного шага. Повести к Величию.

Они сидели в ресторане гостиницы «Националь» у огромного прохладного окна, за которым падал снег. В летучей белизне розовел Кремль, всплывал и тонул бледный янтарь дворца. Мчались сверкающие вихри машин с внезапными фиолетовыми молниями. Молнии отражались в бокалах, её тёмные глаза наполнялись свечением ночного моря, и Лемнеру казалось, что её глаза прозревают скрытые от него тайны.

— Два дерева Русской истории, не все ли равно, на каком я буду повешен, подобно герою тургеневского рассказа «Жид»? — Лемнер смотрел, как официант, любезно изогнувшись, плоскими щипцами снимает с серебряного

подноса две розовые ноги осьминога и укладывает на фарфоровые тарелки. Уложив, ещё раз ритуально касается щипцами розовых завитков, как касаются траурных лент при возложении венков. Два сочных розовых щупальца лежали на тарелках, окружённые едва заметными облачками пара.

— Нам принесли две ноги осьминога. Но существуют ли другие шесть ног? Быть может, это двуног? — Лана любовалась розовой эмблемой в белом круге, напоминавшей рыцарскую геральдику. — Там, на кремлёвской башне, воздет пятиног. На израильском флаге красуется шестиног. Мы не знаем, как устроено Государство Российское, сколько у него ног. Чулаки, Светоч, Иван Артакович — это трёхног. Каждый мнит себя будущим Президентом. Но все они — лжепрезиденты. Есть только один, истинный, Леонид Леонидович Троевидов.

— Да есть ли он на самом деле? Вместо него рыщет рой двойников. Ходят слухи, что его давно нет в живых.

— Все трое — лжепрезиденты. Над ними возвышается истинный и единственный, Леонид Леонидович Троевидов.

— Ты когда-нибудь его видела? Видела человека с бледными голубыми глазами, пепельными бакенбардами, с осанкой императора Александра Первого, у кого за ушами нет рубцов пластической операции?

— Я видела его однажды на Валдайском форуме. Он даже пожал мне руку. Я видела близко его белый широкий лоб. Мне казалось, что за лобной костью находится глыба обогащённого урана. Я была облучена им. Я почувствовала, что в этой гордо приподнятой голове таится громадный замысел. Не знаю, какой. Но всё, что сейчас происходит, — война на Украине, бегство из России знаменитых актёров и всемогущих банкиров, соперничество Светоча, Чулаки и Ивана Артаковича — всё входит в замысел. Президент вращает колесо Русской истории. Приходится гадать, в какую сторону. Здесь можно ошибиться и попасть под колесо Русской истории.

— Так помоги не попасть.

— Я очень мало знаю. Знаю, что у Президента есть близкий круг советников. В него не входит наш трёхног — Чулаки, Светов, Иван Артакович. Это личная разведка Президента. Её имя — «Кольцо», группа «К». Ей ведома истинная картина мира. Группа «К» выполняет в этом мире секретные поручения Президента. Эти разведчики рядом, среди нас. Я чувствую их присутствие. Но они рассеиваются, как дымок сигарет. Там, где побывала группа «К», случаются необъяснимые перемены. Разоряются могучие банки, бесследно исчезают губернаторы, рождаются нежданные законы, происходят виражи дипломатии. Мне кажется, твое восхождение обеспечивает Президент. За тобой наблюдает группа «К». Ты нужен Президенту, входишь в его замысел.

— В чём замысел?

— Он хочет соскрести с России окалину прежних пожаров. Соскоблить коросту изнурительных распрей. Хочет покончить с враждой славянофилов и

западников, а для этого уничтожить и тех, и других. Хочет расчистить от мусора поле, на котором станет возводить Россию Райскую. Не ту, что глумливо строит Иван Артакович, спаривая Ксению Сверчок с сынами африканских племён. А ту, ради которой Господь сотворил Россию. Ту, которую ты узрел, переплывая тёмные воды. Ту, что дремлет в каждой русской душе. Президент хочет, чтобы ты расчистил русское поле от борщевика и вместе с ним приступил к созиданию России Райской.

— Что я должен делать? — Лемнер был опьянён, словно она своими малиновыми губам выдыхала дурманящий дым.

— Должен уничтожить Чулаки. Пойди к Светочу и расскажи о дне Великого Перехода. В этот день погибнут западники и восторжествуют славянофилы с тем, чтобы погибнуть в урочный черёд. Светоч погаснет, и славянофилы растворятся во мгле Русской истории.

— А Иван Артакович Сюрлёнис? Эта третья лапа трёхнога?

— Его убьёт младенец с чёрной кожей и глазами цвета лазури.

Они ели осьминога, пили вино. Снежный пух падал под колёса машин. Розовый Кремль плыл в снегопаде. Лемнер вдруг испугался фиолетовых молний в её колдовских глазах. Глаза смотрели из непроглядных глубин, где обитали неопознанные сущности…

За Ланой пришла машина с горбоносым белозубым шофёром, зверски блеснувшим на Лемнера горскими глазами. Лана унеслась в снегопаде, неизвестно куда. Лемнер по-прежнему не знал, где она обитает. Из её неведомого жилища долетал запах горьких духов и шелест разноцветных шелков.

Лемнер стоял среди сочных огней Манежной площади. Снег падал ему на волосы, сквозь не застегнутое пальто залетал на грудь. Старался угадать то неназванное, что мелькнуло в их разговоре и растаяло, как дымок сигареты. Подкатила его машина, сбрасывая струи огней. Следом тяжёловесный, как чёрная глыба льда, фургон охраны. Охранники вываливались из фургона, потешно занимали позицию, готовые отражать несуществующее нападение. Лемнер погрузился в душистую глубину салона и помчался в Кремль, к Светочу.

Светоч слушал молча, обратив к Лемнеру уцелевшую половину лица. Его серый глаз смотрел со стальной жестокостью. Когда Светоч повернулся к Лемнеру своими ожогами, кварц в глазнице казался стаканом крови.

— Это следовало ожидать. Я приказал начальнику тюрьмы Лефортово освободить камеры для новых постояльцев. Вы арестуете Чулаки и его клику и доставите в Лефортово. Я сам допрошу их сразу после ареста.

Лемнер покидал Кремль. Соборы, как тени, качались в снегопаде. В колокольне Ивана Великого мутно светилось оконце. Там сидел летописец, макал в чернила гусиное перо, готовый писать ещё одну страницу русской летописи.

Глава двадцать девятая

Утро выдалось угрюмое, без рассвета, с железной тьмой. Фонари светили мутно, не доставали земли, под каждым висел жёлтый мешок света. Дома, тупые, сдвинутые тесно кубы, с трудом просыпались, зажигали слипшиеся окна. По тротуарам торопились злые пешеходы. Улицу скребло стадо идущих в ряд снегоуборочных машин. Воспалённо, окружённые больным туманом, загорались светофоры. Становилось тесно от проезжих машин, несущих на горбах сугробы нападавшего за ночь снега. Чуть светало. Над крышами летели вороны, направляясь скрипучим полчищем к месту мусорных трапез. Режиссёр Серебряковский ездил по моргам, добывая мертвецов для предстоящего шествия в день Великого Перехода.

Стены мертвецкой, крашенные серой масляной краской, казались липкими от обилия побывавших здесь покойников. Серебряковский хищным взглядом режиссёра оглядывал мертвецкую, помещая её в свой будущий спектакль. Каменный стол с голым мертвецом. Поставленные один на другой три гроба в красном ситце. Санитар в грязном халате и резиновом фартуке, увозивший каталку, на которой прибыл мертвец. Служитель морга, передающий мертвецов родне. Два таджика в ушанках и грязных шарфах вокруг тощих шей. Серебряковский старался запомнить яркость красных гробов, тусклую слизь стен, продрогших таджиков, тоскующих в русской мертвецкой о гранатовых садах, служителя, доставшего из кармана гребешок и расчёсывающего свои непокорные брови, покойника, лежащего на спине. У покойника было жилистое синеватое тело, пухлый живот с резиновым пупком, чёрные ногти на скрюченных пальцах ног, ворох ржавых косматых волос, из которых выглядывали распухшие ноздри, разбитые приоткрытые губы с лиловыми дёснами и одиноким зубом, застывшие, глядящие из шерсти глаза. Всё было зрелищно, со всеми подробностями войдёт в спектакль о Великом Переходе.

— Загружаем, — приказал Серебряковский таджикам.

— Да, хозяин, — таджики сняли с гроба крышку, поставили у стола. Нутро гроба было не тёсано, с торчащей щепкой. Серебряков подумал, что у мертвеца будет много заноз.

— Кладите, — приказал таджикам. Те, было, ухватили тощие лодыжки бомжа, но служитель остановил.

— Дайте хоть причешу. Солдат бритый, стриженый, а этот, как Карл Маркс.

— Он ополченец, — сказал Серебряковский, глядя, как служитель гребешком расчёсывает гриву мертвеца.

Таджики свалили тело в гроб. Оно хлюпнуло. Таджики накрыли гроб крышкой и наспех пришили крышку гвоздями.

— С возвратом. Вечером пожалуйте обратно, — служитель расчесал гребешком свою нарядную бородку.

Второй мертвец был парнем с открытыми голубыми глазами, длинной ножевой раной под рёбрами. Третий мертвец — старая женщина с отпавшими на стороны грудями, чёрными, длинными, как пальцы, сосками.

— А мужика не нашлось? — Серебряковский хотел тронуть сосок, но не решился.

— Какая разница? Война народная, бабы, мужики под ружьё, — служитель принимал от Серебряковского деньги, бойко пересчитывал. Таджики заталкивали в гробы мертвецов, переваливали внутрь гроба тёмный жир женских грудей. Несли гробы в микроавтобус, который сквозь пробки пробирался к Октябрьской площади.

Рассвет неохотно просачивался в тёмное небо. Бронзовый Ленин умоляюще прижал к груди кепку. Матросы, солдаты и рабочие вели вокруг вождя карнавальный хоровод. Было густо, черно от толпы. Пешеходы муравьиными тропами тянулись на площадь, копились у светофоров, перед рычащим строем машин опрометью кидались, вливались в толпу у памятника и шарахались. На снегу краснели гробы. Они были заботливо, по линейке, поставлены. Таджики в дворницких рукавицах, греясь, притоптывали, словно отбивали чечётку.

Появился человек с матерчатым рулоном. Кинул рулон на снег, стал разворачивать. Развернулись трехцветные российские флаги. Человек покрикивал на толпу:

— Отойдём, отойдём!

Он накрывал гробы флагами. Гробы стояли в полосатых попонах. Серебряковский не мог угадать, где, накрытый флагом, лежит волосатый бомж, а где грудастая, с чёрными сосками, старуха. Всё тем же цепким взором художника он осматривал площадь с гробами. Она была сценой, где разыгрывался первый акт грандиозного, задуманного им спектакля.

Подкатил автобус, из него возбужденно высыпали дети, воспитанники детского дома. Воспитательница в мужской меховой шапке ловила за рукав убегавшего мальчика. Задыхаясь от мороза, кричала:

— А ну, стой, Николаев! Стой, паршивец!

Молодой человек разворачивал бумажный свиток с ворохом верёвочных тесёмок, вешал на грудь детям плакатики с надписями «Верните наших пап». Дети стояли покорно, увешенные плакатиками. Серебряковский усмехнулся. Они походили на партизан перед виселицей.

Появился духовой оркестр, добытый на московском кладбище. Музыканты в шубах, ушанках, просунув головы в завитки медных труб, тёрли перчатками мундштуки, шлёпали толстыми, натёртыми о медь губами. Раздавалось утробное рычанье трубы. Трубач сплёвывал, облизывая языком губы.

Серебряковский, получив синий, с красным нутром мегафон, пощупал звуком металлический воздух. Возгласил:

— Граждане, выдвигаемся! Не растягиваться! Плотной колонной! И да поможет нам Бог!

Толпа колыхнулась в одну, другую сторону, шагнула под колёса автомобилей, которые взвыли разгневанно.

Серебряковский выступал впереди колонны. Пятился, обращая к колонне дребезжащий сосуд мегафона. Обращался к ней спиной, шествуя, как поводырь. Казался себе Моисеем, выводящим народ из плена египетского. Его шаг становился величавым, плывущим, мегафон превращался в посох, он ударял им в асфальт Якиманки, и начинали бурлить ключи.

Таджики несли гробы, выглядывая головами из-под полосатых полотнищ. Рядом семенили замёрзшие дети с сиротскими плакатиками, умоляя вернуть им лежащих в гробах отцов. Женщины в чёрных платках шли, спотыкаясь. Начинали выть, рвать на себе платки.

— Коля, Коленька, встань из гробика, обними свою жёнушку!

— Витя, Витенька, да какой же ты был красивый, как любил свою Наденьку!

— Мы с Ванюшкой без тебя пропадаем! Возьми нас в свой гробик!

— Да что же они с тобой, Серёжа, сделали! Послали под пули, а мне до старости слёзы глотать!

Женщины спотыкались. Их поддерживали подруги. Ветер загибал на гробах флаги, разматывал на женщинах платки.

Оркестр выталкивал из труб замёрзшие звуки, падающие на мостовую, как ледышки. Музыканты раздували сизые щёки, пучили глаза. Машины залипли в толпе, истошно гудели, и вой гудков был, как рыдания. Когда проходили церковь Иоанна Воина, ударили колокола. Ледяные звоны, медные уханья, женские вопли, вой гудков, танцующие над головами гробы, детский щебет, множество шуб и шапок, свекольные щёки, дышащие паром рты превращали Якиманку в место старинных московских бунтов, стрелецких казней и отпеваний. Серебряковский, кудесник, великий режиссёр, играющий небывалый спектакль, который войдёт в историю русского театра, полного плах, расстрелов и революций.

Такой увидел Якиманку Лемнер из окна своего кабинета. Из раскрытой фрамуги лился рёв улицы. Лемнер был театрал и смотрел спектакль из ложи. Его волновала толпа, волновали гробы, волновали застывшие дети, вдовьи платки театральных актрис и брат Серебряковский, подаривший Лемнеру великолепный спектакль. Лемнер смотрел из ложи, поднося к губам бокал золотого Шабли, и хотелось по театральному, восторженно крикнуть: «Браво!» Отставил бокал и взял рацию:

— Вава, пропускай их к Манежной. Мужика с мегафоном отдай мне. Гробы можешь забрать себе. До связи!

По Остоженке лилась колонна молодёжи, ведомая ректором Высшей школы экономики Лео. В норковой шапке с наушниками, в шубе с бобровым воротником, в сапожках на меху, он шёл, перебирая маленькими проворными ножками, круглый, бодрый, уютно спрятанный в меха. Он был водитель молодого непокорного племени, властитель дум, собиравший на свои лекции ищущие молодые умы. Теперь молодёжь, напоенная его проповедями, следовала за ним в благословенную Европу, прочь от дурацких колоколен, памятников царям и вождям, от недоумков с намасленными волосами, зовущих в Царствие Небесное среди казарм и тюрем. Лео одолел русскую злобу и суеверие и уводил учеников из ледяной азиатской страны в чудесную одухотворённую Европу.

Молодёжь в колонне веселилась, толкалась, желая согреться. Шли парни, неся на груди плакаты «Груз 200» с черепами, но при этом смеялись, пихали друг друга под бока. Девушки натянули поверх свитеров украинские вышиванки, пробовали петь «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю». Но слов не знали и хохотали. На дощатом помосте плыло над толпой тряпичное чучело Светоча. Его узнавали по изуродованной, из рыхлого пенопласта, половине лица, на котором, вместо глаза, мигал рубиновый фонарь. Чучело держало в руках картонный автомат, из которого пыхало конфетти. Колонна молодёжи достигла колонны, несущей гробы. Обе колонны сливались, братались. Лео и Серебряковский, бок о бок, воздели руки, два «лидера общественного мнения», вожди восстания.

Третья колонна пришла со Знаменки. Её вёл вице-премьер Аполинарьев. Долговязый, с маленькой головой, как гнутый фонарный столб, он прижимал растопыренные, в перчатках, пальцы к груди. Из пальто то и дело появлялась пучеглазая мордочка собачки корги. Собачка выпрыгивала, летела к земле, но рука в перчатке ловила её на лету и засовывала за вырез пальто.

Колонна состояла из мелких банковских служащих, работников рекламных бюро, секретарш и референтов крупных компаний. Здесь было много норковых шубок, модных шапочек, куньих воротников, соболиных горжеток. Шли знаменитости, окружённые поклонниками. Известный модельер, обряжавший русских толстух в заморские платья, делавшие их смешными дурами. Дизайнер, оформлявший ночные клубы особым наркотическим дизайном. Художник, придумавший инсталляцию запахов, где тонко дозировал французские духи и зловонье лежалой селёдки. Всё это бодро, бурно выступало, скандировало: «Европа! Европа!» — и в этом грозном требовании дышащих паром ртов вдруг начинал бархатно, сладко рыдать саксофон, похожий на выловленного в глубинах морского конька, умолявшего вернуть его в лунные воды. Колонна простроилась к Каменному мосту и вязко слилась с другими, неохотно, как слипается пластилин. Толпа не вмещалась в улицу, наполняла Манежную площадь парным варевом.

Публицист Формер в дневной телепрограмме Алфимова звал москвичей на «праздник русской зимы», которая становится праздником «европейской весны».

Ему вторил Алфимов, мастер магических заклинаний:

— Каждый, кто желает стать европейцем, пусть немедленно явится на Манежную площадь. Там происходит чудесное преображение. Россию возвращают в семью европейских народов. Счастье России, что среди русских, длящихся столетиями морозов появился человек, вокруг которого тают льды и расцветают подснежники. Таким человеком является Анатолий Ефремович Чулаки, русское солнце европейской весны!

Толпа с Манежной, тёмная и вязкая снаружи и расплавленная внутри, двумя языками лизала Исторический музей. Полицейские турникеты разлетелись, и кипящая гуща влилась на площадь, охватывая Исторический музей клейкими объятьями.

Гробы поднесли к Спасской башне и сложили перед запертыми воротами. Дубовые тесины ворот были схвачены кованым железом. Вдовы били головами в ворота, скребли ногтями. Золотые куранты нежно позванивали в белых камнях башни.

Гробы, саксофоны, чучела, рыдающие вдовы, поющие девушки, звенящие мегафоны, истошные вопли — всё слышал и видел Анатолий Ефремович Чулаки, поднятый соратниками на Лобное место. Там стояли микрофоны, щёлкали камеры, мерцали вспышки, водили плавные круги операторы. Они походили на грифов, завидевших добычу, но не смевших её клевать.

— Сограждане! Братья! — Чулаки стянул меховой картуз, показав площади рыжие волосы. Он был одет в штормовку с волчьим воротником, какую любил надевать Президент Троевидов в дни военно-морских манёвров. — Я обращаюсь к вам с Лобного места, откуда буду услышан всей Россией!

Анатолия Ефремовича Чулаки возбуждал его голос, который он отдавал микрофону, и тот наполнял голос металлом, оснащал металлическими крыльями. Голос метался среди цветных куполов Василия Блаженного, ударял в кремлёвскую стену, цеплял зубцы, скользил по шлифованному граниту мавзолея, взмывал к рубиновым звёздам, рассыпая над толпой металлические вибрации, вновь возвращался к Чулаки, как беспилотник, облетевший поле боя.

— Сограждане, у России есть два пути. В Европу и в бездну. Сегодня к власти в России пришли самые дремучие тёмные духи русских подвалов, где без света и солнца преет картошка. Она прорастает бледными, как черви, стеблями. Россия — картофелина, проросшая водянистыми бесплодными стеблями, которые не дадут ни одного зелёного листа, ни одного цветка. В России Президента Троевидова нет и не будет нобелевских лауреатов, открывателей физических и биологических законов, не будет авторов великих книг и картин, ясновидцев, прозревающих будущее, преобразователей, ведущих страну к

совершенству. Тупая сила военкоматов, угрюмое самодовольство чиновников, ненависть к творчеству, страх перед новизной и тюрьмы, аресты, изгнания. Но мы не хотим уезжать из России! Не хотим, чтобы нас проклинал мир! Не хотим, чтобы наши цветущие юноши умирали по приказу хитрого и злого Президента, который, прежде чем выпить утреннюю чашечку кофе, радостно просматривает список очередной тысячи убитых на фронте солдат. Сограждане, пусть Президент Троевидов выйдет из своего кремлёвского бункера и откроет эти гробы! Пусть посмотрит в мёртвые глаза тех, кто мог бы составить честь России, отраду матерям, счастье семьям. Президент Троевидов, выходи!

Чулаки поспешил натянуть на замёрзшую голову меховой картуз, и площадь заахала, заревела, слила отдельные голоса в свирепый клич.

— Президент, выходи! Президент, выходи! Президент выходи! — грохот голосов был подобен ударам стенобитной машины, долбившей кремлёвскую стену.

Проворные мужички подбежали с канистрами, стали плескать на деревянные ворота, подожгли. Ворота, окружённые каменной аркой, горели, похожие на огромный камин. Народ, увидев огонь, забушевал, ополоумел, как во время старинных бунтов. Слепо кидался в огонь, отскакивал в дымящих шубах и шапках.

Всё это видел Лемнер из своего кабинета, сидя за столом с бутылкой Шабли. Зрелище площади доносило несколько камер, установленных на ГУМе, Историческом музее и в шатрах Василия Блаженного. Путь к Величию пролегал через Красную площадь, сквозь народный бунт и московский пожар, как перед тем он вёл через африканскую саванну с летучими антилопами и украинскую степь с горящими танками.

Стуча по брусчатке, раздвигая толпу, появился бульдозер. Вдавливался в мякоть толпы, приближаясь к воротам.

— Президент-людоед! Леонид Кровавый! — Чулаки вонзил заостренную ладонь в воздух, указывая на горящие ворота, за которыми прятался трусливый властитель. То был жест полководца, посылающего в бой полки.

В кабине бульдозера ёрзал, вертелся лихой малый в расстёгнутом бушлате и тельняшке. Его пьянила толпа, бодрили свисты, хлопки ладоней по дверце кабины. Он был герой, в тельняшке десантника, вёл свою кособокую махину на амбразуру. Объехал лежащие гробы, прицелился, с лязгом разогнался, саданул ворота. Тупо громыхнуло, отбросило бульдозер. Из ворот пахнуло искрами, накрыло бульдозер одеялом, обожгло толпу. Бульдозер пятился, уносил на ноже клок огня.

— Шибче бей! С разгону! — понукала толпа. Парень крутился в кабине. Отвёл бульдозер, готовясь к тарану. Ворота горели, окружённые белым камнем. Девять гробов ждали, когда их пропустят в ворота. Золотые часы сладко переливались. Народ кружил по площади чёрными водоворотами. Ревел духовой

оркестр, не умевший играть ничего, кроме похоронных маршей. Девушки в вышиванках скакали на трибуне мавзолея, где когда-то стояли советские вожди в шляпах и меховых пирожках. Парень с плакатиком «Груз 200» обмотался украинским флагом.

Всё пестрело, искрило, ревело на телеэкране. Алфимов голосом зазывалы восклицал:

— Смотрите! Так выглядит Россия, когда она рвёт постромки и несётся вскачь! Горе тем, кто попадёт под её копыта! Кто он, отважный наездник, что остановит коня и укротит его бешеный бег? Направит на столбовую дорогу истории! Анатолий Ефремович Чулаки, возница, не позволит опрокинуть карету русской истории, направит её по дороге в Европу!

Камера вела по горящим Спасским воротам, по шальному бульдозеру. С разгона, мимо гробов, бульдозер ударял в ворота. Летели ворохи искр. Лицо Чулаки было безумным, с побелевшими глазами.

— Вава, пора! — Лемнер стряхнул на пол недопитое Шабли, пошёл к лифту, где ждал его «мерседес» с двойным бронированным дном.

Показались узкие змеиные головы транспортёров с набережной на Васильевском спуске.

— Сограждане, армия с нами! Армия не желает проливать кровь за людоедские прихоти Троевидова! Русская армия братается с солдатами братской Украины! — Чулаки с Лобного места протягивал руки навстречу бэтээрам, словно на руках был румяный пшеничный каравай с расписной деревянной солонкой.

— Происходит долгожданное братание армии и народа! — восклицал Алфимов, выводя на экран головные бронетранспортёры.

Машины мягко прострочились по брусчатке мимо цветастого храма и выпустили долгую пулемётную очередь в бульдозер. Парень в тельняшке был разорван, бульдозер продолжал катить, ткнулся в ворота и стоял в огне. Транспортёры мяли толпу, крутили пулемёты, выстригая хлюпающие круги. Переползали лежащие, ещё вздрагивающие тела, разворачивались, ударяли кормой демонстрантов, продолжая стрелять. От них шарахались, падали, бежали по спинам. Девушку в вышиванке затаптывали, юноша с плакатиком «Груз 200» скакал, как кенгуру, по головам. Чучело рухнуло и рассыпалось, красный фонарь продолжал мигать. Гробы раздавили, мёртвая седая старуха с жирными грудям разбросалась на брусчатке. Бородатый бомж был расплющен колесом транспортёра. Площадь стенала, ревела, визжала. Били куранты, сведя золотые стрелки. Режиссёр Серебряковский, несомый толпой, восхищался спектаклем с небывалой режиссурой великого мастера. Этим мастером был он, внёсший вклад в современный русский и мировой театр.

Лемнер установил посты на перекрёстках улиц, отлавливал смутьянов, братьев ордена «Россия Мнимая» и «Европа Подлинная».

Анатолия Ефремовича Чулаки взяли на Лобном мете, где он продолжал кричать в мегафон, зазывая Россию в Европу. Ректора Высшей школы экономики Лео отловили в церкви, когда он прикинулся верующим, исповедовался у батюшки, нырнув под золотую епитрахиль. Его узнали по толстенькому вертлявому заду. Режиссёра Серебряковского схватили на крыше ГУМа, откуда он наблюдал течение толп и в синий, с красной сердцевиной, мегафон кричал: «Дубль второй!» Публициста Формера узнали по розовой лысине, торчащей из мусорного бака. Он ни за что не желал покидать бак, грозил, что будет жаловаться в Европейский совет по правам человека. Вице-премьер Аполинарьев сам сдался властям, умоляя об одном — чтобы ему позволили взять на каторгу собачек корги.

Глава тридцатая

Ещё чернели обугленные тесины Спасских ворот, ещё солнечно блестел лёд на брусчатке, с которой поливальные машины смывали кровь, ещё стояли на перекрёстках хищные бэтээры с расчехлёнными пулемётами, а в студенческих общежитиях рыскали наряды, вылавливая смутьянов, в кабинетах губернаторов, офисах корпораций, в ночных клубах и храмах шли обыски, но Светоч и Лемнер уже отправились в тюрьму Лефортово, где содержались главные бунтари.

Анатолий Ефремович Чулаки бы помещён в одиночку с серыми бетонными стенами. Железная кровать с тощим матрасом, суконное тюремное одеяло, унитаз в углу, лампочка в треть накала, пугливо глядящая из решётчатого гнезда. Чулаки бурно вскочил с кровати. Его рыжие волосы утратили победный цвет и казались высыпанной на голову золой. Веснушки чернели, как сгоревшие на щеках порошинки.

— Это возмутительно, Антон Ростиславович! — кинулся он к Светочу, но тот холодно его осадил. — Брат Лемнер, вы лучше других знаете благонамеренность моих побуждений. Всю жизнь я посвятил процветанию России. Недаром, в учебниках называют новейший период Русской истории «периодом Чулаки»!

— Этот период завершён, Анатолий Ефремович. Будут написаны другие учебники, — Светоч созерцал возмущённого Чулаки холодно и жестоко.

— Но это же дико! Вы обрекаете себя на позор! Весь мир вас осудит! В чём вы меня обвиняете?

— Вы обвиняетесь, Анатолий Ефремович, в учинении государственного переворота, ставящего целью убийство Президента России Леонида Леонидовича Троевидова, расчленение России и передачу её территории под контроль недружественных государств.

— Наветы! Клевета! Я предан Президенту! Я содействовал его избранию! Я помогал ему в европейских делах! Подарил ему венецианскую вазу, куда он ставит розы из своего сада. Когда мы катались на лыжах в Швейцарии, я варил ему глинтвейн в горном отеле. В Париже я познакомил его с чернокожей танцовщицей Франсуазой Гонкур из «Мулен Руж». Она учила его танцам кабаре. Если бы вы видели, господа, Леонида в розовом трико с павлиньими перьями на спине, танцующего птичий свадебный танец! Уверен, вы стали бы орнитологами! Ха-ха-ха! — Чулаки захохотал, вспоминая парижские шалости. Леонид Леонидович натягивал розовое трико на мускулистые ляжки, тряс павлиньими перьями и наскакивал на чернокожую танцовщицу, изображая страстную птицу.

— Вы спросите Леонида Леонидовича, и недоразумение само собой рассосётся!

— Вам придётся дать показания о разветвлённом заговоре. Вы сплели его, пользуясь влиянием в правительстве, деловых кругах, губернаторском сообществе, среди творческой и научной интеллигенции. Вы пустили свои ядовитые корни во все сферы нашего общества, и теперь нам придется выжигать эти корни калёным железом.

— Какой заговор? Какие намерения? — возопил Чулаки, кусая себе ногти, как это делал в минуты паники.

— Передача Калининграда Германии. Передача Курил Японии. Передача Кавказа Турции. Передача Пскова Эстонии. Передача Арктики Норвегии. Расчленение России на двадцать независимых государств, включая Уральскую республику, Восточно-Сибирскую республику, Дальневосточную республику. Образование независимого Татарстана, Якутии, Чувашии и Мордовии. Вам предстоит дать показание на открытом суде, где вас будет судить народ России, и вы назовёте своих приспешников!

— Никогда! Слышите, никогда! Вы слышите, брат Лемнер! — Чулаки величественно сложил на груди руки, готовый погибнуть, но не потерять честь.

— Брат Чулаки, вам предстоит вернуть народу шедевры русских художников, которые вы держите на складе древесных изделий «Орион». Вам не удастся вывезти их в Европу, — Лемнер видел близкий, надменно вздёрнутый нос, рыжие, рысьи, ненавидящие глаза. Коротким ударом расплющил его нос. Чулаки, хрюкнув кровью, повалился на кровать. Покидая камеру, Лемнер слышал писклявый плач.

Ректор Высшей школы экономики Лео сидел в камере с ногами на кровати, замотанный в одеяло.

— Господин Лео, к вам несколько вопросов, — Светоч старался при тусклой лампе разглядеть острую мордочку, торчащую из одеяла.

— Меня нет дома. Тук-тук, кто там? Я пошла к соседке. У меня курочка снесла яичко. Яичко не простое. Кто, кто в теремочке живёт? — Лео выглядывал из норки пугливыми глазками, был, как затравленный зверёк.

— Господин Лео, — Светоч выманивал Лео из убежища, — вы обвиняетесь в том, что годами внушали студентам неприязнь и ненависть к России, собрали коллектив педагогов-русофобов. Они утверждали, что русские произошли от дикого племени, обитавшего на болотах и питавшегося улитками. По вашему утверждению, дикари хватали улиток пальцами ног и совали себе в рот. Самки этого племени поедали самцов, едва происходило оплодотворение. Вы находите подтверждение этой гипотезы в произведениях русской классики. К тому же вы работаете на английскую разведку и передаёте англичанам чертежи наших подводных лодок.

— Выросла в саду репка большая-пребольшая, и решил Иван Царевич жениться, а в кумовьях у него был один купец по имени Имбирь, который имел земляной ключ и открывал клады, — Лео вылез из-под одеяла и голосом сказителя продолжал: — А на ту пору ехали на ярмарку три молодца из дальнего сельца, которым был от царя наказ.

Лемнер смотрел на толстенькое тельце ректора, на короткие ручки с растопыренными пальчиками, как у лягушонка, и думал, какой звук издаст это тельце, если его шмякнуть о стену.

— Брат Лео, — Лемнер примеривался, как ловчее ухватить Лео и шваркнуть о стену, — помнится, вы говорили, что держите у себя картину русского художника Боттичелли «Рождение Афродиты». Верните её народу.

— А жил в том городе один человек по имени Аким.

Лемнер ухватил Лео за жирные бока, приподнял и швырнул в стену. Звук был хлюпающий, чмокающий, будто раздавили лягушку.

Режиссёр Серебряковский, увидев гостей, раскрыл объятья. Не поймал в объятья Светоча и стал кланяться пылким режиссёрским поклоном, венчающим триумфальную премьеру.

— Каково, господа! Такое не приснится самому Мейерхольду! Этот спектакль войдёт в учебники мировой драматургии. «Школа Серебряковского». Каково, господа! Сцена — Красная площадь, «Борис Годунов», «Хованщина», «рассвет на Москве-реке»! Актёры — весь русский народ, идущий крёстным путем. Зритель — сам Господь Бог, глядящий неба, и я, взирающий с крыши. Такими спектаклями сотворяется история, господа. Мы с вами — творцы русской истории! — Серебряковский согнул в поклоне гибкий хребет, ожидая летящие из зала ворохи роз.

— Господин Серебряковский, вы режиссёр государственного переворота, и вам уготованы не розы, а суд и пуля в тёмном коридоре Лубянки. Там состоится ваш последний выход, — Светоч брезгливо убрал ногу в туфле, которой в поклоне едва не коснулся Серебряковский. Ему казалось, он всё ещё находился на крыше. Розовые кремлёвские башни, золото куполов и чёрное парное варево, вязкие водовороты толпы, в которую врезаются стреляющие бэтээры. Такова была пьеса, играть которую доверила ему судьба. Кончились мучительные искания формы, чахлый модернизм, изнурительная порча классики. Эта была русская классика, которую ничто не могло испортить. Это был истинный русский театр, и он был его режиссёр.

— Господин Серебряковский, нам известно, что вы готовили убийство Президента России Леонида Леонидовича Троевидова. Вы пригласили его на свой спектакль «Ад», отведя ему ложу, которую наполнили ядовитыми бенгальскими змеями. Президент уцелел, потому что мы запустили в ложу собаку-змеелова, и она передушила бенгальских змей. Ваш театр — это фабрика, вырабатывающая русофобию. Зрители, едва покидают театральный

зал, начинают осквернять церкви, жгут портреты Пушкина, Суворова и Кутузова, заворачиваются в украинские флаги. Вы передали французской разведке имена засекреченных русских учёных и инженеров, и на них были совершены покушения. К тому же вы похитили из запасника Тобольского музея картину русского художника Рембрандта «Ночной дозор» и намерены вывезти её в Европу.

— Господа, какое счастье, что вы меня посетили! В России мало подлинных театралов. Я поведу вас на крышу, мы укутаемся в тёплые пледы, будем пить горячий глинтвейн и смотреть, как в разных районах Москвы занимается пожар. Великий русский пожар, господа!

В глазах Серебряковского катались шары ртути. На губах выступила розовая пенка. Он тянул к Лемнеру худые, с голубыми венами, руки. Пальцы с розовыми лакированными ногтями трепетали. Лемнер сделал пируэт, очертил ногой круг и ударил Серебряковского в пах. Серебряковский сломался пополам и замер в позе журавля, достающего из воды улитку.

Камера публициста Формера дохнула зловоньем. Скверный запах принёс с собой Формер из мусорного бака, где был найден среди рыбьих объедков, тухлых приправ, скисших молочных пакетов. Увидев Светоча и Лемнера, Формер повёл по сторонам глазами, ткнул пальцем в потолок, где в решётке мигала лампа. Давал понять, что ведётся подслушивание. Надвинулся полированной лысиной. Лысина отражала лампу и мигала.

— Господа, только вам, только высшему руководству! Во-первых, Чулаки. Дважды ездил в Брюссель, передал карту с размещением секретных бункеров нашего, хранимого Богом, Леонида Леонидовича Троевидова. Ну, вы понимаете, сверхточная ракета, необогащенный уран, и мы теряем Президента! Во-вторых, ректор Лео. Помогал врагу составлять санкционные списки, останавливающие работу наших оборонных заводов. Подлец, подлец! Далее, режиссёр Серебряковский. У него досье на всех патриотов, будь то депутаты, учёные или писатели. Они подлежат истреблению, буквально, буквально! Как насекомые. Его, а не мой термин. И наконец, Аполинарьев! Он хочет отобрать младенцев у кормящих грудью русских матерей и заставить их выкармливать щенков корги. Всё это записано, господа. Готов предоставить по первому требованию! — Лысина Формера мигала, как указатель поворотов.

— Господин Формер, — Светоч отводил нос, чтобы не дышать падалью, — Вам принадлежит план стерилизации русских мужчин и женщин с целью резко уменьшить численность русских. Вы разработали вакцину, якобы от гриппа, которая обрекает человека на бесплодие. Вы предлагаете отказаться от слова «русский», заменив его словом «рабский». Всё это послужит основанием для процесса, на котором вы предстанете обвиняемым! — Светоч достал платок и закрыл себе нос.

— Боже мой! Боже мой! Какая несправедливость! Я русский, до мозга костей! У меня дома только русская кухня. Берешь редисочку, режешь мелко-мелко! Ах, боже, я играю на балалайке, мы с друзьями пускаемся в пляс. Я пою русские народные песни. Да, да, послушайте. «Вниз по матушке по Волге», ну, в общем, вниз по реке!

— Господин Формер, вы обвиняетесь в хищении художественного полотна кисти великого русского художника Ренуара «Мадам Самари».

— Боже упаси! Какой Ренуар? Какая мадам?

Лемнеру был невыносим запах падали, невыносимо мигание лысины, отвратителен агент четырёх разведок и гражданин пяти государств. Удар, который Лемнер нанёс Формеру, был столь силен, что лысина перестала мигать, хотя лампочка в железном абажуре мигала.

Разговор с вице-премьером Аполинарьевым был непродолжителен. По камере сновали собачки корги, Аполинарьев разжёвывал тюремную корку, открывал рот, и собачки хватали хлебный мякиш с его языка. Аполинарьев был обвинён в том, что тормозил работу оборонных предприятий, остановил производство беспилотников и передавал врагу протоколы правительственных заседаний. Он похитил и утаивал полотно провинциального русского живописца Рафаэля «Сикстинская мадонна», и рыдал, когда Лемнер изловил юркую собачку и расшиб ей голову о тюремную стену.

Глава тридцать первая

По Красной площади, раздувая моржовые усы, кружили поливальные машины, искусно, слой за слоем, намораживали голубой лёд. Ледяное поле обнесли дощатой изгородью, повесили золотые, алые, зелёные фонари, похожие на церковные лампады, пустили на лёд конькобежцев. Зазвенели, зашелестели, засверкали коньки, вырезая на льду эллипсы и круги. Летучие счастливые мужчины и женщины выписывали вензеля, взлетали, блестели коньками, оставляли на льду шуршащие росписи. Из синего ночного неба смотрели рубиновые звезды, золотились на башне стрелки часов, с бархатным рокотом били куранты. И никто не вспоминал кровь на брусчатке, раздавленных, пробитых пулями демонстрантов, разбросанные гробы. Всё было покрыто чудесным голубым льдом. Счастливые люди кружили под музыку среди разноцветных лампад.

Лемнер катался с Ланой. Он давно не вставал на лёд, но стопа, одетая в тёплый носок, чувствовала играющий конёк, твёрдую скользкую гладь, длинный разбег с плавной дугой, из которой, наклоняясь, он выпадал с тихим звоном, оставляя на льду изысканную монограмму.

Лана, в тёмных рейтузах, короткой юбке, белом свитере, каталась с упоением, похожая на балерину. Лемнер любовался, как она, отняв ото льда ногу с блестящим коньком, катится на другой ноге, раскрыв руки, наслаждаясь долгим скольжением, пока не кончался разбег. Она снова неслась, как раскрывшая крылья птица. Он чувствовал гибкость её спины, стройную силу ног, плавность скользящего тела.

— Догоняй! — Её коньки звонко лязгнули, озарённое лицо промчалось мимо, под ногами полетели синие искры. Налетевший от неё ветер, ворох волшебных искр, сияющие восхищеньем глаза сорвали его, помчали следом. Он хватал губами воздух, где только что была она. Влетал в разъятое ею пространство. Целовал обжигающий, поднятый ею ветер.

Перед ним возникал в неописуемой красоте Василий Блаженный, и он путался в его разноцветных мохнатых чертополохах. Вставал, как ночное солнце, золотой купол Ивана Великого. Повисала из чёрного неба рубиновая звезда. Всё кружило, менялось местами, носилось по орбитам. Его подхватила и вынесла на орбиту могучая сила. Это была орбита Русской истории. Площадь, по которой он летел на коньках, ещё недавно кровавая, а теперь восхитительная, была площадью Русского Величия. На этой площади в Масленицу угощали блинами. Во дни стрелецких бунтов ставили дубовые плахи. Здесь прошло два священных парада. Один, когда лыжники в белых халатах шли умирать под Волоколамск. И другой, когда усыпанные орденами гвардейцы кидали к

мавзолею штандарты разбитых дивизий. Площадь Русского Величия пустила к себе Лемнера. Вчера он окропил её кровью, принёс вековечную русскую жертву. Сегодня целует её звезды, кресты, купола, а она венчает его Русским Величием.

Лемнер гнался за Ланой, ловил её белый свитер и чёрные волосы, хотел обнять. Но она ускользала, и он ловил золотой огонь, завиток ветра, а она мчалась далеко, оглядывалась со смехом. Он любил её смеющееся лицо, явленное ему на площади Русского Величия. Поймал её у дощатой ограды под золотым фонарём. Мимо мчались конькобежцы, звенели коньки. Он целовал её смеющиеся губы, жадно обнимал.

— На нас смотрят, — она от него отстранялась.

— Выходи за меня замуж.

— Ты серьёзно? — она перестала смеяться, в её глазах отражался золотой огонь.

— Я люблю тебя. У нас столько общего, что уже невозможно расстаться. Ты самый близкий, самый драгоценный для меня человек. Мы встретились не случайно, а по велению свыше. Ты держала меня за ноги, вытянула обратно из смерти. Я живу по твоему наущению. Мы с тобой сроднились, срослись. Выходи за меня.

— Ты хочешь, чтобы мы обвенчались?

— Чтобы обвенчаться с тобой, я готов креститься.

— Ты правда готов?

— Крещусь в Успенском соборе Кремля.

— А потом тебя, Романова, там венчают на царство? — она опять смеялась. Два разноцветных огня отражались в её глазах. Он не знал, дала ли она согласие, или веселилась, услышав его признание.

— Согласна, — сказала она.

Лемнер достал телефон, пробежал по кнопкам.

— Вава, она согласна!

Загрохотало, заухало. Над кремлёвской стеной взлетели разноцветные букеты, волшебные звёзды, серебряные змеи, пылающие шары. Это был салют его победы, из множества ликующих залпов. Небо трепетало, переливалось в восхитительных сияниях, в волшебных райских цветах.

Лемнер и Лана сидели в ночном ресторане, на вершине башни, что у Смоленской площади. Сквозь огромные окна Москва казалась чёрной, бархатной плащаницей, шитой жемчугами, бриллиантами. Переливалась перламутровая раковина Лужников. Сверкали хрусталями мосты. Текли золотые площади и проспекты. В ресторане шла ночная московская жизнь. Сидящие за столиками пары наслаждались звенящей музыкой ножей и вилок, перезвоном бокалов, виртуозными поклонами официантов, подносивших к столикам деревянные подносы. Осыпанная мерцающим льдом, сияла глазастая рыба Средиземного моря, или сахалинский осьминог, кокетливо, как балерина,

сложивший грациозные щупальца, или чёрные, с зелёным отливом беломорские мидии. Официант с благородным изяществом показывал гостю бутылку Шардоне, держа её за донце. Удалялся и через минуту подносил откупоренную бутылку, картинно плескал несколько капель в шаровидный бокал. Гость, знаток вин, чутко вдыхал, и солнце французских виноградников лилось в бокал. Женские глаза сияли, видя, как мужская рука с золотым перстнем сжимает хрупкий стебель бокала. Звучали слова восхвалений, от которых женские губы начинают жарко дышать.

— Я приму крещение в Успенском соборе Кремля, — Лемнер обожал её лицо, ещё горевшее от ветра. Только что она проносилась, высекая коньками голубые искры, и над ней распускался цветок Василия Блаженного. — Буду просить Патриарха, чтобы он меня окрестил. Крёстным отцом станет Светоч. Будут присутствовать депутаты Государственной думы, сенаторы, члены Правительства. И, может быть, поздравить меня с крещением придёт в собор Президент Леонид Леонидович Троевидов.

— Ты хочешь, чтобы на твоих крестинах присутствовала вся Россия? — Она обняла круглый, как шар, бокал длинными пальцами и качала. Вино плескалось, плавал отражённый огонь.

— И на крестинах, и на венчании будут все русские знаменитости. Мы обвенчаемся в том же соборе. Венец над твоей головой будет держать Патриарх. Подвенечное платье ты возьмёшь из царского гардероба императрицы Елизаветы Петровны, а обручальные кольца я изготовлю из африканских самородков. В Африке, когда я танцевал с тобой на веранде у озера Чамо, и летели фламинго, я подумал, что женюсь на тебе. Я обнимал тебя и думал, что обнимаю жену. Эта мысль была чудесной, но я не успел её додумать. Выскочила из озера Чамо шальная Франсуаза Гонкур, мне пришлось её пристрелить. Мысль осталась недодуманной, но я додумал её теперь. Мы повенчаемся в Успенском соборе, на тебе будет царское платье. Мы наденем обручальные кольца, и вся артиллерия корпуса «Пушкин» даст салют из ста залпов.

Лана держала обеими руками круглый, как шар, бокал. Лемнер видел её малиновые губы, пьющие вино. В золотом вине плясал огонь. Она пила этот пляшущий огонь. Её губы улыбались, и он хотел целовать её винные губы.

— Мой милый, зачем этот царственный кремлёвский собор, генералы, министры, сенаторы? Зачем Патриарх, Президент? Есть чудесный маленький храм в забытой Богом костромской деревушке. У храма синие луковицы, осыпанные золотыми звёздами. Звёзды совсем потускнели, птицы склевали золотые крупицы и выложили ими свои гнезда. За церковью запущенный сад, в нём огромная яблоня. Весной она вся в белых цветах, как Богородица в белоснежных одеждах. Мы поедем в деревушку, поселимся в простой избе, будем встречать весну, радоваться каждому лесному цветочку, каждой прилетевшей в сад птице. Весенним вечером, когда на церковной стене лежит алая заря, старый

батюшка окрестит тебя. Крестным отцом будет местный лесник, крёстной матерью поповская дочь. Мы повенчаемся, когда яблоня распустит свои цветы. Богородица будет держать золотой месяц над нашими головами. Когда мы наденем обручальные кольца, в саду запоют соловьи. Все окрестные леса и дороги, и опушки, и ручьи узнают, что мы муж и жена.

Её голос был певучий, с небывалой нежностью. Уводил из грохочущего, смертельно опасного бытия в иную русскую жизнь, неведомую, но манящую.

— А как же Величие? Ты начертала мне путь к Величию.

— Яблоня в белых цветах, Богородица, примет нас в свои объятья. Звезда в хрустальном вечернем небе — наш сын. Это и есть Величие.

— Ты хочешь, чтобы я забыл о моём предназначении? Обо всём, к чему ты меня прежде звала? Я следую твоим предначертаниям. Воюю, убиваю, участвую в переворотах, устраняю преграды, чтобы остаться наедине с Русской историей. Ты хочешь, чтобы я от всего этого отказался? Русская история не простит мне моего малодушия. Она от меня отвернётся.

— Русская история не бросит того, кто ей угоден. Она не покинет его на поле боя, в лазарете, даже на эшафоте. Она не покинет его в саду с белоснежной яблоней.

Лана пила вино, в её голосе было вещее, чарующее. Она завораживала, владела им, посылала его то на Северный полюс, то в Африку, то в горючую украинскую степь, на окровавленную Красную площадь. Теперь она звала в неведомую деревушку, где синие луковицы с золотыми звёздами, Богородица в белых цветах, мальчик, несущий цветок одуванчика.

— Ты хочешь, чтобы я сошёл с дороги, которую мне прочертила Русская история?

— Русская история не даст тебе свернуть с дороги. Ты будешь идти по дороге, совершать подвиги, проступки, преступления. Ты будешь биться с врагами и в этой борьбе изнеможешь, отчаешься, упадёшь. Тебя оставят друзья, тебе изменит удача, ты будешь погибать. И тогда случится чудо. К тебе на помощь придет Русская история. Она придёт, как взрыв, как огонь. Она вольёт в тебя небывалые силы, рассеет врагов, соберёт друзей. Враги расточатся, и ты продолжишь путь к Величию. Почитай русские летописи. Они полны рассказами о чудесах. Являлась Богородица, и враг в ужасе разбегался.

— Та яблоня, что растёт в саду за церковью, — она Богородица, несущая чудо?

— Но, если ты изменишь Русской истории, предашь её, она нашлёт на тебя ужас. Ты испытаешь такой кошмар, что кинешься опрометью, покинешь своё войско, свой дворец, своих подданных, будешь бежать, а ужас будет гнаться за тобой, пока не умертвит.

Лемнер испугался. Огонь в её бокале потемнел. Москва за окном погасла. Исчезло жемчужное шитьё, хрустальные мосты, перламутровая раковина

Лужников, текущее золото проспектов. За окном была тьма. Тьма шевелилась, лилась в ресторанную залу. Исчезали официанты, рыбы, усыпанные мерцающим льдом, свечи на столах, озарённые пленительные лица женщин. Лемнер почувствовал, как ему стало холодно, начинает бить колотун. В крови оживали и множились смертельные яды. Ужас сырого подвала проснулся и лизал ледяными чёрными языками.

— Они здесь, — сказала Лана.

Лемнер очнулся, унимал дрожь. В тёмное окно возвращались хрустальные мосты, оранжевое зарево Университета, раковина Лужников. Официант с пленительной улыбкой нёс рыбу Средиземного моря на кухню. Седовласый мужчина за соседним столиком целовал руки прелестной женщине. Воск падал прозрачными каплями с горящей свечи.

— Они здесь, — Лана отставила круглый бокал, испуганно оглядывалась.

— Кто? — Лемнер поднёс руки к свече, желая согреться о пламя.

— Эти люди из группы «К», из разведки Президента.

— Где?

— Не знаю, но они здесь!

Лемнер оглядывал зал. Метрдотель от дверей вёл к свободному столику молодую чету. Ловкий официант сервировал столик, как жонглёр, подбрасывал блестящие ножи и вилки. Бармен взбалтывал за стойкой коктейль. У бармена было смуглое лицо мексиканского красавца. Чёрные брови без изгибов прямой линией соединялись у переносицы. Нос резко спускался к небольшим усикам. Рот улыбался всему залу сразу. Лемнер запомнил бармена, его фиолетовые глаза с отражением ресторанного зала, серебра, фарфора, мелких осколков льда.

— Где группа «К»?

— Я чувствую, они здесь, наблюдают за нами. Пойдём отсюда.

Лемнер рассчитался, небрежно кивнул метрдотелю, поймал любезную улыбку бармена. Вывел Лану из ресторана. Набрасывая ей на плечи норковую шубу, почувствовал, как она дрожит. Не мог понять природу посетившего их наваждения.

Глава тридцать вторая

Светоч выдирал из русской почвы европейское корневище, как выдирают на огороде корневище одуванчика. С виду милый, золотистый цветок, одуванчик пускает толстые, как канаты, корни, из которых при ударе лопаты брызгает ядовитое липкое молоко, и на каждом обрубке корня мстительно вырастает сочный куст сорняков. Подавленный переворот европейца Чулаки побуждал провести прополку всего русского огорода. Светоч, жутко мерцая кристаллическим глазом, полыхая его зелёными, багровыми, синими гранями, поручил Лемнеру провести дознание и обнаружить скрытое в русской земле корневище. Ударами острой лопаты рассечь, не страшась липких соков, если они окажутся не белыми, а ярко-красными.

— Помощником в этом государственном деле возьмите Ивана Артаковича Сюрлёниса. Он водил дружбу с Чулаки, будет радеть в расследовании, чтобы и его не сочли заговорщиком. Мы-то с вами знаем, что связи существуют, но не время их обнародовать.

Лемнер и Иван Артакович отправились в тюрьму Лефортово. В комнате дознания ожидали появления ректора Высшей школы экономики Лео. За столом сидел дознаватель в форме офицера госбезопасности, перебирал клавиши компьютера, разложил на столе диктофоны. Комната казалась обычным, скудно обставленным кабинетом, если бы не кандальные цепи с наручниками, свисающие с потолка. Конвойный ввёл Лео. Его научили держать руки за спиной, отчего животик его казался чрезмерно выпуклым, а сам он напоминал плюшевый шарик.

— Боже, Иван Артакович, наконец-то! Вы появились и уладите недоразумение! Со мной здесь обращаются обходительно, с уважением. Персонал весьма начитан. Мой надзиратель читал в детстве «Сказки братьев Гримм». Хотя, что греха таить, случаются эксцессы! — Лео сердито посмотрел на Лемнера, шмякнувшего его о стену.

— Мы здесь для того, гражданин Лео, чтобы выяснить некоторые подробности вашего участия в недавних беспорядках, — Иван Артакович был сух, исключал всякое дружелюбие, прежде связывающее его и ректора Лео. — Позвольте, я задам несколько вопросов.

— Задавайте, Иван Артакович, задавайте. Вы прекрасный собеседник. Помню наши беседы в Венеции, на берегу Гранд-канала. Мы говорили о священных камнях Европы, пред которыми благоговеет всякий русский. Ваша глубокая мысль о вторичности русского сознания. Я повторял её на лекциях.

— Позвольте, я зачитаю вопросы, — перебил Иван Артакович, — впрочем, это не вопросы, а, скорей, обвинения.

— Вы говорили, что Россия — это недоносок Европы. Мимо нас по изумрудной воде Гранд-канала плыли гондольеры в средневековых беретах. Вы говорили, что отдыхаете в весенней Венеции от мрачных русских зим.

— И всё-таки, гражданин Лео, вот суть обвинений, — зло прервал Иван Артакович. Поглядел на Лемнера, чтобы угадать, как тот относится к опасным признаниям Лео. Лемнер был суров, грозно взирал на Лео, сам же восхищался мудрости Светоча, превратившего встречи Ивана Артаковича с заговорщиками в очные ставки. — Вы готовили фестиваль «Я — европеец». Хотели пригласить Президента Троевидова, чтобы отравить его боевым отравляющим газом.

Вы собирали информацию о русских бесшумных подводных лодках и передавали английской разведке. Вы создали разветвлённую сеть среди региональных университетов, где насаждалась русофобия, внушалась русскому неполноценность перед европейцем. Упрекали русских в исторической недоразвитости. И наконец, вы обвиняетесь в хищении картины русского художника Боттичелли «Рождение Афродиты». Вам следует признать все эти обвинения и поставить подпись под вашим признанием. Текст уже приготовлен, — Иван Артакович кивнул дознавателю. Тот положил на стол напечатанный текст и ручку.

— Увольте! Я этого не подпишу! — Лео гневно отодвинул листок. — Это самооговор! Я должен признаться в преступлениях, которые не совершал! Никогда! Никогда!

— Будет лучше, если вы подпишете, гражданин Лео. Лучше для вас. Отношение к вам в тюрьме может измениться! — Лицо Ивана Артаковича, обычно любезное, насмешливое, легкомысленное, вдруг стало чугунным, тяжёлым, как пушечное ядро.

— Я готов претерпеть любые лишения! Русским интеллигентам не раз приходилось оказываться в тюрьме за свои убеждения. Я обращусь к мировой общественности! К Европейскому суду по правам человека! В Организацию Объединённых Наций!

— Вам, гражданин Лео, придется обзавестись мощным громкоговорителем, чтобы вас услыхали из Лефортово, — лицо Ивана Артаковича стало беспощадным. Ему хотелось, чтобы эту жестокость заметил Лемнер. Тот и заметил жестокость, но подумал, что она не поможет Ивану Артаковичу, когда его введут в эту комнату со сложенными за спиной руками.

— Вы требуете от меня показаний? Я дам! Расскажу, как вы называли Антона Ростиславовича Светлова одноглазым циклопом. Как сулили Президенту Троевидову Гаагский трибунал. Как тайно отчисляли вооружённым силам Украины суммы из благотворительных фондов. Как созывали колдунов, и они лепили из воска фигурки Президента Троевидова, а потом плавили этот воск на огне. Я всё это дам в показаниях! — Лео хохотал, брызгал слюной, тыкал в Ивана Артаковича своим смешным лягушачьим пальчиком.

Лемнер, наблюдая истерику Лео, думал, что тому не выйти живым из тюрьмы.

— Гражданин Лео, вы заставляете меня перейти от убеждения к принуждению, — Иван Артакович тихо, со змеиным шелестом, стал обходить Лео, разглядывая со всех сторон его пухленькое тело. Лемнер подумал, что присутствует при классической сцене «Предательство друга».

— Михаил Соломонович, — Иван Артакович вздохнул, как тот, чье терпение не бесконечно, — вы хотели предложить свои услуги.

Лемнер достал телефон и позвонил:

— Госпожу Эмму!

В комнату влетела сверкающая, ослепительная Госпожа Эмма, яростная, как валькирия. На ней было чёрное, как слюда, боди, чёрные, до колен, сапоги на высоких каблуках, чёрные, по локоть, перчатки. Её волосы рассыпались по голым плечам. В руках у неё был хлыст. Она им играла, жадно поглядывая на дознавателя, Ивана Артаковича, Лемнера и ректора Лео, словно искала, кого бы хлестнуть. Была похожа на цирковую дрессировщицу.

— Госпожа Эмма, — любезно произнёс Иван Артакович, — гражданин Лео разучился писать. Его пальцы забыли, как держать ручку. Напомните гражданину Лео правила правописания, — Иван Артакович указал на Лео, передавая его в руки Госпожи Эммы.

Та ловко, как опытный свежевальщик туш, содрала с Лео одежды. Открылось пухлое, с тёмной шёрсткой, тело. Госпожа Эмма захлопнула на запястьях Лео наручники. Подняла хлыст и трижды прочертила в воздухе свистящий круг. Влепила удар в жирный бок Лео, оставив мгновенно взбухший розовый рубец.

— О, боже, за что? Больно, как больно!

— Вы вспомнили, как держать ручку, гражданин Лео?

— Ни за что! Ни за что!

— Госпожа Эмма, освежите память господину Лео!

Госпожа Эмма, опытная садистка, чьи наклонности ограничивались правилами обращения с клиентами-извращенцами, теперь была свободна от правил. В ней бушевала её свирепая природа. Она хлестала Лео так, что хлыст ложился всей ременной длиной, оставляя полосатые рубцы. Била с оттяжкой, когда хлыст впивался в тело ременным жалом, выдирая клок плоти, и брызгала кровь. Она кружилась, как балерина, нанося удары в полёте. Расставляла ноги и била с размаху, будто колола дрова. Лео метался, звенел цепями, рвался, повисал, но хлыст заставлял его скакать. Лемнер знал, что Лео извращенец, и боялся, что пытка доставляет ему не муку, а наслаждение. Отстранил Госпожу Эмму, ткнул Лео кулаком в живот. Тот согнулся и получил удар коленом в голову. Повис в кандалах.

Вошёл охранник и выплеснул ему на голову ведро воды. Лео очнулся.

— Я подпишу, — пролепетал он.

Госпожу Эмму удалили, и она, покидая комнату, вонзила в Лео отточенный каблук сапога.

Офицер-дознаватель укладывал в папочку показания Лео, листок с розовым пятном слюны.

В комнату вводили другого смутьяна, режиссёра Серебряковского. Он вытащил из-за спины тощие руки, полюбовался на свои лакированные ногти, зорко осмотрел помещение, как постановщик осматривает театральные подмостки. Декораций было мало, только свисавшие с потолка кандалы. Серебряковский, сторонник скупого убранства сцены, остался доволен.

— Господа, ничто так не способствует вдохновению художника, как одиночество. Благодарю за одиночную камеру, мне предоставленную. Там, Иван Артакович и брат Лемнер, я смог додумать спектакль, на который подвигли меня вы, Иван Артакович. «Прощай, Россия!» — это ваше название, Иван Артакович. Полная строфа «Прощай, немытая Россия» — прозвучит в процессе спектакля.

— Простите, гражданин Серебряковский, — перебил Иван Артакович, поглядывая на диктофоны, мигавшие красными глазками. Диктофоны фиксировали высказывания Серебряковского, которые могли повредить Ивану Артаковичу. — Вам предъявлены серьёзные обвинения, трактуемые как государственная измена. Они влекут за собой высшую меру наказания.

— Господа, спектакль задуман, как грандиозное действо, мистерия, своей магической силой меняющая ход времени. После этого спектакля вся русская история свернётся в пергаментный свиток. На нём уже не прочтёшь ни единой буквы.

— Вы, гражданин Серебряковский, обвиняетесь в совершении тяжких преступлений, — лицо Ивана Артаковича стало отточенным, как топор.

— Представьте, господа, — Серебряковский не замечал занесённого над ним топора. — Белые теплоходы по нашим северным рекам и озёрам подплывают к острову посреди Онежского озера, на котором высится храм Кижи, это чудо ракетостроения древней Руси. Островерхие шатры, купола, один над другим, всё выше, выше, напоминают грандиозную ракету, устремлённую в Царствие Небесное. Не хватило последней молитвы праведника, напутствия старца, чтобы ракета умчалась в Святую Русь. К этой солнечной, деревянной, без единого гвоздя построенной ракете приплывают белые теплоходы из Европы. На них те, кто пожелал проститься с Россией. Потомки европейских династий, аристократы Венеции, рыцарские ордена, масонские ложи, альбигойцы, иезуиты, магистры тайных обществ, председатели «Ротари клаб», директора главнейших банков, главы разведок, учёные-трансгуманисты, трансгендеры, вышедшие не только за пределы своего пола, но и человеческого вида, собаколюди, рыбоженщины, жабомужчины. Все причаливают к острову и любуются дивными Кижами.

— Вам, гражданин Серебряковский, лучше подумать о другом спектакле, когда к вам в камеру под утро явятся жабомужчины в форме прапорщиков госбезопасности и поведут по сумрачному коридору на тайное кладбище Лефортово, — Иван Артакович старался унять Серебряковского, в ком распалялось вдохновение. Но тот не унимался.

— К этому деревянному смоляному храму стекаются русские дети. Они несут самодельные матерчатые куклы своих любимых сказочных героев. Баба Яга, Кощей Бессмертный, Колобок, Иван Царевич и Серый Волк, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая, царь Салтан, князь Гвидон, тридцать витязей прекрасных, богатырь Илья Муромец. Эти любимые игрушки дети складывают к подножию храма. Это была ваша идея, Иван Артакович!

— Я слышал, режиссёров часто посещают бреды. Ваш — войдёт в показания, как замаскированный умысел, — Иван Артакович смотрел на играющие огоньки диктофонов, не умея прервать чрезмерную болтливость Серебряковского.

— Когда церемония приношения игрушек будет закончена, вам, Иван Артакович, будет вручён горящий смоляной факел, и вы кинете его в смоляное золото храма. Пожар будет до небес. Озеро отразит этот поднебесный костер. Храм унесётся в Святую Русь, а земная Русь утратит, наконец, связь с небесами. И успокоится, как успокаивается сумасшедший, которому делают лоботомию.

Серебряковский умолк, не умея удержать слёз, неизменно сопровождавших его вдохновение.

— Теперь, когда ваш отвратительный русофобский бред записан на диктофон и послужит вашему изобличению, я задам несколько протокольных вопросов, — Иван Артакович тревожно поглядывал на Лемнера. Тот слышал многое, что уличало Ивана Артаковича в связях с заговорщиками. Лемнер не замечал диктофонов. Он использует магнитофонные записи в будущем. В каком, он и сам не знал.

Серебряковский иссяк, устало прижал к груди синеватые пальцы с розовыми лакированными ногтями, ожидая аплодисментов.

Иван Артакович торопился зачитать пункты обвинения.

— Гражданин Серебряковский, вы хотели заманить Президента Троевидова в ложу с ядовитыми змеями. Признаётесь?

— Во-первых, не Президента, а дядю Ваню. И не со змеями, а с комарами. По замыслу, дядя Ваня, утомлённый семейными склоками, удаляется в свой кабинет, то есть в ложу. Три сестры, желая изгнать дядю Ваню из кабинета, ловят в вишнёвом саду комаров и напускают их в кабинет, то есть в ложу. Никто из зрителей не пострадал, если не считать нескольких комариных укусов, — Серебряковский рассмеялся, находя эпизод комичным.

— Вы обвиняетесь в том, что похитили из морга трёх мертвецов и совершили с ними акт некрофилии.

— Я порочный человек, это правда. Все режиссёры порочны. Но некрофилия — это не по моей части. Это скорее Большой театр или Театр Моссовета. Не скрою, три гроба были вывезены мною из морга. В одном лежал заросший волосами спикер Государственной думы. Волосы выросли на нём уже после смерти. В другом гробу находилась дама-спикер Совета Федерации. В момент смерти на ней разошлись все швы и подтяжки, и она лежала в гробу, как рыбий студень. В третьем гробу находился председатель Конституционного суда, погибший в пьяной драке. Все они были выставлены на Красной площади, чтобы с ними простился народ. Теперь их похоронили на Новодевичьем кладбище, кажется, в братской могиле. Но за это не судят, господа!

— Вы обвиняетесь в том, что заманивали к себе в театр выдающихся русских учёных, изобретателей, директоров военных заводов, а потом их убивали враги.

— Иван Артакович, вы сами мне их приводили и знакомили тут же в театре с французским послом.

— Вам предстоит вернуть в коллекцию похищенное вами полотно русского художника Рембрандта «Ночной дозор». Вы готовы подписать показания? Щадя ваше время, мы заранее приготовили текст признания.

Дознаватель подвинул Серебряковскому набранный на принтере лист, протянул ручку. Серебряковкий бегло прочитал текст, отбросил лист.

— Какая безвкусица! Какой слог! Слово Кижи пишете через «ы». Пусть лучше меня задушат, чем я это подпишу!

— Режиссёр просит, чтобы его задушили, — Иван Артакович произнёс это с шипящей ненавистью, будто внутри у него шипела раскалённая сковородка. — Господин Лемнер, не откажем гражданину Серебряковскому.

Лемнер нажал телефонные кнопки:

— Госпожу Зою!

Госпожа Зоя была стрижена наголо. Голову её посыпала розовая пудра. Лицо покрывали белила. Жгуче-чёрные нарисованные брови. Кровенел рот. Она была похожа на китайскую куклу. На ней развевалось оранжевое кимоно. В руках струился голубой шёлковый шарф. Она танцевала, гибко ступая голыми ногами. Кимоно распахивалось, и виднелось острое голое колено. Она пускала шарф по комнате, он летал, как голубой змей. Она ловила скользящий шёлк, целуя его на лету. Такой она предстала перед Серебряковским, знатоком китайского театра. Расширенными ноздрями, обожжёнными множеством острых запахов, он вдыхал истекавшие от неё ароматы.

— Господи, как это прекрасно! Это настоящая «Пекинская опера»! — протягивал он свои синеватые пальцы.

Госпожа Зоя ловко перехватила его запястья, замкнула на них кандальные браслеты. Набросила на горло Серебряковскому шёлковый шарф и стала душить. Душила медленно, используя китайскую эстетику удушения, при которой лицо

удушаемого сначала багровело, потом белело, потом становилось синим, появлялись чёрные вздутые вены. Серебряковский хрипел. Госпожа Зоя душила его так, что звук менялся от сиплого хрипа до тонкого свиста. Такой свист издает излетающая из тела душа. Глаза вываливались из глазниц и висели на слизистых красных нитях. В белках лопались сосуды, и глаза становились красные, как у вепря. Наконец, удушаемый Серебряковский повис на цепях. Госпожа Зоя запихивала ему в рот шёлковый шарф, вгоняла толчками, как кляп. Сжала Серебряковскому ноздри, тот забился на цепях и сник. Госпожа Зоя извлекла шарф из разорванного рта Серебряковского, сделала ему искусственное дыхание, похлопала по щекам и сказала:

— Слаб стал нонешний мужик. Ветра боится, — и выбежала из комнаты, скользнув шарфом по лицу изумлённого дознавателя.

Серебряковский подписал признание и указал место, где укрывал Рембрандта. Местом оказался чердак старого дома в Вышнем Волочке, где проживал дедушка местного участкового.

Глава тридцать третья

Лемнер и Лана шли по Тверскому бульвару, похожему на гравюру. Чёрные, на белом снегу, деревья. Чёрные, на снежной аллее, пешеходы. По сторонам желтели ампирные особняки. За чугунной оградой мчались и шелестели автомобили. Впереди угадывалась Тверская, сулившая встречу с чудесным памятником, гранеными фонарями, медными цепями, среди которых неизменно алел букет роз. Лемнер чувствовал таинственную прелесть бульвара. По аллее, поскрипывая детскими колясками, опираясь на стариковские палки, прошествовало долгое московское время, оставив чуть заметную синеву в вершинах деревьев.

Лемнер обнимал Лану, слышал морозный запах её мехов, аромат тёплого, укрытого шубой тела. Чувствовал, как их влечёт таинственное московское время, превращая в синюю дымку.

— Хорошо бы выпить чашечку горячего кофе, — сказала Лана, когда за оградой бульвара, среди лака и блеска машин, возник ресторан «Пушкин».

— Выпьем кофе. Если не боишься встретить здесь Ваву и моих головорезов из корпуса «Пушкин».

Они сидели в тесном, шумном зале, плотно уставленном столиками. Кругом говорили, звенели ножами и вилками. Хохотали напоказ актёры, журналисты, краснобаи, московская богема, избравшая ресторан местом, где можно мелькнуть и отметить свою принадлежность к сословию баловней и счастливцев.

Лемнера узнавали. Одни кланялись, заискивали, норовили пожать руку. Другие хмурились, мрачно отводили глаза, в которых мелькнёт и погаснет огонёк ненависти.

Лемнер любовался, как Лана подносит к губам чашечку раскалённого кофе, как закрываются от удовольствия её глаза. Проходящий мимо актёр посмотрел на неё жадным мужским взглядом и, пугаясь своей бестактности, поклонился Лемнеру.

— Мы с тобой столько знакомы, — сказал Лемнер, не отвечая нахалу, — где только ни бывали. А я до сих пор не знаю, где ты живёшь. Где твой дом.

— Он напротив. Хочешь, зайдём ко мне?

Дом возвышался по другую сторону бульвара на углу Тверской и Бронной. Тяжеловесный, с балконами, колоннами, был облицован грубым гранитом, тем, что завезли немцы для памятника немецкому солдату-победителю. Мимо этого дома, омываемого городскими течениями, столько раз проходил и проезжал Лемнер, не помышляя, что среди этих аркад, балконов, неотёсанных гранитных плит живёт любимая женщина. Обольстила своей красотой, очаровала

таинственной прелестью, спасла от смерти, согласилась стать его женой. Дом был увешен памятными досками с именами обитавших здесь прежде актёров, академиков, генералов. Все они умерли, их тела увезли из дома катафалки вместе с временем, в котором они блистали и властвовали. Но их тени витали среди новых жильцов вместе с тенью громадного усопшего времени.

Медленный лифт, вздыхая и постукивая, неохотно вознёс их на верхний этаж. На огромной лестничной площадке была одинокая высокая дверь. Ключ, который Лана извлекла из сумочки, был невиданной формы, винтообразный, ввинчивался в замок, производя в нём таинственное вращение. Дверь растворилась, вспыхнул свет. В прихожей висел разноцветный, из наборных стёкол, светильник. Лемнер, принимая от Ланы шубу, ещё пахнущую морозом, сладко вдыхал её духи, целовал тёплую шею, испытывал робость и благоговение у входа в заповедное пространство, куда его допустили.

— Нет, нет, не снимай! — она не позволила Лемнеру снять туфли. Видя, что он медлит, взяла его за руку и повела в комнаты.

Гостиная была просторная, с мебелью из карельской берёзы, золотистой и солнечной, как янтарь. Большой, без скатерти стол, казалось, давно отвык от семейных трапез, за ним не часто собирались гости. Высокий, узорный, со стеклянными дверцами буфет был полон сервизов, блюд, серебряных подносов, плетёных хлебниц. На буфете стояли вазы, и одну, с широкой горловиной, в восточных цветах, обвивал фарфоровый китайский дракон. Окно дышало снежной белизной, на подоконнике распустила розовый цветок орхидея. Цветок был с дивными целомудренными лепестками, волновал своей тропической свежестью среди русской зимы. Внизу мчалась сверкающая Тверская. Над далёкими туманными крышами краснела рубиновая звезда. Боковым взглядом, если прильнуть щекой к холодному стеклу, можно увидеть памятник Пушкину. На диване лежала полосатая, длинная, как рулон, подушка, потёртая, служившая не первый год. Её не убирали, она была дорога. Над диваном на полочке стояла фотография немолодого мужчины с утомлённым лицом и прищуренными, привыкшими к яркому солнцу глазами.

Это спокойное лицо исчезнувшего человека, целомудренный цветок орхидеи, мерцавший за стеклом буфета дорогой фамильный сервиз продлевали робость и благоговение перед чужим жилищем. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. То была спальня, голубая, с голубой кроватью, платяным шкафом и подзеркальником, на котором с тёмным блеском стояло трюмо. Лемнер пробежал взволнованным взглядом по кровати с шёлковым покрывалом, по зеркалу, в котором пряталось женское отражение, по висящему на спинке стула чему-то розовому и воздушному и отвёл глаза.

Ещё одна дверь, ведущая из гостиной, была закрыта. Лана отворила её, приглашая войти.

— Здесь кабинет деда. Мы ничего в нём не меняли.

Лемнер вошёл, чувствуя за спиной взгляд человека с усталым лицом, глядящего с фотографии. Вошёл и тихо ахнул. Стены кабинета были увешены стеклянными, широкими, как витрины, коробками с бабочками. Бабочек было множество. Одна прилегала к другой, образуя разноцветные цепи, гирлянды. Переливались лазурью огромные, как у ангелов, крылья. Алые, изумрудные, бархатно-чёрные, осыпанные серебряной пыльцой, прошитые золотой нитью, отливающие перламутром, в драгоценных спектрах и радугах, бабочки, насаженные на тончайшие стальные булавки, казались построенными батальонами. Малейший поворот головы, и батальоны перестраивались, меняли мундиры, голубоватая сталь булавок казалась оружием на плечах у нарядных бойцов.

— Что это? — Лемнер рассматривал бабочек, каждая из которых казалась крохотной географической картой с голубыми озерами, красными песками, изумрудными лесами. — Откуда это диво?

— Коллекция деда. Он собирал её сам.

— Он был энтомолог?

— Разведчик. Ему приходилось бывать в саваннах, пустынях, джунглях. Он добывал в них сведения, нам не ведомые. А эти трофеи он приносил домой. Ночами, когда Москва спала, за окном висели тяжёлые сосульки, он пинцетом извлекал из крохотных пакетиков пойманную в Африке бабочку. Она напоминала ему о тайных встречах, боях, погибших друзьях. Его лицо было печальное, озарённое, как у верующего человека.

— Они и впрямь, как иконы. Это целый иконостас, — Лемнер чувствовал исходящее из стеклянных коробок излучение. Множество разноцветных лучей летело к нему, погружалось в него. В крови гуляли разноцветные пьянящие яды, от которых мутилось сознание.

— Если долго на них смотреть, начинаются галлюцинации, — сказала Лана. — Ты улетаешь из этого мира и погружаешься в неземное пространство и время. Или туда, где нет ни пространства, ни времени.

— Твой дар предвидения — это плод галлюцинаций?

— Может быть. Я выбираю бабочку, наделяю её чертами человека, о котором думаю, и мне кажется, я вижу его судьбу.

— Какую бабочку ты выбираешь, когда думаешь обо мне?

— Вот эту, — она указала на коробку, в которой среди радужных переливов драгоценно, как морская раковина, сияла бабочка. Лемнер узнал в ней ту, что в Африке спас от чёрного паука.

Всё было необъяснимо, таинственно. Комната была молельней, где поклонялись неведомым богам, испрашивая у них благословения.

— Твой дед давно умер?

— Не умер. Ушёл.

— Куда?

— В бабочку.

— В бабочку?

— В эту маленькую, серую. Он поймал её на Мадагаскаре. Ушёл в неё, и мы его больше не видели.

Лемнер не стал переспрашивать. Смотрел на крохотную бабочку в серебристой пыльце, в которую погрузился человек с усталым лицом и прищуренными, привыкшими к солнцу глазами. Должно быть, бабочка была неприметной дверцей в иной мир, о котором знал разведчик, всю жизнь искавший вход в сокровенное бытие.

— Я поставлю чайник. Посиди здесь. Я позову.

Лана ушла, Лемнер остался среди волшебного разноцветья, от которого останавливались и стекленели зрачки, и в крови растекались пьянящие яды.

Он смотрел на перламутровую бабочку. Её крылья казались створками волшебной двери. Глаз упивался сиянием, сулившим несказанное счастье. Сияние блуждало в крови, рождало мучительную сладость и ожидание, что створки распахнутся, и его впустят в сказочный мир, откуда исходит сияние. Его звали чуть слышные голоса. Его губы шептали, вопрошали, умоляли пустить в потаённый желанный мир. Створки перламутровых дверей растворялись. Он шёл по горячей дороге, и его сандалии поднимали облачка золотистой пыли. Пахло сладкими дымами жаровен, в них горела ветка горной сосны. На длинной глинобитной стене висела малая плетёная клетка, и в ней скакала пёстрая птичка. Шли женщины в тюрбанах, в розовых и зелёных одеждах. Стояли резные хоромы. В тени созревали синие виноградные грозди. В деревянных давильнях краснел виноградный сок. Горы вдали были голубые. И в горячих туманах пустыни двигался, как тёмное облако, огромный народ. Перед ним расступались моря, открывалось мокрое дно с морскими червями и гадами, горел в придорожье терновый куст, охваченный прозрачным пламенем. Из пламени являлись города и храмы, вставали цари и пророки. Лемнеру было чудесно оказаться среди своего народа и пылить вместе с ним, и ловить голой грудью волны прозрачного жара, и тянуться к миражам, в которых звучат цимбалы и флейты, и танцуют голоногие плясуньи, и в чёрной бороде мудреца запуталась божья коровка, и на каменных стенах играют огненные письмена. Он оказался на родной земле, среди родного народа. И нет выше сладости оказаться среди этих смуглых, с горящими очами людей, подающих ему пиалу молодого вина.

Лемнер пребывал в сладком затмении, и только оклик Ланы возвратил его из дивной земли в жестокую, заваленную снегом Москву.

Глава тридцать четвёртая

Светоч искоренял исповедников «европейских ценностей». Они свили змеиные гнёзда в университетах, лабораториях, министерствах, гарнизонах и монастырях. Светоч замышлял показательный судебный процесс над мятежниками, собираясь осудить не только заговорщиков, тянувших Россию в Европу, но и саму Европу с её содомией и забвением божественных заповедей. Он торопил Лемнера взять показания у бунтарей и готовить их к вселенскому судилищу.

Лемнер и Иван Артакович продолжали наведываться в Лефортово. В комнате для дознания перед ними предстал публицист Формер. Он внёс с собой тяжкое зловоние, которым пропитался в мусорном баке, скрываясь от погони, и это зловоние стало его естественным запахом. К его лысине, обычно сверкающей, сводящей с ума интеллектуальных дам, сейчас прилепились рыбьи объедки, отекавшие липкой слизью. Его элегантный костюм, который он носил с небрежностью аристократа, был пропитан нечистотами, из нагрудного кармашка торчал предмет, которым пользуются супруги, не желающие иметь детей. Скрываясь несколько часов в мусорном баке, Формер так искусно маскировался мусором, что почти им стал. Теперь, стоя перед Лемнером и Иваном Артаковичем, он источал запах, который для некоторых зоологических видов служит защитной реакцией.

— Господа, события развивались так стремительно, что я не успел к вам явиться и рассказать о коварном плане Анатолия Ефремовича Чулаки. О, это ужасный человек! Мы, русские, избавляясь от него, очищаем Россию от смрадного мусора, который веками сбрасывала нам Европа. Мы им дарим балет, Достоевского, природный газ, титан, а они нам всю гниль истлевающей Европы. Европа распадается, господа! Мы наблюдаем закат Европы! — Формер трепетал от возмущения. Скабрёзный предмет из нагрудного кармашка выпал и неприлично лежал на полу.

— Гражданин Формер, — строго одернул его Иван Артакович, — вам будет предъявлено обвинение.

— Это был страшный, бесчеловечный замысел Чулаки! Он собирался пленить нашего дорогого Президента Леонида Леонидовича Троевидова и посадить в железную клетку. Да, да, в клетку! В железную! Она уже изготовлена и хранится среди товаров в магазине «Твой дом», как клетка для бездомных собак. Он хотел провезти Леонида Леонидовича в этой клетке по всем городам России, чтобы люди плевали в него, побивали камнями, лили на него нечистоты!

— По-моему, гражданин Формер, судя по запаху, что от вас исходит, вы уже побывали в этой клетке, — съязвил Иван Артакович. Лемнер, зная о дружбе Формера и Ивана Артаковича, снова подумал, что присутствует при акте отречения.

— Он хотел отвезти клетку с Леонидом Леонидовичем на базу подводных лодок. Оттуда ушёл в последнее плавание «Курск», и Леонид Леонидович не поднял на поверхность гибнущих моряков. Вдовы моряков растерзали бы его на куски. Хотел направить клетку с Леонидом Леонидовичем в Беслан, чтобы матери убитых детей выкололи ему глаза. Хотел повезти клетку в Бурятию. Целыми деревнями молодёжь отправляют на украинский фронт, а обратно привозят гробы. Эту клетку он хотел направить в Европу и выставить во всех зоопарках в отделе мартышек! Да что я вам говорю, Иван Артакович! Вы же сами рисовали модель этой клетки!

— Гражданин Формер, длительное пребывание на помойке помутило ваш разум, — Иван Артакович злобно поглядывал на красные огоньки диктофонов.

— Господа, Чулаки годами изучал труды русских философов и богословов. Он открыл сокровенные русские коды, которые держат Россию. После захвата власти он собирался снести храм Василия Блаженного, храм Покрова на Нерли, храм Спас на Нередице в Новгороде. В алтарях этих храмов таятся молекулы русского бессмертия. Он хотел отравить Байкал и перебить в тайге всех медведей, потому что медведь — тотемный зверь русского народа. Но главное, господа! Он затеял спаривание Ксении Сверчок с африканскими племенами. А это, не трудно понять, сломает генетический код русских.

— Да замолчите вы, наконец, — закричал Иван Артакович. Лемнер помнил, как у Ивана Артаковича в стеклянном аквариуме Ксения Сверчок сожительствовала с негром из Центральноафриканской республики.

— Господа, я ненавижу Европу! Меня стошнило, когда я в первый раз увидел Эйфелеву башню! В Кёльнском соборе мне стало тошно, и я потерял сознание. В Венеции мне хотелось взорвать Собор Святого Марка. А когда я слышу французскую или английскую речь, у меня выпадает грыжа!

— Если ты не заткнёшься, Формер, у тебя сейчас выпадет грыжа! — Иван Артакович кричал и топал ногами.

— Я люблю Россию, господа! — Формер перекрестился. — Нашу исконную, полную изумительных традиционных ценностей. Ведь я сам из староверов, господа. Мы, староверы, с Белого моря, беспоповцы, Поморское согласие. Я умею петь по крюкам, вот послушайте! — Формер запел, подражая древним песнопениям, и не сразу можно было угадать мотив «Хеппи бёрздей».

— Вам всё-таки придется дать признательные показания, Формер, — лицо Ивана Артаковича, обычно обходительное и любезное, превратилось в раскалённые железные клещи. — Господин Лемнер, вы знаете, что делать.

Лемнер извлёк телефон, пробежал по кнопкам:

— Госпожу Яну ко мне!

Госпожа Яна появилась в казённой комнате, среди бетонных стен и кандальных цепей, как фольклорное диво, в алом сарафане, с русой, уложенной вокруг головы косой, с голубыми, как васильки во ржи, глазами. Она держала ведёрко, украшенное хохломскими цветами. С такими дети играют в песочнице. Ступив в комнату, она с порога поклонилась поясным поклоном Лемнеру, Ивану Артаковичу и дознавателю. И особым земным поклоном, коснувшись пола рукой, поклонилась Формеру. Тот по старому русскому обычаю ответил тем же приветствием. Не дотянулся рукой до пола, и вместо русского поклона вышел книксен.

— Здравствуйте, люди добрые! — Госпожа Яна словно пела, улыбаясь румяными устами. — Всё ли ладно в вашем терему? Полны ли закрома ситным хлебушком? Кормлена ли скотинушка? Множится ли золота казна? Не докучают ли недруги?

— Всё-то у нас ладно, красна девица — отвечал нараспев Формер. — Есть и злато-серебро, и зелено вино, и сладки пряники, и румяны яблоки. А кто ты, красна девица? Из каких краев пожаловала? Какую весть несёшь?

— А явилась я из краёв заморских, европейских. Там живут люди с собачьими головами, едят червяков могильных, доброго молодца не отличишь от красной девицы, батюшку называют матушкой, а матушки у них с бородами. Ходят без исподнего, и если что кому надо, тут же присядут и справят. А прислали они нам, людям русским, гостинец. Ежели какой русский захочет переехать в страну заморскую, европейскую, пусть покрасит себя синей краской. Его в Европе узнают по цвету и отведут к хорошим батюшкам, и у них поселят, и он будет жить без матушки, по-европейски. Вот здесь, люди добрые, та самая краска синяя, европейская, по которой всяк будет узнан в странах заморских и будет там принят для проживания на всём готовом. Кто из вас, люди добрые, хочет перебраться в страны заморские европейские, того стану красить.

Госпожа Яна достала из-под сарафана мохнатую кисть, опустила в ведёрко с синей краской и стала присматриваться к Лемнеру, Ивану Артаковичу и дознавателю, норовя мазнуть их косматой кистью.

— Я, я хочу в страну заморскую европейскую! — вскричал Формер и стал раздеваться, крестясь левой рукой слева направо, благодаря Господа за ниспосланное чудо, за негаданную возможность перенестись из жуткой русской тюрьмы на Лазурный берег. Там ждёт его яхта принца Монако и любимый коктейль Шампань-коблер, нежно-изумрудный, с хрусталиком льда и золотыми пузырьками.

Формер разделся. Обнажилось гладкое, отшлифованное массажами тело.

— Крась, крась меня, Василиса Премудрая!

Госпожа Яна макала в ведёрко косматую кисть, наносила на Формера синие мазки. Краска текла по лысине, волосатой груди, чреслам, кривым узловатым ногам, проливалась на пол. Формер стоял весь синий. На синем лице блестели вставные зубы. Он сложил лодочкой руки, ожидая, когда силы небесные подхватят его и унесут в Европу. Там он встретит множество дружелюбных синих людей.

Лемнер знал коварную природу краски. Соприкасаясь с человеческим телом, краска меняла состав, превращалась в ядовитое, разъедающее кожу вещество. Теперь это свойство начало себя проявлять.

Формер возопил, подпрыгнул, свернулся в клубок, извивался, скрёб себя ногтями, сдирал жгучую краску. Краска съедала кожу, капала кровавой жижей. Формер крутился волчком, падал на пол, жутко кричал.

— Что это с ним? — Иван Артакович отступил в угол, сторонясь обезумевшего Формера.

— Он переезжает в Европу, — ответил Лемнер.

В комнату внесли ведро с целебным раствором, окатили синего Формера. Краска ручьями стекла с его обожжённого тела. Придя в себя, он не глядя подписал лист с показаниями. Устно сообщил, что полотно Ренуара «Мадам Самари», свёрнутое в рулон, находится в магазине обоев.

Госпожа Яна поклонилась в пояс:

— Мир, да любовь! — раздувая алый сарафан, удалилась.

Вице-премьер Аполинарьев не доставил много хлопот. В камере у него отобрали собачек корги. Любимую собачку Нору с умильной мордочкой и выпуклыми детскими глазами Лемнер расшиб о стену камеры. Аполинарьев рыдал, целовал оставленную на стене красную кляксу, повторял:

— Моя ненаглядная!

Аполинарьева привели в комнату дознаний, зачитали обвинения. Ему вменяли срыв производства на танковых, ракетных, авиационных заводах, передачу Украине плана стратегического наступления, сбор слюны членов правительства для американских бактериологических лабораторий. Лемнер и Иван Артакович предполагали, что Аполинарьев станет отпираться, и пригласили в комнату дознаний Госпожу Владу. Она явилась, играя бицепсами, натёртая до блеска гусиным салом. Покачивала двухпудовыми грудями, хмуро оглядывала жалкого Аполинарьева. Обдумывала, как ловчее переломить ему позвоночник. Но Аполинарьев не думал отпираться. Охранник принёс брезентовый мешок и вывалил из него изголодавших собачек корги. Со счастливым писком кинулись собачки к хозяину, нырнули ему под пиджак, и Аполинарьев счастливо целовал их умильные мордочки, приговаривая:

— Бедной Норы нет среди нас!

Крупные слёзы текли по лицу Аполинарьева. Лемнеру было жаль этого одинокого сломленного человека, жаль его собачек и Ивана Артаковича, и

дознавателя, и хмурой, оставшейся без работы Госпожи Влады, и себя, чьё появление в мире оставалось неразгаданным. Хотелось кинуться к перламутровой бабочке, растворить драгоценные крылья и оказаться в тёплых землях с голубыми горами, с пророками в каждой харчевне, пьющими из пиалок душистый чай.

Аполинарьева увели, узнав, что шедевр русского художника Рафаэля «Сикстинская мадонна» висит в рабочей столовой Брянского мясокомбината.

Глава тридцать пятая

Анатолия Ефремовича Чулаки привели на дознание и сразу заковали в наручники. Тюрьма его подкосила. Он похудел, усох, выцвел. Сытый жирок вытопила нестерпимая жаркая мысль о понесённом поражении, о завершении великой эры, которую называли его именем — «Время Чулаки». Он стоял у бетонной стены в цепях, и Лемнер с состраданием смотрел на его мятый, обвисший костюм, серое, с комочком подбородка, лицо. Всё ещё был вздёрнут надменный нос. Но волосы, недавно едко рыжие, поблекли, скучно выцвели. Ресницы были белые, как у козы, а золотые крупицы веснушек, восхищавшие дам, казались тёмными, усыпавшими щёки угрями. Могущественный, своевольный повелитель губерний, принятый в аристократических семьях Европы, теперь Чулаки стоял в цепях, ожидая допроса и пытки. Глаза его затравленно бегали. Дознаватель в офицерском мундире, Иван Артакович, пахнущий дорогим одеколоном, Лемнер, ещё помнящий женское тепло минувшей ночи, готовились брать у него показания.

Лемнеру были тягостны допросы и пытки. Он не позволял своим жертвам мучиться и сразу их убивал. Золотой пистолет был оружием милосердия.

Но в Лефортове, среди воплей истязаемых, свиста бичей и хруста хрящей, совершалось великое очищение. Расчищалась дорога Лемнера к Величию. Устранялась одна из преград, мешавших Лемнеру остаться наедине с Русской историей. Наедине с тем восхитительным Млечным путём, что горел над ним в украинской степи. История прочертила на ладони Лемнера линию Величия, положила ему на ладонь Млечный путь. Лемнеру было жаль Чулаки, но тот заслонял от него Млечный путь, мешал остаться наедине с Русской историей. Хотел смахнуть с его ладони бриллиантовую линию жизни.

Лемнер посмотрел на свою ладонь. От запястья к безымянному пальцу вела бриллиантовая линия жизни. Млечный путь лежал у него на ладони.

— Брат Лемнер, — Чулаки тоскливо звякнул цепями, — я предлагал вам великую возможность и честь запечатлеть своё имя на русских скрижалях. Предлагал вывинтить Россию из мировой истории, как вывинчивают тусклую, засиженную мухами лампочку, и ввинтить вместо неё ослепительный светильник новой России, как самоцвет в созвездии процветающих народов и стран. Увы, эта роль не для вас. Россия будет тускло чадить на краю неба, как мутная слеза русской вдовы.

— Гражданин Чулаки, оставьте ваши образы и метафоры по другую сторону тюремных ворот, — Иван Артакович поправил ослепительно белую манжету, победно взглянув на грязную рубаху Чулаки. — Здесь от вас ждут чистосердечных признаний, искренность которых облегчит вашу участь.

— Иван Артакович, ещё недавно ты и я, мы сидели в уютном швейцарском кафе, мечтали о европейском пути России и распределяли портфели в будущем русском правительстве. Теперь ты щеголяешь своей белой манжетой. А ведь на ней кровь твоих недавних единомышленников и друзей.

— Ваши единомышленники и друзья, гражданин Чулаки, дали на вас показания, и теперь вам следует подтвердить их правоту, — Иван Артакович жгуче взглянул на Чулаки. Тому не следовало упоминать о швейцарском кафе, о прежней, связывающей их дружбе.

Мятежники оговаривали себя, сплёвывали кровь и продлевали свои мучения. Лемнеру хотелось достать золотой пистолет и пристрелить ректора Лео, публициста Формера, режиссёра Серебряковского, вице-премьера Аполинарьева. А теперь закованного Чулаки, которого ждали мучения. Но в показаниях бунтарей мелькали признания, уличавшие Ивана Артаковича в причастности к мятежу. Иван Артакович был ещё одной помехой на пути Лемнера к Величию. Тёмные рыльца диктофонов жадно глотали улики, которыми Лемнер, не теперь, но позднее, непременно воспользуется. Он сжал кулак, желая убедиться, что Млечный путь всё ещё в его ладони. Стиснутые пальцы ощутили холод серебряного слитка.

— Итак, гражданин Чулаки, прослушайте обвинения! — Иван Артакович взял листок и голосом лектора, желающего быть понятым аудиторией, стал читать первый пункт обвинения.

Чулаки обвинялся в том, что готовил хакерские атаки на атомные электростанции в Курске, под Тверью и в Петербурге. Авария всех трёх электростанций накроет Россию радиоактивным облаком до Урала. Европейская часть России обезлюдет. В ней останутся мутанты. Остатки населения уйдут за Урал. Осуществится план Гитлера по вытеснению русских за Уральский хребет.

— Вы признаётесь, Чулаки, что замыслили план «Барбаросса»? Готовы назвать имена хакеров и адреса хакерских центров в Брюсселе, Амстердаме и Праге? — Иван Артакович улыбался длинной улыбкой зверя, готового сверкнуть жестокими клыками. Смотрел, как бьётся в цепях Чулаки.

— Мерзкая тварь! — Чулаки плюнул в Ивана Артаковича. — Отдаёшь нас, своих недавних друзей, на заклание! Надеешься уцелеть в мясорубке Русской истории? Ты уже в мясорубке! Ты фарш! Всё, что когда-то было изысканным и утончённым Иваном Артаковичем Сюрлёнисом, уже превратилось в хлюпающий кровавый фарш! Его кинут ненасытной грязной собаке, которая и есть Русская история!

— Чулаки, вам придётся сознаться в замышляемом преступлении! — Иван Артакович щёлкнул пальцами, издал звук, каким подзывают официантов. В комнату влетела яростная и счастливая Госпожа Эмма. Её долго держали взаперти, притравливали на человечине и теперь спустили с поводка. В руках у

неё был ременный бич с маленьким узелком на конце. Она расставила ноги в чёрных блестящих сапогах, очертила хлыстом свистящую восьмёрку и всадила удар в Чулаки. Хлыст был устроен так, что кожаный узелок рвал одежду. Чулаки орал, бился в кандалах, уклонялся от ударов. Госпожа Эмма ударами хлыста раздевала его, срывала обрывки пиджака, клочья рубахи, изорванные комья брюк. Голый Чулаки, поросший рыжеватой шерстью, метался в цепях, а кнут, содрав с него одежду, теперь сдирал кожу. Каждый удар отсекал от него лепесток кожи. Чулаки стал полосатым от длинных ран. Повис в цепях, с бельмами закатившихся глаз. Госпожа Эмма хохотала, скакала, похожая на дикую наездницу, пока Иван Артакович, не пнул её ногой:

— Пошла вон, сука! Не можешь без сырого мяса!

Охранник принёс ведро воды, окатил Чулаки. Вода, стекавшая с него, была розовой. Чулаки очнулся. Иван Артакович показал ему листок. Чулаки пролепетал:

— Да, да, признаюсь!

Лемнер сострадал Чулаки. Ему хотелось извлечь золотой пистолет и пристрелить мученика, которому ещё предстояли невыносимые пытки. Но Лемнер оставил пистолет в кобуре. Он ждал, что Чулаки в своих признаниях откроет тайное участие в заговоре Ивана Артаковича. Лемнер не знал истинного устройства страны, в которой ему довелось родиться и жить. Теперь кнут срывал не только кожу с Чулаки. Он обнажал истинное устройство страны, и это устройство было смазано кровью.

— Послушай, Чулаки, второй пункт обвинения, — Иван Артакович брезгливо тронул листок с обвинениями, — и пожалей, ради бога, охранника. Ему тяжело таскать вёдра с водой.

По второму пункту Чулаки собирался расчленить Россию на восемьдесят территорий и в каждой создать монархию, чтобы восемьдесят русских царств непрерывно ссорились одно с другим, воевали, клеили союзы одних против других. Превращали Русскую историю в распрю восьмидесяти русских царей. По территориям этих царств тянутся чёрные трубы газопроводов, питающих газом Европу. Вокруг газопроводов танцуют русские девки в кокошниках и добрые молодцы с гармошками, носители традиционных русских ценностей.

— Хотел, Чулаки, раздробить матушку Русь? Чтобы вместо научных центров, университетов, оборонных заводов и космодромов здесь плясало восемьдесят ансамблей народной песни и пляски?

Чулаки качался в цепях, отекая розовой водой, как брусничным морсом. Он собрал кровавый шмоток слюны и плюнул в Ивана Артаковича, залепив ему глаз. И пока Иван Артакович доставал чистый платок с монограммой и отирал глаз, Чулаки выкрикивал:

— Ты, ты надоумил меня создать на месте России восемьдесят царств! Ты стал подыскивать будущих царей! Искал по регионам тех, кто носит фамилию

Романов. Ты предложил ведущие в Европу газопроводы покрыть хохломским узором, чтобы немецким диспетчерам было веселее качать бесплатный русский газ. Тьфу на тебя, мерзкий моллюск! — Чулаки собирался направить плевок в Ивана Артаковича. Стал собирать кровавую слюну. Иван Артакович щёлкнул пальцами. Такой щелчок издают старые канцелярские счёты, когда перебрасывают деревянную фишку.

В комнату влетела Госпожа Зоя. Её голый череп покрывали золотые узоры, как на пасхальном яйце. За ней струился голубой шарф. С лёгкостью балерины она крутилась на пуантах. Взмахнула голубым шарфом и кинулась на Чулаки. Обмотала шарф вокруг его горла и стала душить. Душила особой удавкой, сдавливала на горле дыхательные пути, артерии, пищевод, шейные позвонки. Всё это хрустело и хлюпало. Глаза Чулаки выпучивались, вылезали из глазниц, повисали на красных нитках. Вылез синий язык. Из хрипящего рта начинали появляться внутренние органы. Госпожа Зоя ослабляла удавку, и органы возвращались на место. Глаза погружались в глазницы, но в них сохранялся ужас, будто они во время удушения узрели адские бездны, зрелища, непосильные для разума. Госпожа Зоя позволяла Чулаки отдышаться и снова набрасывала на него голубой шарф. Душила, погружала в чёрную бездну. Так она делала несколько раз, и когда отступила от Чулаки, его язык оставался висеть, как жёваная колбаса, глаза, полные адских кошмаров, качались на кровавых нитках. Дознаватель в офицерском мундире надел резиновые перчатки и затолкал обратно в рот фиолетовый язык, вставил в глазницы глаза.

— Ну ты, монархист, признаёшься в содеянном? — смеялся Иван Артакович сухим смехом. Лемнер боялся, не всплывёт ли в показаниях и его имя, ибо и он был из семьи Романовых, из рода Рюриковичей, из колена Израилева. Вёл родословную от царя Давида.

— Признаёшь ли ты, червь могильный, обвинения по второму пункту?

— Признаю, — промычал Чулаки искусанным языком.

— Тогда послушай обвинения по третьему пункту! — Иван Артакович не читал, а декламировал. Казалось, текст зарифмован, и в нём звучат шестистопные ямбы.

Лемнер всё больше изумлялся неисчерпаемости зла, насылаемого на Россию её врагами. Он участвовал в громадных замыслах, будь то африканский поход, или военный бросок на Украину, или проект «Три попугая, три стрелы, три пули, три ветра, три воды». Но при этом он мало знал и слабо понимал устройство государства и таинство власти. Был вынужден действовать наугад. Пробирался на ощупь к Величию. Присутствуя на дознаниях, он постигал тайное устройство власти. Оно открывалось под ударами бича, в истошных воплях истязуемых.

Третий пункт обвинения утверждал, что Чулаки замышлял убить Президента Леонида Леонидовича Троевидова. Президент, опасаясь покушений,

укрывался в бункере, в тройном кольце охраны, защищённый зенитками. Принимал у себя малое число приближённых, общался со страной по видеосвязи. Первым среди приближённых был Антон Ростиславович Светлов, Светоч. Его не обыскивала охрана, не просвечивали металлоискатели. Он был вхож к Президенту и днём и ночью. Чулаки задумал создать двойника Светоча, направить его в бункер и там не стрелять, не ударять кинжалом, а влить в ухо Президента яд, приготовленный из корней болотной фиалки. Яд действовал не мгновенно, убийца успевал покинуть бункер и спастись. Для создания двойника была открыта лаборатория. В народе искали мужчин, похожих на Светоча. Тот обладал внешностью, бытующей среди костромских крестьян. Таких людей находили, совершали косметическую операцию лица, удаляли глаз и помещали в глазницу горный хрусталь. У Светоча этот хрусталь менял цвет. Свечение зависело от настроения Светоча. Но добиться у двойника подобных излучений не удавалось. В мозг двойника вшивали чипы, пробовали управлять глазом дистанционно. Излучаемая двойником световая волна отличалась от той, что излучал подлинный Светоч. Десяткам двойников делали пластические операции. Они становились неотличимы от Светоча. Их ослепляли, вставляли в глазницу горные хрустали, делали операции на мозг, вживляли чипы. Многие умирали. Но копия продолжала отличаться от подлинника. Работы пришлось прервать.

— Чулаки, признаёшься в преступном замысле убить Президента? В погублении несчастных двойников? — Иван Артакович говорил негодующе, голос дрожал от слов, которые было страшно произносить. — Несчастный, ты не мог знать, что волна горного хрусталя в глазнице Светоча совпадает с излучением Аркаима, где в могильниках, среди истлевших костей, в жёлтых черепах сверкают горные хрустали!

— Я знаю, что меня убьют, — булькал кровью Чулаки. — Но я захвачу с собой и тебя. Ты надоумил меня искать двойников Светоча. Ты создал инкубатор, где выращивают двойников. Будь проклят навеки, и пусть найдётся рука, что вольёт в твое ухо настой из корней болотной фиалки!

Иван Артакович щёлкнул пальцами. Такой звук издаёт сломанный лесной сучок.

В комнату вплыла Госпожа Яна. В сумрачной комнате стало ясно. Будто внесли пшеничный каравай или картину художника Кустодиева. Женщины такой благоухающей красоты давно перевелись в России вместе с русскими деревнями, народными песнями, снопами пшеницы. Но теперь эта русская дива с золотой косой и цветастым ведёрком явилась в мрачной тюремной камере. Поклонилась с порога в пояс дознавателю, Ивану Артаковичу, Лемнеру. Отвесила земной поклон окровавленному, висящему в цепях Чулаки. Поставила на пол ведёрко с краской и стала кистью мазать Чулаки, осторожно, нежно, чтобы не причинить ему боль. Чулаки чувствовал прохладу краски, благодарно

смотрел на целительницу. Его красное, освежёванное тело стало ярко-синим, как хитон на ангеле. Постепенно краска пропитывалась кровью, меняла цвет. Жуткая боль раскалённо коснулась Чулаки. Он заорал криком, которым кричат убиваемые зайцы. Краска меняла цвет, становилась перламутровой, переливалась, как морская раковина. Чулаки, перламутровый, бился в цепях и орал, пока охранник не окатил его водой. Лужа на полу переливалась радужной плёнкой.

— Признаю, — просипел Чулаки.

В четвёртом пункте допроса утверждалось, что по указанию Чулаки во все печатные издания России — в произведения русских классиков, в школьные учебники, в научные трактаты, в тексты законов, в воинские уставы, в наставления по использованию ракет и самолётов — было внесено одно единственное слово «шедим». Никто не знал, что оно значит, но оно вносило искажения в смыслы поэм и романов, философских вероучений, в трактовку законов. Оно вносило порчу в русское мышление, отклоняло его от заветной мечты о Царствии Небесном, об идеальном бытии, где нет смерти. Русская мысль и душа, русская ракета или судебный приговор промахивались, пролетали мимо цели. Россия устремлялась к райским смыслам и промахивалась, не достигала рая. Порча, внесённая Чулаки в русское миросознание, делала его неотмолимым грешником.

— Признаёшь ли за собой это мерзопакостное деяние? Ни ты ли навёл на Россию эту колдовскую порчу? Что значит слово «шедим»?

— Ты и есть «шедим»! Ты и есть русская порча! Ты и есть неотмолимый грешник!

Лемнер испугался. Таинственное слово «шедим», запущенное в русскую молвь, как порча, испугало его. Не смыслом, который был недоступен, а звучанием. Ему казалось, он уже слышал его. Оно прозвучало не из человеческих уст, а из безымянной тьмы, куда исчезает всё живое и не возвращается, поглощённое смертью. Но слово вернулось оттуда, откуда не возвращаются. Вернулось в мир света, чтобы погасить свет и низвести во тьму. Это слово звучало в его оглохших от ужаса детских ушах, когда пробегал мимо подвала, и оттуда кидался за ним чёрный кошмар. Кидалось слово «шедим». Оно звучало, когда он с пробитой головой переплывал тёмные воды, и вдали переливался бриллиант Русского рая. Он стремился в него, но слово его не пускало. Оно звучало, когда в ночной степи сиял над ним Млечный путь, и он желал умчаться в его серебряную беспредельность. Но прозвучало слово «шедим», и он остался лежать с пробитой головой в горючей степи, а Млечный путь растворился в чёрной Вселенной.

Лемнер почувствовал, как начинается озноб, бьёт колотун. Слово «шедим» было не словом. Оно имело плоть. Огромные чёрные щупальца тянулись к нему, нацеливался клюв, чернели лиловые, как бездна, глаза.

— Что значит слово «шедим»? — Лемнер схватил окровавленные цепи, в которых висел Чулаки, тряс, и голова Чулаки падала с плеча на плечо. — Что значит «шедим»?

— Тебе не должно знать! Ты мыльный пузырь, который выпустили полетать, и он скоро лопнет разноцветными брызгами.

— Что значит «шедим»? — Лемнер дёргал цепи, разрывал Чулаки на части.

— Шедим, то, что едим! — жутко, харкая кровью, хохотал Чулаки.

— Ты скажешь, что такое «шедим»! Не мне, так абиссинским пилигримам! — Лемнер, ошибаясь кнопками, набрал телефон. Вошли служители в резиновых фартуках. Один держал бамбуковую трубку, другой стеклянную банку, полную африканских чёрных муравьев.

— Запустите в него абиссинских пилигримов! — неистово приказал Лемнер.

Служители в резиновых фартуках раздвинули ягодицы Чулаки, вставили бамбуковую трубку. Руками в резиновых защитных перчатках стали выгребать из банки муравьёв и заталкивали в бамбуковую трубку. Муравьи исчезали в трубке, проникали в кишечник Чулаки. Его кишки, желудок были полны кишащих жалящих муравьёв. Они изъедали его изнутри. Он корчился, рыдал, рвал цепи, скакал с бамбуковой трубкой в заду. Повис в цепях. Служители в фартуках выдернули бамбук, клизмой промыли Чулаки желудок. Из него вытекала вода с шевелящимися муравьями. Чулаки откачали.

— Скажешь, что значит слово «шедим»?

— Скажу. Но не надо абиссинских пилигримов!

Рассказ Чулаки прерывался обмороками и рыданиями. Его приводили в чувство. Он стоял босиком на бетонном полу, в луже, где шевелились африканские муравьи.

— Шедим, шедим, — всхлипывал Чулаки. — Малое племя, проживавшее в Центральноафриканской республике, в тростниках, у озера Чамо. Я обнаружил его, когда в окрестностях озера искал месторождения золота. Племя сразу заинтересовало меня. Оно размножалось удивительным образом, не так, как соседние племена. Когда наступало полнолуние, самки племени выходили на берег озера и метали в тростниках икру. В африканском небе светила полная белая луна. Обнажённые самки, сверкая под луной чёрными, полными икры, животами, шли по мелководью к тростникам. Ложились в воду и метали икру, студенистые, прозрачные сгустки с крохотными точками зародышей. Икра приклеивалась к тростнику. Раздавались ночные крики, стоны рожениц. Нерестилище волновалось, сверкало. Было видно, как утомлённые родами самки выбредают из воды и медленно покидают озеро. Была блаженная тишина. В озере отражалась огромная белая луна. В тростниках мерцала икра. Но уже слышался топот множества босых ног. К нерестилищу сбегались самцы. Это были воины, закалённые в боях с соседними племенами. Ловцы, иссушённые в

охотах на антилоп. Юноши, не познавшие женщин. Они схватывались за право оплодотворить икру и стать отцами. Начиналась неистовая битва. Под луной сверкали копья, бурлила вода, луна рассыпалась на тысячи крохотных лун, и среди этих отражений бились самцы. Победители, покрытые ранами, шли в тростники, где мерцала икра. Жадно, страстно набрасывались на икру, целовали, признавались в любви, шептали нежные уверения, задыхались от наслаждения. Из них истекало семя, белое, как молоко антилопы. Поливало икру, и случалось зачатие. Тысячи подлунных зачатий. Икра начинала взбухать. Чёрные точки зародышей обретали черты утробных младенцев с ножками, ручками, лобастыми головами. Взрастание совершалось стремительно в тёплой озерной воде, в лунных лучах. Детёныши вылуплялись из икринок, сбрасывали с себя студенистые сгустки и бежали из воды на берег. Не все добегали. Одних поедали пучеглазые озёрные рыбы. Других склёвывали ночные пеликаны. Самцы племени, отцы детёнышей защищали потомство. Отгоняли рыб копьями, стреляли в пеликанов из луков. Спасённое от поедания потомство покидало озёрный берег и шло в леса, где вкушало первые в своей жизни лакомства, сладкие плоды манго.

Чулаки устало умолк. Дознаватель подал ему сладкий чай, возвращавший силы. Лемнер слушал с жутким упоением. Вспоминал пьяный воздух Африки, ночное серебро озера Чамо, скользнувшую по луне тень пеликана, бурление вод в тростниках. Тогда это бурление не имело объяснения и пугало его, но теперь он узнал, что вскипали воды от тысяч чернокожих малышей, бегущих из воды на берег. Прожорливые тупорылые рыбы толстыми губами хватали их. Пеликаны ловили их клювами, набивая зобы. Воспоминания были чудесны. Лемнер был благодарен Чулаки, снарядившему его в африканский поход.

— Тогда-то у меня возникла мысль переселить племя шедим в Россию, — Чулаки, продолжая висеть в цепях, выпил из рук дознавателя чашку сладкого чая. Это прибавило сил, и он продолжал рассказ, уже не под пыткой, а исполненный молодых воспоминаний. — Тогда русская змея сбросила с себя красную кожу. Старая элита разбежалась, и нужна была новая элита, свободная от красных предрассудков, не расположенная к «традиционным ценностям», в том числе к традиционной семье. Европейские реформы, которые я замышлял, требовали новой элиты. Я погрузил племя шедим на два теплохода, привёз в Россию. В Университете имени Патриса Лумумбы племя шедим выучилось русскому языку. Их поили отваром из коры молодого дуба. Он устранил в них чёрный пигмент, и они стали белокожими, неотличимыми от русских. Я стал насыщать ими учреждения, министерства, университеты, телевидение, армию и монастыри. Так возникла новая русская элита, которая провела европейские реформы, уничтожила всё мертвящее, краснозвёздное. Вождь племени Акайо получил русское имя Егор Тимурович. Это было великое русское время, время «шедим»!

— Вы хотите сказать?.. — Лемнер был ошеломлён. Ему открывалось устройство российской власти. — Хотите сказать, что ваши подельники — ректор Лео, вице-премьер Аполинарьев, режиссёр Серебряковский, публицист Формер — все они из племени шедим?

— Именно так, брат Лемнер. Но подойдите к зеркалу и присмотритесь к своему отражению. Кончики ваших ушей заострились кверху. Это рудимент, оставшийся с тех времён, когда охотники шедим чутко прислушивались к звукам саванны, по которой мчались антилопы.

Лемнер тронул уши. Ему показалось, что заострились верхние хрящики, и он отчётливо слышит топот антилоп.

— Племя шедим растворилось в русском народе и ничем себя не обнаруживало. Разве что мужчинами, не нуждавшимися в женщинах, и женщинами, обходившимися без мужчин. Таких было много в Большом театре, на телевизионных каналах, в Правительстве и в монастырях. Но они утоляли инстинкт размножения по-прежнему, по-африкански. В середине июля, когда вода в озере Ильмень прогревалась, они собирались небольшими группами и уезжали на чудесное новгородское озеро. В лунную ночь обнажённые женщины, среди которых были дамы — министры, дамы — вице-премьеры, дамы — уполномоченные по правам ребёнка, выходили на мелководье и метали икру. Икра была чёрная, красная и тресковая. После небольшой потасовки к икре бежали мужчины. Среди них выделялся огромного роста звонарь из соседнего монастыря. Он срывал на бегу рясу и первым кидался оплодотворять икру. Привыкнув к скудной монастырской жизни, он выбирал икру попроще, тресковую или щучью. Все они знали, что принадлежат к племени шедим, но называли себя «ильменьскими славянами».

Лемнер, слушая, исподволь трогал уши. Верхние хрящи заострились. Он слышал топот антилоп, гогот фламинго, крик пеликанов. Ноздри ловили сладкие дымы, когда уходило солнце, и в сумерках у хижин загорались костры, люди выходили из жилищ, звучали тамтамы, слышались песни. Ему открылось. Он принадлежал к племени шедим, был укоренен среди чужого народа, был ему в тягость, желал ему зла, мстил за своё сиротство. И всё, к чему прикасался, начинало тлеть, превращалось в золу. Его жизнь, полная ненависти, погонь, стрельбы из золотого пистолета, осквернения святынь и попрания «традиционных ценностей», погребения мертвецов вниз головами, убиения сына во чреве замёрзшей на льдине матери, — всё это выдавало в нём человека шедим. Это открытие было ужасно.

— Всё бы хорошо… — продолжал свои откровения Чулаки. — Племя шедим искореняло в русском народе его воспалённое самосознание, безумное стремление в Царствие Небесное. Русский народ затихал, унимался, стремился не в небеса, а в Европу. Но случилось негаданное. Стал меняться климат, вода в озере Ильмень перестала прогреваться, и чёрные малыши перестали

вылупляться из икры. Племя шедим стало слабеть, таяло. Его покинул Егор Тимурович. Появились гонители, такие, как Светоч. Сам Президент Леонид Леонидович Троевидов выдавил из себя по капле человека шедим и стал преследовать своих недавних соплеменников. Племя шедим сходило на нет. И тут явился в блеске своих неиссякаемых фантазий Иван Артакович Сюрлёнис!

— Замолчи! — крикнул Иван Артакович, зажимая ладонью рыльце диктофона.

— Явился, повторяю, Иван Артакович Сюрлёнис со своим гениальным проектом.

— Молчать! — Иван Артакович попытался выключить диктофоны, но Лемнер не позволил. Его жгла мысль, что он одного рода-племени с Егором Тимуровичем, с его круглой, наполненной рыбьим студнем головой, крохотными, как у улитки, чмокающими губками, огромными ушами, которыми он вращал, как пропеллерами. Мысль о родстве была кошмаром.

— Проект Ивана Артаковича был в том, чтобы нерест проходил не на остывающем озере Ильмень, а в инкубаторе с подогревом, как выращивается в рыбных хозяйствах норвежская семга.

— Молчи! — Иван Артакович обессиленно отступил.

— Иван Артакович посадил в инкубатор Ксению Сверчок, самку племени шедим, извергающую в полнолуние несметное количество икры. Но не было подходящего самца. Все были обессилены связями с белой расой. Их семя утратило силу. Только мутило воду, оставляя икру Ксении Сверчок неоплодотворённой. Вот почему Иван Артакович послал вас, господин Лемнер, в Африку. Чтобы вы отыскали на берегу озера Чамо оставшихся там особей племени шедим, не испорченных белой расой. И вы нашли такового на рынке Банги. Он шёл за вами, голый, думая, что вы самка племени шедим. Его доставили в Москву и поместили в инкубатор вместе с Ксенией Сверчок. Но одного самца оказалось мало, столько икры исходило из Ксении Сверчок. И в Африку была послана сподвижница Ивана Артаковича Франсуаза Гонкур, чтобы найти сохранившихся особей племени шедим на берегу озера Чамо. Франсуаза Гонкур нашла несколько мужских особей, выводила их из тростников на танцверанду, но вы, господин Лемнер, по незнанию её подстрелили.

Лемнеру было ужасно. Его принадлежность к племени шедим была несомненна. Он помнил ночную веранду, огромную луну над озером, тень пролетевшего фламинго, вылетающую из ночного озера женщину в чёрном трико и свою руку с золотым пистолетом, которым он целил в женщину. Он вспомнил стеклянную стену в кабинете Ивана Аркадьевича. Под стеклом с ужимками влюбчивой самки сидела Ксения Сверчок и чёрный африканец ярился, бил себя в грудь, изображал воина, готовясь стать отцом.

— Иван Артакович по поручению американской военно-морской разведки «Неви енелайзес» и «Ротариклаб» задумал построить подобные инкубаторы во

всех городах России и обеспечить бесперебойную поставку мальков шедим во все учреждения. Там они получат первые навыки управления Россией и впоследствии займут видные места в российской элите. Не так ли, Иван Артакович? — мстительно вопрошал Чулаки, глядя на огонёк диктофона.

— Я заставлю тебя умолкнуть! — крикнул Иван Артакович и щёлкнул пальцами.

В комнату ступила Госпожа Влада. Она была огромна, как египетский сфинкс. Её чугунные груди были столь тяжелы, что она поддерживала их руками, чтобы не упали и не разрушили пол. Она у порога наклонила голову с каменным лбом, тяжело, переваливаясь, побежала. С разбега ударила Чулаки головой в живот. Удар был такой силы, что из Чулаки выпали все внутренние органы. Он качался в цепях, и на нём висели его кишки, желудок, печень, сердце, почки и что-то ещё, липкое, красное, мерзкое. Госпожа Влада облизывала свои оловянные губы жёлтым языком.

Глава тридцать шестая

Лемнер, непрестанно общаясь со Светочем, знал, что готовится грандиозный судебный процесс над Чулаки и его четырьмя приспешниками. Вместе с ними над всеми исповедниками «европейского пути». Народу будет открыт страшный заговор, направленный на погубление России и убийство Президента Леонида Леонидовича Троевидова, поборника «традиционных ценностей». Будет вскрыта грибница заговора, проросшая сквозь министерства, театры, университеты, партии, общественные организации и даже монастыри. Из русской жизни, из русского сознания изгонялось всё, что связано с Европой и веками несло в Россию несчастья, будь то ересь жидовствующих, церковный раскол, петровские реформы и революции. К процессу подключались историки, культурологи, богословы, лингвисты, знатоки тайных культов, ведающие правду об «европейском черве в русском яблоке».

Чулаки и его подельников готовили к процессу. После дознаний все они были искалечены. Их врачевали лучшие доктора, лечили раны, сращивали переломы. Известные чтецы репетировали с ними будущие покаянные речи. Им шили одинаковые дорогие костюмы — белые брюки, зелёные пиджаки, алые галстуки. Особенно заботились о Чулаки. После удара Госпожи Влады все внутренние органы Чулаки выпали из тела и повисли снаружи, как шляпы на вешалке. Искусные трансплантологи возвращали эти органы на место. Вталкивали обратно кишки, запихивали желудок, помещали в разъятую полость сердце, почки и печень. Чулаки оживал неохотно, упрямился, не желал возвращаться в жизнь, отказывался принимать лекарства. Ему грозили абиссинскими пилигримами, и он принимал лекарства.

Светоч прокрутил на телевидении добытые Лемнером записи, где подсудимые предстали страшными извращенцами, попирающими традиционные отношения полов, семейные ценности, гуманное обращение с животными. Ибо ректор Лео и режиссёр Серебряковский в извращениях теряли человеческий образ и превращались в скотов, а над скотами творились надругательства.

Телевизионный маг Алфимов, комментируя записи извращений, просил родителей не пускать к экранам детей, Чулаки и подельников называл «святотатцами русской истории», а Лемнера и Светоча «чудесными витязями русского избавления».

Лемнер готовился к процессу. Ему предстояло выступать с обличениями. Но он дышал жёлтым горчичным туманом. Каждый вздох вызывал нестерпимое жжение. То и дело он касался ушей и прислушивался, ни раздастся ли гогот фламинго и крик пеликана, держащего в клюве чёрного малыша. Когда

оставался один, припадал ухом к земле, не раздастся ли топот копыт. Обнажённый, он подолгу стоял перед зеркалом. Казалось, на нём темнеют чуть заметные пятна пигмента. Он был шедим. Его забросили в чуждую неласковую страну, заставили жить среди хмурого народа, которому он приносит несчастья, а тот платит ненавистью, притаившейся на дне глазных яблок. Ему являлись мысли о самоубийстве. Он доставал золотой пистолет, прикладывал к виску и ждал, когда вскрикнет пеликан, чтобы нажать на спуск. Он задумал побег из Москвы в Африку, возвращение на озеро Чамо. Он поселится в тростниках чудесного озера, среди своего народа, и в час полнолуния станет смотреть, как гибкие длинноногие африканки, поддерживая полные икрой животы, несутся к мелководью. Плещутся под луной, трутся чудесными телами о тростниковые стебли. Испускают из себя жемчужные сгустки икры с крохотными чёрными зародышами. Влекомый инстинктом отца, он мчится, расплёскивая лунные брызги, обнимает жемчужную плоть икры, ласкает, отыскивает самые нежные и певучие слова признаний. Изъясняется икре в вечной верности и любви. Он тешил себя дивными образами, листал томики Пушкина, Блока, Мандельштама, отыскивая в них любовные признания. Откладывал книги. Возращение в Африку на озеро Чамо было невозможно. Слишком многим он досадил в Африке, где из красноватой африканской земли торчали изъеденные термитами пятки безвестных покойников. Да и сохранились ли особи племени шедим в озёрных тростниках? И является ли берег озера Чамо его истиной родиной? И что тогда для него волшебная страна с горячими дорогами и голубыми горами, где в каждой харчевне сидит пророк и пьёт чай? И что для него московский дом на Сущевском Валу, где жили его милые обрусевшие мама и папа, и он ребёнком смотрел из окна, как по Миусскому кладбищу движется похоронная процессия, краснеет среди снегов гроб, доносится печальный рёв погребальной трубы?

И вдруг — спасительная мысль. Он должен креститься, немедленно, теперь же. Спрячется от всех кошмаров и подозрений в русский храм, войдёт в него, чтобы больше не уходить. Он примет веру народа, в который его поместили.

И кончится отчуждение, случится дивное слияние. В нём оживут корни Романовых. Станет доступным восхитительный Русский Рай, который сверкал бриллиантом на тёмных водах, и Величие, к которому стремит его судьба, будет Величием Русского Рая. Он войдёт в него сквозь скромные двери сельской церкви, той, чудесной, о которой поведала Лана.

К любимой и ненаглядной женщине поспешил Лемнер сообщить, что готов креститься.

Вертолёт формирования «Пушкин», пятнистый, с красной звездой, взял на борт Лемнера и Лану и понёс над зимней чёрно-белой Россией. Белые поля, чёрные леса. Белые реки, чёрные деревни. Белое небо, чёрный дым. Чёрное — белое, чёрное — белое. Все безымянно, неоглядно. Россия, как чёрно-белое сновидение.

Лемнер всматривался в деревни, в дымы, в дороги, в землю, где живёт народ, думает свою чёрно-белую думу. Не ведает о Лемнере, что, как семечко, гонимое ветром, несётся над заводами, колыбелями, кабаками, кладбищами, не находит места среди чужих работ, свадеб и погребений. Он просил этот чужой народ пустить его в свои застолья, труды, драки, пьянки, в свои чёрно-белые думы. Он просил у народа прощения за зло, которое ему причинил.

«Прости меня, русский народ! Прости моё окаянство!»

Он летел и каялся в совершённых убийствах. Каждый убитый заглядывал в иллюминатор, и они летели лицом к лицу, разделённые толстым стеклом.

Тот дизайнер в селе Свиристелово, что сжёг на костре рыжеволосую проститутку Матильду. Кавказский торговец на Даниловском рынке. Безвестный стрелок, напавший на склад «Орион».

Лица прилипали к иллюминатору, смотрели мёртвыми глазами и отпадали. Исчезали в чёрно-белых пространствах. Им вслед летели покаяния Лемнера. Он не знал, долетают ли его покаяния до суровых людей в деревнях, кидающих в русские печи смоляные дрова.

«Прости меня, русский народ!»

Охранник во дворце президента Блумбо. И сам президент Блумбо. И французский геолог Гастон из Гавра, и чернокожий рабочий, из которого, как золотые слёзы, капали самородки. Журналисты Чук и Гек, не успевшие покрыться африканским загаром. Лёгкая, как прыгнувшая пантера, Франсуаза Гонкур.

Все они прилипали к иллюминатору, Лемнер видел шоколадное, с яркими белками лицо Франсуазы Гонкур, вспомнил, как целовал её губы, сладкие от манго, и над озером Чамо горел розовый полумесяц.

«Прости меня, окаянного, русский народ!»

Лана сидела в стороне на железной скамье и смотрела на Лемнера, совершавшего обряд покаяния.

«Народ, прости, если можешь!»

Великан-украинец, кого застрелил среди осенних деревьев. Пленный в крестах и свастиках, кому всадил пулю в грудь.

«Прости, прости!» — вымаливал Лемнер прощение у народа, который, быть может, приснился ему среди чёрно-белой России.

Он винился за все злодеяния, принесённые племенем шедим в народ, загадочный для себя самого, отгадывающий эту загадку в рыдающих песнях, надрывных романах, в ересях и кровавых бунтах.

Он винился за расстрел царя, за убитых священников, разорённых крестьян, за изгнание профессоров и писателей. Он брал на себя злодеяния, что чинились над русским народом, и за те злодеяния, что чинил сам над собой русский народ, и за те злодеяния, которые совершал русский народ над другими народами, над лесами, озёрами, реками, медведями, осетрами, синицами.

Покаяние Лемнера было слёзным. Он плакал, чёрно-белая Россия расплывалась, как мокрая акварель.

Лана молча смотрела, как слёзы бегут по обращённому к иллюминатору лицу Лемнера.

Вертолёт опустился в снегах. Лётчик открыл дверь, рёв винтов вместе с ветром ворвался в салон. Лемнер и Лана сошли, окружённые свистом лопастей, жгучей, поднятой винтами метелью. Метель опала, открылась деревушка с избами, заснеженными огородами, двумя-тремя дымами. Кирпичная церковь была наивная, кособокая, приплюснутые синие главы усыпаны блёклыми золотыми звёздами. Навстречу шёл человек в полушубке и косматой шапке. Что-то издалека кричал, улыбался, салютовал, прикладывая руку к виску.

Вертолёт улетел, завернув всех троих в колючий завиток метели, и в наступившей тишине подошедший человек произнёс:

— Здравствуйте, Лана Георгиевна! Здравствуйте, Михаил Соломонович!

— Здравствуйте, Николай Гаврилович, — Лана шутливо козырнула встречающему и представила его Лемнеру: — Наш хозяин, лесник. Каждый волк у него на счету.

— Пожалуйте за мной, — засмеялся шутке лесник. — Домик готов. Баня натоплена. Обед поджидает.

По пути в деревушку заглянули в церковь. От дороги к церковной ограде до дверей снег был расчищен. В наваленных снежных грудах торчали еловые ветки. Дверь тесовая, с облупившейся краской, блестела медной, стёртой прикосновениями ручкой. Лемнер с благоговением смотрел на ручку, на дощатую дверь, которая впустит его в Русский Рай. После белизны в церкви было сумрачно. Ветхий, крашенный бронзой иконостас слабо светился образами. Храм был украшен еловыми ветками. В высокой железной печи гудели дрова, сквозь щель на полу дрожала полоса света. Пахло хвоей, дымом, сладкими церковными благовониями.

«Это и есть Русский Рай, — думал Лемнер, ступая по стоптанному блёклому половику. — Смиренный, милосердный, праведный. Пусти меня к себе, Русский Рай!»

К ним вышел священник, маленький, с белыми, лёгкими, как пух, волосами, в сером облачении. Лана подошла под благословение. Лемнер поклонился.

— Отец Иоанн, к вам прилетел Михаил Соломонович креститься.

— Завтра Крещение. Иисус крестился в Иордане, а вы у нас, Михаил Соломонович.

— А вы, батюшка, как Иоанн Креститель, — смиренно пошутила Лана.

— Завтра утром до службы приходите. Крёстным отцом ты будешь, Николай Гаврилович? А матерью крёстной вы, Лана Георгиевна? Вот и ладно, — и он поплыл, заструился, пушистый, как одуванчик. Лемнер смотрел ему вослед с

робостью и обожанием. Таким и должен быть поводырь, что поведёт его завтра в Русский Рай.

За деревней на берегу замёрзшего пруда свежими брёвнами желтел дом, рядом банька. В пруду перед банькой темнела прорубь в виде креста. Воду уже затягивала маслянистая сизая пленка, по краям проруби поблескивала крошка льда. Над дверью затейливо была вырезана глазастая сова.

В доме с мороза дохнуло теплом, свежим деревом, яствами, коими был уставлен стол.

Лемнер с наслаждением ел русскую деревенскую пищу. В деревянной миске дымились белые картофелины. В другой миске солёные огурцы зеленели из-под жёлтых зонтиков укропа. В квашеной капусте среди кристалликов льда краснела клюква. На деревянной доске лежал жареный тетерев, страшно расставив обгорелые ноги, прижав к бокам общипанные заострённые крылья. Стояла бутылка самогона с деревянной пробкой и гранёные стаканчики, по одному, перед каждым, кто сел за стол.

— В баньку, должно быть, завтра, после крещения? Все грехи смыть? — Николай Гаврилович налил по стопкам самогон, рачительно закупорив бутылку. — Со свиданием, Лана Георгиевна! За знакомство, Михаил Соломонович!

Самогон был душистый, огненный, сладкий, жарко пролился вглубь, огурец твердо хрустел, ягода клюквы брызгала на язык кислой каплей. Тетерева разломали на куски, Лемнеру досталась мускулистая птичья нога. Он вынимал изо рта и клал на доски стола свинцовые дробинки.

— Как же ты отыскала это чудесное место? — Лемнер держал в пальцах красную ягоду клюквы. Она просвечивала и казалась рубиновой бусиной.

— А вот так шла, шла и нашла. Ходила по грибы, заблудилась, плутала по лесам и вышла на звон колокола, — Лана тихо смеялась, и Лемнер не стал выведывать. В Лане оставалось много таинственного, и эта деревушка, и церковь с синими звёздными куполами, и похожий на одуванчик священник, и лесник, по-военному приложивший к виску ладонь, — всё это оставалось загадочным. И не хотелось отгадывать, а только смотреть, как чудесно переливаются её глаза, словно видят многоцветное, восхитительное. Должно быть, бриллианты Русского Рая.

— Как у вас тихо, чудесно, Николай Гаврилович, — Лана осматривала горницу с иконкой в углу, окна с тропическими зарослями инея. — И гостей у вас не бывает, только мы.

— Из леса приходят. На той неделе волки пришли, тёлку зарезали. Кабаны на огороды приходят, всё перерыли. Если Михаил Соломонович желает поохотиться, я охоту устрою. Валенки есть, полушубок найдётся, лыжи, ружьё, все есть.

— Спасибо, Николай Гаврилович. Завтра приму крещение, и никаких огнестрельных стволов. Только грибы, ягоды. Лана Георгиевна мне грибные места покажет.

Они окончили трапезу. Быстро темнело. Николай Гаврилович стал прощаться:

— Завтра рано приду, отведу в церковь, — вышел, на прощанье козырнув по-военному.

— Ступай в свою комнату. Перед крещением побудь один, — Лана поцеловала Лемнера в висок и удалилась в светёлку. Лемнер слышал, как поскрипывают половицы.

Он не спал. Днем, в вертолёте, над чёрно-белой Россией, он каялся в содеянном зле, изливал из греховной души наполнявшую её тьму, отпускал эту тьму в проплывавшие под вертолётом леса и поля. Леса от этой тьмы не становились темней, а поля оставались белыми. Они расточали тьму. Россия принимала на себя его тьму, превращала в свет. Теперь, лёжа в ночи, накануне крещения, он запрещал тьме возвращаться, гнал из памяти всё, что жестоко и жарко стремилось вернуться. Берёг открывшуюся в памяти пустоту для завтрашнего света, что прольётся на него в храме.

Он вспомнил, как в детстве, глухими зимними утрами, ему не хотелось просыпаться и идти в школу. Мама, не желая его резко будить, щадя его сон, приоткрывала дверь в соседнюю комнату. Готовила завтрак, гремела фарфором, звенела ложками и громко говорила с отцом по-французски. Разговор касался его, и он, не понимая французского, слышал их родной тихий смех. Теперь, накануне крещения, вспоминал полосу света в приоткрытых дверях, голоса родителей, нежный смех, звяк тонкой фарфоровой чаши из сервиза бабушки Зинаиды Моисеевны. Лемнер наполнял этим воспоминанием свою очищенную память, не давал вернуться тьме.

Вспомнил, как в детстве, ранним утром на даче, он проснулся раньше остальных и в счастливой лёгкости, в предчувствии чудесного, выбежал на веранду, топоча босыми пятками. В саду была сырая тень, листья яблонь поблёскивали тёмной росой, яблоки чуть светились в листве. Но в небе, в светлой высокой лазури уже лились лучи. И в этой лазури летела уточка, заострённая, как стрелка. Он чувствовал её трепет, её утреннее стремление, её маленькое, несущееся в лазури тело, её крохотное стучащее сердце. Уточка пронеслась и канула, а он всё смотрел в лазурь, где просверкали утиные крылья.

Теперь, спустя столько лет, когда той уточки нет и в помине, и не существуют яблоневый сад, и стеклянная веранда, и спящие сладким утренним сном мама и папа, он вспоминал ту чудесную уточку, несущую в лазури Благую весть.

Лемнер не спал в ночи, готовясь к утреннему крещению. Он войдёт в храм, оставив за дверью все горькие и глухие подозрения, все мерзости и святотатства,

бросит в прорубь золотой пистолет, а возьмёт с собой только то, что сулило ему Русский Рай, говорило, что Рай существует.

К Лемнеру возвращались чудесные воспоминания, и они возвещали, что Рай существует.

Казалось, он заснул на мгновение и тут же проснулся от хлопка входной двери. Ласковый басок Николая Гавриловича позвал:

— Гости, вы где? Подъём!

Пили чай, без сахара, обжигаясь. Лемнер, отказавшись от сахара, думал, что впереди ждёт его неземная сладость, выше любых земных услад.

Воздух обжёг морозом. Пахнуло дымом. Ступеньки прохрустели, как ксилофон. Пруд был мутно-серым, чуть светлее неба. Прорубь размыто чернела. Шли по деревне, и в окнах вдруг загоралось красное полукружье печи, горели золотые дрова, двигался человек. Лемнер шагал, волнуясь, как волнуются перед дальней дорогой. Он оставлял прежний мир, где пахло дымом, горели полукружья печей, чернела крестовидная прорубь. Он ещё был прежний, с недавними воспоминаниями, со всей прожитой жизнью, запутанной, надрывной, которую так и не успел осознать, и теперь её оставлял. Он шёл по хрустящему снегу в другую неземную страну, где не будет этой ночной деревни, не будет лесника Николая Гавриловича, не будет Ланы, а случится несказанное преображение, неописуемое чудо. Новая страна примет его. Он пройдёт врата, проникнет сквозь волшебную буквицу, увитую райскими цветами.

Церковь мутно белела. В одиноком оконце желтел свет. Внутри было хмуро, холодно. В железной печи слабо, принесённые с мороза, горели дрова. В подсвечнике стояла одинокая свеча, освещая красный хитон Богородицы и еловую ветку.

Из алтаря выплыл священник, пушистый, как одуванчик. Его ряса касалась пола, скрывая башмаки. Он шёл мелкими шагами, и казалось, плывёт.

— Готов, раб Божий Михаил?

— Что? — переспросил Лемнер.

— Готов к приятию Святаго крещения?

— Готов, отче! — Лемнер, привыкший принуждать, командовать, подчинять грубой, иногда жестокой силой, робел священника, его воздушных, лёгких, полных чудного света волос, мигающих синих глазок, золотой епитрахили.

Из алтаря вышел служка, деревенский отрок, заспанный, в тёплом пальто и валенках. На запястьях у него золотились поношенные нарукавники. Он вынес большой эмалированный таз и поставил посреди храма. Налил из ведра воду, окунул пальцы, щупая воду. Она показалась слишком холодной. Он отошёл в сторону и принёс большой металлический чайник. Стал лить в таз. Из струи шёл пар. Снова пощупал воду и унёс чайник.

— Раздевайся по пояс, Михаил. Босый становись в таз.

Лемнер вдруг испытал смятение, панику. Глухая сила толкнула, погнала прочь из храма. Он хотел бежать от нелепого таза, одинокой свечи, аляповатой, писанной местным богомазом иконы, от убогого батюшки и сонного недокормленного служки. Обратно, на волю, где ревут моторы и свистят винты, улыбаются подобострастные мужчины и обольстительные женщины ищут его внимания. И этот эмалированный таз, металлический чайник, наклонённая, готовая упасть свеча! Прочь, прочь отсюда!

— Одежду на лавку положь, — указал священник.

Лемнер стянул пальто, вылез из свитера, снял рубашку. Стало холодно. Через церковь дул сквозняк, клонил пламя свечи. Лемнер снял туфли, носки. Босые стопы ожглись о ледяные доски пола. Лемнер переступил на матерчатый половик, но ткань, истоптанная подошвами, была холодной, как доски. Лана и Николай Гаврилович из сумрака смотрели на него.

— Наступай сюда, в таз, — сказал священник. — Иисус вошёл в Иордан, а ты войди в таз. Это твой Иордан.

Лемнер перенёс ногу через край таза, окунул. Вода была тёплой, и ногам было хорошо стоять на эмалированном дне, словно под тазом, невидимый, находился подогрев. Это тепло успокоило Лемнера. Паника унялась. Он стоял полуголый в тазу. Сквозь его темя и босые стопы проходила вертикаль. Она возносилась ввысь, к пустому куполу, проникала сквозь синюю луковицу с золотыми звёздами и исчезала в бесконечности. Свыше тихо изливалось тепло. Тепло было под ногами, в синих глазках священника, в горящей свече, в красном хитоне Богородицы, в еловой ветке. Его окружало тепло. Он находился в нём, как в коконе. Его поместили в капсулу, готовили к полёту. Он был ещё не в небе, но уже отделён от земли.

— Я стану читать, — сказал священник. — А когда скажу, повторяй за мной. Понял?

— Понял, — кивнул Лемнер, стоя в тазу. Служка, держа горящую свечу, поднёс священнику книгу. Священник нацепил на синие глазки очки. Раскрыл книгу и стал читать. Служка держал свечу над книгой, и Лемнер видел, как капает воск. Его полёт начался, капсула взлетала. Голова кружилась от перегрузок, и он едва слышал священника. Тот читал на таинственном, состоящем из бульканья, звона, птичьих криков языке. Повествовал о волшебной реке, волшебной стране, волшебном старце с пушными, как одуванчик, волосами. Повествовал о Лемнере, стоящем в белом тазу, окружённом тёплым коконом, что мчался по вертикали, пронзив потолок, синие, с золотыми звёздами, купола, приближаясь к запредельной стране.

— Отрекаешься? — страшно и грозно возопил священник. — Тебе говорю. Повторяй: «Отрекаюсь!»

— Отрекаюсь, — повторял, как во сне, Лемнер, чувствуя, что своим возгласом отталкивает от себя прежнее бытие. — Отрекаюсь! — восклицал

вслед за священником троекратно.

Священник из золочёного ковшика лил ему на голову тёплую воду, давал целовать крест. Лана шагнула из тени и протянула на ладони крестик с горсткой серебряной цепочки. Священник надел крестик на Лемнера и маленькой кисточкой, окуная её в маслянистое благовонье, начертал кресты на лбу Лемнера, под левым соском у сердца и на пупке.

— Поздравляю, Михаил, со святым крещением!

Жаркая светлая радость хлынула на Лемнера. В сумрачной церкви стало ярко, словно в ночи взошло солнце. Таким было забытое детское счастье, когда просыпался, видел солнечное окно, и каждая его клеточка ликовала, взрастала, обожала мир, в который его родили.

Он стоял босиком в тазу, и мир вокруг был преображён, и он сам был преображён, любил седовласого батюшку, хмурого отрока, лесника Николая Гавриловича и Лану, подарившую ему серебряный крестик, а вместе с крестиком неземное счастье.

Лемнер оделся, но не покинул храм. Сурово и глухо прозвонил колокол. В храм на Святое Крещенье, на его, Лемнера, крещенье, сходился народ. Из синего студёного утра входили, крестились, вставали напротив икон, втыкали в песок подсвечника свечи. Нестройно поиграл голосами хор, робко и нежно запел, возликовал, наполнил храм жаркими взываниями. Батюшка в золотой ризе, с белой головой, похожий на новогоднюю, покрытую снегом ёлку, то появлялся из озарённых врат, то скрывался в таинственном сумраке алтаря, где горели малиновая и золотая лампады.

Лемнер стоял, окружённый деревенским людом. Не разбирал слов песнопений, смотрел на людей, и когда те крестились, крестился и он, желая не ошибиться, не выдать себя, быть, как все. Он и был, как все, неотделим от этих людей, состарившихся в трудах и лишениях. Они приняли его к себе, в свои вековечные труды и нескончаемые траты, и он, как все, несёт свой крест. И какое счастье нести этот русский крест, быть вместе со своим народом, быть русским.

Лемнер любил этих неизвестных людей, ставших родными, сестёр и братьев. И круглую, как клубочек, старушку с носиком птички-невелички, и сутулого старика с ушанкой под мышкой, с тяжёлым лбом, которого касались его потемнелые в трудах пальцы, и молодую женщину с красивым увядающим лицом, сгибавшую в поклоне стройное тело. Он любил их, а они любили его, принимали в народ. Не зная молитв, не понимая чудесного, кружевного языка, он повторял: «Люблю! Люблю!»

День проходил чудесно. К домику из леса прилетели снегири, уселись на голое дерево, как алые яблоки, тихо пересвистывались.

— Это тебе лесной царь розы прислал, — сказала Лана.

Была великолепная русская баня с вениками, дубовыми бадейками, деревянным ковшиком. Лана, неся ковшик в вытянутой руке, подбегала к

каменке с накалёнными седыми валунами, плескала, отскакивала. Огненный змей носился под потолком, они заслонялись руками, а потом сидели плечом к плечу, влажные, блестящие, и Лана ловко, по-деревенски, охаживала его пахучим берёзовым веником. Накалённые, они выскакивали из бани под розовое вечернее небо и падали в прорубь. Кричали, задыхались, выскакивали с безумными глазами, бежали по снегу и вновь запускали под низкий банный потолок огненного змея.

Ночью, проснувшись, обнимая её сонное, пахнущее берёзой плечо, он сказал:

— Ты делаешь для меня столько прекрасного. Ты моя благодетельница. Люблю тебя.

На утро они ждали вертолёт. Лемнер отправился к проруби. Крест был затянут тонким сизым льдом. Лемнер хотел выполнить данный накануне завет, выбросить в прорубь золотой пистолет. Достал пистолет, похожий на слиток. Золочёный ствол, рукоять, спусковой крючок. Оружие, как священные церковные дары, было позолочёно. Лемнер смотрел на пистолет, чувствовал его литую тяжесть, пластику, совпадающую с пластикой его руки. Медлил, держал пистолет над прорубью, представляя, как оружие пробьет лёд и канет в чёрной воде. Не хотел, не мог расстаться с пистолетом. Пистолет врос в ладонь, не желал расставаться с Лемнером. Из пистолета в руку текли все совершённые выстрелы, все случившиеся убийства. Возвращались в Лемнера, вытесняли лубочную церквушку с наивными синими куполами, похожего на одуванчик батюшку, старушку, птичку-невеличку. Вчерашнее ликование покидало его. Оружие возвращало ему свою беспощадную силу.

Он летел на вертолёте над чёрными лесами и белыми полями. Оттуда взмывали, прилипали к иллюминатору все, кого он убил. И двойник Президента Троевидова, посаженный в клетку, и проститутка Алла, замёрзшая на сверкающей льдине, а в ней его нерождённый сын.

Глава тридцать седьмая

Светоч готовил открытый судебный процесс над ревнителями «европейского пути». Этот процесс раздавит европейского червя, столетиями точившего румяное русское яблоко. Для процесса был избран Гостиный двор, его величественный белоснежный зал, место праздничных концертов и государственных торжеств. Расставили тысячу кресел, соорудили сцену, повесили золотого двуглавого орла, установили статую Немезиды, античный символ возмездия. Один глаз Немезиды сверкал, как рубин, и многие усматривали в этом сходство со Светочем. Подсудимых готовили к процессу. Долечивали, гримировали. К тем, кто после пыток стал заикаться, приставили логопеда. Их обвиняли в измене Родине, и их ожидала высшая мера наказания. Указом Президента на время отменялся мораторий на смертную казнь. Но каждому подсудимому, если он на процессе признает свою вину, было обещано тайное помилование. Народ с ликованием узнает об исполнении приговора, но на деле подсудимые будут отправлены под другими именами в далёкие страны и в безвестности доживут свои дни.

К процессу народ готовили. Телеведущий Алфимов, прежде примыкавший к «европейцам», теперь клеймил предателей и вероотступников. Он приглашал в свою передачу тех, кто яростно поносил изменников и извращенцев, требовал для них смерти. Выступали представители политических партий и главы думских фракций. Сенаторы от всех регионов. Директора крупнейших предприятий. Рабочие и аграрии. Университетские профессора и бойцы с Украинского фронта. Вдовы убитых. Народный фронт и волонтёры. Творческие союзы и правозащитники. Общество защиты животных и сторонники «зелёной энергетики». И даже нумизматы и филателисты. Сам Алфимов в чёрном облачении, с белыми вставными зубами, хрипел, хохотал, рвал на себе одежды, требовал казни через повешение, предлагал установить виселицу на Красной площади, где предатели учинили мятеж.

Лемнер и Иван Артакович Сюрлёнис готовили подсудимых к появлению в зале суда. Каждый из подсудимых был помещён в отдельную комнату за сценой. В белых брюках, зелёных пиджаках и малиновых галстуках они были похожи на тропических птиц, которых продают на птичьем рынке. Каждого напутствовали Лемнер и Иван Артакович.

Толстячку Лео, ректору Высшей школы экономики, Иван Артакович повязывал малиновый галстук вольным, артистическим узлом. Лео крутил короткой шеей, норовил поцеловать руку Ивана Артаковича.

— Брат Лемнер, друг Иван Артакович, я вам так благодарен! Заботитесь обо мне. Ваша чуткость, сердечность! Ко мне здесь очень хорошо относятся. Врачи

такие любезные. «Здесь не болит? Здесь не болит?» Госпожа Эмма переборщила, что греха таить. Но она неудержимая, страстная, как Медея!

— Вы не забыли, господин Лео? — Иван Артакович любовался повязанным галстуком. — Когда будете признавать вину, не бейте себя в грудь. Спокойно, взвешенно. «Да, виноват. Да, русофобия. Да, предлагал снести храм Василия Блаженного».

— Не волнуйтесь, Иван Артакович, надейтесь на меня. И русофобия, и храм, и подводные лодки для англичан. Но, быть может, не нужно меня высылать за границу? Я пригожусь здесь, в России. Меня любит молодёжь. Я покажу им истинное лицо Европы, её оскал!

— Нет, господин Лео, вам следует уехать. Сразу из зала суда, после оглашения смертного приговора, вас отвезут в аэропорт и рейсом, к сожалению, не прямым, а с пересадкой в Буэнос-Айресе, отправят в Эквадор. Ведь вы в Эквадор хотели?

— Да, Эквадор! Чудесная страна, мягкий климат. Куплю маленький домик, стану разводить цветы и смотреть на океан. Как римский патриций в опале. Благородная старость, седины, воспоминания о походах, победах, любимых женщинах. Как знать, может быть, на закате дней заведу семью? Как вам кажется, Иван Артакович, ещё не поздно?

— Не поздно, не поздно!

— Спасибо, брат Лемнер! Спасибо, друг Иван Артакович! Спасибо за милосердие! — Лео кинулся целовать Лемнеру руки, но тот холодно отстранился. Ему было отвратительно пухлое лягушачье тело ректора Лео, его лягушачьи, усыпанные пузырьками пальчики.

За стеной шумел переполненный зал. Звучали русские народные песни «Калинка-малинка», «Вдоль по Питерской», «Когда я на почте служил ямщиком». Лео попытался подхватить песню про ямщика, но не знал слов. Только покачивался, прижимая к сердцу лягушачьи пальчики.

Режиссёр Серебряковский слегка сипел. Удушение, которому подвергла его Госпожа Зоя, сказалось на бронхах. Он издавал сердитое гусиное шипение, хотя пребывал в прекрасном настроении.

— Как с таким голосом вы, господин Серебряковский, станете выступать в суде? — тревожился Иван Артакович. Он расстегнул на режиссёре неверно застёгнутый изумрудный пиджак и застегнул на правильную пуговицу.

— Не волнуйтесь, дорогой друг Иван Артакович. Кому, как не артисту, знать секреты декламации. Нет, не стану, подобно Демосфену, уходить на берег моря, набивать рот галькой и читать «Илиаду». Просто два сырых яичка пред началом монолога.

— Будут вам два сырых яичка, господин Серебряковский, — Иван Артакович запретил прежнему другу использовать в разговоре «ты».

Из соседнего зала неслись гулы, как на стадионе. Множество голосов, репетируя, хором возглашало:

— Смерть! Смерть!

Возглашали профессора, писатели, правозащитники, матери-одиночки, волонтёры и филателисты. Этот стройный грозный гул разгневанного народа доносился сквозь стену, но не пугал, а веселил Серебряковского.

— Простите, не хотел обидеть нашего дорогого Антона Ростиславовича, но процесс можно было обставить эффектнее. Обратились бы ко мне. Я всё-таки европейски известный режиссёр, хотя и ненавижу Европу. Представляете, процесс подобен Страшному Суду! Главный обвинитель Светоч предстает в образе Вседержителя. Перед ним огромные аптекарские весы. На чашу весов встает подсудимый, например, я. Но не в этом оперении попугая, а наг и бос. Вседержитель вопрошает: «Верно ли, что ты хотел заманить в директорскую ложу Президента Троевидова и пустить туда змейку, укусившую Клеопатру?» Я сбивчиво признаюсь, поправляя судию, что не змейку, укусившую Клеопатру, а ядовитых комаров с подземных болот Европы. Судия возглашает: «Виновен!» — и судебные приставы, одетые в чертей, копьями гонят меня в преисподнюю, в чёрные ямы с адскими красными огнями. Вам нравится, друг Иван Артакович?

— Всё, кроме комаров с ядовитых подземных болот. Это перебор, самооговор. Будем придерживаться сценария.

— Хорошо, хорошо! Разве я не понимаю, как важна точность, каждая буковка! Буковка закона! — Серебряковский захохотал, но смех превратился в сиплый свисток, изо рта полетела кровь.

— Берегите силы, господин Серебряковкий! — строго приказал Иван Артакович.

— Конечно, конечно, я понимаю. Ведь за процессом будет наблюдать Президент Леонид Леонидович Троевидов? Боже, как повезло России с Президентом! Разве можно сравнить его с европейскими лидерами, которые и есть ядовитые комары с подземных болот Европы. Наш Президент обладает царской внешностью, умом философа, отвагой воина. Как я мечтаю пригласить его на мой спектакль и отправить ему в ложу букет белых лотосов!

— Скоро выход. Вы готовы, господин Серебряковкий?

— Одна просьба. Последняя, что называется, просьба! — Серебряковский начал хохотать, но хлопнул себя по губам.

— Что за просьба?

— Я знаю, сразу после смертного приговора меня отвезут в аэропорт и самолётом отправят в Парагвай. Чудесная страна! Спасибо за выбор страны! Но последняя просьба висельника! — режиссёр потер себе горло. — Пусть меня приговорят не к расстрелу, а к повешенью, и повесят на том восхитительном голубом шарфе, который я заметил в руках Госпожи Зои.

— Просьба будет исполнена.

Серебряковский стал кланяться тем особым театральным поклоном, каким кланяются режиссёры после премьеры. Лемнер испытывал к режиссёру гадливость, как к загримированному мертвецу.

У публициста Формера на гладком целлулоидном черепе проступала синяя краска, плод безумных художеств Госпожи Яны. Иван Артакович припудривал синее пятно и сердился:

— Да не вертитесь вы, в самом-то деле!

— Я не верчусь, Иван Артакович. Это я раньше вертелся, крутился, искал себе место среди мировых учений и, наконец, нашёл. Учение о России Небесной! Вековечная русская мечта о Царствии Небесном, о Русском Рае! Все русские мечтают о Царствии Небесном! И волхвы, и князья, и цари, и вожди, и президенты. Если ты не мечтаешь о Царствии Небесном, ты не русский! Хочешь узнать о себе, русский ты или нет, — спроси себя, мечтаешь о Царствии Небесном?

— На процессе вы, господин Формер, выступите не с проповедью, а с признанием своих преступлений. Вы не забыли, каких?

— Всё помню. И о французской разведке, и о заражении русских младенцев корью, и о мерзком романе, обличающем Президента Троевидова. Но главная вина — забвение учения о Святой Руси, о Царствии Небесном. Я забыл об этом, но, когда Госпожа Яна красила меня в синий цвет, я вспомнил. Лазурь, неземная русская лазурь!

— Вы слишком взволнованы, господин Формер. Вы действительно полюбили Россию?

— Позвольте я прочитаю любимые стихи о России! «В Россию можно только верить!» «Люблю тебя, как сын, как русский, пламенно и нежно!» «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу!» Прекрасные стихи о России! Прекрасные поэты!

— Может, у вас есть какие-нибудь просьбы? Ну, выкурить последнюю папиросу?

— Вы отправляете меня в Сальвадор. Чудесная страна вулканов. У меня в швейцарском банке скопилась небольшая сумма, за консультации французской разведке. Я меняю мое имя «Формер» на новое имя «Эрнесто Кардинале». Как же по новому имени я получу мои деньги?

— Не волнуйтесь, господин Кардинале. Мы переведём вам ваши деньги.

— Благодарен! Ах, как хочется ещё пожить! Куплю домик на берегу океана. Машина, шофер, садовник, повар, горничная, молодая креолка. Я выхожу на веранду, вдыхаю запах роз и смотрю в безбрежную даль океана и грущу о России. Как в песне: «Грущу о Родине драгой!»

— Не боитесь затеряться среди местных жителей? — спросил Лемнер, с брезгливостью рассматривая мягкие, привыкшие лгать губы Формера.

— Почему я должен бояться, дорогой брат Лемнер?

— Потому что в Сальвадоре много синих людей!

Формер засмеялся шутке. Его бодрил гул зала, звучавшее многоголосье: «Смерть! Смерть!»

Вице-премьер Аполинарьев был в корсете. Госпожа Влада ударом головы сломала ему позвоночник. Корсет выпирал из зелёного пиджака. Под пиджаком приютилось множество собачек корги, и Аполинарьев, имевший худощавое телосложение, казался толстым.

— Господин Аполинарьев, ну, посмотрите, на кого вы похожи! — укорял его Иван Артакович. — Вам выдали новые белые брюки, а ваши собаки насажали на них жёлтые пятна. И вы так выйдете к людям? Придется искать для вас ещё одну пару белых брюк.

— Собаки ни при чем. Это я сам, от волнения. Правильно ли я запомнил? Я передавал украинской разведке сведения о заседаниях российского правительства. Правильно? Я препятствовал строительству завода беспилотников. Так? Что ещё?

— Со своими собаками вы совсем потеряли рассудок! — раздражался Иван Артакович. — Вы должны признаться, что хотели затопить водой из Москвы-реки подземный бункер Президента Леонида Леонидовича Троевидова.

— Ах, да! Конечно! Разрушить шлюз, соединяющий Москву-реку с кремлёвским бункером.

— Вы не возражаете, если сразу после оглашения смертного приговора вас отправят в Гондурас? Вы хорошо переносите жару?

— Собачек корги выводили в тёплых странах. Но у меня есть просьба. Пусть в приговоре будет пункт, согласно которому собачек корги похоронят вместе со мной. Как в курган древнерусского князя. Мне будет приятно в Гондурасе перечитывать текст смертного приговора.

— Обещаю, господин Аполинарьев, внести этот пункт.

— И ещё. Я бы мог в Гондурасе наладить производство беспилотников. Это будут русские беспилотники «Гонду».

— Мы рассмотрим ваше предложение, господин Аполинарьев.

Лемнеру был отвратителен корсет Аполинарьева, копошение собачек под пиджаком, исходящий от него запах псины.

— Господин Аполинарьев, — произнёс Лемнер, — не забудьте взять с собой в Гондурас детскую клизму.

— Зачем? — удивился Аполинарьев.

— В Гондурасе у собачек корги будет новая пища. Возможны запоры.

— Благодарю за подсказку, брат Лемнер! Обязательно возьму!

Анатолий Ефремович Чулаки нервничал, охлопывал зелёный пиджак, щупал под белыми брюками ягодицы, лез пальцами под малиновый галстук. Госпожа Влада, мощная, как сваебойная машина, ударом вышибла из Чулаки все внутренние органы, и они повисли на нем, как шляпы на вешалке. Опытные

хирурги засунули эти органы в дыры, откуда они выпали. Чулаки казалось, что врачи забыли вернуть ему сердце. Он ощупывал грудь, живот, даже пятки, стараясь услышать стук сердца.

— Да не беспокойтесь, Анатолий Ефремович! Здесь оно, ваше сердце! — Иван Артакович показал Чулаки стиснутый кулак и засмеялся.

Лемнер глядел на Чулаки и испытал подобие раскаяния. Лемнер участвовал в низвержении Чулаки, направив ему проститутку Аллу. Добыл ужасную запись извращений, которую теперь прокручивали по телевидению. Он вошёл в доверие к Чулаки, обещая быть с ним в день Великого Перехода, а вместо этого ударил войсками по демонстрантам. Он в камере избил беззащитного Чулаки, забыв о благодеянии, что тот совершил, направив его в Африку, одарив золотым прииском. Он в пыточную камеру отрядил отъявленных садисток Госпожу Эмму, Госпожу Зою, Госпожу Яну и Госпожу Владу. Теперь Лемнер глядел на выцветшие волосы Чулаки, на распухший от ударов нос, на веснушки, превратившиеся в гнезда чёрных личинок, из которых очень скоро вылупятся могильные черви. Лемнер испытывал к Чулаки сострадание, не желал ему зла.

— Анатолий Ефремович, мне осталось убедиться, что вы запомнили текст, который мы от вас ожидаем. Ваше слово на процессе ожидают не только сограждане, среди которых немало ваших сторонников. Но и Европа, желавшая видеть в вас Президента России. Увы, теперь вы всего лишь зелёный попугай с птичьего рынка. Не хотите ещё раз отрепетировать ваше выступление?

— Как странно, не правда ли? Мы с вами, Иван Артакович, мечтали о Великом Переходе, разгадывали тайну России Мнимой. Вы придумали герб этой Мнимой России, корень квадратный из минус единицы на серебряном поле, с алыми письменами, в тройном золотом кольце. Мы сидели на берегу Гранд-канала, и по воде, оставляя серебряный след, плыла алая гондола, и золотое солнце окружало гондолу тройным отражением. Вы воскликнули: «Вот герб России Мнимой!»

— И всё-таки, Анатолий Ефремович, не угодно ли ещё раз повторить ваши признания?

— Да знаю, знаю всё наизусть! И про взрывы атомных станций, и про двойника Антона Ярославовича Светлова, и про жареных младенцев, которых мне подавали в ресторане «Метрополь», и про убийство эрцгерцога Фердинанда, и про пакт Чемберлена! — Чулаки мучительно улыбался, вслушиваясь, ни забьётся ли утраченное сердце.

— Ну, ну, не надо шутить, Анатолий Ефремович. Помните про абиссинских пилигримов.

— Да, да, я помню! — глаза Чулаки лишились белков и почернели от ужаса. Чёрные муравьи доедали его сердце и пробирались в мозг. — Я полностью признал свою вину и прошу для себя самой ужасной казни. Не расстрел, не повешение. Пусть меня посадят в медного быка и поджарят на кострах в Парке

Культуры и Отдыха. Пусть меня ослепят и посадят на кол посреди Выставки достижений народного хозяйств. Пусть меня растерзают роботы, сконструированные молодыми изобретателями в лабораториях «Сириуса». Я правильно всё запомнил?

— Этого мало, Анатолий Ефремович. Вас будет слушать Европа. Она ненавидит Президента Троевидова, ненавидит русский народ. Европа ждёт вашего слова.

— Она его услышит, поверьте! Я, рыжая собака, совершил преступление против русского народа и Президента Троевидова! Я, крыса, ядовитый паук, зловонный червь, хотел отнять у русского народа великого человека, посланного России судьбой. Отродье, недоносок, выкидыш, грязный окурок, я хотел сорвать проект «Россия Дивная», лишить народ гения, что вернул Россию к традиционным ценностям. Я, исчадие, нетопырь, аспид, хотел отнять у Президента Троевидова русский народ-богоносец, способный на вселенский подвиг одоления зла, ибо русский народ принимает на себя всю европейскую тьму, превращает скверну в солнечный луч. Вы довольны мной, Иван Артакович? Больше не станете насылать на меня абиссинских пилигримов?

— Всё верно, Анатолий Ефремович. Уже завтра вы окажетесь в Колумбии, и у вас будет время писать мемуары. Там, я надеюсь, вы упомянете о пленительном венецианском вечере, зелёном, как малахит, канале, красной гондоле и тройном отражении солнца.

— Всё так и будет. И мемуары, и лёгкое вино, и шелест пальмы. Но мне хотелось, Иван Артакович, чтобы вы передали Президенту Леониду Леонидовичу Троевидову, как я его люблю, сыновьей любовью. Как чувствую нерв его великого замысла. Быть может, он приблизит меня к себе? Я знаю Россию, знаю Европу. Знаю все её лабиринты, все тайные лаборатории трансгуманизма, все магические закоулки. Мы сможем разрушить Европу, сокрушить её мощь. Европа распахнётся от Лиссабона до Владивостока со столицей в Москве, с Президентом Леонидом Леонидовичем Троевидовым!

— Я обязательно доложу Леониду Леонидовичу. Он вас услышит. Он людьми не бросается. Если он даст согласие, мы вас вернем из Колумбии и поручим государственное дело!

— О, верный друг! О, милосердие! О, великий Президент Троевидов!

Лемнер сострадал. Ему было невыносимо видеть униженного властелина, угнетённого повелителя, сокрушённого исполина. Хотелось его пристрелить.

Глава тридцать восьмая

Огромный зал Гостиного двора был уставлен тысячью кресел. Как в Колизее, они возносились полукружьями. На сцене высилось место для Верховного судьи. Его занимал Светоч, недвижный, как каменное изваяние. Одна половина лица была высечена из хмурого гранита, другая рвано краснела, словно с неё сняли кожу. На изуродованной половине грозно переливался горный хрусталь. Перед Светочем на столе лежали бубен и деревянный молоток, ударом которого сопровождалось вынесение приговора. Рядом находилось место общественного обвинителя. Его занимал Иван Артакович Сюрлёнис с пепельным лицом аскета, серебристыми волосами и пышным лиловым бантом, похожим на орхидею. В стороне за перегородкой из резных колонок стояло пять кресел для подсудимых. Их появление ожидалось. Множество журналистов и телеоператоров размещались у сцены. Там мерцало, вспыхивало, двигались камеры, переставлялись треноги. Над сценой громадный, хищный, распушив золотые перья, парил двуглавый орёл. Немезида, богиня возмездия, зажигала и гасила глаз, красный, как светофор. Зал шевелился, гудел. Звенели мегафоны, возглашавшие «Смерть! Смерть!». Зал ревел, вторил «Смерть! Смерть!» и был похож на чёрную пасть, изрыгавшую хриплый рёв.

Лемнер устроился в первом ряду, слышал, как в затылок дышит яростная жаркая пасть, её зловонное дыхание.

Светоч поднял деревянный молоток. Зал стих. Умолкла песня «Комбат-батяня, батяня-комбат». Молоток ударил в бубен. Кожа бубна гудела, источая звук, под который в тундре пляшут шаманы. Судебные приставы ввели подсудимых. Их было пятеро, все в одинаковых изумрудных пиджаках, белых брюках, малиновых галстуках. Были похожи на стаю экзотических птиц, прилетевших в заснеженную Москву из тропических лесов. Одинаковостью одежд, благожелательностью лиц напоминали гостиничных слуг, ждущих приезда гостей, чтобы нести чемоданы, толкать тележки с поклажей. Они рассаживались, отделённые от зала резными столбиками и перилами. Зал ревел, хрипел, лязгал зубами. Подсудимые пугливо путали места, а в них из зала летело:

— Смерть! Смерть!

Особенно жадно требовали смерти профессора и матери-одиночки. Вид экзотических перелётных птиц вызывал у матерей-одиночек мстительные воспоминания о вероломных мужьях, исчезнувших после первой и единственной брачной ночи.

Светоч ударил в бубен, смиряя зал. Подсудимые расселись, как попугаи на жёрдочке. Общественный обвинитель Иван Артакович Сюрлёнис стал читать

обвинительное заключение, отдельно по каждому подсудимому, поднимал его с места.

— Наш праведный, открытый, поистине народный суд обнажит сатанинскую природу этих наймитов Европы, пустивших врага в наши секретные лаборатории, в цеха наших оборонных заводов, в аудитории наших университетов, в коллективы наших творческих союзов, в школы наших детей, в спальни наших жён. В каждую клеточку народной жизни, отторгая эту жизнь от традиционных ценностей. Так пусть же народ судит их судом праведным и беспощадным. Метла, притороченная к сёдлам опричников, выметёт нечисть из русской жизни!

В рядах журналистов сверкало, мерцало, словно там началась стрельба. Ряды ревели, профессора кидались с мест, беременная мать-одиночка, распустив волосы, в платье, похожем на ночную рубашку, рвалась отомстить. Только удар бубна укротил ярость.

Лемнер слышал парной удушающий запах плоти. Такой запах стоит на скотобойне.

Ректор Высшей школы экономики Лео признал вину. Каялся, рвал на себе зелёный пиджак, затягивал до удушья малиновый галстук, царапал себе лицо, плевал на себя, ползал на коленях и упал, расставив лапки, похожий на пухлого лягушонка. Закрыл один глаз, а другим весело подмигнул Лемнеру. Дескать: «Встретимся в Эквадоре!»

Светоч воздел над бубном деревянный молоток. Зал тысячью глаз следил за деревянным набалдашником молотка. У статуи Немезиды в голове зажёгся красный, как светофор, глаз. Светоч голосом поднебесной трубы воскликнул:

— Виновен! Приговорён к высшей мере, расстрелу!

Зал взревел. Из рядов поднялись плакаты с мерзкими ликами наймитов. Мегафоны лязгали:

— Смерть! Смерть!

Журналисты мерцали вспышками, словно из огневых точек велась стрельба. Ректор Лео уселся в кресло и рыдал, Лемнер слышал тошнотворный запах зала, смрад выгребной ямы.

Каялся режиссёр Серебряковский. Показывал, как ловил комаров на гнилых болотах Европы и запускал в ложу, где сидел Президент. Изображал муки умирающего Президента, прощание с ним министров, Патриарха, олимпийских чемпионок, прыгунов в высоту, танцоров Большого театра, канатоходцев, скалолазов, Светоча, Ивана Артаковича и себя самого у гроба Президента. Изображал скорбящий русский народ и ликование Европы, танцующей рок-н-ролл. Он так вошёл в роль, что не хотел садиться на место и продолжал скакать. Когда из зала полетели гнилые картофелины, и члены Народного фронта стали стрелять из рогаток, а волонтёры развернули плакат «Серебряковский — английский глист», режиссёр вышел на край сцены и стал раскланиваться

направо, налево, отступал и снова приближался, клал руки на грудь, встряхивал волосами, прижимал к груди несуществующий букет роз.

Немезида зажгла в голове пылающий красный фонарь. Хрустальный глаз Светоча превратился в гневный рубин. Молоток грохнул в бубен:

— Виновен! Высшая мера, расстрел!

Зал ликовал. Таяло могущество Европы. Плавилось железо Эйфелевой башни, истирались в муку каменья Кёльнского собора. Россия сбрасывала вековое европейское иго, возвращалась к традиционным ценностям. В глубине зала, невидимая, зазвенела балалайка, поднялась на палочке хохломская матрешка.

Серебряковский сидел взволнованный, порозовевший. Углядел в креслах театральных критиков, кивал, ожидал похвальных рецензий.

Лемнер ловил летящий из зала запах открытых гробов.

На публицисте Формере во время признаний стала проступать синяя краска. Все решили, что это трупные пятна предательства. Он извивался, изображая «змею подколодную», квакал, будто «кикимора болотная», сжимался, изображая «мерзкую гниду». Ему не хватало дара, коим обладал Серебряковский, и всё-таки зал угадывал изображаемую сущность. Раздавались крики:

— Гадюка кусачая! Слизняк болотный! Вша лобковая!

Рабочие Уралвагонзавода тянули из зала руки, перевитые чёрными жилами, желая удушить змею. Два агрария, два неистовых хлебопашца ринулись к Формеру, показывая, как станут отвинчивать ему голову. Судебные приставы с трудом усадили хлебопашцев на место.

Немезида воспалила красный огонь возмездия. Светоч зажёг в глазу раскалённый уголь и ударил в бубен.

— Виновен! Расстрел!

Формер устало сел, не осуждая зал за животную ненависть. Ненависть улетучится и сменится обожанием, а оно опять обернётся ненавистью. Так уж устроен этот наивный и незлобивый народ, который убивает, чтобы было кого оплакивать.

Вице-премьер Аполинарьев вышел без собачек. Корсет помешал ему виновато поклониться. Он держался прямо, с выправкой, и это раздражало. Зал усматривал в этом высокомерие и гордыню. Аполинарьев подробно, со множеством технических деталей, рассказал устройство беспилотника, который помешал построить. Комично, копируя министров, изобразил секретное заседание кабинета, о котором сообщил украинской разведке. Министры, в его изображении, выглядели законченными педерастами. В зале знали пристрастие Аполинарьева к собачкам и кричали:

— Сука рваная! Собаке собачья смерть!

Аполинарьев смотрел детскими, слезоточивыми глазами в зал, не понимая природу мусульманского неприятия собак.

Удар бубна возвестил ему смертный приговор. Его ждала теплая латиноамериканская страна, но он ужаснулся ненависти этих яростных людей к маленьким беззащитным созданиям, ласковым, как девочки-малютки.

Зал стоя приветствовал приговор. Люди обнимались, обменивались телефонами, делали друг с другом селфи. Говорили о «русской весне», о «традиционных ценностях», о том, что пора запретить интернет и повысить рождаемость. Требовали от чиновников, чтобы те отказались от израильского гражданства и пересели на отечественные автомобили. Поэтессы читали стихи о любви и победе. Все радовались смертному приговору, как семейному празднику, полагая, что после расстрела жизнь станет лучше.

Зал долго не мог унять ликований и смолк, когда Иван Артакович стал читать с листа, что сжимали его голубоватые пальцы с золотым перстнем. Его голос звучал весёлой беспощадностью к Анатолию Ефремовичу Чулаки, коему было адресовано обвинительное заключение. Зал молча внимал. Сокрушалось великое зло. Оно витало над Россией веками и посетило её невесть за какие грехи. И ныне оставляло Россию невесть за какие заслуги. Всё страшное, что случалось с Россией за века, исходило из Европы. А ужас последних десятилетий, что накрыл Россию, как тьма египетская, был связан с «европейцем» Анатолием Ефремовичем Чулаки. Каждый, кто сидел в зале, испытал на себе это зло. Теперь же, когда оно предстало перед ними в нелепом зелёном пиджаке, в белых пижамных брюках и безвкусном малиновом галстуке, все боялись, что зло сохранило свою колдовскую власть, обрушится на сидящих в зале и испепелит их. И зал молчал.

Лемнер испытывал страх, какой испытывал в детстве, приближаясь к роковому подвалу. Ждал, что белесая выцветшая голова Чулаки вспыхнет рыжим огнём, золотые блёстки загорятся на властном лице, и нос беспощадно выдохнет раскалённый воздух.

Анатолий Ефремович Чулаки выслушал обвинения и говорил жарко, непререкаемо, как говорил в высоких собраниях, в Государственной думе, в Кремле, на партийных съездах и международных конференциях. Говорил завораживающе, и никто не смел его перебить невоздержанным криком или передразнить гримасой.

— Пусть никто из вас не усомнится, что это признание я обдумал не в тюремной камере, а сидя в чудесном номере загородного отеля, среди русских снегов, когда дрова трещали в печи, за окном летали синицы, а добрая служанка подносила мне стакан горячего глинтвейна. Чудесно пахло корицей и апельсинами! — Чулаки произнёс это с такой волшебной искренностью, что многие в зале почувствовали запах корицы и апельсинов. — Да, я действительно был полон сатанинских замыслов, действовал по наущению европейских

масонов, американских трансгуманистов и японских разведчиков. Я вывел породу мхов и лишайников, собираясь пересадить их на храм Василия Блаженного, колокольню Ивана Великого, на Спас на Нередице и Покров на Нерли. Чтобы мхи и лишайники изжевали заповедные русские храмы и лишили Россию святынь. Я действительно, под видом вакцины от ковида, создал ядовитое вещество, которое хотел вбросить в Байкал и Волгу. Превратить священное русское озеро в рыжую зловонную пену, а «реку русского времени», русский Иордан, в зловонную клоаку с плывущими утопленниками. Я собирался взорвать Курскую, Калининскую и Кольскую атомные станции, чтобы радиоактивная буря смела русский народ до Урала, а в русских городах ползали по улицам безногие многорукие дети, в церквах служили трёхглавые священники, их слушали безглазые прихожане, у которых изо рта во время молитвы текла зелёная ядовитая слюна.

В зале жалобно вскрикнул активист Народного фронта. Забилась в падучей уполномоченная по правам человека. Их вывели. В тишине продолжал звучать устрашающий властный голос Анатолия Ефремовича Чулаки.

— Не стану отрицать, я готовил покушение на Президента Леонида Леонидовича Троевидова. Создавал двойника, неотличимого от Антона Ростиславовича Светлова, используя генную хирургию. Добытые у Антона Ростиславовича Светлова генные материалы я встраивал в генные связи двойника. В нём происходило перерождение, он становился неотличим от Антона Ростиславовича. Оставались трудности с искусственным глазом. Его не удавалось копировать. Я вживлял в мозг двойника чип с записью снов Антона Ростиславовича, чтобы искусственный глаз видел его сны. Но, должно быть, сны были столь ужасны, что мозг двойника взрывался и двойник погибал. Для опытов мы приглашали волонтёров Народного фронта, но все они имели неокрепшую психику и во время экспериментов сходили с ума. Это не уменьшает моей вины. Я виновен и готов понести самое суровое наказание. Не расстрел, нет. Не четвертование. Не колесование. Не сожжение на костре или посадку на кол. Вживите мне в мозг чип с генетической памятью Антона Ростиславовича Светлова, и вы увидите, что значит жить в аду!

Лемнер был очарован слогом Анатолия Ефремовича Чулаки, размахом его творческих замыслов. Начинал сомневаться, не ошибся ли он, взяв сторону Светоча и погубив Чулаки. Быть может, ещё не поздно. Телефонный звонок Ваве, и ворвется штурмовой батальон «Пушкин», и поменяет местами Светоча и Чулаки. На Светоча напялят зелёный пиджак и пижамные брюки, и пусть себе мигает хрусталём, как одноглазый филин.

— Я прошу себе мучительной казни, потому что замышлял несусветное зло против русского народа и его вождя Леонида Леонидовича Троевидова, спустившегося в Россию с неба по винтовой лестнице Русской истории. Потому что виноват перед самой Русской историей. Она выбрала для России путь

традиционных ценностей. Я посягнул на саму Русскую историю, и оттого меня надо убрать из жизни, убрать из Русской истории, как чудовищную помеху, как уродливый вывих, как опухоль на теле русской цивилизации. Перед тем, как исчезнуть, я хочу обратиться к вам, Леонид Леонидович Троевидов!

Чулаки умолк, чтобы накопились силы для последнего признания. Зал внимал, поражённый историческим зрелищем, когда Европа погружалась в погибель, а солнечно восходило восхитительное русское время. Стихло так, что стал слышен крик нерождённого младенца в чреве молодой поэтессы, вернувшейся из окопов Донбасса.

— Я хочу сказать, хочу признаться, — Чулаки стал расстёгивать зелёный пиджак, стаскивал белые брюки. Остался нагим. На теле страшно сочились не зажившие раны, пузырились ожоги, торчали переломанные кости. — Всё, что я только что вам говорил, подсказано моими мучителями под нечеловеческими истязаниями. Ими подвергли меня Светоч и Лемнер по приказу ненавистника и мучителя Президента Троевидова. Он бич Божий, посланный России за её вину перед Богом. Ибо Россия — это исторический недоносок, которого Европа вынашивает в вате, меняя подгузники, а Россия бьёт свою няньку кулаком. Президент Троевидов преступник, и русский народ преступник. Он бич для других народов, и Господь его покарает! Уберёт его из истории, как убирают из огорода сорняк!

В зале поднялся ропот, ставший бурей. Ревело, хрипело, стенало. Светоч ухал молотком в бубен. Немезида жутко мигала красным. Звенели мегафоны, выплевывая: «Смерть!» Судебные приставы устремились к Чулаки.

Он стоял голый, раздирая раны, отекая кровью и гноем. Кричал, вырываясь из рук приставов:

— Вы самый подлый, гнусный народ! Вы, сидящие в зале, желающие мне смерти, вы все скоро будете убиты! И сколько вас ни есть — профессора, хлеборобы, сенаторы — все будете убиты и похоронены вниз головами! На ваши голые пятки синим фломастером нанесут шестизначные номера! Их нанесёт сидящий среди вас палач Лемнер! — Чулаки ткнул в Лемнера пальцем, и множество камер просверкали, унося образ Лемнера.

Подсудимых уводили. Зал ревел, но не от ненависти, а от страха.

Лемнер видел, как исчезают зелёные пиджаки подсудимых, как мечутся в ужасе профессора, хватаются за грудь композиторы, визжат правозащитники и роятся волонтёры. Он испытал тошнотворную брезгливость к мерзкому скопищу, именуемому народом. Трусливую, визгливую, вероломную массу, бессмысленную и рабскую, что зовётся русским народом. И в этом народе он хотел угнездиться, стать его сыном? Теперь с отвращением он выдирался из скопища обратно в свое одиночество. В свою прекрасную неприкаянность. Презирал народ. Был счастлив в своём одиночестве, незапятнанном, как утренний снег.

Глава тридцать девятая

Осужденных отвезли в пансионат, в подмосковную усадьбу с колоннами, ампирным фронтоном, с белой, на белых снегах, беседкой. Разместили по отдельным номерам с видом на заснеженный парк и замёрзший пруд. В парке на пустых аллеях стояли античные статуи в снежных шубах и шапках.

Лемнер и Светоч вошли в номер к ректору Высшей школы экономики Лео. Тот был всё ещё в зелёном пиджаке и белых штанах, хотя малиновый галстук он стянул и кинул на пол.

— В Эквадоре не носят малиновых галстуков, — пошутил Лео. — Неужели я сяду в самолёт в этом дурацком пиджаке?

— На борту вас оденут в нормальный европейский костюм, — пообещал Светоч.

— На улице мороз. Я не простужусь во время посадки в самолёт?

— Отсюда вы сядете в теплый салон машины. Вас подвезут к трапу. В Эквадоре, я полагаю, нет морозов. Вам, напротив, понадобится кондиционер.

— Процесс провели удачно. Вот только Чулаки испортил музыку. Но он всегда был обманщик. Не стоило его отправлять в Колумбию. Он ещё даст о себе знать. Вернётся в Европу и станет во главе русофобов. Может, следует его расстрелять?

— Мы не можем уподобляться Чулаки. Мы верны слову.

— Ах, как я вам благодарен. Антон Ростиславович! Вы позволите мне иногда писать вам?

— Я оставлю вам мой электронный адрес.

В дверь постучали. Распорядитель в долгополом сюртуке, похожий на слугу в старинной дворянской усадьбе, пригласил:

— Прошу, господа. Машина подана.

Лео стал озираться, не забыл ли чего перед дорогой. Но поклажи не было. Малиновый галстук брать не хотелось.

— Присядем перед дорогой, — сказал Лео, усаживаясь в кресло. Лемнер и Светоч присели.

— Ну, с Богом! — Лео перекрестился, вставая.

Они покинули номер и шли по коридору, увешенному прелестными акварелями. Коридор сменился зимним садом. В горшках и деревянных кадках росли тропические растения, цвели орхидеи, пахло оранжерейной сыростью. Зимний сад влился в стеклянную галерею. Сквозь прозрачные стены белел снег, мраморный Аполлон накинул на плечи снежный полушубок.

Лео торопился, семенил короткими ножками, улыбался. Улыбка была грустной. Он прощался со снежной Россией, о которой станет вспоминать в

далёкой южной стране. Стеклянная галерея превратилась в проход без окон. Стены были облицованы розовым гранитом. Гранит сменился кирпичом, а потом глухим некрашеным бетоном. В потолке горели редкие светильники. Лео то попадал в свет лампы, ярко озарялся, то окунался в тень. За ним шли Светоч и Лемнер. Лео всматривался в туманную, уходящую вдаль пустоту. Оглядывался, словно спрашивал, долго ли идти. Светоч кивнул — не долго. Лемнер вынул золотой пистолет, вытянул руку. Рука чувствовала знакомую литую тяжесть оружия. Из зрачка исходит луч, вдоль руки, пистолетного ствола, сквозь пустоту коридора, в толстенький затылок Лео. Лемнер дождался, когда Лео попал в свет лампы, и выстрелил. Звук получился чмокающий. Так открывают шампанское. Лео прянул вперёд и лёг, уперев лягушачьи пальчики в бетонный пол. Лемнер и Светоч подошли. Из боковой двери появился врач в белом халате и шапочке. На шее висела резиновая трубка с металлической брошью. Врач наклонился над Лео, прижал блестящую брошь к его горлу, прослушал. Кивнул. Появились охранники, ухватили Лео за ноги, утянули в боковую дверь. На бетонном полу осталось влажное пятно.

Режиссёр Серебряковский смеялся молодым счастливым смехом.

— Поздравляю, господа, великолепный спектакль! Вы, Антон Ростиславович, великий режиссёр! Вы, Михаил Соломонович, непревзойдённый постановщик! Спектакль по форме трагедия, а по сути фарс! Возможно и другое, форма фарс, а суть трагедия. Анатолий Ефремович отлично сыграл. Крупная роль. Впрочем, он слегка переигрывал, вам не кажется? — Серебряковский оглаживал зелёный пиджак, поправлял узел малинового галстука.

— Костюмы выбраны со вкусом. Традиция итальянского дель арте или «Пекинской оперы». Люди играют кукол, которые, в свою очередь, играют людей. Все мы немножко куклы, не правда ли?

В дверь заглянул одетый в чёрный сюртук дворецкий.

— Господа, машина подана.

Они шли коридором, и Серебряковский останавливался перед акварелями.

— Ах, какая прелесть! Лансаре, Бенуа! Какой вкус!

Когда проходили зимний сад, он на ходу сорвал розовый цветок орхидеи и сунул в петлицу.

— На память о России! «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я».

В прозрачной галерее, увидев Аполлона, стал пояснять:

— А знаете, эллины раскрашивали свои статуи. Одевали их в одежду. Не исключаю, на Аполлоне могло быть зелёное облачение, как этот пиджак!

Серебряковский захихикал.

В коридоре, облицованном розовым гранитом, он сообщил:

— В Парагвае я непременно образую маленький театр. Театр марионеток. «Русские куклы». Ведь мы все отчасти куклы, не так ли?

Когда они переместились в проход, выложенный кирпичами, он умолк. А когда кирпич сменился глухим бетоном и в потолке зажглись редкие лампы, он стал нервничать:

— Туда ли мы идем, господа?

— Туда, — сказал Светоч.

— Нет, я не хочу!

— Идите! — жёстко приказал Светоч.

Лемнер вытянул руку с золотым пистолетом. Серебряковский вышел из-под лампы и попал в тень. Лемнер дождался, когда лампа озарит Серебряковского. Протянул руку, ведя зрачком вдоль ствола. Серебряковский почувствовал давление зрачка и стал оборачиваться. Лемнер выстрелил. Пуля ушла в затылок и остановилась перед лобной костью. Серебряковский упал плоско, вытянув руки по швам, словно встал в строй. Из боковой двери вышел врач, прослушал, кивнул. Охранники за ноги утянули тело в боковую дверь. На бетонном полу остался розовый цветок орхидеи.

Публицист Формер, покидая Родину, пребывал в умильном, слёзном состоянии. Синяя краска на его целлулоидном черепе проступала всё обильней. Формер убегал в туалет, старался смыть нездоровые синие пятна, намыливал голову, смывал мыло горячей водой. Синевы становилось больше. Пятна обретали очертания океанов, и череп Формера всё больше напоминал глобус.

— Это вопрос времени, господин Формер, — холодно успокаивал Светоч. — В Сальвадоре вы будете есть много фруктов, станете пить знаменитый сальвадорский ром. Синяя краска станет вытапливаться из пор, и на вашем черепе станут проступать очертания континентов. Цивилизация океанов уступит место цивилизации суши.

— Да, да, понимаю, — Формер смывал с головы мыльную пену. — Атлантические ценности уступят место традиционным ценностям.

— Нам надо торопиться, господин Формер. Самолёт не может ждать.

— Да, да, я понимаю, строго по расписанию. Но прежде, чем мы расстанемся, я хотел бы поведать вам историю, из которой вы узнаете, что мне всегда были не чужды «традиционные ценности».

— Поведаете по пути, господин Формер, — Светоч выпускал Формера из номера в коридор.

— Это было в Париже… — Формер шёл по коридору, не замечая чудесных акварелей. — О, Париж, благословенно время, весна, бархатные тёплые сумерки, утки в Сене у Нотр-Дам-де-Пари. Этот незабываемый парижский запах женских духов и дорогих табаков на бульваре Капуцинов. Я попал на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа… — Они шли по зимнем саду, среди пальм, олеандров и розовых орхидей. Формер не переставал говорить: — Дорогие

русскому сердцу могилы. Цветущая сирень. Я бродил среди могил, читая имена. Бунин, Гиппиус, Мережковский, Сомов, Коровин. Я вспоминал стихи, картины, думал, что неужели и мне суждено умереть на чужбине, далеко от русских снегов, колоколен, чудесного оканья вологодских старух? — они шли в стеклянной галерее, и Аполлон у замёрзшего пруда небрежно накинул на плечи горностаевую мантию. — Уже тогда я горевал о традиционных ценностях. Я стоял у мраморного креста, на могильной плите было начертано имя: «Генерал Николай Семёнович Саблин». Я старался представить себе этого, изнурённого походами генерала, умершего на чужбине. В чёрном мраморе креста была вырезана небольшая ниша, и в этой нише стояла бронзовая литая иконка. Николай Угодник, небесный покровитель усопшего генерала. Не знаю, что со мною сталось. Мне захотелось взять эту иконку, отвезти в Россию и поставить в какую-нибудь русскую церковь. Я взял иконку, сунул в карман и покинул кладбище… — Они вошли в проход, облицованный розовым гранитом. Формер оборачивался к идущим следом Светочу и Лемнеру и торопился досказать. Его взволнованный рассказ был похож на исповедь: — Вечер и ночь я провёл в увеселениях. Смотрел на прелестные ножки красавиц «Фоли-Бержер», пил в баре с художниками Монмартра. И вдруг вспомнил, что в кармане у меня лежит иконка, украденная с могилы генерала. Я нащупал иконку в кармане. Она была раскалённая, обожгла. Я ужаснулся своему поступку. Я ограбил могилу! Ни это ли попрание традиционных ценностей? Я бросил пьяных друзей, схватил такси и помчался на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа…

Теперь они шли вдоль стен, выложенных кирпичами.

— Кладбище было закрыто, но я нашёл проход в стене, протиснулся между железных прутьев и пошёл по аллее. Пахла сирень. В сумерках появлялись и исчезали кресты. Мне казалось, из могил выходят и идут за мной Бунин, Мережковский, Гиппиус. Я искал могилу генерала, чтобы вернуть иконку. Чтобы после смерти встретиться с ним и просить у него прощения… Кирпичная стена кончилась и сменилась бетоном. В потолке светили редкие лампы. Формер попадал в свет лампы, и его голый череп блестел, а потом в тени череп мерк. Лемнер вытянул руку с пистолетом, целя в целлулоидный блеск. Он хотел дослушать историю Формера, ухватить содержащийся в истории важный смысл. Медлил с выстрелом, глядя, как загорается и гаснет череп Формера.

— Ну что же вы! — зло произнёс Светоч. Формер продолжал:

— Представляете мое состояние? Мне вдруг явилась чудная мысль!

Лемнер нажал на спуск. Пистолет чуть подпрыгнул, сверкнув золотым стволом. Формер упал, и Лемнеру казалось, он слышит, как в голове Формера бьётся не успевшая вылететь мысль.

Светоч наклонился над Формером, глядя, как из затылочной кости появляется розовый пузырёк.

— Ему будет о чём поговорить с генералом, — произнёс Светоч.

Из боковой двери появился врач. Его халат был развеян, шапочка стояла дыбом. Он был похож на посланца, слетающего к мертвецу, чтобы забрать его душу. Врач подтвердил смерть Формера. Охранники уволокли тело.

Лемнер подумал, что теперь невысказанная Формером мысль вернётся в мироздание, где витают бесчисленные, неизречённые мысли.

Вице-премьер Аполинарьев находился в номере вместе с собачками корги. Закованный в корсет, он держался прямо, по-офицерски, приветствовал вошедших Лемнера и Светоча коротким военным кивком. Собачки семенили по комнате на мохнатых ножках, с чёрными стеклянными глазами, похожие на насекомых.

— Неужели, господин Аполинарьев, вы знаете всех собачек по имени? — Светоч уклонялся от собачки, поднявшей заднюю ножку над его начищенной туфлей.

— Как же мне их не знать! — Аполинарьев хотел нагнуться и погладить обиженную Светочем собачку, но мешал корсет. — Это Нора, а там Флора! Там Вики, а здесь Ники! Это Зюзик, а это Пузик! Собачки, услышав свои имена, сбежались к хозяину. Царапали крохотными коготкам его белые брюки, поднимали задние ножки.

Лемнер смотрел на Аполинарьева с раздражением. Не испытывал к нему ненависти, неприязни. Аполинарьев был для него помехой. Он мешал своим нелепым присутствием в жизни, как мешает насморк, и хотелось достать носовой платок и прочистить ноздри.

— Я так благодарен вам, господа, за собачек. Я возьму их с собой в Гондурас. В самолёте отведено для них отдельное место. Я навёл справки. В Гондурасе нет собачек корги. Я займусь их разведением, и это даст мне средства к существованию.

— Торопитесь, господин Аполинарьев, вы идёте не на заседание кабинета. Лётчики не могут ждать, — Светоч оттирал о ковёр мокрую туфлю.

— Иду, иду! Нора, Флора, ко мне! Зюзик, Пузик, идите к своему папочке! Видите ли, их очень любила покойная жена. У нас не было детей, и собачки стали нам как дети. Они для меня — память о жене. Признаюсь, я испытываю к ним отцовские и отчасти материнские чувства!

Лемнера раздражал исходящий от Аполинарьева запах псины. Хотелось устранить из жизни не Аполинарьева, а запах псины. Не его вина в том, что Аполинарьев и запах псины были неразделимы.

Они шли по коридору, зимнему саду, стеклянной галерее. Аполинарьев в корсете шагал прямо, щеголяя выправкой, как знаменосец. Собачки бежали рядом, вились вокруг его ног. Аполинарьев порывался их погладить, но мешал корсет.

В бетонном коридоре под лампами у собачек, как у ночных бабочек, загорались глаза, зелёные, рубиновые, золотые, синие. Множество цветных

огоньков летало вокруг Аполинарьева и мешало прицелиться. Лемнер, вытянул руку с пистолетом, боялся промахнуться. Он дождался, когда Аполинарьев, худой, высокий, с выправкой офицера, попал под свет лампы. Цветные огоньки погасли. Лемнер выстрелил. Аполинарьев упал, длинный, как струганая доска. Собачки, испугавшись выстрела, разбежались, а увидев лежащего хозяина, подбежали, облепили его и дрожали. Мешали врачу. Тот отгонял собачек, а они пищали.

Лемнер смотрел на убитого Аполинарьева и старался понять, исчезла ли помеха. Помеха оставалась.

Анатолий Ефремович Чулаки имел вид растерзанный и буйный. Из зала суда его вывели голым, насильно одели, связали, чтобы не раздирал раны, и сняли путы в номере перед тем, как вошли Светоч и Лемнер. Зелёный пиджак Чулаки треснул под мышкой, брюки были измызганы, узел малинового галстука съехал на затылок, а сам галстук висел на спине. В номере пахло мёртвой материей и одеколоном. Так пахнут морги, где покойников готовят к выдаче родственникам. Чулаки, увидев Светоча и Лемнера, воздел кулаки, призывая небо рухнуть.

— Пришли увидеть сломленного и униженного Чулаки? Увидеть, как Чулаки ползает на коленях и просит пощады? Чулаки никогда не ползал на коленях. Ползали перед ним другие. И вы, и вы будете ползать и умолять о пощаде! Но пощады не будет! Слышите, от Чулаки пощады не будет!

— Вы говорите о себе в третьем лице, Анатолий Ефремович. Будто вас уже нет среди нас, — Светоч говорил, не раскрывая губ, плющил слова. Они излетали из него плоские, как монеты, на которых был отчеканен профиль Светоча. — Но вы ещё здесь, среди нас, Анатолий Ефремович. Вы ещё не в Колумбии.

— Колумбия! Колумбарий! — захохотал Чулаки. — Многих вы отправили в эту славную страну! И я очень скоро, быть может, через несколько минут, попаду в Колумбию, увижу многих бесследно пропавших, кого вы отправили в это путешествие. И первым, кого я увижу в Колумбии, будет Президент Леонид Леонидович Троевидов. О, бедный, доверчивый, легкомысленный человек! Он доверился вам и оказался в стеклянной колбе, полной формалина. Теперь, я знаю, вы подходите к железному шкафу, открываете стальную створку и смотрите на стеклянный флакон с формалином. В этом флаконе, как уродец в петровской кунсткамере, плавает Президент Леонид Леонидович Троевидов. Его голубые глаза смотрят на вас из формалина, его царственные бакенбарды кажутся водорослями, а из губ, когда вы открываете шкаф, выплывает медленный маслянистый пузырь!

Лемнер видел в кабинете Светоча железный шкаф, флакон с формалином, плавающего голого оппозиционера, которого считали эмигрантом в заморской

стране. Лицо оппозиционера в формалине было мечтательным, как у странника. Из губ всплывал медленный маслянистый пузырь неизреченных воззваний.

— Вы утверждаете, что Президент Леонид Леонидович Троевидов мёртв? — Лемнер стал замерзать. Приближался озноб. Ему открывалась бездна российской власти. Тот подвал, что пугал его своими кошмарами, и он убегал, а кошмары настигали и, наконец, настигли. Он был погружён в катакомбу российской власти. Туда нет входа обычным смертным, а только жрецам и избранникам. Они погружаются в катакомбу российской власти и возвращаются голыми, в растворе формалина, с беззвучными пузырями невысказанных откровений. — Вы утверждаете, что Президент мёртв? Когда он умер?

— Когда случился ковид! — Чулаки торжествовал, словно ковид явился на землю по его повелению. — Тогда умирали миллионы. Ковид не щадил депутатов, министров, сенаторов, монахов. Опустели монастыри, открылись вакансии в министерствах, могильщики заражались от покойников, женихи от невест, матери от сыновей. Тогда же, вы помните, умер забавник, веселивший Думу своими лжепророчествами и курьёзными выходками. Во время телешоу у Алфимова он поцеловал привезённую из Ухани летучую мышь. Это была его последняя шалость. Заболел Иван Артакович, заразился от Ксении Сверчок, которая является летучей мышью. Я выписал Ивану Артаковичу из Европы подлинную, а не мнимую вакцину, и в благодарность Иван Артакович напустил на меня чудовищную Госпожу Владу. Президент Троевидов боялся смерти, спрятался от людей. Он скрылся в бункере и принимал послов за тридцатиметровым столом, построенным на Уралвагонзаводе. Не подпускал к себе визитеров. Министры, желавшие попасть к нему на приём, месяцами томились в боксе. У них трижды в день брали пробы всего, что капает, включая слёзы и желудочный сок. Антон Ростиславович Светлов, самый тёмный человек в России, по недоразумению его называют Светочем, был отлучён от Президента. Я прав, Антон Ростиславович? Тот угадал в нём своего будущего убийцу. Светоч заразил себя ковидом и собирался при встрече поцеловать Президента, заразить его «из уст в уста». Сам же запасся целебной вакциной. Разве не так, Антон Ростиславович? Президент почувствовал исходящее от Светоча зло и запретил ему посещение бункера. Светоч отправил в Китай гонцов, те привезли из Ухани летучих мышей. Светоч через воздуховод запустил мышей в бункер. Мыши напали на Президента, когда тот правил Конституцию. Он, бедняга, отбивался, мыши кусали его, били перепончатыми крыльями. Президент в ковидных укусах слёг.

Чулаки обращал рассказ к Лемнеру, видя, как того сотрясает озноб. Светоч молчал невозмутимо, сложив на груди руки. Так Наполеон наблюдал за сражениями. Лемнер подумал, что Светочу не хватает треуголки. Повествование Чулаки потрясало своим неправдоподобием, которое казалось достоверней любой правды.

— Ужасны были муки умирающего Президента Троевидова, — Чулаки корчил лицо, изображая мучения. — Президент задыхался, его лёгкие сгнивали. Ему не хватало воздуха. Светоч подключил его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Регулировал подачу кислорода. Он допытывался у Президента, где тот держит своё несметное состояние. Ибо, вы знали, Антон Ростиславович, что Президент Троевидов самый богатый человек мира. Получая глоток кислорода, Президент называл американские, швейцарские и немецкие банки. Умолкал, отказывался говорить. Светоч перекрывал кислород, и Президент начинал кашлять, задыхался, бился в удушье. Светоч прибавлял кислород, и Президент называл счета в китайских, арабских, японских банках. Опять умолкал. Светоч поворачивал регулятор, и Президент хрипел, харкал кровью, умирал, пока новый глоток кислорода не возвращал ему жизнь. И он называл корпорации, в которых имел долю, банки, соучредителем которых являлся, золотые, урановые, алмазные рудники, которыми владел. Все эти средства перетекали на личный счет Светоча в крохотном новозеландском банке, который едва ли значится в реестрах банков. Так ли всё было, Антон Ростиславович? Когда все богатства Президента перетекли на ваш счет, вы отключили аппарат искусственной вентиляции лёгких. Был готов стеклянный флакон с формалином. Президента, голого, запаяли в колбу. Вы, Антон Ростиславович, самый богатый человек на земле, смотрели, как из искусанных губ Президента выплывает маслянистый пузырь. Невысказанное в ваш адрес проклятие!

Лемнера бил колотун. Дул ледяной сквозняк. Сквозняк дул из катакомбы российской власти. Лемнер спускался в катакомбу российской власти. Прилежный еврейский мальчик, выросший в интеллигентной семье, юноша, изучавший в университете Пушкина и Чехова, теперь, волею тёмной стихии погружался в катакомбу российской власти. Не было рядом Ланы, которая, как поводырь, могла указать путь. Она подвела его ко входу в подземелье и покинула. Он один, на ощупь, погружался в катакомбу. Не умел ничего, только вытянуть руку с золотым пистолетом, прицелиться, пустить пулю в затылок тому, кто, подобно ему, оказался в катакомбе российской власти.

— Президент Троевидов был убит. Убит и удушен вами, Антон Ростиславович, — Чулаки обличал и хотел, чтобы обличение было услышано Лемнером. — Началась эра двойников Президента. Светоч создал индустрию двойников, как создают птицефабрики или фермы для откорма скота. Их было множество, двойников, созданных под копирку. Они наводнили страну. Выступали, заседали, встречались с послами, спускали на воду подводные лодки, принимали роды у матерей-одиночек, награждали героев, катались на горных лыжах, играли в ночной хоккей. Они говорили без умолку и днём и ночью. Иногда одновременно в разных местах. Народ восхищался своим Президентом. Светоч правил Россией с помощью двойников. Их создавали на

конвейерах, в специальных лабораториях, искусственным оплодотворением яйцеклеток. Яйцеклетку брали у Ксении Сверчок, а семя у африканских юношей, которым рассказывали о прекрасной белой женщине, и те извергали семя. Зародышей взращивали в инкубаторах. Чтобы достичь абсолютного сходства с Президентом Троевидовым, в инкубаторах звучал голос Троевидова, его знаменитая Мюнхенская речь. Эмбрионы слышали эту речь и обретали сходство с Президентом. Двойники работали на износ и скоро изнашивались. старели, менялись в лице. Им делали подтяжки, убирали припухлости у глаз, надували губы. На некоторое время это продлевало срок службы, но потом они выходили из строя. Их убирали и заменяли свежими. Утомлённых, израсходованных двойников отправляли на озеро Ильмень. Там они устраивали прощальные игрища, однополые соития, а потом умирали, как умирают осенние бабочки. Сам же Антон Ростиславович предполагает жить вечно. Не так ли, Антон Ростиславович? Не для этого ли вы пригласили лучших математиков России, и они разгадывают тайну корня квадратного из минус единицы? Не для этого ли вы строите в Сибири коллайдер, превращающий неживую материю в живую? Вы заказали себе могильную плиту с датой рождения и знаком бесконечности вместо даты смерти.

Чулаки хохотал, кривлялся перед Светочем, оскорбительно жестикулировал, пытался испачкать его своим гноем и кровью.

— Но ваш обман, Антон Ростиславович, не может продолжаться вечно. У русского народа раз в сто лет открываются глаза. Он прозревает обман, и случается огромный русский взрыв. Этот взрыв разносит в дребезги континент, который вручил русскому народу Бог для его вечного страдания и посрамления. Впереди громадный русский взрыв. Взорвётся русский коллайдер, и вырвется в мир тёмная русская материя. И тогда разломаются хребты, повернут вспять реки, раскроются могилы невинно убиенных. Кости, ржавые, в гнилой земле, пойдут на Кремль и найдут вас в кремлёвских палатах, Антон Ростиславович! И вам не склеить традиционными ценностями обломки континента, как не склеить слюной ласточки разорванный Крымский мост!

Чулаки хохотал, прыгал, пророчил смерть. Светоч молча, холодно смотрел на корчи.

— Пора идти, Анатолий Ефремович. Самолёт в Колумбию ждёт.

Чулаки умолк, сжался, стал поправлять дрожащими пальцами галстук, искал и не находил на пиджаке оторванную пуговицу.

— Сейчас, сейчас! — бормотал он.

Они шли по коридору, Чулаки останавливался перед акварелями, слепо ощупывал пальцами.

— Анатолий Ефремович, не задерживайтесь, надо идти.

В зимнем саду Чулаки гладил листья пальм, целовал цветы орхидеи. Ему хотелось превратиться в растение, стоять в дубовой кадке, глядеть, как мимо

ведут по зимнему саду других.

— Анатолий Ефремович, самолёт не может ждать.

Из стеклянной галереи был виден заснеженный пар, Аполлон в снежной, небрежно наброшенной бурке.

— Бельведерский! — бормотал Чулаки. — Бог солнца!

Они миновали облицованный гранитом проход, миновали кирпичную кладку. Потянулась бетонная пещера с редкими лампами в потолке.

Дул ледяной сквозняк. Лемнер замерзал, стучали зубы. Чулаки шёл, спотыкаясь. Обернулся, упал на колени:

— Умоляю, умоляю! Хочу жить! Оставьте мне жизнь! Пусть я буду вечным заключённым, рабом! Пусть буду мышью, насекомым! Только жить!

Он хватал Светоча за ноги, целовал туфли. Светоч отталкивал его ногами.

— Вставайте, Анатолий Артакович, пора в Колумбию!

Чулаки поднялся, сутулый, как старик, семенил, появляясь и пропадая под лампами. Лемнер вытянул руку. Целил в затылок. Рука дрожала. Он боялся промахнуться. Чулаки почувствовал смертоносный луч, скользнувший из зрачка Лемнера по стволу пистолета. Обернулся. Лемнер выстрелил в лоб Чулаки. Видел, как ярко открылись его глаза. Белесые волосы стали огненно-рыжими, лицо порозовело, усыпанное золотыми веснушками. Смерть вернула ему благовидность.

Он лежал на бетонном полу, с красной дырочкой во лбу. Врач прикладывал стальную брошь к его горлу. Светоч наклонился, достал авторучку, сунул её в пулевое отверстие. Отыскал пулю и спрятал ручку.

Глава сороковая

Процесс над сторонниками «европейского пути» пробудил в обществе патриотические чувства. Повсюду создавались ансамбли народной песни и пляски, в архитектуре возродился «теремной стиль», в родильных домах младенцев снова стали нарекать Иванами, английские названия магазинов, кафе, салонов красоты писались кириллицей. В академической и журналистской среде прошли негромкие аресты. Последовали увольнения в университетах и финансовых учреждениях, изъятия из магазинов неугодных книг. Младоевропейцы, страдавшие дефицитом патриотизма, не желали идти в военкоматы и тысячами хлынули из России. Европа отступала, освобождая место традиционным ценностям. Благо, настала столь любимая в народе Масленица.

На Красную площадь грузовиками свезли с полей снег и воздвигли крепость с башнями, теремами и храмами. Народ толпился по сторонам площади и глазел, как молодцы в матерчатых кольчугах и картонных шлемах бьются за крепость, сшибаются на стенах, сходятся в кулачную стенка на стенку, ломают друг другу хребты и дырявят головы. Народ улюлюкал, кидал снежки, девицы в сарафанах подносили победителям чарки с водкой, горячие масляные блины, черпали деревянными ложками красную икру.

По Тверской, пугая люд, промчались всадники зверского вида, с мётлами у сёдел, прокладывали дорогу плетьми. За ними провезли телегу со связанным, в польском кафтане, князем Курбским. Следом прошествовал строй семёновцев и преображенцев с мушкетами. Они гнали стрельцов, которые катили дубовые плахи. Прошли староверы семьями, старый и малый, все несли вязанки хвороста для костров, и протопоп Аввакум крестил двуперстием толпу. Прогромыхало пять колымаг, на каждой высилась виселица, и под петлёй стояли декабристы. Шествие было нескончаемо. Казнили народовольцев, белогвардейцев, комиссаров, революционеров, контрреволюционеров, троцкистов, сталинистов. Проехало пять грузовиков с отброшенными бортами. В кузовах пятёрка «европейцев», хулителей традиционных ценностей. Анатолий Ефремович Чулаки, ректор Высшей школы экономики Лео, режиссёр Серебряковский, публицист Формер и вице-премьер Аполинарьев. Все в натуральном виде, голые, в сосудах с формалином. Из вялых губ Анатолия Ефремович Чулаки вытекал маслянистый ленивый пузырь. Замыкали шествие бэтээры. Медленно катили по Тверской. Над каждым колыхалось огромное надувное тулово, превышавшее головой крыши домов. Надувные Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Чехов, Блок проплыли по Тверской. На площади у Белорусского вокзала надувных литераторов отстегнули от бэтээров, и они

медленно воспарили, раскачиваясь, перевертываясь, ударяясь друг о друга. Летели над Москвой в поля.

Светоч и Лемнер, захватив бойцов подразделения «Пушкин», отправились за город, где в стороне от трассы высился длинный унылый склад древесных изделий «Орион». Аркадий Францевич, хранитель драгоценной коллекции, в шёлковом шарфе, стекавшем по плечам, открыл двери склада. Великолепие залов, золото картинных рам, блеск полотен ослепили.

— Предатели Родины привезли эти полотна из Европы, желая магией европейского искусства подавить русскую самобытность. Эта картинная галерея суть оружие, вторгшееся в русские земли. Как горели танки с крестами под Волоколамском и Истрой, так сгорит и этот враг.

— Вава, — приказал Лемнер, — ранцевый огнемёт к бою!

Вава, ловкий, вёрткий, с квадратным ранцем за плечами, выпустил из огнемёта жаркую струю. Лизнул «Сикстинскую мадонну». Холст загорелся, вздулся, лопнул внутри золочёной рамы. Мадонна с младенцем летела в свитке огня. Вава перевёл огнемёт на «Весну» Боттичелли. Прекрасная дева, роняя с прозрачного платья алые, голубые цветы, исчезла в дыму. Вава вёл огнемётом по стенам, и пламя сжирало «Тайную вечерю», «Осаду Бреды», «Маху раздетую», «Мадам Самари», «Девочку на шаре».

Хранитель коллекции Аркадий Францевич метался от одной горящей картины к другой, стенал, падал перед Вавой на колени. Он заслонил собой картину Тициана «Динарий кесаря». Вава направил на него огнемёт, и Аркадий Францевич, подхваченный красным хороводом Матисса, умчался в небеса, где в небесной галерее висели его картины.

Светоч и Лемнер вышли из горящего здания, смотрели со стороны, как в сумерках пылает пожар. Горела Европа, с горьким дымом улетала из России.

Из пламени вырвалась «Герника» и помчалась по миру, сея на города клочья огня. Поджигала страны и континенты. Лемнер смотрел на подожжённый «Герникой» мир и знал, что его путь к Величию лежит через «Гернику».

Они лежали в её синей спальне. Трюмо слабо вздрагивало, как вода, в которую попал мотылёк. Лемнер искал мотылька, но это дрожали её ресницы. Её голая рука белела, поднятая к окну. В окне светилось розовое зарево города, и в сосульке на водосточной трубе переливалась ночная Москва.

— Мы долго не виделись, — Лана в темноте касалась его лица, словно узнавала. — Ты не отзывался на звонки. Где ты был?

— Я спускался в катакомбу российской власти, — Лемнер ловил в темноте её пальцы, подносил к губам.

— Как выглядит катакомба?

— Сначала в ней много света, на стенах висят акварели, одна прекрасней другой. Особенно осенний пруд с тёмной водой, куда нападали золотые листья.

Катакомба превращается в зимний сад. Пальмы, монстеры, рододендроны. Фиолетовые и белые орхидеи. Их хочется целовать. Такие растут на берегах озера Чамо. Катакомба становится стеклянной галереей. За стеклом застывший пруд, ампирная беседка, статуя Аполлона в снежной тунике. Лыжный след пробежавшего по парку лыжника. Катакомба уходит вглубь. Стены из розового гранита, кирпич, хмурый бетон. В потолке оранжевые лампы, того же цвета, что осветительная бомба в украинской степи. Она висела, как оранжевая дыня, и подбитый украинский танк отбрасывал чёрную тень. Катакомба начинает сужаться. Уже, уже. Ты протягиваешь руку, чтобы не наткнуться на стену. Твоя вытянутая рука, в ней слиток золотого пистолета, принадлежавшего когда-то президенту Блумбо. Ты ищешь выход из катакомбы. Катакомба сужается до пулевого отверстия во лбу. Ты вставляешь авторучку в пулевое отверстие, нащупываешь застрявшую в черепе пулю и понимаешь, что выход из катакомбы российской власти залит свинцом… — Лемнер закрыл глаза, и оранжевые лампы загорались и гасли, и он переступал из тени в свет, погружая руку за борт пиджака, нащупывая кобуру и в ней рукоять пистолета.

— Я гуляла сегодня по Тверской. Эти надувные Толстой и Пушкин похожи на аэростаты времён войны. Я видела грузовик со стеклянной колбой. В ней заспиртован голый Анатолий Ефремович Чулаки. На его лбу пятнышко пулевого отверстия.

— Через лоб Анатолия Ефремовича Чулаки проходила катакомба российской власти.

— Скоро ещё несколько лбов будут закупорены свинцом. Мне кажется, я вижу эти продырявленные лбы.

— Чьи они?

— Это лбы Антона Ростиславовича Светлова и Ивана Артаковича Сюрлёниса.

— Почему так решила?

— Был устойчивый треножник российской власти. Анатолий Ефремович Чулаки, Антон Ростиславович Светлов и Иван Артакович Сюрлёнис. Ты отстрелил одну опору треножника. Власть закачалась. Чтобы она утвердилась, нужно отстрелить остальные две опоры. Никакого ясновидения. Простой политологический вывод.

— Ты говоришь, словно спускалась в катакомбу российской власти.

— Может, я и есть катакомба российской власти? — засмеялась Лана. Он увидел, как блеснули в темноте её зубы. В этом блеске почудилось ночное, волчье. Он испугался, что вместо жаркой, душистой женщины он обнимет косматую, поросшую шерстью волчицу. Она жутко блеснёт глазами, спрыгнет с кровати и умчится в ночь, к лесным опушкам, где воют волки.

Она угадала его испуг и продолжала смеяться.

— Ты считаешь, что мне придётся застрелить Светоча и Ивана Артаковича? — Лемнер прогнал наваждение.

— Если ты продолжишь свой путь к Величию. Но если остановишься, они застрелят тебя.

— Счастье иметь рядом такую прозорливую женщину, как ты, — Лемнеру опять померещился оборотень с косматым загривком и золотыми глазами.

— Счастье ли это для женщины? Женщина, которая вслед за любимым мужчиной спускается в катакомбу российской власти, несчастна.

— Ты загадочная женщина…

Чёрное зеркало трюмо продолжало трепетать, будто это был трепет земли. Земля, на которой стоял дом, трепетала. Лемнер хотел уловить гулы земли и в них угадать своё будущее.

— Ты послана мне не случаем, а судьбой. Я люблю тебя и боюсь тебя. Ты знаешь больше меня. Знаешь обо мне больше, чем я о себе. Я повинуюсь тебе. Ты властвуешь надо мной. Мне кажется, ты побуждаешь меня застрелить Светоча и Ивана Артаковича. Кто ты, Лана Веретенова? — Лемнер знал, что не услышит ответ. Не хотел услышать. Ответ мог быть ужасен. Пусть его любовь останется безответной. Или ответ прозвучит в час его смерти. Его смерть и будет ответом. Лемнер взял в ладонь прядь её волос, поднёс к губам и дышал. Волосы пахли чудесными духами и тем, едва уловимым ароматом, что источали орхидеи озера Чамо.

— Ты спрашиваешь, кто я такая? Сама не знаю. Княгиня Ярославна, рыдающая в Путивле по пленному князю Игорю. Жена Ивана Грозного, царица Евдокия Лопухина, отравленная боярами. Марфа-посадница, страдалица за новгородскую вольницу. Боярыня Морозова, в дровнях её увезли в Боровск и там уморили в яме. Княжна Тараканова, возомнившая себя императрицей и замученная в Петропавловской крепости. Княгиня Волконская, поехавшая за мужем-декабристом на каторгу. Матильда Кшесинская, возлюбленная последнего царя. Лиля Брик, своей рыжей прической сводившая с ума Маяковского. Зоя Козьмодемьянская, невеста Сталина, из петли клялась в любви к своему жениху. Это великие женщины, но их сделали такими великие мужчины. Я верю в твоё Величие. Не покину тебя. Буду идти рядом с тобой к твоему Величию.

Тёмные зеркала трепетали. В голубой сосульке переливалась ночная Москва. Её волосы пахли заморскими цветами. Он пьянел от ароматов и не искал ответа, кем была эта женщина, что однажды полыхнула у его глаз синим шёлком, блеснула ослепительной белизной, и он идёт за ней в разноцветном тумане, опоенный сладкими ядами.

— Ты моя жена, но не венчанная. Хочу с тобой обвенчаться.

— Тебя отправляют на фронт. Возвращайся героем, и обвенчаемся. В той же церкви, где ты крестился.

— Нет, в другой церкви. Возьму тебя на войну. Там отыщем храм и обвенчаемся среди бомбёжек и артиллерийских ударов в горящем храме. Крещение было святой водой, венчание будет огнём.

— Обними меня, — сказала она.

Он её целовал, и казалось, его подхватило волшебное колесо, возносит, и в медленном кружении, сквозь закрытые веки возникало и пропадало. Подол голубого шёлка и сверкнувшая из-под шёлка лодыжка. Аполлон в белоснежной тунике и лыжный синеющий след. Луна с пролетевшим фламинго и розовый цветок орхидеи. Сверкающий круг вертолёта и пятки из рыхлой земли. Сахарная полярная льдина и крылья перламутровой бабочки. Протянутая с пистолетом рука и Венера на горящей картине. Сбрасывает с платья цветы, лёгкая, без одеяний, летит в небеса.

Он её целовал, и волшебное колесо, которое его возносило, превращалось в отточенную фрезу. Фреза врезалась, сверлила землю, вырезая круги, ввинчивалась вглубь, виток за витком, как опрокинутая Вавилонская башня. Он спускался по спирали в центр Земли, в бездонную воронку, и на каждом витке его подстерегали видения. Беспилотник качал паучьими лапками. Танк мчался по полю, уклоняясь от взрывов. Из клетки смотрело умоляющее лицо двойника. Госпожа Эмма била хлыстом по дрожащим рёбрам. Конькобежец на синем льду чертил вензеля. На башне, окружённый сиянием, краснел рубин. Пленник с чёрными рунами прикрывал ладонью сосок. Иван Артакович шелестящим голосом читал приговор. Чёрнокожая женщина кормила его дольками апельсина. На её ноге с серебряным обручем было шесть пальцев. Воронка сужалась, стремилась вглубь, рушилась в бездну. Раскалённая слепящая ртуть кипела в центре Земли. Он падал в кипящий металл, ртуть разъялась и поглотила его. Он пропадал в крике и слепоте.

Они лежали, не касаясь друг друга. Слабо трепетали чёрные зеркала. Переливалась голубая сосулька.

Лана слабо сказала:

— Я от тебя зачала.

Глава сорок первая

Кунг, где разместился штаб корпуса «Пушкин», стоял в стороне от дороги, среди раздавленных гусеницами снегов. Линия фронта громыхала вдали своими и чужими орудиями. Отдельные выстрелы налипали один на другой, и казалось, ухает небо, белесые поля, мутная даль, в которой тонула линия фронта и неразличимо угадывался город Бухмет, недавно отбитый украинцами. Остановить продвижение украинцев, заштопать прореху в обороне был призван корпус «Пушкин». С эшелонов Лемнер перебросил корпус к Бухмету, готовя штурм города.

Мимо кунга по дороге, изъеденной до чёрной земли, катили танки, качая пушками, повесив синюю гарь. Тягачи тянули орудия. Нелепые, как огромные заваленные на бок шкафы, колыхались установки залпового огня. Боевые машины пехоты отточенными топориками врубались в снега, обгоняя танки. На зелёной броне виднелись профили Пушкина, из тех, что поэт рисовал на полях своих рукописей. Над кунгом пролетали вертолётные пары, неся на подвесках ракеты. Обстреляв Бухмет, возвращались с пустыми подвесками. Один вертолёт тащил за собой хвост дыма, сел в поле за кунгом. Люди с дороги бежали к вертолёту, а он, чёрный, с опавшими лопастями, жарко горел.

Лемнер сидел в тёплом кунге над картой Бухмета. Его штормовка с воротником из волчьего меха висела на крюке. Он был в зелёном армейском свитере, опоясан капроновым ремнём с кобурой, где золотым слитком лежал пистолет. Начальник штаба Вава прикладывал линейку к карте, мерил расстояние между городскими кварталами. Проводил между ними красные линии. Лемнер смотрел на линии и думал, что здесь, поливая землю кровью, пройдут «пушкинисты», и белый, начертанный на броне профиль станет красным.

— Командир, в этом Бухмете мы набухаемся. В нём четыре квартала. «Альфа», «Бета», «Гама», «Дельта», — Вава концом линейки тыкал в нарисованные на карте квадратики с буквами греческого алфавита. — В каждом квартале опорный пункт. Все четыре соединены подземными ходами, поддерживают друг друга огнём, быстро перебрасывают под землёй подкрепления. Перетрём город в крупу, потом наступаем.

— Это что? — Лемнер рассматривал тщательно начертанные фломастером греческие буквы. — Что за круг?

— Командир, это церковь в квартале «Дельта». В ней их штаб. Его сотрём в первую очередь.

— Церковь беречь. Я в ней буду венчаться.

— Командир! — Вава, привыкший к необъяснимым чудачествам Лемнера, решил переспросить: — Я тебя правильно понял?

— Правильно, Вава. Буду венчаться.

— Да тебя в ней отпоют, командир!

— Слышишь, церковь беречь! Возьмём Бухмет, и я обвенчаюсь. Можешь достать попа?

— Есть тут один заблудший. Ходит в расположении и солдатиков крестит. Может, шпион. Расстрелять руки не доходят.

— Церковь беречь! Попа ко мне!

Священника привели с мороза. Он жался к струе горячего воздуха и оттаивал. На его голове колом стояла мятая бархатная шапка. Из-под неё свисали сальные волосы. Военный бушлат был замызган, словно священник спал в нём, не раздеваясь, в окопах, в нетопленных углах, в ледяных отсеках машин. Башмаки огромные, не по ноге, с круглыми, как шары, носами. Лицо до глаз заросло волосами, как у собаки. Не ясно было, где кончались брови и начиналась борода, и есть ли в свалявшихся усах рот. Но из косматой звериной шерсти смотрели бирюзовые глаза.

— Как звать, батюшка? — Лемнер усаживал священника, ставил перед ним кружку горячего чая.

— Отец Вавила, — священник обнял кружку ладонями и грел пальцы.

— Что тебя занесло на войну? Твое место у алтаря, среди свечей и кадильных дымов.

— Здесь каждый разрушенный дом — алтарь. Каждый пожар — свеча. Каждый дым — кадильный. И все вы, и солдаты, и офицеры, и генералы, все вы мои прихожане.

— О чём твоя проповедь?

— Не проповедую. Крещу, отпеваю, исповедую. У Господа за всех нас прощенья прошу.

— В чём мы перед Господом виноваты?

— Не знаю в чём, но, должно, крепко провинились, если он России такую казнь придумал. Чтобы русские убивали русских.

— Я думал, ты за Родину, за святую Русь молишься, чтобы врага поскорей добить и в Святой Софии Киевской отслужить молебен.

— Мой молебен в окопах. «Суди нас, Господи, не по грехам нашим, а суди по милосердию Твоему!»

— Думаешь, услышит Господь?

— Господь всех слышит, не каждому отвечает.

— Повенчать меня можешь, отец Вавила?

— А ты крещёный?

— Вот крестик, — Лемнер достал из-за пазухи крестик на серебряной цепочке, подарок Ланы.

— Когда, с кем венчаешься?

— В Бухмете есть церковь Пресвятой Богородицы. Возьмём город, жена приедет, и мы обвенчаемся.

— Не боишься в том храме венчаться?

— Чего бояться?

— Был храм Богородицы, стал храм Дьяволородицы. В этом храме Россию казнят.

— Ты, отец Вавила, не пропадай. Город возьмём, тебя найду, и в храме меня обвенчаешь!

Священник согрел руки о кружку с чаем, перекрестил Лемнера и вышел. Крёстное знамение обожгло, словно хлестнули крапивой.

Штурм квартала «Альфа» начался на рассвете, когда небо чуть теплилось над линиями плоских крыш. Девятиэтажки высились мутными брусками, с черными, без огней, окнами. Лемнер в бинокль, в водянистый плавающий круг, видел, как рота «пушкинистов» грузится на бэтээры, и машины осторожно ползут в развалинах, пробираясь к рубежу атаки. На пустыре у домов виднелись выгоревшие, на осевших ободах, легковушки, поломанная детская карусель, цистерна на двух колёсах. Всё это заслонит штурмовиков, когда они спрыгнут с брони и под пулемётным огнем побегут к подъезду.

— «Комок»! «Комок»! Я — «Пригожий»! — Лемнер связывался с головным бэтээром. — Не торопись! Следи за соседом!

Командный пункт хрипел голосами. Начальники артиллерии, авиации, танкисты рыкали, зло мешали друг другу, рявкали в рации позывными. Вава плющил о рацию толстые губы. Лемнер перехватил у него управление боем.

— «Комок»! «Комок»! Я — «Пригожий»! Левый фланг голый! Смотри налево, «Комок»!

Начинало бахать, свистело, превращалось в рёв. Снаряды уходили в дома, в глубине полыхало, словно в окнах зажигали лампы. Рыжий огонь перелетал с дома на дом, и дома осыпались, в фасадах появлялись рваные дыры, в них тускло горело. Гаубицы с удалённых позиций месили квартал. Им отвечали украинские самоходки, над головами ревело, за спиной, в близком тылу, взрывалось. Крыша, где угнездился под маскировочной сеткой командный пункт, дрожала, дребезжала. С дальней дистанции открыли огонь танки. С воем промчались реактивные снаряды, сжигая вокруг себя воздух. Лемнер видел, как осел край дома, и оторванная глыба повисла на арматуре.

— «Лопата»! «Лопата»! Я — «Пригожий»! Работай по крайней высотке!

Плоские вершины домов начинали оседать, проваливались, превращались в зубья.

Небо неохотно светлело, полное гари.

Квартал «Альфа» горел, его сметали, вырубали из земли, а он цеплялся, и его крушили.

«Тебе, любимая!» — Лемнер яростно провожал вихри реактивных снарядов. Они валили стены, покрывали землю косматой шерстью взрывов, били множеством красных, зелёных, жёлтых молний. — «Тебе, любимая»! — выдыхал он со свистом.

Невидимая, в мутных дымах, заслоненная уступами зданий, в квартале «Дельта» пряталась церковь. К ней пробивался Лемнер, к ней прорубали туннель установки залпового огня, к ней долбили проход танки, на неё нацелились бэтээры.

— «Комок»! «Комок»! Я — «Пригожий»! Выходи на рубеж атаки!

Лемнер брал Бухмет не во имя Русской Победы, не во славу русских войск. Он брал Бухмет, чтобы дойти до церкви и в отблесках боя, среди вспышек и грома, обвенчаться с Ланой.

«Тебе, любимая»! — повторял он, сжав зубы и раздвинув губы. На лице его блестел жуткий и счастливый оскал.

«Бэтээры» с пехотой притаились в развалинах, упругие, готовые слететь с тетивы. Гаубицы раздолбили этажи и подъезды ближних домов, перенесли огонь в глубь квартала.

— «Комок»! Я— «Пригожий»! Атакуй!

Бэтээры, как длинные змеи, скользнули вперёд. Лемнер в бинокль видел грязно-зелёные ромбы машин, тёмные, прилипшие к броне комки пехотинцев, профиль Пушкина, как белый мазок, заслонённый ногами солдат.

«Тебе, любимая!» — яростной мыслью посылал бэтээры в атаку.

На небе, среди чёрных дымов, появилась заря, длинная, красная, как ватерлиния. Бэтээры ушли из развалин, приближались к домам по двум направлениям, один к кладбищу сгоревших легковушек, другой к карусели и двухколёсной цистерне.

— «Комок»! Я — «Пригожий»! Ссаживай пехоту! — командовал Лемнер, но не в рацию, а в окуляры бинокля. На железной крыше своим нетерпением, страстью он гнал бэтээры по пустырю под алой зарей.

Он видел, как сыплются с брони комочки солдат, рассеиваются, как семена. Бэтээры замедляют ход, медленно ползут за солдатами, и у пулемётов начинает мерцать, курсовые и башенный пулемёты бьют по нижним этажам и подъездам, прикрывая пехоту. От дома, из чёрной дыры на фасаде вылетает пушистая трасса, мчит к бэтээру, промахивается, поднимает короткий взрыв. В оконных проемах начинают трепетать огоньки. Пехотинцы перебежками, хоронясь за легковушками и цистерной, приближаются к фасаду. Лемнер слышал стук их сердец под бронежилетами, удары подошв в утоптанный снег, чувствовал, как пахнут сгоревшая пластмасса и резина легковушки, как веет бензином пустая простреленная цистерна.

— «Комок»! Я — «Пригожий»! Вперёд! Не сметь залегать! — кричал он в морозный воздух, видя, как ожили на этажах пулемётные гнезда, и под разными

углами бьют из проломов гранатомёты, и бэтээры, уклоняясь от попаданий, колесят по пустырю, отступают, прячутся в развалинах. Пехота втянулась в подъезды, высотка проглотила два взвода и замерла. Грязно-белый изрезанный колёсами пустырь, тёмные дырки взрывов, два убитых штурмовика, похожие на плывущих кролем пловцов, и красная лента зари, как та, что носили царские камергеры.

Артиллерия лязгала в глубине квартала «Альфа», в стороне со свистом закипавшего чайника проносились реактивные снаряды. Но высотка молчала. Она пережёвывала ворвавшиеся в неё два взвода. Беззвучная снаружи, внутри она чавкала, скрипела зубами, булькала и давилась. Лемнер с крыши, опустив бинокль, видел теменным оком взбегавших на этажи штурмовиков. Грохотали гранаты, дергались сжатые в кулаках автоматы, распахивались двери квартир. Схватывались на лестничных клетках, клубками катались по ступеням, падали с этажей, блестели ножами, давили кадыки, рвали пальцами рты. Высотка съедала штурмовиков. Проглотила два взвода, отхаркивала уцелевших, провожала кровавыми плевками.

Лемнер видел, как из подъезда выбежали трое, без оружия. Побежали по пустырю, двое быстро, третий волочился прихрамывая. Двух уложили у детской карусели, они легли на снег, не добежав до красных и жёлтых люлек. Третий, хромая, добрался до пробитой цистерны и укрылся за её вздутым боком.

Лемнер в бессилии бил кулаком по крыше, и железо гремело.

— «Штык»! Я — «Пригожий»! Атакуй, мать твою! — посылал он в бой подкрепление.

Церковь, спрятанная в районе «Дельта», была готова к венчанию. Лемнер был жених, прорубался к алтарю.

Он видел, как Вава машет руками над головами командиров, и те словно уклоняются от ударов, хватают рации, кричат в рации и телефонные трубки.

— «Штык»! Я — «Пригожий»»! Готовь второй взвод! Тебя поддержат вертушки и танки!

Два танка, неуклюжие, как навозные жуки, пробирались в развалинах, искали позиции. Прострекотало, протрещало над крышей, накрыло блеском винтов и пятнистыми брюхами. Вертолётная пара взмыла, развернулась, нацелила вниз рыбьи головы. Вертолёты один за другим метнули растопыренные пальцы с отточенными когтями. Рванули высотку, сдирая верхний этаж. Сыпался бетон, горела откупоренная верхушка башни, падали головни. Вертолёты развернулись, извергли пушистые трассы. Трассы ушли в фасад. Ломались стены, открывая нутро квартир с болтавшимися абажурами, разбитыми зеркалами, горящим тряпьём.

«Тебе, любимая!» — Лемнер помогал снарядам, распахивал бетонные занавески квартала «Альфа», продираясь к алтарю. И уже работали танки, вбивали в высотку снаряды, сотрясали этажи, и на лестничных клетках

вздрагивали мертвецы, прилипали к потолкам остатки тел, и казалось, в квартире протечка, с потолка падали красные капли.

Лемнер водил биноклем. В светлом, чистом, словно слеза ребенка, круге видел, как качается на арматуре не успевшая упасть стена, рывками, будто кто-то жадно курит, вырывается из окон дым. На снежном пустыре, среди геометрических, оставленных колёсами линий лежат убитые, а живой, сжавшись, как эмбрион, прячется за цистерной.

Исчезла алая камергерская лента зари. Небо было серое, в жёлтых пятнах, как нестираная простыня.

«Тебе, любимая!» — Лемнер дышал сквозь оскаленные зубы, и от его вдохов и выдохов рывками валил дым из окон.

Два бэтээра, взяв на броню взвод, покинули укрытия, пересекли пустырь, не задетые гранатомётами. Ссадили пехоту, долбя пулемётами подъезды и первый этаж. Дождались, когда последний штурмовик втянется в подъезд, и ушли, подобрав у цистерны уцелевшего после атаки бойца.

И вновь была тишина. Высотка казалась огромной головой с проломленным черепом. Отовсюду, из глаз, ушей, ноздрей, разорванного рта валил дым.

Лемнер смотрел в бинокль. Из окон сыпались искры, словно там вращался наждачный круг и точили ножи. Затрещали редкие выстрелы. Из подъездов, пятясь, отстреливаясь, выбежала горстка солдат. Оставляя на снегу убитых, пересекла пустырь и спряталась в развалинах.

— Вава, у тебя не солдаты, а тараканы! — свирепо кричал Лемнер. — Ты их спрашивал, за кого воюют? Может, у них шевроны с трезубцами?

— Командир, высотка набита хохлами. Они вылезают из люков. По-любому, высотку надо сносить.

— Вава, есть люди, которые хотят воевать. Я собрал их по тюрьмам в батальон «Дельфин». Поведу их и возьму высотку.

— Но, командир!

— Вава, пока я буду брать высотку, ты ступай в банно-прачечную роту. Там пригодится твой полководческий дар!

Батальон «Дельфин»» находился во втором эшелоне. Бойцы укрылись в разрушенном коровнике среди опустелых стойл и дырявых автопоилок. Ворота были сорваны, дул сквозняк, но крыша укрывала от беспилотников. Бойцы сидели на соломе, в бронежилетах и касках, с разгрузками, из которых торчали автоматные рожки и зелёные клубни гранат. Все прошли учебные лагеря, отъелись после тюрьмы. Не выпускали из рук автоматы, даровавшие им свободу. Выглядели ладно, сурово, грозно. Лемнер не узнавал тех, с кем вел беседы в тюрьмах, в унылых комнатах с привинченными стульями, под тусклыми решётчатыми лампами. Все вскочили, гремя автоматами, когда он вошёл в коровник.

— Здравия желаю, разбойники благоразумные! — бодро гаркнул Лемнер.

— Здравия желаем, командир! — не было в них прежней волчьей тоски, унылого, на десятки лет, страха. Они смотрели из-под касок чуткими, умными, чуть расширенными глазами, какие бывают у людей, попавших из тьмы на свет.

— Я оставил командный пункт, пришёл к вам, чтобы вести вас в бой. Мы пойдём и возьмем этот чёртов опорный пункт, квартал «Альфа». Он закрывает путь к церкви Рождества Богородицы. Я хочу обвенчаться в этой церкви. И вы мне поможете. Если меня убьют, то отпоют. Вы пойдёте в бой не за ордена, не за деньги, а за то, чтобы ваш командир мог обвенчаться. Все будете крёстными отцами. Вы были зэки. Над вами издевались мордастые охранники, бросали в карцер. Теперь никто не посмеет бросить вас в карцер. Я дал вам оружие, и оно сделало вас свободными. Мы пойдём на пулемёты, я впереди. В нас будут стрелять из орудий, рвать на куски осколками. Мы возьмём высотку. Одним на грудь повесят золотые звёзды, другим на могилы положат букеты роз. Мы «пушкинисты», и это о вас сказал наш великий вдохновитель Пушкин: «Темницы рухнут — и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». Сегодня в руках ваших меч калибра 7,62.

Лемнер стоял, окружённый бойцами батальона «Дельфин». Любил их всех. Все ему были братья. Он вывел их из душных камер и зловонных коридоров. Вывел из чёрных тюрем. В этих тюрьмах томилась Россия. Он дал волю России, чтобы она, вольная, погибла на поле боя. Бойцы любили его, шли на смерть, обретя перед смертью свободу.

Из-под каски смотрел на него Фёдор Славников, людоед. Он одолел своё ужасное иссушение, был строг, ясен, как грешник, переживший преображение.

Борис Крутых, серийный убийца, отнимавший людские жизни, чтобы продлить свою. Теперь он был готов отдать свою жизнь за Пресвятую Богородицу, за чудесную церковь, которую ему никогда не увидеть.

Сергей Колокольчиков, знавший о себе, что он Птенец Русской истории. Каска была ему велика, сползала на глаза и казалась яйцом, в котором созревал птенец. Теперь по яйцу станет бить артиллерия, установки залпового огня, пулемёты, и птенцу никогда не родиться.

Множество ярких верящих глаз смотрело на Лемнера с обожанием. Все были готовы идти за ним в лязгающий сталью ад, одолением которого даруется свобода.

— Мы «пушкинисты» и перед боем исполним наш боевой гимн. Слова и музыку вы изучили в лагерях вместе с тактикой боя в условиях города.

Лемнер набрал в грудь морозный воздух с едва ощутимым запахом соломы и исчезнувших тёплых коров и запел:

— Мороз и солнце, день чудесный, ещё ты дремлешь, друг прелестный!

Бойцы батальона «Дельфин» единым рыком, как строевую, походную песнь, подхватили:

— Пора, красавица, проснись!

Лемнер перехватил последний лязгающий звук и страстно, взывая к любимой, ненаглядной, отправившей его на войну, пропел:

— Открой сомкнуты негой взоры навстречу северной Авроры, звездою севера…

Бойцы истово рыкнули:

— Явись!

Они стояли в разорённом коровнике, сберегаемые утлой кровлей от всевидящего ока беспилотника, пели восторженный гимн свободе, обретённой в снегах с подбитыми танками, сгоревшими городами, мёртвыми, полными снега ртами.

Батальон «Дельфин» погрузился на четыре бэтээра. Машины на скоростях выскочили из развалин, грохоча пулемётами, метнулись через пустырь, мимо легковушек, карусели и пробитой цистерны. Почти врезались в фасад, сбросив у подъезда десант. Ушли, описав затейливые вензеля, уволакивая за собой взрывы гранатомётов.

Лемнер длинным скачком отделился от брони, видел, как бойцы прыгают, катятся кувырком, бегут к подъезду. Лемнер слепо водил автомат, выстригал перед собой тьму подъезда. В обе стороны расходились коридоры, заваленные телами. Распахивались двери квартир, летели гранаты. В подъезд вваливались бойцы батальона, двумя рукавами разбегались по коридорам. Бежали на этажи. Вся высотка от подвала до сорванной крыши ревела боем.

Лемнер не был командиром, не управлял боем. Боем управляла яростная слепая стихия, столкнувшая ненавидящих, убивающих друг друга мужчин. Лемнер ненавидел, ненависть застилала слизью глаза, мешала прицеливаться. Он бил наугад, слышал, как вокруг его головы бьют в стену и разбиваются пули, осколки гранат секут ступени, полыхает в лицо жар взрыва. Он ненавидел, и эта ненависть делала его бессмертным. Он прорубался к церкви Успения Богородицы, которая ждала его, отводила осколки и пули. Ненависть вела его к церкви Христовой.

— Тебе, любимая! — Он всаживал очередь в прыгающего сверху хохла, насаживал его на огненное острие. — Тебе, любимая! — Он следил, как скатывается по ступеням убитый.

Бойцы батальона «Дельфин»» дрались всласть, исступленно, бурля кровью, подставляя грудь под пулемёты, которые проламывали бронежилеты, вспарывали животы, вываливали на лестницы липкие красные груды. Умирая, они хрипели, и Лемнеру казалось, он слышит слова гимна: «День чудесный».

По всем этажам шёл бой. Дрались насмерть серийные убийцы, маньяки, педофилы, изменники Родины, наркоманы, насильники, вероотступники. Все были «разбойниками благоразумными», все пережили преображение, все вели бой за Россию, пробиваясь к церкви Христовой.

Лемнер увидел, как из подвала, вырастая из-под земли, появляются солдаты врага. Их рождала земля, и они были несчётны. Они были порождение тьмы, которая излетала в детстве из сырого подвала и гналась за ним по этажам. Тьма никуда не делась, подвал никуда не делся. Он следовал по пятам за Лемнером. Из него, как чёрная смола, изливалась раскалённая тьма.

— Гранаты! Ко мне с гранатами! — он метнул в подвал навстречу тьме одну, вторую гранату. Гранат больше не было. Тьма валила. — Ко мне, с гранатами!

Подбегали бойцы, швыряли в подвал гранаты. Запечатывали взрывами тьму. Гранаты громыхали, озаряли тьму багровыми вспышками.

Лемнер услышал над головой взрыв. Ядовитый жар ударил в ноздри, прошелестели осколки, и тьма накрыла его.

Он не знал, сколько длилось беспамятство. Он не упал, остался стоять, опустив автомат с пустым рожком. Вокруг головы осколки изодрали стену, нарисовали круг. Его голову окружал нимб, нацарапанный на известке сталью.

Высотка была взята. Опорный пункт взломан. Квартал «Альфа» встал под контроль батальона «Дельфин».

Лемнер, волоча автомат с засевшим в ложе осколком, взбирался на этажи. Сергей Колокольчиков, птенец Русской истории, лежал на спине с пробитым бронежилетом. Его круглые, как у птенца, глаза верили в уготованную ему долю русского лидера. Борис Крутых наубивал всласть, отнимая чужие жизни, передавал их тому, кто его убил. Людоед Фёдор Славников лежал в квартире среди догорающей мебели. Рядом, спиной вверх, растянулся хохол. Штаны хохла были взрезаны, белела голая толстая ягодица. В руке Фёдора Славникова был нож, которым он хотел отсечь от ягодицы лакомый кусок. Но пуля, пробившая переносицу, не позволила совершить грехопадение.

Лемнера качало, валило к стене. Он слабо повторял:

— Тебе, любимая!

Глава сорок вторая

Квартал «Бета» являл собой укрепрайон, не менее стойкий, чем квартал «Альфа». Высились девятиэтажки, повреждённые артиллерией. Во дворах, врытые в землю, укрывались танки. На плоских крышах, уцелевших от вертолётных атак, разместились миномётные батареи. Перед кварталом простирался снежный пустырь с высоковольтными вышками. Пустырь был заминирован. Ровный, выпавший ночью снег припорошил тела подорванных пехотинцев, чёрные дыры взрывов, остов сгоревшей боевой машины пехоты. Несколько раз элитные подразделения соединения «Пушкин» штурмовали район, не достигали высоток, подрывались на минах. Убитых и безногих вытаскивали из-под огня на телефонных проводах, волокли по снегу, оставляя кровавые дорожки. Лемнер приказал прекратить штурм и явился в расположение батальона «Око».

Батальон слепых разместился в стороне от линии фронта в полуразрушенном клубе. Жарко топилась печь. Горели обломки шкафов, транспаранты, наглядная агитация. Слепые сидели в зале на ободранных креслах, в тёплых пальто, телогрейках, полушубках, кто в ушанке, кто в пирожке. Им не выдали военную форму, но снабдили оружием, оставшимся от убитых. Они держали на коленях подержанные автоматы и учились разбирать и собирать их на ощупь.

Лемнер стоял у входа в зал и смотрел, как люди воздевали к потолку наполненные белой мутью глаза, чуткими пальцами перебирают детали автоматов. Автоматы в их руках тихо позвякивали, слепые походили на таинственных музыкантов, настраивающих инструменты.

Лемнер отыскал среди слепцов Вениамина Марковича Блюменфельда. Тот сидел в чёрном долгополом пальто, в том, что ушёл из дома на фронт. На голове был пыжиковый пирожок. На висках блестела седина. Благородный, как у Цезаря, нос украшала горбинка. Глаза, залитые млечной мутью, были воздеты к потолку, будто там находились нотные листы, которые он читал, перебирая длинными пальцами затвор автомата.

— Здравствуйте, Вениамин Маркович, — Лемнер подошёл и встал рядом.

Блюменфельд повернул голову, молчал, прислушивался, узнавая Лемнера. Произнёс:

— Здравствуйте, Михаил Соломонович. Узнал вас по запаху чудесных духов. Они едва уловимы. Женщину, которая пользуется этими духами, вы видели месяц назад.

— Как много значат запахи, Вениамин Маркович! Мне вдруг померещился запах нашего старого дома на Сущевском Валу. И такая сладость, такая боль, до

слёз. Тайна запахов.

— У нашего дома на Сущевском было множество запахов. Каждая квартира пахла особенно. Квартира, где жили Трубниковы, постоянно пахла щами. Квартира Айвазянов пахла сгоревшим молоком. Дверь дипломата Меньшикова пахла дорогим табаком. Дверь Ильясовых пахла псиной.

— А чем пахла наша квартира на четвёртом этаже? Вы со своего второго поднимались на четвёртый?

— Ваша квартира пахла тонкими духами, но не такими, как теперь.

— Мама, перед тем, как идти на работу, доставала крохотный флакончик духов, открывала стеклянную пробочку и пробочкой касалась шеи.

— Ваш квартира пахла духами вашей мамы, — Блюменфельд мягко улыбался. Лицо его под пирожком светилось нежностью. Лемнер любовался этим лицом. У них были общие воспоминания. Их соединяли неповторимые запахи детства.

— Я всё гадал, Вениамин Маркович, что особенное имелось в вашей квартире на втором этаже? Чудовища из подвала, что гнались за мной, останавливались у вашей квартиры, отступали, скрывались в подвале. Что их останавливало?

— Должно быть, их останавливал глобус.

— Глобус?

— Папа купил мне глобус, специальный, для слепых. На нём были выпуклые горы, вдавленные низины. Я гладил пальцами глобус и угадывал течение рек, расположение границ, мировые столицы. Я любил глобус, оглаживал его, мечтал побывать на Амазонке, в Париже, в Антарктиде.

— А как глобус останавливал чудовищ?

— Их останавливала Волга, останавливал Сталинград. Чудища подступали к Волге, останавливались, пугались Сталинграда и убегали.

— Где же теперь этот глобус?

— Случилась протечка. Дипломат Меньшиков нас затопил. Вода попала на глобус. Картон намок, сморщился. Глобус развалился, и его отнесли на помойку.

— Глобус спасал нас от чудовищ, но не мог спастись от протечки в потолке.

— И знаете, о чём я жалею? Я изучил глобус, мог на ощупь определить любое озеро, любой приток, любой город. Но была одна маленькая выпуклость на территории России. Я не мог узнать, что она означала. Я гладил глобус ладонями, касался губами, целовал эту малую выпуклость. Желал узнать, что она значит. Не мог, не успел.

— Это был город Бухмет. Вы его целовали, к нему стремились. Бог привел вас в Бухмет.

Они сидели в разорённом клубе. В печи сгорала доска почета с передовиками производства. Кругом слепые, воздев пустые глаза к потолку, перебирали затворы автоматов.

— Я всегда чувствовал Бога, как тепло. Когда думал о маме, молился, чтобы она жила вечно. Когда думал о девочке, тоже слепой, желал, чтобы она коснулась меня рукой. Когда думал об Амазонке, её цветах и фантастических птицах. Стоило подумать о дорогом и любимом, и становилось тепло. Будто топилась печь. Вы не знаете, Михаил Соломонович, какого цвета Бог?

— Должно быть, он ярко-лазурный. Как крыло сойки. Как облачение ангелов на рублёвской Троице. Как мартовская синева в вершинах голых тополей.

— Как бы мне хотелось хоть на мгновенье увидеть цвет Бога! Увидеть лазурь!

— Увидите, Вениамин Маркович. Я поведу вас на штурм укрепрайона в квартале «Бета». Мы пойдём по минному полю. Я первый. Одни из нас подорвутся на минах, другие дойдут до высоток. За нами по проходам в минных полях двинутся отборные части. Там, на минном поле, во время взрыва, вы прозреете и увидите лазурь. Увидите цвет Бога. Пойдёте со мной, Вениамин Маркович?

— Пойду. Идите впереди, я буду ловить ваш запах и наступать в ваш след.

— Тогда к бою, Вениамин Маркович!

Батальон «Око» вышел на позицию, хоронясь в кирпичных развалинах склада. Кирпичи заслоняли от ветра. Бойцы жались друг к другу в своих пальто, тёплых куртках, кто в ушанке, кто в меховой кепке, кто в старомодном пирожке. У многих в руках были палочки, на поводках вилось несколько юрких собачек. Автоматы висели на ремнях, переброшенных через шею, пальцы, трогавшие железо, замерзали, и бойцы дышали на них.

— «Штык»! Я «Пригожий»! Огня не открывать! Дашь пройти батальону, тогда наступай!

— Понял тебя, «Пригожий»!

Сразу за стеной открывалось поле, просторное, белое. За ним уступами возвышался квартал «Бета». Высоковольтные мачты, как журавли, распростёрли стальные крылья и бежали, не решаясь взлететь, уменьшались вдали. Батальон «Око» атаковал без артподготовки. Слепые бойцы во время атаки мечтали прозреть и в потоках хлынувшего света ворваться в квартал и сокрушить неприятеля.

— Батальон! — голос Лемнера звучал певуче, словно объявлял начало танцев и приглашал кавалеров обратиться к дамам. — Батальон, вы самые отважные светоносные воины! Наша атака войдёт в историю войн! Я ваш командир, позывной «Пригожий»! Я с вами! Люблю вас!

Лемнер вышел из развалин навстречу белизне, веющему в поле ветру. Из удалённых высоток смотрели на него бинокли врага, целились пулемёты. Дома с чёрными окнами взирали множеством изумлённых глаз.

— Батальон, за мной! — Лемнер не бежал, ожидая, когда палочки слепцов начнут тыкать снег. Слепые выходили, держась друг за друга. Тёмные очки, палочки щупают снег, собачки тявкают, вьются на поводках.

Лемнер шёл упруго, снег похрустывал под подошвами. Не торопился, чтобы слепцы не отстали. Он был поводырь, вёл слепых к сверкающему прозрению.

— Я помню чудное мгновение, — Лемнер запел, голосом указывал атакующим путь, чтоб те знали: командир рядом, среди них, готов вместе с ними обрести сверкающее прозрение.

Блюменфельд, мотая палочкой, шёл следом. Правее выступал величавый слепец в шубе с бобровым воротником. В его руках была дорогая трость с серебряным набалдашником. Слева осторожно ставил ноги сухенький старичок, обмотанный шарфом, видно его снаряжала заботливая внучка.

Слепые выходили на поле и двигались к высоткам. Враг у пулемётных гнёзд и миномётных батарей с изумлением смотрел на шествие.

— Передо мной явилась ты! — пел Лемнер, и ветер уносил слова романса вслед убегавшим стальным журавлям.

Первым подорвался слепец в полушубке и валенках. Он шёл, воздев бельма к небу, и поднятая голова делала его надменным. Грохнуло, поднялся узкий взрыв. Казалось, рядом со слепцом встал другой человек. Слепец возопил криком убиваемого зайца и умолк. Лежал на снегу, а ветер сносил легкую гарь взрыва.

Вторым подорвался тучный слепец, перед которым вилась шустрая собачонка. У него под ногами полыхнуло красным, словно выдернули подставку. Он завалился на бок. Собачка с визгом бегала вокруг, не приближаясь.

Лемнер не пел, шёл медленно, не удаляясь вперёд, видя, как вокруг поднимаются взрывы и слепые валятся в снег. Белое поле покрылось чёрными метинами. Подорванные лежали, иные шевелились и вскрикивали. Другие продолжали идти, влекомые силовыми линиями, от которых не отвернуть, не уйти.

Лемнер приближал подошву к снегу, опускал, переносил на неё тяжесть. Ожидал увидеть под подошвой красный шар, который подпрыгнет и унесёт его жизнь. Взрыва не было. Среди падающих и кричащих людей он оставался невредим. Над ним летела невидимая сберегающая сила, отводящая ногу от мины. Он был угоден этой силе, был бессмертен.

Взорвался и рухнул господин с бобровым воротником. Его трость с серебряным набалдашником разлетелась в щепы. Подорвался старичок, укутанный внучкой в тёплый шарф.

«Убей, убей меня!» — искушал судьбу Лемнер, ударяя ногой в снег, желая, чтобы там оказалась мина.

За спиной ахнуло, толкнуло волной. Блюменфельд дёргался на снегу. Над ним колыхалась муть. Пахло взрывом. Одна нога Блюменфельда была длиннее

другой, с вывернутой стопой. Из разорванной штанины хлестала кровь.

«Убей, убей меня!» — звал Лемнер, отворачиваясь от Блюменфельда, продолжая шагать по полю. Высоковольтные мачты, мерцая изоляторами, распростерли стальные крылья над белым, с чёрными метинами, полем. Противник из окон высоток смотрел на дикое зрелище идущих по минам слепых. Палочки, чёрные очки.

Редкие слепцы дошли до середины поля. Лемнер, поводырь, вёл их по полю смерти, желая смерти себе. Но смерть не являлась. Он один добрался до ближней высотки. Скомандовал по рации:

— Я — «Пригожий»! Я — «Пригожий»! Вызываю огонь на себя!

Взревела артиллерия. Снаряды били в фасады, отламывали стены, рушили лестницы. Лемнер стоял у высотки, глядя, как медленно, со множеством окон, отваливается стена и падает ему на голову. Разламывается надвое, и две половины, не задев, ложатся рядом.

Кругом метались взрывы, полыхали огни. Волной его швыряло от стены к стене. Он был бессмертен. Незримая сил витала над ним, отводила смерть, приберегая её для другого дня. И уже бежала по минным проходам пехота, втягивалась в высотки, и дома ревели боем. Квартал шипел, как огромная раскалённая сковородка.

Лемнер не участвовал в бое. Возвращался по снежному полю с лежащими слепцами. Нашёл Блюменфельда. Тот умирал от потери крови, но ещё лепетал.

— Я помогу, Вениамин Маркович, перевяжу жгутом.

— Я его видел, Михаил Соломонович!

— Кого?

— Бога!

— Какой он?

— Большой, тёплый, любимый. Как мама.

Блюменфельд умер, а Лемнер, тоскуя, шёл по снежному полю и больше не просил себе смерти. Он был бессмертен.

Предстояло штурмовать квартал «Гамма». Батальон «Магдалина», собранный Лемнером из проституток, был брошен на штурм квартала «Гамма». Проститутки прошли лагеря, научились владеть оружием, обрели навыки боя в условиях города и обнаружили поразительную ревность служения, страстное влечение к оружию, стремление скорее попасть на фронт. Их женственность, многократно поруганная животными вожделениями мужчин, требовала отмщения. Мужчины в их скотских проявлениях, гнусных капризах, садистских извращениях были отвратительны проституткам. Теперь, получив оружие, они стремились отплатить насильникам, попрать их господство, воздать за всех женщин мира.

Перед кварталом «Гамма» находился огромный пруд. Ветер сдул снег, и лёд блестел на солнце, как сталь. Батальону «Магдалина» предстояло пересечь пруд

и ворваться в высотки, солнечно мерцавшие не выбитыми стёклами. Бойцы готовились к штурму в полуразрушенном здании парикмахерской, на окраине взятого накануне квартала «Бета».

Они толпились у уцелевшего зеркала, теснили друг друга. Укладывали волосы, брызгая разноцветными лаками. Вскидывали изумлённо брови, проводя по ним цветными карандашами. Опускали веки, покрывая их перламутром, лазурью, золотой и серебряной пыльцой. Расширяли в испуге глаза, нанося на ресницы разноцветную тушь. Белили щёки, румянили, клали лёгкие голубоватые тени. Сжимали губы бантиком, красили их огненной алой помадой, или таинственной фиолетовой, или пленительной розовой. Кисточки, щёточки, пудреницы, флакончики, тюбики. Всё извлекалось из разноцветных пластмассовых сумочек, с которыми они ещё недавно отправлялись с кортежами в растленные странствия. Теперь красавицы явились на фронт, нанося боевую раскраску. Каждая пахла своими духами, пьянившими мужчин. Каждая подбирала для туалетов излюбленные расцветки, делавшие их экзотическими бабочками и тропическими цветами.

Они снаряжались к бою, но не надевали каску с тепловизором, бронежилет, теснивший грудь, разгрузку с торчащими запасными рожками и гранатами. Они надевали яркие, как перья африканских птиц, мини-юбки, блузки, мерцавшие стеклярусом, не скрывавшие грудей с бриллиантами на сосках, пупков, украшенных пирсингом. Они вставали на высокие каблуки, кто на шпильки, кто на толстые, из хрусталя. Крутились перед зеркалом на каблуке, оглаживая себя по тугим бёдрам. За автоматы брались в последнюю очередь, вешали через плечо, как вешают модные сумочки.

Лемнер любовался ими. Каждая была прекрасна. Одна, напоминавшая подводный волшебный цветок, подошла к зеркалу и алой помадой написала: «Здесь была Госпожа Эмма!» Другая, переливаясь, как морская раковина, фиолетовой помадой начертала: «Здесь была Госпожа Зоя!» Третья, как золотая бабочка, оставила подпись: «Здесь была Госпожа Яна!» Они любовались своим отражением, сознавали, что прекрасны, хотели удержаться навсегда в этой красоте, закрепиться на зеркальном стекле, через которое пролегала кривая трещина.

К Лемнеру подошла Госпожа Влада. Её тяжёлую голову украшал хохолок, и голова походила на ананас. Громадные груди вываливались из блузки, и казалось, в блузке ворочаются два живых поросёнка. Она вся была в красном. Блузка, мини-юбка, сапожки, в которые не умещались толстые ноги. Её бёдра вращались, как черпаки снегоуборочной машины.

— Командир, — сказала она, — просьба. Если не вернусь, передай дочке. Ей пять лет, живёт с бабкой. Пусть будет память о мамке, — она протянула Лемнеру нательный крестик, лежащий на огромной ладони вместе с серебряной

змейкой цепочки. В её глазах была тоска, нежность, безысходность. Лемнер не стал смотреть в её глаза.

— Конечно, если что, передам, — он надел крестик себе на шею. Теперь от зла его сберегали два крестика.

Приближалась минута атаки. Ледяной пруд сверкал под солнцем, казался огромным, упавшим на землю солнцем.

— Бойцы батальона «Магдалина»! — Лемнер строго возвысил голос, и женщины отвернулись от зеркала и обратили на Лемнера прекрасные лица. — Вы лучшие из всех подразделений российских войск, кто прибыл на фронт защищать поруганную честь России! Нашу матушку Русь взяли в полон, опоили зельем, отдали на потеху жестокому, сладострастному, глумливому врагу. Через несколько минут враг узнает, что значит русская женщина, взявшая в руки оружие. Вы лучшие женщины России и так не похожи на олимпийских чемпионок, которые уносят с олимпийских игр медали, толстеют, начинают рожать, как свиноматки, и забывают о Родине. Вы не похожи на звёзд шоу-бизнеса, растленных лесбиянок, окружённых геями. Не похожи на тучных монахинь, в сумерках своих келий занятых стяжательством и блудом. Вы — красота России, её воля, её духовное целомудрие. Россия — страна божественной справедливости. Сейчас мы пойдём на этот сверкающий, как серебряный слиток, лёд, дойдём до домов, где укрылся враг, и восстановим попранную справедливость. Я поведу вас, и первая пуля, летящая в вас, попадёт в меня. Я люблю вас, сёстры!

Женщины смотрели на Лемнера с обожанием.

— Командир, поцелуй нас! — произнесла Госпожа Эмма. Подошла и поцеловала Лемнера, и он ощутил на губах медовый вкус помады. Он подходил к каждой и целовал в алые, золотые, розовые уста. И каждые губы имели свою незабываемую сладость, и каждые оставляли на лице Лемнера огненный отпечаток. Он не стал извлекать платок и стирать помаду. Весь в поцелуях, вскинул автомат и ступил на лёд.

Они шли по льду, восхитительные женщины, похожие на прилетевших фантастических птиц. На сияющем льду их туалеты горели, как оперенья. Они шествовали на высоких каблуках, выбрасывая вперёд голые ноги. Лемнер видел, как Госпожа Эмма вонзает в лёд отточенный каблук, и вылетают сверкающие ледяные фонтанчики. Он шёл впереди, предводитель, покрытый их жадными поцелуями. Он вел их к Величию. Оно открывалось ему на сверкающем льду с белым отражением солнца. Солнце было Величием, и он делился этим величием с прекрасными женщинами, исцеловавшими его, как целуют божество.

Они шли и кружились в тишине, тонко позвякивал лёд под каблуками. Эта была атака, которую впишут в историю войн.

Украинские огневые точки молчали. Украинские офицеры в бинокли с изумлением видели, как по льду приближается кортеж великолепных красавиц. Отпали от прицелов, сняли пальцы со спусковых крючков. Ждали, когда женщины войдут в дома, и солдаты, застывшие, обросшие, одичавшие от смертей, обнимут ниспосланных им с неба горячих красавиц. И только очнувшись, заметили на их плечах автоматы, разгадали хитрость врага. Ударили миномёты. Мины падали на лёд, пробивали дыры, взметались солнечные фонтаны, заливали лёд зеркальным сверканием. Мина упала перед Лемнером. Фонтан просверкал и рухнул. Проходя мимо воронки, Лемнер видел, как в лунке кипит чёрная вода. Миномёты били прицельно. Несколько женщин упало, как подстреленные птицы, разбрасывая разноцветные перья.

Атака набирала разбег. Женщины бежали, издавая жестокие вопли. Обгоняли Лемнера, втягивались в подъезд ближней высотки. Лемнер после яркого солнца, попав в подъезд, был слеп. В каждом глазу, застилая зрение, плавало белое солнце, и он вслепую ударил автоматом во мрак. Начинали трепетать лепестки пламени на пулемётных стволах. Граната полыхнула рваным огнём. Лемнера отбросило взрывом, ударило затылком о стену. Он осел по стене, опустился на пол, вытянул ноги. Не теряя сознания, без сил, наблюдал схватку. Схватка была ужасной. Женщины скакали по лестницам, сбивая очередями украинский спецназ. Уже пробитые пулями, в ненависти, они доставали врага очередями. Сшибались врукопашную, катались клубками, грызли, царапали, визжали, всаживали ножи. Голоногая красавица обняла верзилу, стиснула коленями, всадила нож. И уже подходили на помощь штурмовики, заполняли подъезд, этажи, квартиры лязгом, зловонием боя.

Лемнер бессильно сидел на полу, прижавшись к стене. Встал, когда бой за высотку был выигран, переместился в соседние дома, растекался по кварталу.

Лемнер обходил этажи. Госпожа Эмма лежала с простреленной грудью, на соске мерцал бриллиант. Госпожу Зою он увидел в квартире. Она упала в кровать вместе с украинским солдатом, тот нежно приобнял её за спину, из-под огромной пятерни сочилась кровь. Госпожа Яна казалась живой, улыбалась. Лежала в квартире перед зеркалом, в котором успела разглядеть своё прекрасное отражение. Госпожа Влада обнимала украинца, которого успела убить головой. В её спине среди мускулистых лопаток хлюпало несколько дыр.

Лемнер не думал, не чувствовал. До церкви в квартал «Дельта» оставался один рывок. Там он обвенчается с женщиной, прекрасней всех красавиц, лежащих на ступенях высотки.

Глава сорок тертья

Февральские холода вдруг отступили, и пришла оттепель. Снега намокли, осели, показались скелеты арматуры, в танковой колее зачернела грязь. Сырые туманы опустились на развалины, дымы пожаров отяжелели, вяло сочились над высотками квартала «Дельта». С полей прилетели запахи мокрой земли, сырой древесной коры, и хотелось их уловить, удержать среди запахов гари, холодного бетона и несвежего, немытого человеческого тела.

Лемнер и начштаба Вава прибыли в батальон «Тятя», собранный из детей и подростков, пожелавших перенести военно-патриотические игры на поле боя. Когда Лемнер и Вава появились в расположении батальона, дети играли в снежки. Они скатали из мокрого снега снеговик, нахлобучили кастрюлю, вручили деревянный трезубец, прилепили шеврон из голубой и жёлтой тряпичек и расстреливали снеговик снежками, отмечая каждое попадание радостными кликами. Лемнер и Вава наблюдали бой, Лемнер узнавал среди детей тех, кто недавно в детском лагере изображал Пересвета и Александра Матросова. Среди стрелявших снежками был командир батальона Рой, его рыжие огненные волосы, розовое лицо, победный крик, когда выпущенный им снежок угодил в голову снеговика, расплющив сделанные из тряпок усы.

Рой увидел начальство, оборвал игру командирским рыком, похожим на петушиный крик:

— Батальон! Становись!

Дети забыли игру, бодро сбежались в строй. Стояли, задыхаясь, не остыв от игры. Преданно смотрели на командиров. Все были в пятнистой форме, перепоясаны ремнями, уменьшенные копии взрослых солдат.

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — приветствовал их Лемнер.

— Здравия желаем, товарищ командир! — рявкнул строй, и в этом громыхнувшем ответе не было железа, излетающего из глоток взрослых солдат, а мальчишеская весёлая звонкость.

Лемнер и Вава сидели с командиром батальона Роем над картой района «Дельта». Лемнер ставил задачу. Бойцы батальона издалека вслушивались в разговор командиров.

— Батальон с рубежа атаки в рост пойдёт по автостраде в направлении ближней высотки. У противника на данном участке сосредоточены пулемётные гнезда, миномётные расчеты и группы гранатомётчиков, — Лемнер заветной авторучкой, той, что нащупала пулю в черепе Чулаки, вел линию, повторявшую бетонку. Бетонка, изгрызенная танками, с двумя сгоревшими грузовиками на обочинах, была не видна отсюда. — Вклинитесь в оборону противника. За вами пойдут лучшие штурмовики соединения «Пушкин». Ясно?

— Так точно, — Рой наклонялся к карте, заслоняя квартал «Дельта» жаркой, как цветок подсолнуха, головой. Бойцы батальона издали кивали, поддерживая командира.

— При начале обстрела не залегаете, идёте в рост и уходите на фланги, открывая путь танкам и бэтээрам с пехотой. Ясно?

— Так точно! — с радостным рвением отозвался Рой, оборачивая на Лемнера детское преданное лицо. — Есть уйти на фланги и открыть дорогу танкам и пехоте!

Бойцы в стороне шёпотом переспрашивали друг друга, правильно ли поняли суть приказа.

— Зря огня не открывать, — наставлял Вава. — Берегите патроны для ближнего боя. Там не снеговики с тряпичными усами, а отборный спецназ Украины.

— Есть беречь патроны! — молодецки, щеголяя военной лексикой, ответил Рой.

— Я пойду вместе с вами, — Лемнеру хотелось тронуть золотую голову Роя. — Мой позывной — «Пригожий». Слушать мою команду!

— Есть слушать команду!

Лемнер видел серую, в кляксах копоти, бетонку, идущих детей, из туманной высотки бьют пулемёты, косят детей, и те выстилают трассу ладными маленькими телами. Он думал: если в восхождении к Величию он нарушает закон мироздания, закон Млечного пути, воссиявшего над ним в украинской степи, то пусть его убьёт мироздание прямо сейчас, над картой района «Дельта». Пусть он никогда не увидит церкви, и дети не поднимутся в атаку на пулемёты, и все так же, подобно чудесному подсолнуху, будет светиться голова Роя.

Лемнер прислушивался к стуку сердца, ожидая, что оно взорвётся моментальной болью, и мироздание умертвит его, преступившего священный закон. Но сердце продолжало ровно стучать. Он был угоден мирозданию. Посылая детей на пулемёты, не нарушил священный закон.

— Твой первый бой. Не страшно? — Лемнер хотел погладить пышные лучистые волосы Роя. Удержался, только провёл над ними ладонью, заслонял защитным покровом.

— У меня есть талисман. Он меня сберегает.

— Какой талисман?

— Роза, которую вы мне подарили, — Рой извлёк из пятнистой куртки блокнот. Листал страницы, и на каждой лежал лепесток розы, сухой, утративший алый цвет, прозрачный, малиновый. Листок блокнота чуть сморщился, впитав влагу высохшего лепестка.

— Что за цветок?

— Роза «Лемнер», которую вы мне подарили на телепередаче.

Лемнер вспомнил озарённую студию, рукоплескание, огромный букет роз в руках златовласого мальчика. Садоводы вывели чудесный сорт роз и назвали его в честь героя «Лемнер». Один цветок отломился от букета. Лемнер подарил его мальчику, и тот поцеловал цветок.

— Как твоя фамилия, Рой? — Лемнер рассматривал сухие лепестки. От дыхания они чуть волновались. — Как твое имя?

— Рой Лемнер.

— Взял себе имя цветка? — Лемнера тронула эта детская влюблённость.

— Это ваше имя. Я Рой Лемнер. Ваш сын.

Лемнера тронуло это признание. Возможно, юный солдат взял себе имя любимого командира. Возможно, они были однофамильцы. Но вглядываясь в детское лицо, в форму носа, губ, подбородка, в страстное нетерпение зрачков, в нервную чуткость переносицы, Лемнер узнавал себя. Ему казалось, он видит своё отражение в чистом зеркале, помещённом в золотую раму.

— Это фантазия? Ты это придумал?

— Моя мама Матильда. Она была актриса и работала в вашем театре. У вас была большая любовь. Мама родила меня тайно от вас. Отдала меня бабушке. Бабушка меня вскармливала, взращивала. Над маминой кроватью висела ваша фотография. Маму я не помню. Бабушка сказала, что во время спектакля в театре случился пожар, и мама сгорела. Бабушка умерла. Я воспитывался в детском доме. Увидел по телевизору героя войны. Это были вы. Как будто сошли с фотографии. Я был счастлив получить от вас в подарок цветок. Теперь мы три Лемнера вместе, вы, я и цветок.

У Лемнера случилась паника. Он хотел обнять златокудрого сына. Хотел холодно объяснить тому его заблуждение. Хотел вскочить и убежать. Или превратить всё в шутку. Но из чистого зеркала, из золотой рамы смотрело на Лемнера его лицо. Жизнь, которую он строил не по своему разумению, а согласно законам Русской истории, эта жизнь вильнула, как испуганная выстрелом птица, совершила негаданную дугу, и он потерялся среди перепутий Русской истории.

Беспомощный, не ведая путей, смотрел на своё отражение в чистом сыновнем лице.

— Отменить атаку! — Лемнер повернулся к Ваве. — Передать войскам, атака квартала «Дельта» отменяется!

— Как же так, командир! Атаку отменить невозможно. Пехота на броне. Танки на подходе. Авиация готова к взлёту. Неделю мы готовили операцию с участием детей. Отменить невозможно!

— Невозможно? Сволочь! Гниль подворотная! На кого пасть разеваешь? Я тебя из помёта в люди вывел! Я с твоей морды говно стёр! — Лемнер занёс над Вавой кулак. Его бешенство было раскалённым. Он хотел сжечь этим бешенством Ваву, карту района «Дельта», страшный завиток, куда вильнула его

жизнь. Хотел испепелить себя, чтобы не видеть изумлённых глаз Роя, чистого зеркала с отражением своего потрясённого лица. Бешенство прокатилось, как кипяток. Весь в пузырях, ошпаренный, он винился перед Вавой:

— Прости, Вава, прости!

Вава хмуро кивнул. Красавица проститутка Матильда, её солнечные рыжие волосы. Душистые, они пролились ему на голую грудь. Узкоглазый, похожий на монгола дизайнер просил кортеж проституток. На поляне столбы, догорающие, костровища. У обугленного столба, прикрученное проволокой липкое, красное, пахнущее горелым мясом. Всё, что осталось от Матильды. Они с Вавой шли по номерам пансионата. Валялись пьяные от кокаина дизайнеры. Они с Вавой всаживали ножи в хрустящие груди. Щекастый, с мокрыми щёлками, чмокающим ртом монгол. Лемнер бил ножом под разными углами, проталкивая остриё до сердца, а потом обрезал толстые резиновые губы монгола, кинул ему в голый пах. Монгол улыбался белозубым, безгубым ртом.

— Прости, Вава, прости! — Лемнер бессмысленно барабанил пальцами по карте квартала «Дельта», будто перебирал нарисованные высотки и искал среди них церковь. Не находил. Церковь пропала.

— Мы вот что, Рой, — заторопился Лемнер. — Мы вот что! В Москве, в штабе, доклад руководству. Очень важный доклад! Сейчас же отправляйся в Москву, прочитай доклад, на предмет ошибок. Понял? Выполняй!

Рой молчал. Молчали дети, облачённые в пятнистую форму. Молчал Вава.

— Я не поеду, — сказал Рой, опустив голову. Лицо пропало. Перед глазами Лемнера распушился рыжий шар волос, таких же жарких, как у Матильды.

— Выполняй! За неподчинение трибунал!

— Я не поеду в Москву. Иду со всеми в бой.

Лемнер вдруг ослабел. Он сдался. Был бессилен вырваться из жестокого завитка, куда вильнула его жизнь и билась там, как попавшая в петлю куропатка.

— Хорошо, — сказал он чуть слышно. — Приготовиться к атаке.

Туман поднялся и висел над высотками. Бетонная трасса мутно темнела, через пустырь вела в квартал. Высотки молчали. Грохотало на окраинах Бухмета. На левом фланге атаковали псковские десантники, на правом наступали чеченцы. Лемнер шёл без бронежилета и каски, переставлял негнущиеся ноги. Стопа опускалась на бетон рядом с осколком снаряда, вырванным из танка лепестком железа, нелепым, раздавленным колёсами зонтиком. За ним шли бойцы батальона «Тятя», в налезавших на глаза касках, тяжких бронежилетах, с укороченными, для ближнего боя, автоматами.

— «Штык»! Я — «Пригожий»! Готовь две роты! Пойдёшь за мной! Я — «Пригожий!» Как понял меня, «Штык»?

Следом за Лемнером шёл Рой, без каски, с пышными волосами, горевшими, как свеча, окружённая туманным свечением. Лемнер ждал, когда в окнах

высотки заискрят пулемёты, полыхнут миномёты, и батальон «Тятя» весь поляжет, срезанный пулями, перепаханный минами. Но высотка молчала.

Они прошли сгоревший на обочине грузовик. В кабине оставался мёртвый водитель. Шуршал бетон под ногами детей. На флангах ухали танки. Лемнер был покорён. Он был вмурован в громадный мир, который, как ледник, нёс его к Величию. Эта бетонка с осколком снаряда, мёртвым водителем, раздавленным зонтиком, дорога, по которой он вёл на убой сына, была дорогой к Величию. С неё не свернуть, не вымолить другого пути. Он обречён на Величие. Обречён на чудесное обретение сына и на его утрату. Утрата сына последует через минуту, когда они дойдут до второго грузовика с расплющенной кабиной. Каждый шаг к грузовику приближает к Величию, приближает к утрате сына.

— Батальон! — длинно, певуче скомандовал Рой. — Строевым шагом, вперёд марш!

Дети выпрямили маленькие стройные тела, подняли подбородки и в лад зашлёпали по бетону, молодецки выбрасывали ноги, слушали командира.

— Раз, два! Раз, два! Левой, левой! — вскрикивал Рой, прижимая к виску ладонь, браво шагая за Лемнером.

— «Штык»! Я — «Пригожий»! Огонь не открывать!»

Выстрелов не было. У второго грузовика батальон «Тятя» всем воробьиным множеством вспорхнул с бетонки, осел в снегах, открывая путь штурмовым подразделениям. Помчатся бэтээры с пехотой, покатят танки, высотка вскипит, взбурлит боем.

Лемнер не знал, что украинские офицеры с биноклями, снайперы с оптическими прицелами, миномётчики, развернувшие на крыше позиции, пулемётчики, обложенные мешками с песком, — все они, увидев идущих по бетонке детей, детские под касками лица, замёрзшие, сжимавшие автомат руки, ужаснулись зрелищем идущих на пулемёты детей. Они сошли с ума, побросали позиции и бежали, и только молодой офицер-очкарик, дрожа, уложил на подоконник снайперскую винтовку, увидел в прицел расцветший в снегах подсолнух и нажал на спуск.

Одинокий выстрел тихо стукнул в тумане. Рой упал. Батальон, огибая сгоревший грузовик, шарахнулся с трассы и увяз в снегах.

Лемнер стоял, держа на руках мёртвого сына. Мимо скользили бэтээры, ссаживали у высотки пехоту. Коряво катили танки, и механик-водитель в прорезь видел, как одинокий человек держит на руках ребёнка, и голова ребёнка горит, как свеча.

К ночи квартал «Дельта» был взят, и в храме состоялось венчание. Окружённый тёмными высотками, храм казался огромным рыхлым сугробом. Вспыхивали зарницы артиллерии, озарялись колонны, фронтон, яйцевидный, с остатками позолоты, купол. На заснеженной площади темнели трупы. Их было множество, украинцев и русских, павших в атаках вокруг храма. В стороне

догорал бэтээр, под чёрным коробом истлевала резина, наполняя сырой воздух зловонием. Над высотками висели жёлтые осветительные бомбы, тихо снижались на невидимых парашютах.

Храм был пустой. Промчавшийся бой смёл утварь, подсвечники, унёс запахи кадильных благовоний. Среди мешков с песком валялся перевёрнутый пулемёт. Продолжал дымить иконостас, с верхнего яруса сыпались редкие искры. В куполе сквозил пролом, небо загоралось, и пролом казался голубым, словно в храм заглянуло око. Вокруг храма стояло оцепление, загорался и гас фонарь, освещал каску, перетянутую ремнём скулу, мерцающий под бровью глаз.

Вава на бэтээре привез Лану. В норковой шубе, без шапки, она выскользнула из люка, и Лемнер, подавая руку, почувствовал среди мокрого ветра и резиновой гари чудный запах духов, словно ветер принёс в разгромленный, наполненный трупами город ароматы сада.

— Ты прекрасна, — сказал Лемнер, когда зарница осветила её лицо. Он увидел её сияющие глаза и смеющийся рот.

— Это будет самое романтическое венчание на земле, — она сжала его холодную руку жаркими пальцами.

— Венчание в аду, — сказал Лемнер. Ему показалось, над храмом в черноте проплыл цветок подсолнуха.

Появился доставленный автоматчиками отец Вавила.

— Вот, батюшка, храм Пресвятой Богородицы, — встречал его Лемнер.

— Дьяволородицы, — священник повёл рукой туда, где на площади лежали убитые. — Что же мы, славяне, друг с дружкой понаделали!

Площадь мутно белела. Тёмными пятнами, отдельно и вповалку, лежали убитые. За развалинами высоток вдруг загорался багровый всплеск, и становились видны два сцепившихся солдата, оцепеневших в ненависти. И два других, не успевших дотянуться один до другого. Бэтээр в стороне истлевал, над ним висела жёлтая луна осветительной бомбы. Лемнеру казалось, что трупы на площади выложены узором, образуют в своей совокупности знак, узнаваемый профиль. Но осветительная бомба гасла, знак исчезал, трепетал едкий огонек на колесе бэтээра, и несло горелой резиной.

В церкви не было трупов. Их выволокли на площадь. Лемнер ввёл Лану в храм. Она сбросила шубу на руки Ваве и осталась в белом подвенечном платье.

Белоснежная невеста, она стояла в разорённом храме. Над ней в куполе загорался и гас голубой пролом. Падали угольки догоравшего иконостаса. В бойнице среди мешков с песком чернел перевёрнутый пулемёт.

— Начнём с Божьей помощью, — отец Вавила отвёл Лану и Лемнера в середину храма. Она, в белом, он в замызганном камуфляже. Священник, нацепив очки, держал замусоленную книжицу с прилепившейся тонкой свечой. Неразборчиво читал евангельское сказание о том, что случилось на другой планете. Здесь же мутно белела обожжённая церковь, лежали убитые солдаты,

догорала в небе жёлтая, как луна, осветительная бомба, и стояли невеста в белоснежном платье и жених в камуфляже с разгрузкой, и рука жениха была обмотана грязным бинтом, и над ними загорался голубой глаз, и женщины, пёстрые, как африканские бабочки, бежали по льду на высоких каблуках, слепцы в чёрных очках щупали палочками снег, дети с игрушечными автоматами воробьиной стайкой вспорхнули с бетонки, и одинокий, проклятый человек стоял на обочине, держа на руках убитого сына.

— Венчается раб Божий Михаил рабе Божьей Лане! Венчается раба Божья Лана рабу Божьему Михаилу! — Священник сквозь очки смотрел, и не было видно глаз, в стёклах отражалась свеча. Верный Вава держал над головами новобрачных хвостовик разорвавшейся мины. Он же надел на пальцы Ланы и Лемнера обручальные кольца, которыми послужили кольца гранат.

— Теперь же, — возгласил отец Вавила, — раб Божий Михаил и раба Божья Лана, вы являетесь мужем и женой. Поцелуйтесь!

Лемнер повернулся к Лане, увидел близко её лицо, сверкнувшее в отсвете, словно мрамор, розовые, готовые к поцелую губы. И вдруг испытал отторжение, отвращение, ужас. Она стала невыносима, ужасна. От неё исходила угроза, веяло смертью. Её духи пахли уксусом и муравьиным спиртом. Прекрасное лицо стало уродливым, нос сполз к подбородку, появились звериные зубы, на щеках показалась щетина.

Лемнер отшатнулся, был готов бежать из храма, из проклятого города, из чудовищной страны, где красавиц крошат пулемёты, слепцов ведут на минное поле и отцы отдают на убой детей.

Безумие продолжалось мгновение. На него смотрело прекрасное средиземноморское лицо любимой женщины, и тянулись для поцелуя розовые губы. Лемнер поцеловал тёплые, влажные, обволакивающие губы. Вава отвинчивал у фляжки крышку, подносил душистый коньяк. Пил Лемнер, пила Лана, пил отец Вавила, пил Вава. Лемнер услышал, как звякнул о каменный пол хвостовик мины, и с пальца скользнуло обручальное кольцо от гранаты.

После венчания Лемнер и Лана жили в кунге в стороне от линии фронта. Лемнер уезжал на фронт, в Бухмет. Он передавал позиции армейским подразделениям, а измотанное штурмом соединение «Пушкин» отводил в лагеря для отдыха и пополнения.

К нему рвались корреспонденты, превозносили его подвиги. Телеведущий Алфимов в бронежилете и каске, с автоматом на плече, сделал с ним интервью на фоне горящего танка, для чего солдаты облили холодный подбитый танк соляркой, подожгли тряпьё, и Алфимов с набалдашником микрофона стоял в дыму и расспрашивал Лемнера о штурме Бухмета. Назвал его Лемнер Бухметский и поведал о романтическом венчании героя с представительницей древнего русского рода, что приехала из Парижа на фронт к своему жениху.

Лана и Лемнер стояли у кунга, дожидаясь, когда Вава подгонит машину, и они уедут в лагеря, в лесной пансионат, где изнурённых бойцов ждёт баня, горячая еда, выступления артистов. У кунга остановился грузовичок военторга. Солдаты из кузова выгружали картонные ящики, ставили на снег. Долговязый прапорщик покрикивал, постукивал носком ботинка по ящикам. Солдат в тёплом бушлате и картузе смотрел на Лемнера. Его смуглое лицо казалось знакомым. Прямые, в линию, не прерываясь у переносицы, брови. Прямой резкий нос, подвижные чёрные усики. Хотелось вместо картуза надеть на него широкополую шляпу, чтобы получился техасский ковбой. Ящики погрузили в кузов, солдаты нырнули под брезент, грузовичок укатил.

— Где я мог видеть этого усатика? — Лемнер повернулся к Лане. Она молчала, испуганно смотрела вслед грузовичку.

— Что с тобой? — спросил Лемнер. — Где-то я видел этого мексиканца!

— Ты видел его в Москве, в рыбном ресторане. Это бармен. Он мешал коктейли.

— Точно, бармен! — Лемнер вспомнил шелестящую, со звоном стекла и фарфора, ресторанную залу, просторное окно, в котором, как огромная роза, увядала вечерняя Москва. Бармен встряхивал стакан с разноцветными напитками, его быстрый, весёлый взгляд, которым он проводил уходящего Лемнера. — Точно, бармен! Ты испугана?

— Я чувствую, они рядом.

— Кто?

— Люди из группы «К». Личная разведка Президента. Они прибыли в Бухмет за тобой.

— Зачем я им?

— После взятия Бухмета ты обрёл огромную силу, огромную популярность в народе. Ты можешь быть опасен.

— Я выполняю приказ Президента. Я ему верно служу.

— Мне страшно. Где появляется группа «К», там случаются несчастья.

Грузовичка давно не было, но там, где он останавливался, витала прозрачная тень. От неё веяло несчастьем.

Ночью они лежали в жарко нагретом кунге. Тихо урчал мотор. Мимо по трассе шли танки, краснели хвостовые габариты. Далеко ухало, но зарницы не долетали. В полях таяли и испарялись снега, а в кунге было так жарко, что они лежали без одеяла. Она пальцем вела по его бровям, губам, подбородку, рисовала ему лицо. От её прикосновений складки разглаживались, копоть пропадала, лицо начинало светиться.

— Ты мой герой, отважный воитель. Тебе покоряются города. Тебя любит армия, обожает народ. Народ устал от лжи, произвола, казнокрадства. Народ ждёт, что ты спасёшь его от банкиров, от разбойной власти. Сегодня ты самый известный и любимый человек в России.

— Я самый несчастный, проклятый человек. Я детоубийца. Убил моего нерождённого сына, заморозил на полярной льдине. Убил второго сына, повёл на пулемёты и не сумел заслонить грудью. Я проклятый. Путь к Величию, который ты мне указала, — это путь детоубийства, путь бесчисленных смертей, которые тянутся за мной.

— Твои убитые сыновья были дети, зачатые без любви, во блуде. Я рожу тебе сына, зачатого в любви. Мы венчанные муж и жена. Я беременна, ношу твоего сына.

В кунге было так жарко, что одеяло соскользнуло на пол. Она вела пальцем по его бровям, губам, подбородку и рисовала лицо, на котором не было злых морщин, тёмных ямин, торчащих скул. Рисовала лицо, не изуродованное гримасами ненависти, судорогами команд, страхами смерти и безумным ослеплением боя. Это лицо было чудесное, непорочное. По дороге шли танки, рубинами горели хвостовые габариты. В полях таяли, оседали снега, и проступали остовы подбитых машин. В храме на полу валялся хвостовик разорвавшейся мины и два кольца от гранат. А здесь лежала любимая женщина, и в её теплом дышащем теле из хрупких нитей и прозрачных лучей взрастал его сын.

— Когда ты почувствовала?

— В ту же секунду, когда случилось зачатие.

— Что ты почувствовала?

— Жар, тепло. Меня обожгло. Потом свет, огромный, белый, из лепестков. Края лепестков переливались красным, голубым, золотым. И тишина. Испуг. Всё заволновалось, побежало, каждая клеточка, каждая струйка, каждая кровяная частица. Они побежали от меня к нему. От моего сердца к его зародившемуся сердцу. Из моих глаз к его глазам. Из моих рук к его ручкам. Из моих ног к его крохотным ножкам. Я отдавала моё тело ему, и он с первых секунд отнимал моё тело и создавал своё. А потом покой. Я лежала и вслушивалась в себя, как слушают морскую раковину. Чуть слышно шумела во мне его жизнь.

— Любимая, — он прижимался к её груди, желая услышать потаённую жизнь. Не слышал. Билось сердце. Шумел двигатель. За стенами кунга рычал танк. Пролетела в ночи вертолётная пара. Среди этих звуков он не слышал звука будущей жизни, своей, её, их нерождённого сына.

— Как же нам теперь жить?

— Я не ведунья, не слушаю бубен шамана, духи не открывают мне будущее.

— Ты предсказала мне Северный полюс, Африку. Поместила в треугольник, в углах которого сидят три попугая, красный, жёлтый и синий. По твоему наущению я убил жёлтого попугая. Убил многих других. Кого теперь я убью?

— Есть кабинеты власти, коридор власти, кулисы власти, есть её катакомбы. Есть слухи, шёпоты, утечки, намёки, есть выражения глаз. Тебя выращивают опытные садоводы. Тебя приблизили Чулаки и Светоч. Твоими

руками один хотел уничтожить другого. Ты принял сторону Светоча и уничтожил Чулаки. Стал непомерно сильным и опасным для Светоча. Он боится тебя, хочет умалить, отнять армию, перевести в Москву под своё крыло, на бессмысленную, бесполезную должность. Свести на нет, чтобы о тебе забыли. Быть может, уничтожить тебя. Ты узнал слишком много о тайнах его кабинета, о железных шкафах с флаконами формалина. Вокруг тебя вьются разведчики группы «К». Жди появления Светоча. Будь очень чуток, осторожен. Не избежать столкновения. Победит тот, кто ударит первым.

Лемнер пугался. Женщина, которую он обнимал, была ведунья, слушала бубен шамана. Она уходила в сокровенную молельню со стеклянными саркофагами, где дремали духи озёр, лесов и пустынь. Разбуженные духи уносили её на берега морей и великих рек, омывали ливнями, опаляли жаром песков. Ей открывалось знание о ходе времён. Будущее тайными письменами было начертано на крыле африканской бабочки. На перламутровом крыле среди хрустальных прожилок, алых вкраплений, золотистых орнаментов таились талые снега в украинской степи, идущие по дороге танки, разгромленный храм с догорающим иконостасом и любимая женщина, драгоценная и прекрасная, от которой вдруг повеяло тьмой.

Глава сорок четвёртая

Нежданно, без предупреждения, нагрянул на фронт Антон Ростиславович Светлов. Ночью Лемнер получил сообщение из штаба о визите, а утром он встречал высокого гостя на въезде в разорённый посёлок. По бетонке шла бронегруппа из четырёх бэтээров, разведя пулемёты «ёлочкой». Автоматчики на броне водили глазами по обочинам. Колыхал бортами, крутил антенной зенитно-ракетный «Панцирь», прикрывая бронегруппу от беспилотников. Над бетонкой кружила вертолётная пара, облетая окрестные поля. В бронированной машине «Тигр» катил Светоч.

Он вышел из машины, нацелив на Лемнера хрустальный розовый глаз. Лемнер приготовился рапортовать, но Светоч остановил его и обнял.

— Передаю от Президента Леонида Леонидовича Троевидова благодарность за службу, — Светоч выпустил Лемнера из объятий и оглядывал, словно хотел убедиться, того ли он обнимал.

— Служу России! Служу Президенту! — Лемнер чутко улавливал запахи, которые привёз с собой Светоч. То были запахи, витавшие в кабинетах власти, запахи смертоносных интриг и скрытых опасностей. От этих опасностей не спасала броня, охрана, зенитные ракеты. Опасности могла обнаружить животная чуткость, утончённая бдительность и вчерашние предупреждения Ланы. Она слышала шёпоты властных коридоров.

— Взятие Бухмета означает перелом в украинской войне. «Нью Йорк Таймс» пишет о стратегическом поражении Киева. Китайцы прислали Президенту поздравление. Недобитки Чулаки отказались от реванша.

— Пообедаем, Антон Ростиславович, а потом поедем в войска, посмотрим лагеря. Сможете побеседовать с бойцами, кто брал Бухмет.

— Не буду обедать, сразу в войска, — Светоч нетерпеливо посмотрел в поля, где, по его мнению, находились войска.

Они прибыли в лагерь, в лесной пансионат, уцелевший от бомбардировок. Вокруг лагеря плотным каре построились бэтээры. Тяжёлая самоходка уставила в небо непомерно длинный ствол, ещё недавно посылавший снаряды в горящий Бухмет. В соснах стояли деревянные корпуса. Топились печи. Дым валил из труб. Была развёрнута полевая баня, просторные палатки, где пыхтели котлы, хлестала горячая вода. Солдаты сбрасывали замызганную, истлевшую от пота одежду, парились, окатывались горячей водой, мылились душистыми шампунями, ахали, хохотали. Голые, охваченные паром, бежали в соседнюю палатку, где облекались в чистые белые рубахи. Выходили из палатки блаженные, с розовыми лицами, в белых одеждах, как праведники.

Вава, бритый, помолодевший, пахнущий одеколоном, повёл Светоча в корпуса для беседы с солдатами, а Лемнер пошёл встречать приехавшую в лагерь певицу Юлю Чичерину.

Концерт состоялся в клубе. Топилась печь, тянулись ряды скамеек. Над сценой висела хоругвь, с неё в зал смотрел Спас огромными, чёрными, ужаснувшимися глазами. Светоча и Лемнера усадили в первом ряду. Солдаты тесно уместились на лавках, жадно, нетерпеливо взирая на сцену. Чичерина появилась, маленькая, хрупкая, в свитере, с гитарой, сверкнувшей лаком. Уселась на табуретку под Спасом, держала гитару, косо глядя на струны, будила их, завораживала, колдовала, не замечая множества обожающих глаз. Подняла голову, воздела брови, как будто изумилась многолюдью, и вдруг яростно плеснула пальцами, ударила по струнам. Полыхнуло взрывом, тусклые лампы зажглись, как дворцовые люстры.

Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь,
грохочущий на башне вечевой!
Донбасс, Донбасс, божественный фонарь,
сияющий над бездной мировой!
Донбасс, Донбасс, ты остриё меча,
пронзившее чешуйчатую грудь!
Донбасс, Донбасс, ты русская свеча,
которую вовеки не задуть!

Казалось, прилетела и ударила молния. Случилось преображение. Маленькая хрупкая женщина стала огненной, грозной. Стала бурей, взрывной волной, слепящим светом. Неслись бэтээры, мчались в небесах пятнистые «аллигаторы», самоходки долбили проломы, пехота вставала из траншеи и шла на пулемёты. Сидящие в зале солдаты восхищённо и грозно внимали. Это была их певица, их Донбасс, их подбитый горящий танк. Войну, на которой они сражались, воспели. Их угадали, их беззвучные помыслы облеклись в восхитительную музыку. Их проклятья и стоны перелились в расплавленные, как свинец, слова.

Сначала били самоходки.
Потом мы шли на этажи.
Сойдясь, зубами рвали глотки.
Исход решали штык-ножи.

На них мы не жалели мин.
Мы били их прямой наводкой.
Нас проклинали из глубин,
Шипя на адской сковородке.

Их батальон сдавался в плен,
И каждый был обезображен.
Несли убитых. Кровь и тлен
Всплывали из подземных скважин.

Конец войне. К тебе, Святая Русь,
Разбитыми губами приложусь.

Это было о них, о русской пехоте, жертвенной и бесстрашной, которая дойдёт до днепровских круч и принесёт с войны свои раны, ордена, бреды во сне, неутешные богомолья.

Чичерина пела то грозно, то слёзно. Кричала, поднимая в атаку, голосила, ступая за гробом. Её женственность становилась клёкотом боя, надгробным рыданием, прощальной молитвой, письмом матери к сыну. Солдаты на лавках внимали ей, любили, верили, что их не убьют.

Лемнер заметил на глазах маленького, с тонкой шеей, солдата слёзы.

Вечером, в уцелевшем посёлке, в придорожном кафе ужинали Светоч и Лемнер. Кафе было оцеплено. Внезапно загорался фонарь, свет скользил по липкой броне бэтээра, по лицу автоматчика и гаснул. Окна кафе были наглухо зашторены брезентом, кафе оставалось невидимым для ночных украинских дронов.

К столу подавали две молодые женщины из тех, что отыщутся в любом военном обозе, расторопные, сметливые, обласканные множеством мужских жадных глаз. За время походов эти женщины согревали не одну походную кровать.

Красная рыба из военных консервов была пересоленная.

Хлеб был ржаной, душистый, недавней выпечки. Каша с тушёнкой была наваристой, из полевой кухни. Огурцы домашнего посола, забытые в подполах убежавших от войны хозяев, лежали в миске с кисточкой укропа.

Водка в стаканах блестела. Лемнер, отпив принесённую с холода водку, слушал Светоча, стараясь не смотреть в его розовое хрустальное око.

— Удивительно, как пела Чичерина! Эта маленькая хрупкая женщина чувствует войну, чувствует русского солдата, чувствует русскую трагедию. В этой трагедии случается русское преображение, восходит русская Победа, — Светоч,

казалось, был тронут. Обожжённая половина лица побледнела, шрамы стали менее заметны, словно лицо хотело вернуть себе прежнюю свежесть и симметрию.

— Война — это женщина. Она и гневная Родина мать, и неутешная вдовица, и сестра милосердия. Чичерина слышит музыку войны. Она и есть музыка войны, — Лемнер старался угадать подлинные цели внезапного визита Светоча. Лана предсказала этот визит, предсказала опасную интригу. Лемнер хотел уловить опасность, почувствовать её сквознячок.

— Мне кажется, Чичерина пела о вас, Михаил Соломонович. Это песни о штурме Бухмета и о вас, знаменосце победы. Уверен, о штурме Бухмета будет написана книга, создана опера. Слагается эпос войны и её эпический герой, — вы, Михаил Соломонович.

— Мне лестна ваша оценка, Антон Ростиславович, — похвала была необычна в устах Светоча. Быть может, она и была сквознячком опасности.

— Это не только моя оценка. Я говорил о вас с Президентом. Он назвал вас выдающимся политическим и военным деятелем. Просил передать, что давно следит за вами, ещё со времен ваших африканских скитаний. Видит в вас лидера нового русского времени. Лидера, как и все большие лидеры, возникающего на сломе времён.

— Времена ломаются, но не сломать бы хребет государству, — осторожно заметил Лемнер. Этим замечанием он помогал Светочу начать задуманный им разговор.

— В этом и есть искусство лидера переменных эпох. Государство проходит сейчас сквозь игольное ушко русской истории. Это прохождение болезненно. У верблюда стачиваются горбы. Один из этих горбов был срезан при вашем участии, Михаил Соломонович. Вы помогли ликвидировать Чулаки, очистили русскую жизнь от вековых гнойников. Но остались другие гнойники. Ваша помощь незаменима, Михаил Соломонович.

— Вы знаете, я верный солдат Президента. Его любое слово для меня — закон. Мечтаю лично встретиться и поговорить с Президентом. Из его уст услышать о великом проекте «Очищение».

— Вам мало того, что я говорю от имени Президента? — хрустальный глаз Светоча стал наливаться рубиновым светом. Это случалось, когда в Светоче начинало тлеть раздражение. — Я приехал к вам на фронт, чтобы передать суждения Президента.

— Мне вполне этого достаточно, Антон Ростиславович. Я дорожу вашим доверием и верю вам, как верю Президенту. Вы помните нашу первую встречу? Уже тогда я беззаветно уверовал в вас, и моё служение Президенту проявляется в моем служении вам, — Лемнер помнил свой визит в Администрацию президента, мятое золото куполов за окном, ошеломляющее предложение

Светоча и ту робость, тот страх, что испытал Лемнер в присутствии всемогущего и надменного правителя.

— У Президента громадные планы. Предстоит обновление России. Россия, как медведь, сбросит с себя старую истлевшую шерсть и обрастёт новым мехом. Из России полетят клочья старой шерсти. История железным гребнем причешет Россию, выскребет железными зубьями всю гниль, всё тление. Россия предстанет в новой красоте и величии. Президенту нужны люди, которые причешут Россию. Люди, которые возьмут в руки железный гребень. Вы, Михаил Соломонович, такой человек.

— Смогу ли? — Лемнеру казалось, он ступил на блестящий лёд, под которым чёрная глубина. И хотелось отступить, уйти со льда, но ноги скользили, под ними грозно, немо таилась глубина, ждала, когда лёд хрустнет, и глубина примет Лемнера. — Моё место на фронте. Я создал военное формирование, способное побеждать на войне. Соединение «Пушкин» может стать основанием новой российской армии. Если Президент отмечает мои военные заслуги, я готов перенести мой опыт на более высокий уровень. Пост министра обороны поможет мне реорганизовать российскую армию. Она займёт подобающее место в новом государстве Российском.

— У Президента иное мнение, — остановил его Светоч. Искусственный глаз дрожал, дергался, как уголь в печи. — Президент хочет, чтобы вы оставили руководство формированием «Пушкин» и вернулись в Москву. Там вы получите должность секретаря Совета безопасности. На этом посту вы сможете немедленно включиться в проект «Очищение», — искусственный глаз пламенел, дёргался пепельной поволокой. Здоровый глаз был стальной. Лицо Светоча обрело беспощадность, заставлявшую дрожать губернаторов и министров.

— Я не могу оставить формирование «Пушкин», — Лемнер чувствовал, что наступил момент его жизни, когда смерть страшно приблизилась, лижет его злым язычком, — формирование «Пушкин» — моё детище. Я связан с ним кровью. Я вырастил на поле боя множество командиров, беззаветных патриотов. Хочу войти вместе с ними в Киев и помолиться в соборе Софии Киевской. Как поёт Чичерина: «В святой Софии Златодева. Войду и припаду к стопам. И выпью, в завершенье дела, Победы пламенный стакан».

— Завершенье дела наступит не в Киеве, а в Москве. Указ о вашем назначении на пост секретаря Совета безопасности уже подписан.

— Антон Ростиславович, я не могу принять этот пост.

— Это не предложение, Михаил Соломонович. Это приказ!

— Не могу выполнить этот приказ.

У Светоча здоровая половина лица стала гранёной, как броня бэтээра. Ожог закипел, словно его полили раскалённым маслом.

— Этим решением, Михаил Соломонович, вы превращаетесь из преданного слуги государства в ослушника. Не дай бог, бунтаря.

— Я не могу оставить объединение «Пушкин».

— Передайте командование вашему начальнику штаба. Он очень толковый, талантливый ваш ученик. А вас я забираю в Москву.

— Я останусь в войсках, Антон Ростиславович, — Лемнер преступил черту, за которой Светоч из благожелательного покровителя превращался во врага. Мало кто из врагов Светоча оставался в живых. Лемнер становился тем, кого ожидал железный шкаф и стеклянный сосуд с формалином. Распахнутся дверцы железного шкафа, в колбе голый Лемнер будет, слабо покачиваясь, выпускать из губ маслянистый пузырь.

— Объединение «Пушкин» — это ещё не вся российская армия. Если одна из частей выходит из повиновения, остальная армия подавит мятеж.

— Это угроза, Антон Ростиславович?

— Армия в государстве подчиняется политическому руководству. Если армия выходит из подчинения, это мятеж. Мятеж будет подавлен, ради спасения государства.

— Передайте Президенту, что я по-прежнему ему верен. Приказ о моём переводе готов выслушать только из его уст. Я не верю слухам о двойниках. Убеждён, что Президент жив и твёрдо управляет государством. Не нуждаясь в сомнительных посредниках.

Лицо Светоча было ужасным. Казалось, ожог переползает на уцелевшую половину. В глазнице бурлил расплавленный рубин.

— Спасибо за ужин, Михаил Соломонович. Где вы ночуете?

— Поеду в лагерь. Хочу узнать у солдат, как им понравилась Чичерина.

— Спокойной ночи, Михаил Соломонович.

Они расстались. У выхода из кафе на мгновение зажёгся фонарь. Возникло лицо, прямые, в одну линию брови, фиолетовые глаза, усики над пухлой губой.

Ночью в кунге, где Лемнер обнимал Лану, зашипела рация. Так шипит брошенная на раскалённую сковородку рыба.

— Командир! — хрипел Вава. — По лагерю нанесён ракетный удар! Предположительно две ракеты! Со стороны Ростова! Есть «двухсотые»!

Лемнер запрыгивал в бэтээр. Отгонял прочь страшную догадку, а она жгла, настигала. Красный рубин кипел в безбровой глазнице.

«Меня! Убить! Со стороны Ростова! Мерзкий циклоп! Прострелю башку!»

Он был неугоден государству. Оно непомерной мощью ополчилось на него, стремилось уничтожить. Он был беспомощен, беззащитен перед громадой государства. Оно смотрело на него жутким рубиновым оком, приговорило к смерти.

Бэтээр мчался по разбитой дороге, светились циферблаты, как фосфорные, всплывшие из глубин рыбы. Каждый ухаб сотрясал мозг, множил панику.

Можно отступить, смириться, прийти на поклон к государству. Явиться на утро к Светочу, сказать, что согласен оставить фронт, оставить формирование «Пушкин», ехать в Москву, принять из рук государства высокий пост. И ждать, когда государство раздавит его, заглянувшего в катакомбу российской власти, куда есть вход и нет выхода. И смерти его никто не заметит.

Его сдует жуткий сквозняк, дующий в катакомбе российской власти. И только скрипнут железные створки шкафа, и в стеклянной колбе голый герой Бухмета будет вяло покачиваться с маслянистым пузырём на губах.

Возможно другое. Развернуть бэтээр и гнать прочь от разгромленных городов, подбитых танков, идущих на пулемёты детей. Убежать от государства, скрыться от рубинового ока. Спрятаться в ночи, в снегах, в лесах, во льдах замерзших рек, в хребтах и чащобах неоглядной России. Там тебя не отыщет бармен с мексиканскими усиками, не узрит раскалённый рубин. В утлой избушке, у таёжной реки доживать свой век. Убежать от государства, и оно, пошарив по городам и весям, не отыщет его и забудет.

Но есть третий ход, пусть безнадёжный, смертельный. Выйти на бой с государством. Развернуть формирование «Пушкин», яростное, оскорблённое вероломством, и направить его на Москву. Сокрушить вероломную власть, шелестящие интригами кабинеты, сонмы двойников, зыбкую мнимость власти. Ударить в неё бронёй, свистом пикирующих вертолётов, штурмовиками, бегущими по кремлёвским палатам. Сокрушить государство, самому стать государством.

Бэтээр возносился и рушился на ухабах. Лемнера сотрясали страхи, ненависть, ярость.

В пансионате, где размещались «пушкинисты», горели деревянные корпуса. Валялся колёсами вверх бэтээр. Прожектор освещал расщеплённые сосны, санитаров с носилками, палатку, куда вносили раненых. В руках солдат мерцали капельницы, а на носилках стенали раненые. На снегу, в ряд, лежали убитые. У них не было рук, ног, голов.

— Два удара! Свои по своим! — Вава размазывал кровь по лицу, водил рукой по небу, откуда прилетели ракеты. В темноте мелькали белые солдатские рубахи. Тушили огонь, матерились. Напоминали муравьёв, спасавших личинки разорённого муравейника. Лемнер принимал доклады, заглядывал в палатки, где бинтовали раненых, а те кричали, с оторванными кистями, развороченными скулами. Им вкалывали капельницы с обезболивающим.

Ещё недавно, розовые после бани, восхищённые, обожающие, слушали певицу. Блаженствовали в тепле, в чистых рубахах, забывая о боях, смертях и пожарах. Две крылатые ракеты с самолётов, взлетевших с аэродрома в Ростове, вернули им пожары и смерть.

Лемнер склонился к носилкам. На них с голой грудью лежал солдат с позывным «Кольт». Лемнер помнил его во время штурма квартала «Дельта».

Кольт дрался на лестничных клетках, увертываясь от очередей, уклоняясь от взрывов. Крутился, падал, вскакивал, нёсся на этажи. Пули огибали его, взрывные волны катились мимо. Теперь «Кольт» лежал с забинтованной грудью, осколок мешал дышать. Он хватал Лемнера за руку и сипел:

— Отомсти, командир!

— Отомщу, Кольт! — Ненависть слепила. В горле раскалённый уголь. Скрип сжатых зубов. Не было больше страхов, а только ненависть. — Отомщу, Кольт!

Лемнер видел горящие корпуса, железные раскалённые кровати, ствол дальнобойной гаубицы, торчащий из сосен, двух солдат в белых рубахах, толкавших в бэтээр носилки, Ваву, орущего в рацию.

— Вава, ко мне!

— Я здесь, командир!

— Бери бэтээры, сажай роту, гони в грёбаный посёлок. Там ночует московская сука! Доставишь сюда! При сопротивлении охраны огонь на поражение! Доставишь суку сюда!

В вершинах сосен сочился рассвет. В расщеплённой сосне белела длинная щепка. Деревянные корпуса догорали, и в них остывало множество железных кроватей. Ствол гаубицы нависал над пепелищем, отливал синевой. Раненых развезли по соседним лазаретам. На снегу лежали безголовые и безрукие мертвецы. Клуб, где пела Чичерина, выгорел вместе со стенами, лавками, сценой. Чудом уцелел Спас на обугленной хоругви. Смотрел жуткими бездонными, как у осьминога, глазами. Солдаты рылись в горячем пепле, извлекали автоматы со сгоревшими прикладами, кидали их в звякающую груду.

Из сосен в сизые дымы пепелища ворвались бэтээры. С брони на растаявший снег спрыгивали солдаты. Бортовой люк бэтээра раскрылся, прямо в лужу выпрыгнул Вава, и следом, толкаемый в спину, тяжело сошёл Светоч. Он был в штормовке, отороченной мехом, без шапки, в домашних штанах и тапочках. Гневно горел искусственный розовый глаз. Гневное око, нечёсаная голова и тапочки выглядели нелепо, комично. Лемнер злорадно отметил этот унизительный вид правителя, затравленного и бессильного.

— Уж простите, Антон Ростиславович, что не дали вам досмотреть утренние сны. Говорят, утренний сон самый сладкий. Вон как сладко спят герои Бухмета, — Лемнер кивнул туда, где на мокром снегу, изуродованные, лежали солдаты.

— Вы совершаете государственное преступление, Михаил Соломонович. Нападение на должностное лицо из высшего руководства страны есть акт государственной измены. Влечёт за собой трибунал и высшую меру наказания.

— Вы, Антон Ростиславович, совершили акт предательства. Во время военных действий нанесли удар в спину воюющим войскам, способствуя их поражению. Такое предательство на поле боя не рассматривается трибуналом.

Предателей казнят немедленно, волей загубленных предателем жертв, — Лемнер снова кивнул на убитых. Светало, и виднелись сухожилия, хрящи и обрывки пищевода у безголового тела.

— Я требую, чтобы меня немедленно отпустили. Если ваши обвинения справедливы, пусть их рассмотрит суд.

— Антон Ростиславович, мы вместе готовили суд над Чулаки. В дознании участвовали Госпожа Эмма, Госпожа Зоя, Госпожа Яна и Госпожа Влада. Все четыре женщины пали смертью храбрых в боях за Бухмет. Но товарищи тех, что лежат перед вами с оторванными головами, их боевые друзья с шомполами и паяльными лампами, без труда докажут ваши связи с украинской разведкой, с разведками Америки, Британии, Германии. На судебных заседаниях в Гостином дворе сталевары, хлеборобы, матери-одиночки, филателисты и профессора будут требовать для вас изуверской казни. Например, запустить вам в кишечник абиссинских пилигримов, чёрных африканских муравьёв. Они станут обгладывать вас изнутри, а вы будете проповедовать традиционные ценности.

— Я потребовал от вас выполнить указ Президента, явиться в Москву и занять ключевой пост секретаря Совета безопасности.

— Вы хотели оторвать меня от преданных мне солдат соединения «Пушкин». Изолировать в московских кабинетах, а потом из этих кабинетов погрузить в катакомбу российской власти. И вот я иду по зимнему саду. Пальмы, монстеры, розовые орхидеи. Прохожу по хрустальной галерее мимо замёрзшего пруда и Аполлона в снежной тунике. Вдоль коридора, облицованного мрамором и дорогим кирпичом. Иду по бетонному туннелю с редкими светильниками в потолке. И когда попадаю на свет, ко мне тянется рука с пистолетом. Вы наклоняетесь надо мной и вставляете в рану свою авторучку, нащупываете застрявшую в черепе пулю.

— Я выполнял приказ Президента.

Лемнер видел, как плавится в глазнице рубин, чувствовал жжение красного ненавидящего луча.

— Да есть ли он, Президент? Вы умертвили его, наплодили сонмы двойников и правите от имени мёртвого Президента. Народ узнает правду о злодеянии. Люди увидят железный шкаф с колбой, где в растворе формалина покачивается подлинный Леонид Леонидович Троевидов. На шее у него след от удавки. На искусанных губах в маслянистом пузыре плавает имя убийцы. Ваше имя, Антон Ростиславович.

— Я сожалею, что крылатые ракеты промахнулись и не попали в вас. Вы замахнулись на государство, и оно вправе убить вас.

— Оно убьёт, но не меня, а вас. Сейчас я прикажу запустить двигатель самоходной гаубицы. Наводчик опустит к земле ствол. Вас повесят на стволе самоходки, и убитые вами солдаты возблагодарят небо.

Лемнер испытывал жгучее, похожее на веселье, страдание. Он сбрасывал с себя огромное бремя. Это было бремя служения, подчинения, несвободы. В каждый миг своего восхождения он был вынужден испрашивать согласия, искать одобрение могущественного властителя. Тот стоял перед ним в тапочках на мокром снегу. Ствол гаубицы косо уходил в небо над его головой. Через минуту наступит свобода, Лемнер сбросит бремя и станет единственным творцом своей участи.

Ему хотелось увидеть унижение того, кто заставлял его унижаться. Хотелось увидеть Светоча, вымаливающего пощаду.

— Если вы, Антон Ростиславович, покаетесь в совершённых злодеяниях, в попытке меня убить, в убийстве Президента, в узурпации власти, я отпущу вас. Позволю скрыться. Россия велика. Вы укроетесь в глухой избушке на берегу таёжной речушки. Вас никто не найдёт. О вас забудут. Разве что окрестные якуты станут рассказывать о лесном шамане, воющем зимними ночами на луну. Покайтесь, Антон Ростиславович.

— Государство не кается. Оно всегда право, — ответил Светоч, вращая в глазнице гневный рубин. Стоя в тапочках на мокром снегу, он оставался величественным.

— Вава, приступай! — Лемнер чувствовал веселье, и лёгкость, и свободу, и счастливый ужас, и бесстрашие.

Заработал двигатель самоходки. Орудие дёрнулось, рывком переместилось вперёд. Ствол стал медленно опускаться. Вава скрутил Светочу руки телефонным кабелем, подвёл к опущенному стволу. Соорудил из кабеля петлю, закрепил на стволе. Накинул на шею Светочу.

— Покайтесь, Антон Ростиславович!

— Государство всегда право!

Ствол стал медленно подниматься. Светоч на мысках забился в петле. Ствол поднимался. Кабель впился в подбородок Светоча. Светоч повис, дико вздрагивая. Тапочки с ног упали в снег. Из хрустального глаза потекли горящие капли. Глаз вытек, дымилась чёрная пустая глазница.

Лемнер чувствовал небывалое облегчение, неудержимое стремление, сметающее все помехи.

Глава сорок пятая

Днём, пропахший дымом сгоревшего лагеря, сбросив сырые башмаки, Лемнер сидел в кунге с Ланой и пил кофе из фарфоровой чашки. Тонкий прозрачный фарфор, лазурный цвет, золотая кайма, обжигавший душистый кофе — всё доставляло наслаждение. Лана привезла на фронт чашку из фамильного сервиза, чтобы Лемнер среди стылого железа, зловонных развалин, свитой в клубки арматуры не забыл иную жизнь. Красивые и дорогие вещи, изысканных приветливых людей, вкусные блюда и утончённые запахи. Среди воя моторов, глухих ударов и свиста винтов пусть услышит чудесную, тягучую, как мёд, музыку саксофона в смуглых руках виртуоза. Музыкант похож на ловца, поймавшего в море серебряное, с изогнутым хвостом, диво.

В кунге было жарко, дверь открыта. Из тёмного кунга в светлый прямоугольник дверей виднелись другие кунги, военные фургоны, шары и чаши антенн. Солдаты тянули по снегу кабель, останавливались и курили. По дороге шла колонна грузовиков. В кузовах, под брезентом, сидела пехота, идущая на фронт сменить потрёпанные поредевшие части.

Лана была в белой блузке. На смуглой шее светилась нить жемчуга. Лана, как и фарфоровая чашка, явилась на фронт, чтобы Лемнер не одичал, не озверел среди атак, а помнил их московские свидания, когда она ступала босиком из ванной, выхватывала из стеклянной вазы цветок и несла Лемнеру, и тот из прохладной постели ждал её и цветок.

— Ты говоришь, упали с ног тапочки? Висел в носках, а шлепанцы валялись в луже? — она выспрашивала подробности, будто хотела угадать в этих подробностях скрытый смысл. В ней пробуждалась пугавшая Лемнера способность угадывать, дар предсказаний, в которых он нуждался и которых страшился.

— Его тапочки валялись в луже. И при этом он сохранил достоинство. Он был истинный государственник, — Лемнеру хотелось, чтобы в подробностях не исчезло эпическое величие, с каким Светоч принял смерть.

— Светоч войдёт в историю как висельник в тапочках, — она думала не о Светоче. Гадала, что случится в Русской истории после казни Светоча.

— А как войдёт в историю Чулаки? — Лемнер чувствовал, как в ней пробуждается ясновидение, позволяющее видеть будущее, а в этом будущем видеть его.

— Чулаки войдёт в историю как человек в рыжих веснушках, — она не думала о Чулаки. Он был из прошлых предсказаний. Был синим попугаем, канувшим, вслед за красным, в катакомбе российской власти.

— А как войду в историю я? — он боялся её ответа. Нуждался в нём. Ждал подтверждение её прежних пророчеств.

— Ты войдёшь в историю как избранник, узревший Русский Рай. Счастливец, над чьей головой зажёгся Млечный путь. Провидец, оказавшийся наедине с Русской историей, — она говорила об этом, как о случившемся. От её слов сумрачный кунг наполнился блеском. Она создала вокруг Лемнера этот блеск, и он жил в блеске её предсказаний.

— Между мной и Русской историей остаётся Иван Артакович Сюрлёнис.

— Теперь, когда Светоча не стало, Иван Артакович поспешит к тебе. В эти минуты он садится в самолёт и вылетает в Ростов. Жди его у себя.

— Чего ждать от него? — он знал, что она видит правительственный аэродром под Москвой, кортеж автомобилей, Ивана Артаковича, идущего по трапу. Ей были доступны волны неизвестной энергии, позволявшие видеть события на другой половине Земли, угадывать эти события до их появления, заглядывать туда, где зарождались события.

— Иван Артакович станет тебя обольщать. Пустит в ход всё своё чародейство. Оплетёт паутиной обещаний, посулов. Предложит разделить власть в России. Он Президент, ты могущественный диктатор. Не знаю его коварных планов, но они есть, и они коварны. Ты ему не нужен. Он тебя боится. Избавится от тебя, — её предсказания были сродни шахматным гениям, способным видеть партию на много ходов вперёд. Но она прозревала дальше. Переставляла Лемнера по белым и чёрным клеткам Русской истории.

— Как же мне поступить? — он усыпил свой разум. Он передал ей свою волю. Эта была благая воля. Она вела его по чёрным и белым клеткам Русской истории.

Её глаза были закрыты. Веки вздрагивали. Казалось, под веками плывут видения. Эти видения являются ей свыше.

— Поведешь его к Дону, — она говорила так, будто переводила невнятную, льющуюся свыше речь, делала её понятной Лемнеру. — Приготовь прорубь. Это прорубь Русской истории. Предложи Ивану Артаковичу заглянуть в эту прорубь. И он разделит судьбу всех, кто туда заглянул, — она устало умолкла. Пророчество опустошило её. Голос, звучавший свыше, умолк.

— Каким он войдёт в историю?

— Человеком, заглянувшим в прорубь Русской истории.

Лемнер смотрел на прекрасное средиземноморское лицо, на нитку лунного жемчуга, на грудь, чуть прикрытую белым шёлком. И в нём поднималась глухая враждебность, угрюмое негодование. Свобода, что он обрёл утром, глядя на ствол дальнобойной гаубицы с висельником, грузно осевшим в петле, — эта свобода была мнимой. Он находился в подчинении у женщины, ставшей ему женой и матерью не родившегося сына. Он повиновался ей, следовал её наущениям, слушался её повелений. Однажды в вечернем саду Дома приёмов

она взяла его руку, сжала запястье и перелила в его сосуды свою колдовскую кровь. С тех пор пьянящие яды разлиты в его сосудах, правят его судьбой, манят к чудесной цели, побуждают к поступкам, таящим жуткие смыслы. Он не в силах избавиться от её колдовского ига, уклониться от её повелений.

Лемнер коснулся жемчужной нити. Лана тихо вздохнула. Он обнял её за плечи и стал расстегивать перламутровые пуговички на блузке, освобождая груди.

— Не надо. Не сейчас, — тихо просила она. — Солдаты смотрят.

Он срывал с неё блузку, выплескивал наружу груди, жадно их целовал.

— Перестань! Мне больно! Я закрою дверь!

Он молча, грубо сдирал с неё одежду, валил на кровать.

— Что ты делаешь? Я не хочу!

Он терзал её грубо, зло, свергал её иго, делал ей больно, надругался над ней. Она кричала, отбивалась. Он глушил её ударами. Открывался глубокий чёрный провал, винтом уходящий в бездну. Опрокинутая Вавилонская башня ввинчивалась в глубь земли. На уступах опрокинутой башни лежали убитые красавицы, сияя на льду ослепительными нарядами, дети с автоматами семенили по бетонке, слепые подрывались на минах, и висел на стволе дальнобойной гаубицы мертвец в носках, и под ним в луже валялись домашние шлёпанцы.

Лемнер ввинчивался в бездну. На дне её кипела чёрная ртуть. Падал в неё, кричал от боли и ужаса:

— Дьявородица!

Пропадал. Лана сидела на краю кровати, стараясь спрятать грудь под обрывками блузки, и плакала. Солдаты смотрели сквозь открытую дверь.

Иван Артакович Сюрлёнис прилетел на вертолёте с красной звездой. На подвесках вертолёта висели ракеты, барабаны были полны реактивных снарядов. Над опустившимся вертолётом барражировал другой, нарезая круги над посёлком.

Лемнер встречал знатного визитёра на вертолётной площадке за посёлком. Иван Артакович легко для своих лет спустился по откидной лестнице. Он был без шапки, в длинном, до земли, чёрном пальто. Блестели остроносые туфли «Оксфорд», волосы искусством придворного парикмахера были модно подстрижены, отливали благородной платиной. Лицо светилось вельможной приветливостью. Губы ласково, по-иезуитски улыбались. Он был всё тот же обаятельный царедворец, каким увидел его Лемнер в особняке Палашёвского переулка. Это была приветливость обольстителя, умеющего в улыбках, шелестящем голосе, сердечных приветствиях прятать холодное презрение к доверчивой, подпавшей под обольщение жертве. Лемнер, шагая навстречу Ивану Артаковичу, увидел, как появилась у того на лице театральная маска.

— С прибытием, Иван Артакович! — Лемнер отдал честь, собираясь тут же, под винтами вертолёта, доложить обстановку. Но Иван Артакович обнял Лемнера, и тот сквозь пальто почувствовал худое крепкое тело не желавшего стареть гедониста. Иван Артакович продлевал молодость в бассейнах и на теннисных кортах.

— С прибытием, Иван Артакович. Как долетели?

— Отлично. Но мне показалось, при снижении нас обстреляли. Я увидел в иллюминаторе, как близко пронеслись красные огоньки трассеров.

— Это невозможно, Иван Артакович. Ваш полёт прикрывали с земли и с воздуха. Красные огоньки? Это летчик курил сигарету и стряхивал за окно пепел. Ветер подхватывал искры.

Иван Артакович посмотрел на Лемнера круглыми, весёлыми, беспощадными глазами стрелка, и оба рассмеялись.

Вслед за Иваном Артаковичем из вертолёта вышли суровые охранники, прислуга. Выносили картонные ящики, кожаные футляры, в каких хранят виолончели и саксофоны. Лемнер удивлялся многолюдному сопровождению Ивана Артаковича и окончательно изумился, когда из вертолёта сошла на землю Ксения Сверчок в норковой шубе и следом — голый африканец, тот, что приставал к Лемнеру на рынке в Банги. Позже, в кабинете Ивана Артаковича, африканец сидел вместе с Ксенией Сверчок в стеклянном террариуме. Сейчас африканец был всё так же гол, но к ягодицам был приторочен пышный лисий хвост. Африканец вздрагивал ягодицами, хвост трепетал, Ксения Сверчок гладила африканца, унимая дрожь.

— Михаил Соломонович, если позволите, мы отдохнем с дороги, а вечером я приглашаю вас на ужин. Там мы восславим ваше героическое настоящее и поговорим о будущем. Кстати, как поживает Лана Георгиевна Веретенова? Я приглашаю её на ужин.

— Она слегка прихворнула. Отлёживается. Но я передам ваше приглашение.

— До вечера, любезный Михаил Соломонович. Ах как быстро несётся время! Какие сюрпризы оно преподносит!

Подкатили бронированные штабные автомобили. Иван Артакович и свита погрузились в машины и укатили в посёлок. Лемнер в который раз изумился проницательности Ланы. Её власть над собой он пытался свергнуть, но эта власть сохранилась. Она струилась в крови сладкими ядами и пьянящими отравами. Чтобы избавиться от этой власти, он должен слить всю отравленную кровь и заменить её новой. И это вновь будет связано с пролитием крови.

Поздно вечером, когда над разгромленным посёлком вставала голубая кладбищенская луна, Лемнер на бэтээре подкатил к придорожному кафе. Там ждал его с ужином Иван Артакович. Автоматчики рассыпались в оцепление, бэтээр повернул пулемёт к дороге. Лемнер, как был в замызганных башмаках и походном камуфляже, вошёл в кафе. Горели свечи в серебряных подсвечниках.

Ослепительно белела скатерть. Стол был уставлен дорогим фарфором и хрусталём. Нежно розовели лепестки форели. Разносолы пахли душисто и пряно. Королевские креветки походили на порхающих балерин в розовых трико. Мидии в фиолетовых раковинах, казалось, всплыли из морского прилива. Кружевные листья салата, алые солнечные помидоры, огурцы, пахнущие летом, ждали живописца, мастера натюрмортов. Эта красота и обилие чудом явились в разгромленном фронтовом посёлке. Было содеяно Иваном Артаковичем среди чёрных остовов убитых домов, изгрызенной гусеницами дороги, стреляных танковых гильз, измождённых солдат, греющих в кострах банки с тушёнкой. Кудесник Иван Артакович привёз из Москвы этот праздник, готовясь очаровывать Лемнера. Лемнер в походной, мятой бронежилетом одежде жадно вдыхал пряные ароматы, радовался непорочной белизне скатерти, прозрачному воску, капающему на серебро.

— Ещё раз здравствуйте, любезный Михаил Соломонович! — Иван Артакович возник внезапно из пламени свечей, блеска хрусталя, волн благоуханного тёплого воздуха. Так появляются в цирке факиры. На нём был шёлковый, голубой, узкий в талии камзол. Такие камзолы носили маркизы при дворе французских королей. Шёлковая рубашка волновалась на груди кружевами. На ногах были белые чулки и туфли с тупыми носами и большими серебряными пряжками. На чулках были вытканы загадочные знаки, выдававшие в нём алхимиков и звездочётов. Его ногти покрывал фиолетовый лак. Палец украшал золотой перстень с чёрным камнем. Пахло от него горькими духами, как от ночных красавиц, что заманивают кавалеров в тайные покои.

— Добрый вечер, дорогой Михаил Соломонович, прошу к нашему скромному столу! — повторил Иван Артакович, приглашая Лемнера на пиршество.

Официанты в чёрных шёлковых жилетках и белых перчатках отодвинули стулья, усадили Лемнера и Ивана Артакович по разные стороны стола, убрав разделявший их подсвечник с горящей свечой.

— Что будете пить? — любезно наклонился официант, в котором угадывался телохранитель, прячущий под жилеткой пистолет.

— Французское, Шардоне, — Лемнер был непринуждён, не скрывал восхищения, любовался порхающими, как балерины, креветками, пенистым жабо на груди Ивана Артаковича. Его хотели очаровать, и он очаровывался, пряча под любезной улыбкой волчью осторожность, чуткое недоверие. Голубой камзол Ивана Артаковича, капающий на подсвечник воск, кисточка укропа, прилипшая к золотистому огурцу, источали смертельную опасность. Сколько их было, легковеров, летевших на зажжённую Иваном Артаковичем свечу. Все они обжигались и падали, окружая подсвечник ворохами бездыханных мотыльков. Лемнер не был мотыльком. Он был свечой, на свет которой прилетел Иван Артакович, в своём голубом одеянии похожий на опереточного маркиза.

— Я хочу, Михаил Соломонович, присоединиться к тосту, который произносит сегодня вся Россия! За вас, героя Бухмета, спасителя государства Российского! Вы отразили не только удары американских ракет, немецких танков, английских беспилотников, чешских орудий, польских миномётов. Вы отразили внутреннюю угрозу, исходившую от жестокого узурпатора. Слава богу, он всё ещё висит на стволе дальнобойной гаубице, и ему на голову сел ворон и выклёвывает оставшийся глаз. Интересно, его тапочки по-прежнему лежат под ним в луже? К вам в гости, любезный Михаил Соломонович, не следует являться в тапочках. Поэтому я надел туфли стиля «Оксфорд»! — Иван Артакович засмеялся своим особым шелестящим смехом. В смехе Лемнер услышал шелест скользящей по камню змеи.

— Вы, Иван Артакович, непревзойдённый стилист. Вы создаёте неподражаемый дизайн русской политики. Чулаки, висящий на дыбе с выпавшими из него потрохами, — это фирменный стиль «Сюрлёнис». Политика должна иметь свой неповторимый дизайн.

— Висящий на стволе гаубицы узурпатор, с которого русская история смахнула тапочки, — это стиль «Лемнер»!

Их бокалы сошлись и прозвенели. Лемнер, выпивая чудесное солнце Луары, видел, как шевелятся усики и лапки королевских креветок и дышат под розовыми пеньюарами их девственные груди.

— Теперь, Михаил Соломонович, когда вы уничтожили монстра, державшего в ужасе всю Россию, мы должны врачевать нанесённые им раны. Хватит палачей! России нужны врачи, сёстры милосердия, милостивые целители.

— Я похож на сестру милосердия, Иван Артакович? — Лемнер огладил свой прокопчённый, в пятнах ружейной смазки, мундир.

— Вы чуткий, сострадающий, верящий, творящий добро человек. Я это понял при первом нашем знакомстве. Быть может, вы и есть посланный Богом целитель России.

— В чём курс лечения?

— Мы должны успокоить российское общество и реабилитировать тех, кого сгубил Светоч. Прежде всего, Чулаки. Мы поставим ему в заслугу собрание европейских живописных шедевров, которые он подарил народу России, содействуя его просвещению. Варвар Светоч испепелил коллекцию, но нашим реставраторам удалось восстановить из пепла картину Брейгеля «Вавилонская башня». Она вам ничего не напоминает, Михаил Соломонович? — Иван Артакович скосил голову и посмотрел на Лемнера глазом птицы, желающей склевать зерно. Лемнеру явился ужасный колодец, уходящий спиралью в центр Земли. На его уступах лежали убитые Лемнером жертвы, и в центре Земли кипела чёрная ртуть. Он ввинчивался в преисподнюю, слыша бульканье кипящей ртути.

— «Башня» Брейгеля напоминает лампочку, которую люди хотели ввинтить в небо, но ввинтили в преисподнюю, в катакомбу российской власти. Там лампочка светит так тускло, что мешает прицелиться.

— Так вывинтим её из земли и ввинтим в небо! — Иван Артакович восхитился ответом Лемнера, и волна этого восхищения нагнула пламя свечи. — Мы присвоим имя Чулаки небольшому городку, нескольким улицам и десятку школ. Но что станем делать с другими невинно убиенными? — фантазии Ивана Артаковича не хватало. Он обращался за помощью к Лемнеру.

— В память режиссёра Серебряковского режиссёр Богомолов поставит спектакль «Вавилонская башня». На девяти уступах уходящего в землю ада будут стенать все убиенные Светочем жертвы. В центре ада в котле с кипящей ртутью будет орать неотмолимый грешник Светоч.

— Великолепный замысел! Вы великий театрал, Михаил Соломонович!

— Имя вице-премьера Аполинарьева присвоим питомнику собачек корги. Их станут называть «аполинарки». Каждая, таким образом, будет напоминать о бесподобном собачнике.

— Стоило жить, чтобы твоё имя носило милое, кроткое существо, несущее в мир утешение.

— Ректору Высшей школы экономики Лео поставим бюст на родине. Надо срочно выяснить, где его родина, и есть ли она.

— Я слышал, он рос в доме подкидышей, что при иезуитском университете в Ватикане. Согласится ли папа Бенедикт видеть под своими окнами бюст Лео? Впрочем, об этом я позабочусь через мои связи в иезуитских кругах.

— Что касается публициста Формера, то пусть его именем назовут сорт арбуза, у которого чёрная мякоть, а из семечек добывают экстракт, продлевающий оргазм у кошек.

— Вы неистощимы, Михаил Соломонович! — Иван Артакович поднял бокал, полный золотого винного блеска. — Мы вместе потрудимся на благо России!

Лемнер пил вино, чокался с Иваном Артаковичем, смеялся его шуткам. Но чувство опасности не оставляло его. Он стремился его не обнаружить, обмануть Ивана Артаковича. Они пили чудесное французское вино, восхваляли один другого и обманывали.

— Мы должны расследовать преступления, совершённые Светочем. Развеять миф о великом государственнике и радетеле. Им был убит губернатор «любимец народа» Анатолий Сверчок. Стала сироткой Ксения Сверчок, которую я приютил, выдал замуж за потомка африканских королей и научил метать икру. Светоч взорвал дома в Москве. Обливаясь слезами, стоял у гробов с останками детей и женщин, чтобы все видели в нём утешителя. Он навёл американскую подводную лодку «Лос-Анджелес» на русскую лодку «Курск». Когда тонущие моряки «Курска» умоляли спасти их, он запретил отвечать на их

мольбы. Он развязал войну в Чечне и бросил немощную Российскую армию на чеченские гранатомёты, сделав чеченцев и русских врагами навек. Он выманил из Германии эмигранта Сергея Колокольчикова, «птенца русской истории», и тот навсегда исчез в застенках. Он назначил оппозиционному политику Штуму свидание на кремлёвском мосту. Того застрелил нанятый Светочем киллер. Он обманул руководство армии, обещая лёгкий поход на Украину и скорое богослужение в Святой Софии Киевской. Взамен устроил избиение двух братских славянских народов. Всё это надлежит расследовать и обнародовать «чёрную книгу» его злодеяний.

Лемнер испугался того, что на мгновение поверил Ивану Артаковичу, непревзойдённому лицедею и вероломному обольстителю. Его почти усыпил обольщающий шелест змеиного шуршания. Стеклянная струйка змеи была готова скользнуть на грудь и ужалить под левый сосок.

— Вы правы, Иван Артакович, «чёрная книга» появится. Но будет ли внесено в неё главное преступление Светоча? Ведь он скрыл от народа смерть Президента, наплодил двойников и правил от имени мертвеца!

— А теперь, Михаил Соломонович, вы должны узнать страшную правду. Президент не умер. Его умертвили. Его умертвил Светоч. Об этой тайне знаю один я. Вот почему он стремился меня убить. Хотел поссорить нас с вами. Он хотел скрыть эту тайну!

— Мне страшно, Иван Артакович! — Лемнер залпом выпил бокал вина, чтобы Иван Артакович не заметил его волчьей чуткости. — Как это было, Иван Артакович?

— А вот как. Президент Леонид Леонидович Троевидов пёкся о своём здоровье. Катался на горных лыжах, играл в ночной хоккей, нырял за амфорами, ловил рыбу в таёжных реках и увлекался художественной гимнастикой. Правда, особым образом, хотя и по олимпийской программе. Раз в месяц омолаживался, полностью менял кровь. Переливание крови совершалось согласно китайской методике. Ею поделился с Леонидом Леонидовичем Председатель Коммунистической партии Китая. Он присылал ему из Пекина чудесную фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Их выращивали в лазурных прудах Летнего императорского дворца. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Получая из Пекина китайский подарок, Леонид Леонидович затворялся, наполнял ванну тёплой, пахнущей лавандой водой, погружался голый в ванну. Из фарфоровой вазы с изображением золотого дракона он выпускал в ванну розовых пиявок. Пиявки мгновенно прилипали к его телу с ног до головы. Они присасывались к Леониду Леонидовичу, пили его утомлённую кровь, вливая взамен кровь китайских девственниц. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи. Они убаюкивали. Леонид Леонидович блаженно засыпал в тёплой воде, насыщаясь девственной чистотой и свежестью. В эти дивные минуты сна к нему прокрался Светоч. У него в руках был чёрный ржавый жбан с

гнилой водой из малярийных болот Лимпопо. В жбане извивались чёрные жирные пиявки, полные крови мёртвых крокодилов. У пиявок были острые зубы. Ими они прокусывали броню крокодилов. Светоч отлепил от спящего Леонида Леонидовича розовых пиявок и побросал их на пол. Влил в ванну болотную воду с жирными пиявкам Лимпопо. Они вгрызались отточенными зубами в Леонида Леонидовича, впрыскивали кровь мёртвых крокодилов. Леонид Леонидович кричал от боли, звал на помощь. Пиявки грызли его, впрыскивали крокодилью кровь. У Леонида Леонидовича отрастал чешуйчатый хвост, вытягивалась голова, и в ней открывалась пасть, полная жутких зубов. Светоч, сложив на груди руки, с улыбкой смотрел на чудовищное превращение, покуда вместо Леонида Леонидовича в ванной не оказался дохлый, оскаленный крокодил. Труп крокодила вместе с пиявками Лимпопо сожгли в крематории. К народу вместо умершего Леонида Леонидовича вышел двойник, вылитый Леонид Леонидович с внешностью императора Александра Первого. Так произошла чудовищная подмена.

— Но каким образом вы, Иван Артакович, узнали об этом? — Лемнер изобразил поражённого ужасом и закрыл ладонью глаза.

— Чисто случайно, Михаил Соломонович, чисто случайно. В то время я разрабатывал кибербразведчиков в виде майских жуков. Один из жуков влетел в ванную комнату Леонида Леонидовича. Он и доставил мне запись случившегося.

— Народ должен знать об этом!

— Вместе с телеведущим Алфимовым мы готовим специальный выпуск. Он ошеломит Россию.

— Какой ужас! — тихо причитал Лемнер. — Какой ужас! — Сам же чутко ожидал продолжение спектакля.

— А теперь немного развлечёмся, прежде, чем продолжить разговор, — Иван Артакович хлопнул в ладоши.

В зале появился африканец. На его чёрных ягодицах струился лисий хвост. В руках сиял саксофон, похожий на изогнутую золотую креветку. Африканец ловкими пальцами щекотал креветку. Она выгибалась, издавала страстные звуки, какие издают возбуждённые ласками креветки.

Колыхнув пламя сразу всех свечей, вылетела танцующая Ксения Сверчок. На ней была набедренная повязка, столь легкомысленная, что казалось, Ксения Сверчок пришла на «голую вечеринку». Она танцевала эротический танец, которому научил её потомок африканских королей. Изображала млеющую от страсти антилопу. Львицу, на спину которой упал вожделеющий лев. Самку фламинго, над которой бьёт крыльями розовый влюблённый самец. Потомок африканских королей порывался бросить золотой саксофон и накинуться на Ксению Сверчок. Но та останавливала его властным жестом, ибо их отношения

повторяли любовные соития осетровых пород. Самцу надлежало любить не рыбу, а икру, и африканец смирялся, ожидал начало нереста.

Ксения Сверчок приблизилась к Лемнеру, положила голую прекрасную ногу ему на плечо. Лемнер видел, как из Ксении Сверчок выпадают жемчужные икринки. Ксения Сверчок была на сносях, готовилась к нересту. Внезапно в её руках появилось серебряное блюдо. На блюде лежала отсеченная голова Светоча. Из обрубка шеи торчали трубки пищевода и трахеи. Губы были надменно сжаты. Чернела пустая глазница, в её глубине виднелись металлические разъёмы, к которым крепился искусственный глаз.

Иван Артакович взял голову Светоча за волосы, торжествующе осмотрел и кинул на блюдо. Оно прозвенело.

Взмахом руки Иван Артакович отправил прочь Ксению Сверчок и музыканта. Оборотился к Лемнеру.

— Теперь о главном, Михаил Соломонович. Вы уничтожили Чулаки и Светоча, разрушили вековечные русские качели. На этих качелях Россия раскачивалась в одну и другую сторону, пролетая драгоценную точку остановки. В этой точке таится её будущее. Теперь качели остановились, кончилась бессмысленная русская качка. Мы больше не смотрим в подзорную трубу на Европу, восклицая: «Земля! Земля!» Больше не ударяемся лбом о традиционные ценности, превращая русский лоб в огромную безмозглую шишку. Россия остановилась, и возникла историческая неподвижность. От этой неподвижности Россия начнёт движение, не вправо, не влево, как на тех роковых качелях. А вверх, туда, где вы узрели сверкающий Русский Рай, где сияет бриллиантовый Млечный путь. Мы сведём Млечный путь на землю. Россия — исходная точка, откуда изливается Млечный путь. Исторический путь России — это Млечный путь. На вашей ладони прочерчена линия Величия, она же Млечный путь. Вы держите в своей длани Млечный путь. Вам открылась мечта о Русском Рае. Вы, Михаил Соломонович, тот долгожданный вождь, кому предназначено свести Млечный путь на русскую землю!

Лемнер пьянел от колдовских слов, от их сладкого шелеста, пленительной музыки. Хотел, чтобы музыка длилась вечно. Две их души отыскали друг друга среди потрясённого мира, мёртвых городов, несчётных казней, неотмолимых грехов, неутешного горя. Они повстречались, чтобы разорвать кровавый круг времён, остановить роковые качели, вывинтить лапочку Русской истории из преисподней, где без устали стреляет «золотой пистолет», и ввинтить её в небо. Млечный путь есть лампочка Русской истории. Две их судьбы висят на бриллиантовом коромысле Млечного пути. Млечный путь переливается из бокала в бокал, из души в душу, сочетает их вечной любовью.

Лемнер любил Ивана Артаковича, верил ему безгранично, следовал за ним по пятам. Ибо дорогой им служил Млечный путь.

— Мы приступаем к построению России Дивной, спускаем Млечный путь на русскую землю. На эту работу подвигнул нас Господь Бог. Я становлюсь Президентом России и пекусь, чтобы образ России Дивной оставался незамутнённым, не страдал от искажений, не подвергался умышленной или невольной порче. Вы, Михаил Соломонович, со своей неукротимой энергией, воин, революционер, любимец народа, берётесь вдохновить, а где и заставить народ приступить к грандиозной работе. Я, Президент, сберегаю дарованный Богом образ Русского Рая. Вы помещаете этот образ в сердце каждого русского человека, будь то солдат, или монах, или школьный учитель, или хлебороб, или металлург, или губернатор, или художник. Вы — прораб на этой вселенской стройке. Я, Президент, для вас всего лишь один из работников. В России Дивной будет учреждена высшая награда, орден Млечного пути. Бриллиантовая перевязь, на золоте два профиля — ваш, а за ним мой.

Лемнеру показалось, что в пламени свечи возник человечек. На нём был голубой камзол, рубаха с кружевами, белые чулки и туфли с золотыми пряжками. Маленький Иван Артакович танцевал в пламени свечи, усмехался Лемнеру, корчил рожи и исчез. А вместе с ним исчезло очарование вещих слов, сладость волшебной музыки. Рассыпалась и истаяла бриллиантовая струя, льющаяся из бокала в бокал. Обольщение отступило. Вернулась волчья чуткость, звериная осторожность. Гость, что явился к Лемнеру, был незваный. От него исходила опасность. Лана своим женским провидением угадала появление гостя. Лемнер, устранивший двух заклятых врагов Ивана Артаковича, был не нужен. Официанты, элегантно перебросившие через руку салфетки, выхватят из жилеток пистолеты, из нескольких стволов расстреляют Лемнера. Иван Артаковича брезгливо смахнёт с рукава красный шмоток.

— Я почитаю Лану Георгиевну. Она моя ученица. Я учил её политологии. Она великолепно знает российское общество. Но для чего вам знание ученицы, когда есть учитель. Я буду рядом, помогу вам разобраться в хитросплетениях российской политики. С уходом Чулаки и Светоча разорвалось множество связей. Я помогу их связать.

Помогу избегнуть ошибок. Укажу, какие сорняки следует вырезать, а какие цветы насадить. Лана Георгиевна — ваша венчанная жена. Боже, как трепетал синий пролом в куполе, когда рядом взрывался снаряд! В какие объятья заключили друг друга убитые украинец и русский! Такие объятья не разомкнуть. Эта дружба навеки. Пусть Лана Георгиевна носит во чреве сына, гуляет по цветущим лугам, смотрит на синий Байкал, читает Пушкина. Я буду вашим верным советчиком и поводырём в лабиринтах русской политики.

В зал вбежал африканец. Лисий хвост волновался у него за спиной. Он что-то кричал на суахили, махал руками. Лемнер, изучавший в Африке суахили, понял, о чём кричит африканец. У Ксении Сверчок начались родовые схватки. Икра переполняла её, искала выход. Бедняжка мучилась, роняла икринки.

— Что же делать? — беспомощно ахал Иван Артакович. — Для нереста нужна проточная речная вода. Где, спрашивается, среди проклятой русской зимы я найду для неё проточную речную воду?

— Быть может, есть выход. Днём войска готовили переправу через Дон. Там осталась порубь. Может, она подойдёт? Вот только как им голым лезть в ледяную воду?

— Это выход, выход! Хвала вам, Михаил Соломонович! А насчёт «голых» не беспокойтесь. Ксения Сверчок может размножаться при любой температуре. Это она унаследовала от своего отца Анатолия Сверчка.

— Тогда на Дон! — Лемнер встал из-за стола, видя разочарованных официантов.

Светила синяя кладбищенская луна, озаряя мёртвые селенья, горбы оплавленной, припорошенной снегом брони, вмёрзшего в лёд мертвеца. Бэтээр с Лемнером, бронемашина «Тигр» с Иваном Артаковичем, африканским вождём и страдающей Ксенией Сверчок мчались к Дону по степной, промятой танками дороге. Ксению Сверчок терзали предродовые схватки. Африканец поддерживал её круглый, переполненный икрою живот. Иван Артакович досадовал на падчерицу, помешавшую расправиться с Лемнером. А Лемнер, счастливый, сбросив колдовские чары, с жестокой весёлостью раздвинув в оскале рот, мчался к Дону, к проруби Русской истории.

Подкатили к берегу и встали. Луна высокая, одинокая, разбойная, озаряла снега. Они казались голубыми. Дон, схваченный льдом, недвижно белел среди тёмных берегов. Дорога подходила к самой воде и упиралась в длинную прорубь. Лёд хрупко затянул прорубь, был с фиолетовым отливом, как грудь дикого голубя.

— Такая прорубь сойдёт? — Лемнер подвел Ивана Артаковича к затянутой льдом воде. Прожектор бэтээра оплавлял сверкающие кромки проруби.

— В самый раз! — Иван Артакович забыл застегнуть длинное пальто, из-под которого в свете прожектора синел камзол, виднелись туфли с серебряными пряжками. На пряжках блестела луна. Казалось, Иван Артакович, делая шаг, пинает луну. — В самый раз!

Солдаты сапёрными лопатками разбили хрупкое стекло льда. Открылась чёрная вода с играющими всплесками прожектора. Хрусталики льда драгоценно сверкали.

— Ну, слава богу, успели! — Иван Артакович смотрел, как африканский вождь бережно ведёт к воде стенающую Ксению Сверчок.

Ксения Сверчок сбросила норковую шубу, наступила босыми ногами на мех. Стянула неудобно вздувшееся на животе платье и осталась в белой рубахе. Медленно совлекла и её. Озарённая прожектором, нагая, с пухлыми, как у рожениц, грудями, с шаровидным глазированным животом, она походила на Еву, изображённую на картине старого мастера.

— Ну, деточка, с Богом! — перекрестил её Иван Артакович. Она подошла к краю проруби, тронула ногой воду, брызнула каплями. Вздохнув глубоко, молча, без плеска, погрузилась в прорубь. Белела в бегущей воде.

— Господи! — поёжился Лемнер. — Как можно в такой мороз?

— Ничего, — успокоил его Иван Артакович, — она у меня морж!

Ксения Сверчок ухватилась за край льда, вытянулась в проруби. Вода колыхала её. Прожектор высвечивал белые колеблемые ноги. Она закричала, забилась, поднимая сверкающие фонтаны.

— Ну, милая, старайся, старайся! — понукал её Иван Артакович, бегая по краю проруби. Было видно, как из Ксении Сверчок выделяются студенистые сгустки. Одни уносились водой, другие прилеплялись ко льду.

— Ксюша, милая, молодец, молодец! — кричал Иван Артакович. Приседал, тужился, словно выдавливал из себя икру.

Ксения Сверчок отметала икру. Без сил, как отнерестившаяся сёмга, колыхалась в проруби, ухватив пальцами ледяную кромку.

— Что стоишь? — грубо крикнул африканцу Иван Артакович. Оба помогли Ксении Сверчок вылезти из проруби. Она была без сил, поскальзывалась. Живот, как пустая котомка, обвис. На неё накинули шубу, отвели в машину, отпаивали из термоса горячим глинтвейном.

— Давай, Лумумба, твой черёд. Не морозь людей! — торопил африканца Иван Артакович.

Африканец отцепил от ягодиц лисий хвост. Смотрел в прорубь, где колыхался жемчужный студень, переливался, пульсировал. Мерцали икринки, темнели точки зародышей. Африканец страшно взревел. То был зов первобытной Африки, рёв леопардов и львов, хрип диких быков и клёкот пустынных грифов. Он разбежался и нырнул в прорубь. Казалось, его утянуло под лёд. Но появилась кудрявая голова, приплюснутый, с большими ноздрями, нос. Он фыркал, выплевывая воду, сверкая белками. Набросился на комья икры. Давил чреслами, обнимал, целовал, кусал, забрасывал себе на грудь, бил ногами, поднимал огненные фонтаны. Из него изливалось семя. Казалось, в прорубь опрокинули цистерну молока. Вода стала белая, густая, в ней сотрясалась икра, взбухала, переполняла прорубь.

Африканец иссяк, утомлённо выполз на лёд и лежал, сверкая мокрым, чёрным, как стекло, телом. С трудом поднялся и побрёл к машине, бормоча на суахили:

— У этих русских баб всё не как у людей!

Иван Артакович обнимал Лемнера.

— Вы спасли миллионы жизней! Вы будете им наречённым отцом. Хотите посмотреть, как растут малютки?

Иван Артакович нагнулся над прорубью. Нежно погладил икру. Так гладят по головке младенца.

— Взгляните, какая прелесть!

В пустынном небе светила синяя разбойная луна. В бескрайних снегах лежала Россия. Это была его, Лемнера, страна, восхитительная, жуткая, неповторимая. Страна принадлежала ему. Всякий, кто хотел отнять у него страну, падал в прорубь Русской истории. Голова Ивана Артаковича склонилась к воде. Неслись ледяные струи. Лемнер пихнул Ивана Артаковича, и тот с криком полетел в прорубь. Полы пальто распахнулись, походили на чёрные крылья, словно Иван Артакович старался взлететь.

— Умоляю! Я ваш брат! Вместе мы сможем всё! — он умолял Лемнера. Глаза его страшно круглились, синел камзол, сверкали пряжки на туфлях.

— Умоляю, умоляю! — Иван Артакович ухватился за лёд. На пальце сверкал золотой перстень. Лемнер наступил солдатским башмаком на перстень. Ивана Артаковича унесло под лёд. Он сгинул в проруби Русской истории.

Разбуженные светом, криками, плеском воды, проснулись обитавшие в реке сомы. Они всплыли в проруби, хватали и пожирали икру. Лемнер видел их тупые усатые головы, пасти, глотающие студенистые сгустки. Сомы сожрали икру, покружили в проруби и ушли в глубину.

— До встречи в России Дивной, Иван Артакович! — Лемнер повернулся и пошёл к бэтээру.

Глава сорок шестая

Из разорённого дома солдаты вынесли деревянную лавку и поставили на снег в саду, среди изрезанных снарядами яблонь. Лемнер и Лана сидели на скамье среди посечённых деревьев и смотрели в обледенелые поля, где блистали солнечные стальные дали. Солнце окружали разноцветные кольца, словно солнце дышало, пульсировало, извергало радуги. Небо трепетало, из него летела беззвучная молвь. Лемнер знал, что эта молвь обращена к нему. Небо с ним говорило, славило его. Он был угоден небу. Оно посылало ему своё дивное благословение.

— Ты избегаешь меня. Гонишь меня. Поднял на меня руку! — Лана печально смотрела на погубленный сад, на высокую яблоню с отсечёнными ветками, похожую на человека с отрубленными руками.

— Хочу избавиться от твоей опеки. Сбросить твое иго, — Лемнер внимал небу. Солнце превратилось в белый огненный столб. Его основание погружалось в снега, струями разливалось в полях, вершина ветвилась, превращалась в крону с радужными цветами. В полях цвело волшебное дерево, небесная яблоня. Лемнер был накрыт его божественными ветвями, сберегаем небесным покровом.

— Моя любовь тебе в тягость? Она приносит тебе несчастья?

— Она лишает меня воли. Влилась в мою кровь, как сладкий яд. Но у меня есть другой покровитель. Он сберегает меня небесным покровом. Я следую его небесным указам. Моя судьба не в твоих, а в его руках. Я выпишу из Пекина розовых пиявок. Они выпьют мою кровь, отравленную твоими сладкими ядами. И я стану свободным.

— Ты запер меня в кунге и один пошёл на встречу с Иваном Артаковичем. Боялся, что я помешаю, заслоню тебя, и ты поступишь не по своему разумению, а по моему наущению. Но я никогда не навязывала тебе мою волю. Я лишь угадывала твои желания и хотела предостеречь от опасностей. Ты поверил в вымыслы Ивана Артаковича о розовых пиявках? Он сам — розовая пиявка. Кровопийца в голубом камзоле маркиза.

— Ты знаешь, как он был одет? Как могла узнать? Тебя не было там.

— Ты запер меня в кунге, как в тюремной камере. Я волновалась за тебя, боялась, что тебя убьют. Любовь делает женщину ясновидящей. Из моего заточения я видела всё, что с тобой происходит.

— Не верю. Ты не могла видеть харчевню, где состоялся ужин. Не могла видеть дурацкую одежду Ивана Артаковича.

— Я видела горящие свечи, капающий на серебро воск, креветок, похожих на танцовщиц, официантов в шёлковых жилетках, под которыми скрывались

пистолеты. Слышала шелестящие речи Ивана Артаковича, когда он тебя обольщал. Видела плясунью Ксению Сверчок. На серебряном блюде она подносила отсечённую голову Светоча, совсем, как библейская танцовщица голову Иоанна Крестителя.

— Ты слышала, как Иван Артакович предлагал мне стать диктатором России? — Лемнер испугался всевидению Ланы. Её взгляд пронзил железную дверь кунга, промчался сквозь морозную тьму, влетел в харчевню, колыхнул пламя многих свечей.

— Я видела, как ты пьянеешь от льстивых слов, как Иван Артакович делает тайный знак официантам, и те суют руки в вырезы жилеток, нащупывают пистолеты. Я колотила кулаками в запертую дверь кунга, кричала, и мои вопли, мой страх за тебя, моя любовь к тебе превратились в удар молнии, которая обожгла Ксению Сверчок и вызвала у неё преждевременные роды.

— Ты спасла меня от смерти? — Лемнер вновь ощутил её господство. Она обладала силой, не доступной для его разумения, и эта сила была благой, была проявлением исходящей из Космоса силы, направлявшей и сберегавшей его. Солнце в полях превратилось в огненный крест. Оконечности креста трепетали алым, голубым, золотым. Крест волновался, звал. Лемнер слышал зов креста. Крест звал приложиться к нему. Лемнер ощутил в железном морозном воздухе тёплое благоухание мёда.

— Я видела, как вы мчались к Дону под синей луной. Видела прорубь, которая была прорубью Русской истории. В прорубе танцевала луна. Видела мерзкое нерестилище. Ксения Сверчок раздвигала толстые ноги, и клубки студня истекали из Ксении Сверчок. Видела, как неистовый африканец извергает на икру раскалённую магму африканского семени.

Мне казалось, африканец оплодотворяет луну, и из этой огромной синей икринки родится озеро Чамо, неумолчный шелест цикад, фламинго с изогнутой шеей, пролетевший над лунной дорожкой.

Я видела, как Иван Артакович наклонился над прорубью, а ты стоял сзади, не решаясь его толкнуть. Ты был готов отступить, вернуться с Иваном Артаковичем в харчевню, где тебя поджидали официанты в жилетках. Я из моего заточения видела твою робость и приказала тебе: «Толкай!» И ты спихнул его в прорубь, стал победителем в страшном состязании. Не должен был победить, если бы не моя любовь, обожание, которыми я тебя окружила. «Три попугая, три воды, три ветра, три стрелы, три пули» — ты выиграл эту битву. Отправил своих врагов в прорубь Русской истории. В этой проруби водятся чёрные сомы Русской истории. Сейчас они догрызают тело Ивана Артаковича, застрявшего подо льдом недалеко от станицы Казачья.

— Ты ведьма? — он вновь подчинялся её воле, верил её предсказаниям.

— Я твоя жена и мать твоего будущего ребёнка.

Небо цвело, как огромный шёлк, струилось, волновалось. В нём летали волшебные духи, появлялись дивные буквицы, носились неведомые письмена из небесных писаний, ещё не прочитанных на земле.

— Что делать теперь, когда три попугая мертвы, три воды утекли, три ветра стихли, три стрелы и три пули промахнулись? Я остался, наконец, наедине с Русской историей?

— Не ошибись, не впади в обольщение. Ты очень силён. За тебя русская армия. Тебя боготворит народ. Теперь ты должен обратить лицо к Президенту. Президент позовёт тебя, направит твою мощь на благо России.

— Да есть ли Президент? — Запах мёда исчез. На губах появился вкус ледяного железа. — Или вместо Президента подлая свора двойников из икринок Ксении Сверчок? Будет найден железный шкаф с флаконом, в котором плавает голый, с выпученными голубыми глазами Президент Леонид Леонидович Троевидов?

— Не верь вымыслам Ивана Артаковича. Пусть он рассказывает их чёрным сомам. Президент жив, управляет Россией. Могу предположить, что формула «Три попугая, три ветра, три воды, три стрелы, три пули» принадлежит Президенту. Тебе следует встретиться с ним.

— Зачем мне Президент? За мной армия, мне верит народ. Я хочу сделать русский народ счастливым. Зачем мне идти в услужение к утомлённому, изношенному Президенту, который скрывается от народа за спинами дурашливых двойников? Долой Президента! Долой двойников! Приду в Москву и сяду в Кремль! Увижу, есть ли там Президент, — Лемнер почувствовал злое веселье. Его губы раздвинулись в жестокий оскал.

— Ты хочешь стать Президентом? Им хотели стать Чулаки, Светоч, Иван Артакович. Все канули в проруби Русской истории.

— Россия устала от Президентов. Ей больше не нужны Президенты.

— Как же ты обойдешься без Президента?

— Наполеон увидел гниль и продажность измельчавшей власти, набил картечью пушки и провозгласил себя императором.

— Ты хочешь стать царём?

— Ведь ты сказала, что во мне течёт кровь Рюриковичей и Романовых. Стану русским царём. О царе мечтает русский народ. В Успенском соборе венчаюсь на царство!

— Русская история не любит самозванцев. Где Гришка Отрепьев? Где Пугачев? Где княжна Тараканова? Бойся пополнить их перечень.

— Я верю в Русскую историю. Не ты, а она ведёт меня к Величию. Отныне слушаю её, не тебя!

Лемнер смотрел на белое солнце. Закрыл глаза. Вместо солнца плавало два чёрных шара. Он боялся открыть глаза и увидеть в небе чёрный шар, покрывающий снега чёрным блеском. Открыл глаза. Сияло белое морозное

солнце. Ланы не было на скамейке. Из дома бежал Вава, разбрасывая тяжёлыми башмаками ломтики наста.

— Командир! — кричал, задыхаясь, Вава. — Командир!

— Называй меня «государь», — перебил его Лемнер.

— Что? — ошалело спросил Вава.

— Ладно, я так. Шутка.

— Командир, поступил приказ министра обороны. Корпус «Пушкин» подлежит расформированию. Его подразделения вливаются в состав армейских частей и немедленно направляются на фронт.

— Что ты сказал? Приказ? Министра обороны? Узкоглазого сына тайги? Банкетного полководца? — Лемнер почувствовал бешенство, от которого скрипнули зубы, мышцы превратились в железо. Он увидел тяжёлое, каменное, как у скифской бабы, лицо министра, коричневые толстые щеки, фиолетовые губы, узкие злые глаза. Увидел горящий лагерь, обгорелых мертвецов, хвостовик ракеты, выпущенной по приказу министра. Бешенство слепило, жгло. Тело покрыла огненная сыпь. Хотелось ударить это надменное тупое лицо, вонзить в него остриё ненависти. — Приказ, говоришь? На фронт?

Лемнер сорвал с плеча Вавы рацию.

— Я «Пригожий»! Я «Пригожий»! Приказываю формированию «Пушкин» в полном составе покинуть район боевых действий и идти на Москву! Министра обороны, все властные структуры и Президента, если он жив, обвинить в государственной измене и судить по законам военного времени! Беру на себя все полномочия по управлению государством! Обращаюсь к народу России сплотиться вокруг нового руководства страны. Время предателей, воров, лгунов, осквернителей русских святынь — это время прошло. Наступает долгожданное время, о котором великий Пушкин сказал: «Взойдёт она, звезда пленительного счастья!»

Лемнер вернул рацию Ваве.

— Вава, пиши приказ по войскам! Готовь поход на Москву! — Бешенство Лемнера превратилось в жуткую весёлость. Смешными казались все опасения, все строгие запреты, все увещевания. Всё было сметено. Сверкали снега. Сияло белое солнце. Он был угоден русским снегам, угоден солнцу. Его приказ летел по войскам. Формирование «Пушкин» снималось с места, выстраивалось в колонны. Начинался поход на Москву.

Глава сорок семь

Ростов в розовых дымах, в морозном блеске стёкол, в янтарных фасадах, с машинами, запрудившими улицы, работал, торговал, кутил в ресторанах, воровал, молился, когда над главным проспектом с грохотом и свистом винтов прошли вертолёты. Пятнистые, с красными звёздами, они несли на подвесках ракеты, шли низко, выстригая винтами воздушный коридор. Машины разбегались с проспекта, кидались в соседние улицы, увязали в пробках. Вертолёты просвистели. На опустевший проспект вкатывали танки. Тяжело, гневно давили асфальт, грохотали мимо магазинов, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских.

Люди валили на тротуары, прилипали к стёклам домов, глазели, как идут чудовищные машины с намалёванным на броне профилем Пушкина. Танки проревели, повесив над проспектом синюю гарь. Проспект пустовал минуту. Длинной стальной струёй, упругие, гибкие, похожие на ящериц, пошли бэтээры. На броне, цепко облепив башни, сидели автоматчики, поглядывали на толпу, не отнимая пальцев от спусковых крючков. Над головным бэтээром плескалось алое знамя с золотыми кистями и портретом Пушкина. Лик волновался, дышал среди шёлковых всплесков. В люке, по пояс, стоял Лемнер, без танкового шлема. Шёлк знамени накрывал его, стекал по плечам, и вновь становилось видным его лицо, умытое шёлком, властное, непреклонное, чеканное, будто оттиснутое на золоте медали. Люди на тротуарах кричали:

— Лемнер, ура!

Постовые отдавали честь. Девушки бежали за бэтээрами и кидали алые гвоздики. Автоматчики ловили цветы. Женщина в кокошнике несла к бэтээру каравай. Лемнер наклонился с брони, отломил пшеничный ломоть, окунул в солонку и ел, а женщина посылала ему вслед воздушный поцелуй.

— Голубчики вы наши!

Лемнер подкатил к зданию администрации. Перед входом стояли два танка. Автоматчики охраняли подъезд. На ступенях, без шубы, в костюме, встречал губернатор. Схватил его руку двумя своими, не отпуская, вёл по лестнице.

— Город приветствует вас, Михаил Соломонович!

В кабинете губернатора работники аппарата снимали со стены портрет Президента Леонида Леонидович Троевидова. Его полный ласковый лик заменяли портретом Лемнера, того, властного, непреклонного, каким увидела его Ростов на броне бэтээра. Губернатор доложил об обстановке в городе, представил руководителей служб. Генералы силовых структур стояли навытяжку. Командующий группировкой обратился к Лемнеру:

— Товарищ Верховный главнокомандующий!

Появился телеведущий Алфимов, восклицал перед камерой:

— Ростов приветствует спасителя России!

Губернатор пригласил Лемнера на обед в его честь, но Лемнер сухо отказал:

— Меня ждёт банкет в Кремле.

Покинул администрацию, угнездился в головном бэтээре и повёл колонну на трассу «Дон».

Шёл к Москве, останавливался ненадолго в городках и посёлках, собирал народ, выслушивал жалобы, вершил суд.

В утлом городке мэр, в бобровой шубе, с голым черепом, обезьяньими надбровными дугами и злыми глазками пугливого грызуна стоял на площади среди бушующего народа. Ему кричали:

— Вор бесстыжий!

— Вдову обокрал!

— Девчонку снасильничал!

— Рощу под коттеджи срубил!

— Дом престарелых спалил!

— Бухгалтершу до петли довёл!

В него плевали, грозили кулаками, дергали за бобровый мех. Лемнер стоял на бэтээре, слушал вопли, смотрел, как пугливо озирается мэр, желая спрятаться в глубину шубы.

— Граждане, люди русские! — Лемнер повелительно повёл рукой, смиряя голоса. — Эту гадину больше не может терпеть земля. Мы, русские, терпеливый народ, но терпению нашему настал предел. Я иду в Москву, чтобы восстановить справедливость и вернуть народу всё, что у него отобрали воры, насильники и лжецы. С этой минуты в России — ни мэров, ни пэров, ни херов! Приказываю! Дворец с золотыми колоннами, которые позолотил себе этот бывший мэр, отдать старикам и сиротам! Шубу из бобра отнести вдовице! Его же, — Лемнер ткнул перстом в мэра, — повесить перед входом в мэрию с надписью: «Высоко вишу, далеко гляжу». Исполняйте!

Солдаты ловко, весело содрали с мэра шубу. Шубу мэр набросил второпях на голое тело. Стоял голый, кривоногий, с волосатой грудью, стыдливо закрывая промежность:

— Не виноват! Всё отдам! Рощу посажу! Фонтан построю!

Его скрутили, поволокли к фонарному столбу. На фонаре мерцала оставшаяся от Нового года гирлянда. Мэр визжал, как свинья, которую валит на землю резак, подсовывая нож под лопатку.

Солдаты ловко, из телефонного провода, соорудили петлю, просунули в неё лысую голову мэра. Двое за ноги приподняли его, третий туго наматывал провод на столб. Солдаты, держащие ноги, отскочили. Мэр забился в петле, дёргался. У него в паху взбухло, изверглось семя. Над ним мерцала огоньками новогодняя гирлянда. Народ молча смотрел. Лемнер бросил ноги в люк бэтээра.

— Я — «Пригожий»! Вперёд, на Москву!

Колонна, грохоча танками, скользя бэтээрами, прошла сквозь городок. Дымя и лязгая, вышла на трассу.

У большого села на дорогу вышли ходоки, остановили колонну, стали звать Лемнера в село, изнывающее под бандитами. Три брата, уголовники, вернувшись из тюрьмы, закабалили село. Отбирали у людей наделы, заставляли бесплатно батрачить, били насмерть непокорных, отлавливали на улице девочек и держали у себя неделями, захватили жену учителя, насиловали втроём, а когда муж подал в суд, убили его и подбросили изнасилованной жене. Народ умолял Лемнера завернуть в село и наказать бандитов.

В село вошли бэтээры, окружили огромную хоромину за железным забором, где обитали братья.

Им предложили выйти. В ответ из дома застучали автоматы. Бэтээр на скорости вынес ворота и пострелял из пулемёта по дому. Братья вышли, и их повязали. За домом в бревенчатом птичнике жили страусы. Перебирали толстыми ногами, воздели на длинных шеях маленькие изумлённые головы, колыхая пышными перьями. Когда началась стрельба, страусы убежали из птичника и носились по селу. Братьев поставили у забора. Скуластые, злые, свитые из сухожилий, они водили глазами. Те, на кого падал их бешеный взгляд, сжимались и прятались за спины других.

Лемнер извлёк золотой пистолет, долгие недели скучавший в кобуре.

— Улыбнитесь, мужики, — обратился он к братьям. — У каждой пули есть своя улыбка.

Подошёл к братьям, по очереди, приставляя пистолет к узким заросшим лбам, застрелил всех троих. Солдаты с канистрами бегали вокруг дома, щедро поливая дворец бензином. Подожгли. Сосновый брус взялся легко и жарко. Братья лежали у забора головами в одну сторону. Хоромина горела, вокруг стояли люди и бегали страусы.

Колонна возвращалась из села на трассу. Лемнер вдыхал сладкий дым горящей сосны. За спиной удалялся пожар. По обочине, не отставая от бэтээра, бежал страус.

Танки погрузили на платформы, тягачи отстали от колонны. Бэтээры мчались, огибая крупные города и поселки, не заходили в густую застройку. Из городов являлись депутации. Губернаторы присягали на верность. Местные гарнизоны вливались в колонну. Лемнер под шёлковым знаменем Пушкина стремительно приближался к Москве.

В колонне находился телеведущий Алфимов, снимавший фильм о «железном походе», чтобы в Москве показать его на телеэкране.

Бог весть откуда в колонне оказались политолог Суровин, философ Клавдиев, писатель Войский. Суровин писал статью и тут же размещал её в интернете. Утверждал, что в российском обществе давно назревала революция и

лишь ждала вождя, способного олицетворить революционную стихию русского народа. «Лемнер — Пугачев и Разин наших дней. Разрушения, которыми сопровождается всякая революция, обеспечат России долгожданное развитие».

Философ Клавдиев настаивал, что «русская идея», отшлифованная на наждачном камне украинской войны, обретает в лице Лемнера эпический образ богатыря. Русское богатырство в Лемнере продолжает славный перечень богатырей — Ильи Муромца, Микулы Селяниновича, Добрыни Никитича, Алёши Поповича, а также святых князей Дмитрия Донского и Александра Невского.

Писатель Войский опубликовал первую главу романа, писанную на броне. В главе подробно изображался страус, его твёрдые каменные ступни, белоснежный плюмаж хвоста и надменная голова, напоминавшая Ивана Артаковича Сюрлёниса.

«Железный поход» на Москву сопровождался множеством комментариев, прогнозов, восторженных реляций. Вся Россия склонилась над картой, отмечая красными флажками путь Лемнера к Москве.

Он сидел в командирском люке, в танковом шлеме. Рядом гибко гнулся стальной хлыст антенны. Ветер высекал из глаз огненные слёзы. Длинными искрами они летели в поля, и в полях сверкало, трепетало, ликовало. Огромная страна звала его, раскрывала дали с великими городами, могучими хребтами, бескрайними реками. Страна ждала его, выкликала, берегла для него океаны, дебри, святыни. Возносилась к высотам и низвергалась, полнилась праведниками, вождями, святыми, злодеями, мучениками, мудрецами, поэтами. Ожидала, что неизбежно, неотвратимо явится он и примет эту страну для её долгожданного преображения. О преображении вещали волхвы, молились пустынники, мечтали поэты, поднимались на дыбу герои, восходили на трон цари. Оказывались недостойными трона, неугодными загадочной стране. Падали с трона на плаху. Страна ждала завещанного царя. И этим царём оказался Лемнер, еврейский мальчик, дитя иной земли и истории. Он бросил семя обетованной земли и волшебной истории в русские снега. Теперь он мчался в Москву на иссечённом осколками бэтээре, чтобы совершить великое осеменение. Сольются две истории, два народа, две мистические судьбы. В Успенском соборе, среди грозных фресок и драгоценных лампад Патриарх возложит на Лемнера золотую корону. Мех горностаевой мантии заструится по каменным плитам. Хор ангелов восславит мгновение великого осеменения.

Лемнер мчался к золотому венцу, исполненный благоговения, небывалого могущества, веры в своё вселенское предназначение. Его разум распахнулся безгранично, его душа обнимала весь мир, он испытывал несказанное счастье.

В ларингофоне захрипело, забулькало. Вава, замыкавший колонну, голосом, полным скрипов и хлюпаний, докладывал:

— «Пригожий»! «Пригожий»! Как слышишь меня?

— Называй меня «государь»!

— «Пригожий», не понял, не понял?

— Ладно, докладывай!

— Командир! Получен приказ министра обороны! Министра обороны! Прекратить продвижение! Прекратить продвижение! Сложить оружие! Сложить оружие! Корпус «Пушкин» считать расформированным! Расформированным! В случае невыполнения приказа будет применено огневое поражение! Огневое поражение! — рация пузырилась, кипела. Пузырилась и кипела ярость Лемнера. Из глаз сыпались огненные слёзы, и снега горели.

Ярость была свирепой, ненависть лютой. Министр обороны, трусливая тварь, ни разу не побывавший на фронте, тупой, мстительный, злобный, виновник военных поражений, оставивший армию без оружия, не знавший войны, не знавший обгорелых, с оскаленными зубами трупов, сластолюбец, стяжатель, царедворец. Он встал на пути Лемнера к Успенском собору и золотому венцу. С этого пути Лемнер смёл могучих соперников. И теперь эта гадина хочет помешать его порыву к Величию.

От ненависти жгло горло, будто он глотал раскалённые гвозди.

— Я «Пригожий»! Войскам! Слушать мою команду! Продолжать движение! Рассредоточить колонну! Дистанция между машинами — тридцать метров! «Панцири» к бою! При появлении частей Министерства обороны — огонь на поражение! Отдельно министру обороны. Для него готов фонарный столб на Пушкинской площади напротив памятника! На этом столбе висят фонари, часы, дорожные знаки. Теперь будет висеть министр обороны!

Лемнер опустился в люк и захлопнул крышку. Этот приказ сопровождался огромным выплеском энергии. Лемнер дремал, забывался. Рация тихо булькала, нежно хлюпала. Так булькает весеннее болото, полное лягушек, головастиков, жуков-плавунцов, множества невидимых тварей. Они ожили в тёплой тёмной воде, где на дне таинственно светится солнечный луч. Так сладко слушать эти ожившие воды, смотреть в изумрудный туман берёз, и мама, молодая, чудесная, держит у губ голубой подснежник.

Хрястнуло взрывом, проскребло по броне. Бэтээр шатнулся и встал, Лемнер ударился головой о выступ, рванулся вверх, отбросил крышку люка. Кругом горело. На белых снегах у обочины дымилось чёрное пятно. Шоссе вокруг бэтээра искрило, будто его жгли сваркой. В соседнем бэтээре зиял пролом, валил дым, шевелились и не могли выбраться из люка солдаты. В небе удалялись от трассы два вертолёта. Уходили в поля и там разворачивались, блестели винтами, мерцали стеклянными клювами. Колонна сомкнулась, запрудила трассу. От машин в снега разбегались люди.

— «Панцирь», мать вашу! Где «Панцирь»?

Вертолёты приближались, волновались в небе, трепетали солнечными кругами винтов. Заходили на боевой разворот.

Лемнер по пояс в люке останавливал их лбом, глазницами, ненавидящим сердцем. Вертолёты шли убивать его, прервать божественный порыв, отшвырнуть от заповедной мечты. Они шли сломать его судьбу, были посланы чудовищной силой, желавшей пересилить божественную волю. Воля Лемнера, не пускавшая вертолёты, была божественной волей.

— Убью вас! — он посылал в вертолёты чёрную стрелу ненависти. Знал, что не промахнётся. Был уверен в точности попаданий. — Убью вас!

Из колонны навстречу вертолётам прянули две клубящиеся ленты. Отыскали в небе машины, коснулись, превращая вертолёты в огненные взрывы. Обе машины с обломанными хвостами крутились, вычерчивали дымные кольца. Осыпая мусор, упали в снега и там горели. Два костра и два дыма, сносимых ветром.

— Я убил их! — кричал Лемнер, грозя кулаком подбитым вертолётам. В снегах к горящим вертолётам бежали солдаты.

Из бэтээра с дырой в борту извлекали убитых и складывали на обочине. Их было шестеро, экипаж и автоматчики. Из дыры сочился едкий чад. Изуродованную машину сдвинули с трассы. Удар ракеты пришелся по профилю Пушкина, среди обугленного железа белел острый носик.

Солдаты из полей волокли раненого пилота. Вытащили на трассу, кинули на бетон. Пилот лежал лицом к небу с голубыми, полными слёз глазами. Его кожаная лётная куртка прогорела на рукаве. Вязаный свитер был порван. Он стонал, из-под мышки сочилась кровь.

— Звание? — Лемнер склонился над ним, стараясь не наступить на лужицу крови.

— Капитан.

— Имя?

— Ежов.

— Лётная часть?

— Вертолётный Елецкий полк.

— У вас там все такие ёжики, что по своим бьют?

— Был приказ.

— Что за приказ?

— Атаковать украинскую колонну, идущую на Москву.

— Значит, ты защитник Москвы? Герой? Не подпустил врага к Москве? Двадцать девятый панфиловец?

— Был приказ.

— И что с тобой делать, капитан Ежов?

— Худо мне. В медсанбат.

— Шестеро русских солдат, которых ты уложил, их мне куда?

— Худо мне. В медсанбат!

Пленный лежал на бетонке перед головным бэтээром, без шлема, с короткими рыжеватыми волосами, голубыми, полными слёз глазами.

— Будет тебе медсанбат, капитан Ежов.

Лемнер молодым упругим прыжком вскочил на броню, поместился в люк.

— Я «Пригожий»! По машинам! Колонне рассредоточиться! Дистанция между машинами тридцать метров! Вперёд!

Он чувствовал, как под толстыми колёсами бэтээра хрустнуло тело пленного. Бэтээр подскочил, словно переехал бревно. Колонна, два десятка машин, нацелив пулемёты в небо, прошла по трассе, оставив на асфальте красное, раскатанное в лист тело с белыми вкраплениями костей. Колонна ушла, а на раздавленную красную плоть прилетела ворона и стала долбить липкий асфальт.

Лемнер мчался к Москве в рёве моторов, ветра и ненависти. Представлял, как министра обороны, вырванного из кабинета, с лицом, похожим на ледниковый валун, косолапого, как таёжный зверь, привезут на Пушкинскую площадь, к чугунному столбу. На столбе светятся жёлтые, как луна, часы, висит хрустальная люстра фонарей, красуется дорожный знак, похожий на рыцарский герб. Министр будет визжать, когда его, с петлёй, станут поднимать в люльке. Толкнут, и он тяжко повиснет, натянув металлический трос, высунув синий язык. Пушкин со своего пьедестала будет молча смотреть на тяжёлую тушу. На крыше «Известий» электронной строкой польются стихи: «Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел нереиду».

Зрелище было сладостным. Лемнер представлял, как ворвётся в Москву, прочешет все кремлёвские кабинеты, все подземные бункеры, все тайные убежища. Оповестит народ, что Президента нет, его тело растворили в серной кислоте. Страной управлял узурпатор, расплодил дойников. Лемнер прикажет отлавливать двойников, доставлять на берег Москвы-реки, к парку «Зарядье», и спускать под лёд, возглашая над каждым: «Президент Российской Федерации Леонид Леонидович Троевидов!»

Лемнер продолжал ненавидеть, но теперь его забавляла мысль, как московский мэр, лукавый, чуткий, угодник верховной власти, творец аттракционов, встретит его в Москве. Навстречу выйдут герои пушкинских сказок. Белочка, грызущая золотые орехи. Тридцать витязей прекрасных в картонных позлащённых шлемах. Царь Салтан и князь Гвидон в затейливых чалме и тюрбане. Будут постелены половики, изображающие «неведомые дорожки», и по ним поскачут «неведомые зверушки». Понесут хрустальный гроб с балериной Большого театра, которой Лемнер когда-то послал букет цветов.

И в грохоте барабанов, звоне бубнов, вое дудок, окружённый жонглёрами, канатоходцами, русалками, в толпе колдунов, ведьм, золотых рыбок, в обществе Татьяны Лариной и Евгения Онегина, Мазепы и Карла Двенадцатого, Петра Первого и Екатерины Второй, жён непорочных и отцов-пустынников — среди

всего этого танцующего, пляшущего, плюющего, жующего окружения появится Пушкин. В цилиндре, фраке, с тихой улыбкой. То будет мэр в облачении поэта. У него в руках большой золочёный ключ от кремлёвских ворот. Пушкин, любезно раскланиваясь, на бархатной подушке преподносит Лемнеру ключ от Москвы.

Лемнер, по пояс в люке, нёсся в головном транспортёре, как железный кентавр. Мимо летели снега, туманились города, синели леса. Он был волен, «могуч и яростен, как бой». Он мчался к Величию. Вся его жизнь была бой за Величие. Он выиграл этот бой, оказался наедине с Русской историей. Она распахнёт перед ним врата Успенского собора, зажжёт бесчисленные лампады и возложит на него золотой венец.

Он вдруг подумал о Лане. Её любимое лицо всплыло из снежных полей и синих лесов. Он отмахнулся от неё, прогнал туда, откуда она явилась. В снежные поля и синие леса, в прошлое, от которого отвернулся. Мчался в будущее, восхитительное, светоносное.

Трасса была пустой, без машин. Машины в страхе разбегались, увиливали от колонны, прятались на соседних дорогах, забивали просёлки. Таков был порыв колонны, что весть о ней, как ударная волна, летела впереди, сметая преграды. Трасса, тёмная, прямая, отливала сталью. Лемнер чувствовал её, как линию жизни, ведущую от рождения к Величию.

Осталась в стороне Тула в железном тумане оборонных заводов. Впереди был Серпухов. За Окой начинались московские земли. Границу московских земель бэтээр перелетит, как буран.

Лемнер увидел впереди на тёмной трассе едва различимое белое пятнышко. Пятнышко приближалось, увеличивалось, светилось, было живым. Это был человек. Лемнер сквозь набегавшие от ветра слёзы хотел его разглядеть. Девочка в белом платье, в белых чулочках, в светлых туфельках стояла на дороге, брошенная среди зимних полей. На ней не было шапки, волосы кудряшками падали к плечам. В ней было сиротское, мучительное, беззащитное. Она мешала колонне, была помехой на его пути к Величию. Её послала всё та же сила, что не желала ему победы, не пускала к Величию.

Девочка приближалась. Были видны её голые ручки, криво поставленные тонкие ножки, бледное, несчастное, с испуганными глазами лицо.

— Командир! — крикнул механик-водитель из глубины бэтээра. — Я стопорю!

— Вперёд! — рявкнул Лемнер, раскрывая губы в длинном оскале. — Вперёд! Убью!

Увидел, как девочка на дороге вдруг стала расти, увеличивалась. Огромная, поднебесная женщина распахнула руки, в огненном одеянии, с гневно раскрытым ртом преграждала дорогу.

— Вперёд! — хрипел Лемнер. — Убью!

Женщина превратилась в бурю, смерч, в рёв неба и трясенье земли. Из бури в Лемнера летели голубые молнии. Слепящий, до неба, столп света шёл на него, касался бэтээра, плавил броню. Граница московских земель, пограничное кольцо Оки пылало, стреляло, осыпало Лемнера чудовищными огнями.

Ужас Лемнера был непомерный. На него ополчился космос, били яростные кометы, жгли ядовитые радуги. Раскрылась небесная печь, сыпала ему на голову пылающие угли. Он закрыл глаза, сжал ладонями танковый шлем. Его бил колотун. Он замерзал среди огней. Сердце превратилось в красную глыбу льда. От дыхания хрустели и ломались лёгкие. На мгновение он умер. Побывал в неописуемом и ужасном мире, который был изнанкой мироздания, полным жутких существ и видений. И воскрес, вернулся в подлинный мир, забывая адские видения и сущности.

Колонна стояла. Трасса была пустой. Впереди туманился Серпухов. Ока подо льдом тянулась лентой на дне долины.

На бэтээре рядом с люком сидел Вава, приобнял пулемёт, вольно, удобно. Среди стальных ромбов, металлических скоб ему было удобно, как в мягком кресле.

— Почему стоим? — оглушенно спросил Лемнер.

— Я приказал.

— Сдурел? Продолжить движение! — Лемнеру было трудно говорить. Казалось, на лбу вздулась громадная шишка, мешала понимать.

— Нет, командир. Разворачиваю колонну.

— Спятил? Продолжить движение! — Лемнера ещё бил колотун. На лбу набухала кровавая шишка. В небе, где бушевала огненная женщина, зияла бесцветная пустота. Казалось, из неба изъяли воздух и свет.

— Извини, командир. Приказ развернуть колонну и вернуться в места дислокации.

— Чей приказ? — Лемнер ошалело смотрел на губастое, сизое от ветра лицо Вавы, в его холодные серые глаза.

— Приказ Верховного главнокомандующего Президента России.

— Какого, к чёрту, Президента? Я — Президент! Я — Верховный! Я — государь!

— Приказом Президента ты, командир, отстранён от должности. Мне приказано арестовать тебя и доставить в Москву.

— Ах, ты сука! Купили? Продал меня? — Лемнер кинул руку на кожаную кобуру, торопясь достать золотой пистолет. Кобура была расстёгнута и пуста. Золотым слитком пистолет сиял в кулаке Вавы.

— Хорош, командир, отстрелялся.

— Я тебя повешу на первой берёзе!

— Командир, когда были пацанами, ты меня не убил. Не стану тебя арестовывать и не доставлю в Москву. Там тебя будут судить как изменника и,

скорее всего, расстреляют. Я тебя отпущу, командир. Беги. Россия велика, авось, не найдут.

Лемнер обессилел. Оборвалась пуповина, соединяющая его с неиссякаемой энергией мира. Прошёл его колотун, прошёл ужас. Он остывал, начинал плохо видеть, глох. Знал, что случилось непостижимое несчастье, и не хотел его постигать. Он был глубокий старик, в ком остывала жизнь в её последнем затухающем вздохе. Прежняя, огромная, яростная, казавшаяся бессмертной жизнь была отсечена от него, существовала отдельно, не принадлежала ему.

— Я Президент! Я Верховный! Я царь! — лепетал Лемнер, как лепечут душевнобольные, истомлённые неизлечимыми маниями. Ноги его не держали. Он проваливался в люк. — Я — Президент! Я — царь!

— В России жид никогда не станет царём, — сказал Вава и спрыгнул с бэтээра. Солдаты помогли Лемнеру выбраться из люка, спустили на землю. Вава увёл его с трассы и поставил на обочине. Лемнер послушно стоял, беспомощно, не понимая мира, в который его поместили, куда он упал с ослепительной высоты. Смотрел, как по всей трассе разворачиваются бэтээры, отливают синевой пулемёты, белеют на броне эмблемы с профилем Пушкина. Бэтээры пятились, грудились, неловко шевелились, как вываленные из ведра раки. Вновь собирались в колонну, мигали хвостовыми габаритами. Уходили по трассе, длинные, многолапые, как сороконожка. Уменьшались, таяли. Ветер гнал в поля мутную гарь.

Глава сорок восьмая

Лемнер стоял одиноко на пустом шоссе, среди серых снегов, под серым небом, где больше не было солнца.

Он не являл собой цельную личность, был обрубок. Был ампутированной ногой, отпиленной от тела в полевом лазарете и брошенной в ведро. Он знал, что случилось огромное несчастье, но не понимал его природу. Он чувствовал, что им нарушен грозный, лежащий в основании мира закон, но не ведал, какой. Он знал, что им совершена страшная ошибка, и эту ошибку уже не исправить. Ибо не известно, в чём ошибка, перед кем каяться, как избывать прегрешение. Он был один под серым небом, из которого унесли солнце. Был никому не интересен, никому не опасен, никому не полезен. От него отступили русские поля и туманы, притаившиеся в снегах города. Он был выкидыш, упавший на грязный асфальт.

Лемнер шёл невесть куда, вяло, заплетаясь. Башмаки были непомерно тяжёлые, как свинцовая обувь водолазов. Он с усилием отлеплял подошвы от асфальта. Поднимать ноги было больно, но он поднимал, чтобы боль продолжалась. Боль была единственным, что связывало его с отторгнувшим его миром. Так боль продолжает связывать тело и торчащую из ведра ампутированную ногу.

Лемнер шагал всё быстрее, усиливая боль. Отрывал свинцовые подошвы и шлёпал их на асфальт. Сильней и сильней, больней и больней. Побежал. Он бежал по пустому шоссе, шлёпал башмаками, испытывал нестерпимую боль. Ему вслед кричали серые снега, чёрные деревни, железные туманы городов, торчащие из снега репейники, синие у горизонта леса, а в лесах — волки, лисы, белки, лоси, дятлы. Всё кричало ему вслед, проклинало, гнало. Его изгоняли из этих полей и лесов, из этой страны, из её истории. Он был чужак, ненавистный, вредоносный, извергнутый из страны и истории. Гневная дева с орущим ртом изгоняла его взмахом меча. Он убегал из проклятой страны, из её грязных снегов и свирепых людей. Убегал в другую страну, с голубыми горами, горячими дорогами, золотыми виноградниками, чудесными танцовщицами, благолепными мудрецами. Обетованная страна примет его, укроет в оливковых рощах, напоит из сладких ручьев, усладит божественными притчами и сказаниями. Но и в этой стране он не найдёт приюта, ибо этой страны больше нет. Она растаяла, как кусок виноградного сахара в кипятке истории. Безродный, без страны, без погоста, гонимый, он бежал с жуткой болью. Так бежит по шоссе ампутированная босая нога.

Он устал и шёл. Мимо промчалась ошпаренная легковушка. Следом прошумела фура. Появились встречные машины. Трасса наполнялась

движением. Машины покидали заторы. Лемнер шагал, и никто не останавливался, чтобы его подобрать, никто не узнавал его. Он брёл, обречённый на вечное скитание, на мучительное бессмертие, которым наказала его судьба.

В сумерках у дороги он увидел харчевню. Дергалась, мигала неоновая вывеска «Дымок». Поодаль стояли фуры. В харчевне кормились дальнобойщики. Лемнер, замёрзший, забрызганный грязью, в камуфляже и танковом шлеме, с пустой кобурой, вошёл в харчевню. С порога смотрел на убогую зальцу, тесные столики, на дальнобойщиков, поедавших придорожный обед. Их жующие, скуластые, небритые лица не обернулись к нему. Лемнер стянул шлем, искал, где бы притулиться, согреться, укрыться от стальной трассы, гнавшей его в ледяную бесконечность. Он вёл глазами по зальце. Подавальщица обедов, выставлявшая на стойку тарелки. Кавказское, с усиками, цепкими глазками лицо хозяина заведения. Телевизор с немым изображением танцовщиц в кокошниках и танцоров в косоворотках. Картина с оленем у горного ручья. Под картиной за столиком, одна, отвернувшись от света, сидела женщина, недвижная, поникшая. Лемнер испуганно смотрел на неё. Желал, чтобы она повернулась к свету. Женщина, словно его услыхала, медленно повернула голову. Незатейливая люстра осветила её. Это была Лана, её чудесные, вспыхнувшие глаза, малиновый, беззвучно ахнувший рот.

— Лана! — Лемнер, стуча башмаками, задевая стулья, кинулся к ней, упал, обнял её колени. — Господи! Ты? Господи! — он обнимал её, прятал лицо в её коленях, дышал её теплом, запахом её духов. — Господи!

Она гладила его волосы, целовала в лоб.

— Как ты здесь оказался? Что случилось? Колонна ушла назад. Почему? Ты один?

— Ушла! Один! Из неба! Огонь! За грехи! Гонят! Хотят убить! За что? Пусть убьют! — он задыхался, в горле бурлило. Горе, беда, беззащитность, неуменье сказать путали слова. Он рыдал, обнимал её колени, умолял не уходить, не оставлять одного в этом мире, куда его заманили и откуда теперь изгоняли. Лана гладила его волосы, поднимала с пола, усаживала за стол.

— Ничего не говори. Потом!

Он не отпускал её руку, боялся, что она уйдёт. Целовал её пальцы, удерживал поцелуями. Страшился жуткого, беспощадного, непостижимого, что стерегло за пределами харчевни. Верил в чудо её появления. Когда иссякли все силы, отшатнулись все друзья, забылись все молитвы, ополчился весь мир, готовя страшную расправу, случилось чудо. Незримый поводырь привёл его в эту придорожную харчевню, усадил под оленем, осветил несуразной люстрой, вернул к любимой, обожаемой, милосердной женщине. Она спрятала его, сделала невидимкой, пустила в материнское лоно. Там он укроется, чтобы никогда не родиться, не появиться в этом чудовищном мире.

Хозяин заведения подошёл к телевизору и включил звук. Телеведущий Алфимов, разъярённый, праведный, занимал весь экран шевелящимися губами, выпуклыми глазами, распахнутой пятернёй:

— Подавлена попытка государственного переворота! Изменник Лемнер в часы великого военного напряжения, когда Россия на пределе сил защищается от кровожадного англосаксонского зверя, предатель Лемнер снял с фронта вверенное ему формирование «Пушкин» и направил на Москву с целью узурпации власти! Верными Президенту войсками он был остановлен и обращён в бегство! Его разыскивают, чтобы предать суду и неминуемой каре! — Алфимов показывал кадры, где колонна входит в Ростов, девушки бросают цветы, женщина подносит к бэтээру каравай, и Лемнер, склонившись, отламывает хлебный ломоть. — Все, кто опознает преступника Лемнера, обращайтесь в полицию!

Выступал политолог Суровин:

— Народ России достиг той зрелости, что отвергает всякого, кто хочет нарушить гражданский мир и ввергнуть Россию в пучину кровопролития и беспредела!

Шли кадры, на которых солдаты тащили мэра к столбу, набрасывали петлю, вздёргивали. Мэр бился в петле, пучил глаза, вываливал язык.

Выступал историк Клавдиев с профессорской бородой и указующим перстом:

— Русская история пестрит самозванцами. Лжедмитрий, Пугачев, княжна Тараканова. Охотники до царского венца. Русская история извергала их из своего чрева, как извергает выкидышей. Точно так же она извергла самозванца Лемнера, возомнившего себя государем императором. Он мечтал оказаться в Кремле. И он там окажется. Его привезут в Кремль, поднимут на колокольню Ивана Великого, низвергнут вниз. Под куполом колокольни золотом пробежит бессмертная пушкинская строфа: «Есть место им в полях России. Среди нечуждых им гробов». Следовали кадры стоящих у забора трёх братьев, хмурых, волосатых и диких. Лемнер из золотого пистолета пробивал им лбы, и они укладывались рядом, головами в одну сторону.

Выступал писатель Войский.

— Я начал книгу об Иуде Лемнере. Этих Иуд было немало в русской истории. Князь Курбский привёл поляков на Русь. Мазепа привёл воинство шведов. Власов вёл немцев. Лемнер, этот Иуда наших дней, готовил приход англосаксов. Курбский, Мазепа, Власов слиплись в этом извращенце и предателе!

Шла хроника, где раненый летчик лежал на шоссе, а на него наваливалось толстое колесо бэтээра.

Лемнер ужасался. Его узнавала вся страна. Вся страна его ненавидела. Его ищут, ловят. Его портрет раздают постовым нарядам, проводникам поездов,

стюардессам самолётов.

— Как мне быть? Они поймают меня! — Лемнер видел, как дальнобойщики за столиком перестали жевать, смотрят телевизор, обсуждают увиденное. — Куда бежать? В Стамбул? В Дубай?

— Россия велика. Пойдём! — Лана, быстрая, ловкая, вскочила со стула, набросила шубу, схватила сумку из тиснёной кожи, подаренной Лемнером. Сунула ему упавший на пол танковый шлем. Они миновали столик с дальнобойщиками и вышли из харчевни в ледяную, дующую ветром, ночь.

И начался их бег по России. Лемнер безвольно, послушно следовал за ней. Она была спасительницей, берегиней. Была женой, матерью его нерождённого сына. Они были семьёй, подобной Святому семейству, что бежало, спасаясь от избиения.

На шоссе у харчевни они подхватили попутку и добрались до Тулы. Такси подвезло их к вокзалу, и Лана чудом купила билеты на отходящий поезд в Петербург. В Петербурге поколесили по городу и на поезде добрались до Петрозаводска. На автобусе доехали до Кондопоги. И везде хоронились, шарахались от патрулей, избегали разговоров с попутчиками.

В Кондопоге закупили провизию — хлеб, чай, сахар, консервы, копчёности. Лана попросила соли и спичек. Она доставала из сумки деньги, и Лемнер видел лежащие в сумке гребень, пудреницу, флакончики, коробочки с косметикой. Весь драгоценный арсенал, от которого Лемнер повеселел.

Из Кондопоги в кабине лесовоза добрались до лесхоза, сурового посёлка среди красных сосняков. Лана договорилась с трактористом, и тот за хорошие деньги усадил их в кабину колёсного трактора, и они покатили по нечищеной дороге, колыхаясь на ямах. Трактор вёз немалое время, пока они не оказались на берегу пустынного, белого, подо льдом, озера, среди туманных лесов. Здесь стояла одинокая избушка. Тракторист высадил их и укатил, обещая приезжать каждые две недели, привозить продукты.

Избушка стояла в стороне от деревни. Там из труб шёл дым, туманилась тёплая жизнь. Здесь же снег вокруг избы был не топтан, из сугроба темнела перевёрнутая лодка.

— Как называется это место? — Лемнер смотрел на избушку. Вокруг пестрели заячьи следы.

— Вохтозеро, — Лана порылась в снегу под крыльцом, достала ключ. Повернула в замке, и они оказались в полутёмной, с низким потолком, избе с русской печью, лавками и большой деревянной кроватью. Весь долгий, с волнениями и бессонницей путь вымотал их, но, оказавшись в этой карельской глуши, Лемнер вдруг успокоился. За ними не было погони. Погоня отстала. Преследователи сбились с пути, увязли в снегах. Морозный, звонкий воздух с синевой лесов, льдами озера был столь плотен и чист, что демоны тьмы не пробивали его, как пули не пробивают бронированное стекло.

— Ты моя избавительница. Я пропаду без тебя.

Он устал безмерно. Опасность отступила. Страшное наваждение, поднебесный столб огня, молнии, летящие из тьмы в его сердце, остались далеко за лесами. Он промёрз, хотелось упасть и заснуть. Изба была ледяная, кровать с одеялом промерзла.

— Дрова в сенях, — сказала Лана. — Топор у печки. Вот спички, — она извлекла из сумки коробок. Лемнер ушёл в ледяные, хрустящие сени. Нащупал дрова. Положил на грудь полдесятка поленьев, вернулся в избу. На столе горела керосиновая лампа, жёлтый язык разгорался, над ним появлялась голубая кайма.

Топор был острый, с гладким от множества прикосновений топорищем. Лемнер откалывал от полена щепки, совал в печь. Они загорались неохотно, чадно, но всё ярче, трескучей. Он сунул в огонь два полена, видел, как огонь лижет волокнистое дерево. Дрова лениво занимались. Лемнер почувствовал дохнувшее из печки тепло.

— Дрова есть, хлеб есть, соль есть. Будем жить! — Лана смотрела, как он орудует у печи. Лампа освещала половину её лица. На этой половине сиял отражавший огонь глаз.

Дрова трещали, по стенам и потолку бегали горячие отсветы. Суки в потолке увлажнились, заморгали. Потолок был зрячим.

Лемнер отыскал железный чайник, вышел на мороз, набил чайник снегом, вернулся и поставил чайник на плиту. Лана пододвинула к печи лавку. Они сидели, прижавшись, и смотрели на огонь.

— Ты уже бывала в этой избе? Знаешь, где лежит ключ, где дрова, где керосиновая лампа.

— Жила здесь летом. Когда ты совершал подвиги в Африке, я провела месяц в Карелии, здесь, у лесника. Я прилетела к тебе в Африку, на берег озера Чамо из Вохтозера.

— Чудесное место. Чудесные леса. Чудесные дымы из труб. Чудесная лодка в снегу. Ты чудесная.

— Здесь белые ночи. В озере отражается негаснущая заря. Над серебряной водой летит гагара, роняет каплю, и на воде расходятся медленные круги. Сосняки горячие, красные, смоляные. В них черничники, полные ягод. Ими лакомятся медведи, оставляют на тропе фиолетовые кучки помёта.

Лесник брал меня в лодку, поднимал из воды сеть. В ячеях трепетала рыба. Мы сажали лес. Он шагал за плугом, вёл борозду, а я шла следом и бросала в борозду семена сосны. Я жила наверху, в светёлке. За стеклянным оконцем белое, как молоко, неподвижное, ночное, молчало озеро. Я мечтала, что когда-нибудь привезу тебя сюда. Покажу малиновую зарю, летящую гагару. Протяну тебе на ладони пригоршню черники. Губы у тебя станут фиолетовые.

— Ты моя жена, любимая, драгоценная!

Лемнер, сидя на лавке, обнимал Лану. Из открытой печной дверцы лилось тепло. Бегали по потолку и бревенчатым стенам летучие отсветы. Лемнер был благодарен избе, служившей ему прибежищем после ужасной, со взрывами, слезами и кровью жизни. Жизнь была полна ослеплений, помешательств, неосуществимых дерзновений, которые обернулись гневной поднебесной девой с мечом и орущим ртом. Он должен был погибнуть, но чудесно уцелел, спасённый восхитительной, данной ему во спасение женщиной. Теперь он находился под защитой бревенчатых стен, летающих светляков, тёмных мудрых глаз, взирающих с потолка.

— Скажи, что это было? Откуда страшный удар, сокрушивший мою жизнь? Кто та гневная, до неба, женщина? Она вдруг встала из снегов над Окой под Серпуховом, на границе московских земель, и обрушилась на меня.

— Не знаю. Мне не дано угадать. Должно быть, ты нарушил закон Русской истории. Посягнул на её глубинную тайну. Быть может, было явлено чудо Пресвятой Богородицы. Она сберегает тайну Русской истории. Богородица и есть Русская история. Ты разуверился в Русской истории, разуверился в Богородице. Поклонился Дьяволородице и был повержен. Но Богородица, милостивица, смилостивилась над тобой, отпустила в эту избу. Здесь ты будешь доживать свои дни. Станешь лесником, отпустишь бороду, будешь уплывать в озеро за рыбой, ходить за рыжим конём и сажать лес. А я стану поджидать тебя в нашей избе и растить сына.

— Так и будет, — он обнимал её. Над ними по избе летали прозрачные бабочки.

— Знаешь, мне что-то холодно. Должно, на трассе, на морозном ветру, простыл. Не хватало слечь после стольких вёрст пути. Вот если бы выпить водки!

— В моей сумке много всяких снадобий. Есть от простуды, меня всегда выручает.

— Что за снадобье?

— Отвар из лепестков георгина. Несколько капель в чай, и простуды как не бывало.

— Ну дай мне этих волшебных капель.

Лана пошла к столу, принесла керосиновую лампу и поставила на пол, подле лавки. Достала из шкафчика чашку, порылась в сумке, среди коробочек, пудрениц, флакончиков с духами. Извлекла пузырёк. Посмотрела на свет лампы. Лемнер видел пузырёк в её пальцах, розоватую жидкость. Представлял тёмно-красный, с сочными лепестками, цветок георгина. Было чудесно думать о живом цветке среди ледяной ночи.

Лана сняла с плиты чайник, налила талую воду в чашку. Прищурилась, считая падающие капли. Лемнер с умилением видел её осторожные пальцы, шевелящиеся губы, искорки падающих капель.

— Ты моя спасительница и целительница.

Лана подала чашку, и он выпил тёплую воду с растворёнными каплями. Вода показалась сладковатой, с едва уловимым цветочным запахом. Он подумал, что так пахнут летние палисадники, полные цветов. Георгины, астры, хризантемы, садовые колокольчики, флоксы, ромашки — чудесные цветники, взлелеянные руками русских крестьянок.

— Теперь бы вздремнуть.

— Ложись на лавку. Я погляжу за печкой.

Он улёгся на лавку, сначала на бок, потом на спину. Видел пляшущие на потолке язычки, мудрые, добрые, глядящие из потолка глаза. Он чувствовал чудесную слабость, детскую беззащитность, когда заболевал, и мама подходила к его кровати, клала на лоб прохладную руку. И он так любил эту нежную руку, был так благодарен за эту прохладу.

— Расскажи сказку про кота Самсона. Мне мама рассказывала.

— Не знаю сказку про кота Самсона.

— Тогда спой песенку про «серенького волчка».

— Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придёт серенький волчок, тебя схватит за бочок.

Он слушал, как она поёт, и в её голосе было бабье, русское, материнское, чудесно всплывавшее в голосах русских женщин во время колыбельных песен и надгробных рыданий.

— Придёт серенький волчок, тебя схватит за бочок!

Он почувствовал слабость в руках. Хотел протянуть их к Лане и не мог. Ноги в башмаках промерзли, и он ждал, когда разгорится печь, чтобы просушить башмаки, носки, согреть ноги. Но теперь он не чувствовал ног. Хотел пошевелить промерзшей стопой и не чувствовал стопы. Ему казалось, он становится всё меньше и меньше. Убывала не только плоть, но и накопившееся в нём время. Будто вычерпывали ковшом прожитые годы. Вычерпывали и выливали, и он мелел и ждал, когда появится дно.

Из него вычерпали дом, выходивший окнами на Миусское кладбище, и дверь с табличкой «Блюменфельд», и летний сад в Доме приёмов, где у зелёного фонаря вились ночные бабочки, и ледокол с красной ватерлинией, отплывающий от сверкающей льдины, и кто-то бежит вслед отплывающему ледоколу, и африканскую саванну со стадами антилоп, французского геолога, чьи голые пятки торчали из красной африканской земли, и прыгнувшую, как пантера, Франсуазу Гонкур, и украинца с чёрными пауками и свастиками, и жёлтые, как дыни, осветительные бомбы, и висящего на дыбе Чулаки, и руку с золотым пистолетом, целящую в затылок, и квартал «Альфа» с атакующими штурмовиками, среди которых был птенец Русской истории, и квартал «Бета», к которому по минному полю пробирались слепые, и квартал «Гамма» с нарядными, как тропические птицы, проститутками, и квартал «Дельта» с

детьми, среди которых горела, как подсолнух, голова сына, и венчание в церкви, и в проломе мерцали голубые вспышки, и Светоч висел на стволе дальнобойной гаубицы, и Иван Артакович упал в чёрную прорубь, и повешенный мэр, три убитых брата, пленный лётчик под колесом бэтээра. Всё это вычерпывали из него. И мерцающий в чёрных водах бриллиантовый рай, и Млечный путь, словно брызнули в мироздание бриллиантами, и гневную поднебесную деву с мечом и орущим ртом. Всё это вычерпывали. Лана склонилась над ним, погружала ему в разъятую грудь деревянный ковш и вычерпывала. Его становилось меньше и меньше, и была сладость.

Он лежал на лавке и смотрел на Лану. Её лицо освещала стоящая на полу лампа. Подбородок был яркий, губы казались ярко-вишнёвыми, лоб был в тени, и глаза, окружённые тенью, ярко сверкали. Лицо её было незнакомым, но по-прежнему родным и прекрасным.

Они молчали. Он тихо спросил:

— Ты меня отравила?

— Это не больно.

— Ты моя жена, мать моего ребёнка.

— Нет никакого ребенка. Не было зачатия.

— Ты кто?

— Я та, кого послал к тебе Президент. Ты выполнял его замысел. Я помогала тебе исполнить замысел Президента.

— Замысел исполнен?

— Да.

— Мне хорошо, легко. Так легко не быть. Поцелуй меня.

Лана наклонилась и поцеловала его.

— Ты мой пригожий.

Её деревянный ковш погрузился в него и вычерпал ту зимнюю ночь на даче, когда втроём, с мамой и папой, выламывали пластинки льда из железной бочки и смотрели на синюю луну. Он держал тающую льдинку, она была голубой, и он любил голубую луну, и маму, и папу, и то таинственное, чудесное, что ожидало его.

Он почувствовал боль в сердце. В груди распустился красный, с сочными лепестками георгин. Боль была нестерпима. Цветок осыпался и пропал.

Лемнер лежал на лавке. По избе летали прозрачные светляки. Лана сидела недвижно. У её ног горела керосиновая лампа. Лана сидела недвижно час, другой. Дрова прогорели, угли дышали, покрывались сизым пеплом и опять разгорались. Лана тихо запела, бессловесное, русское, одну из песен Чичериной о войне, завыла, по-деревенски, по-бабьи, как рыдают на деревенских погостах. Умолкла, недвижно сидела, пока не начало светать.

Когда рассвело, на озеро у самой избы сел пятнистый вертолёт с красной звездой. Из вертолёта вышел офицер в камуфляже с полковничьими погонами и

врач с саквояжем. У полковника были прямые, сросшиеся на переносице брови и маленькие мексиканские усики. Они вошли в избу. Лана поднялась.

— Полковник, можете доложить Президенту, что проект «Очищение» завершён.

Врач наклонился над Лемнером, щупал сонную артерию, искал на запястье пульс.

— Фиксирую смерть, — сказал врач.

Лана плотнее закуталась в шубу, погасила лампу, подхватила сумку. Все трое покинули избу и пошли к вертолёту.

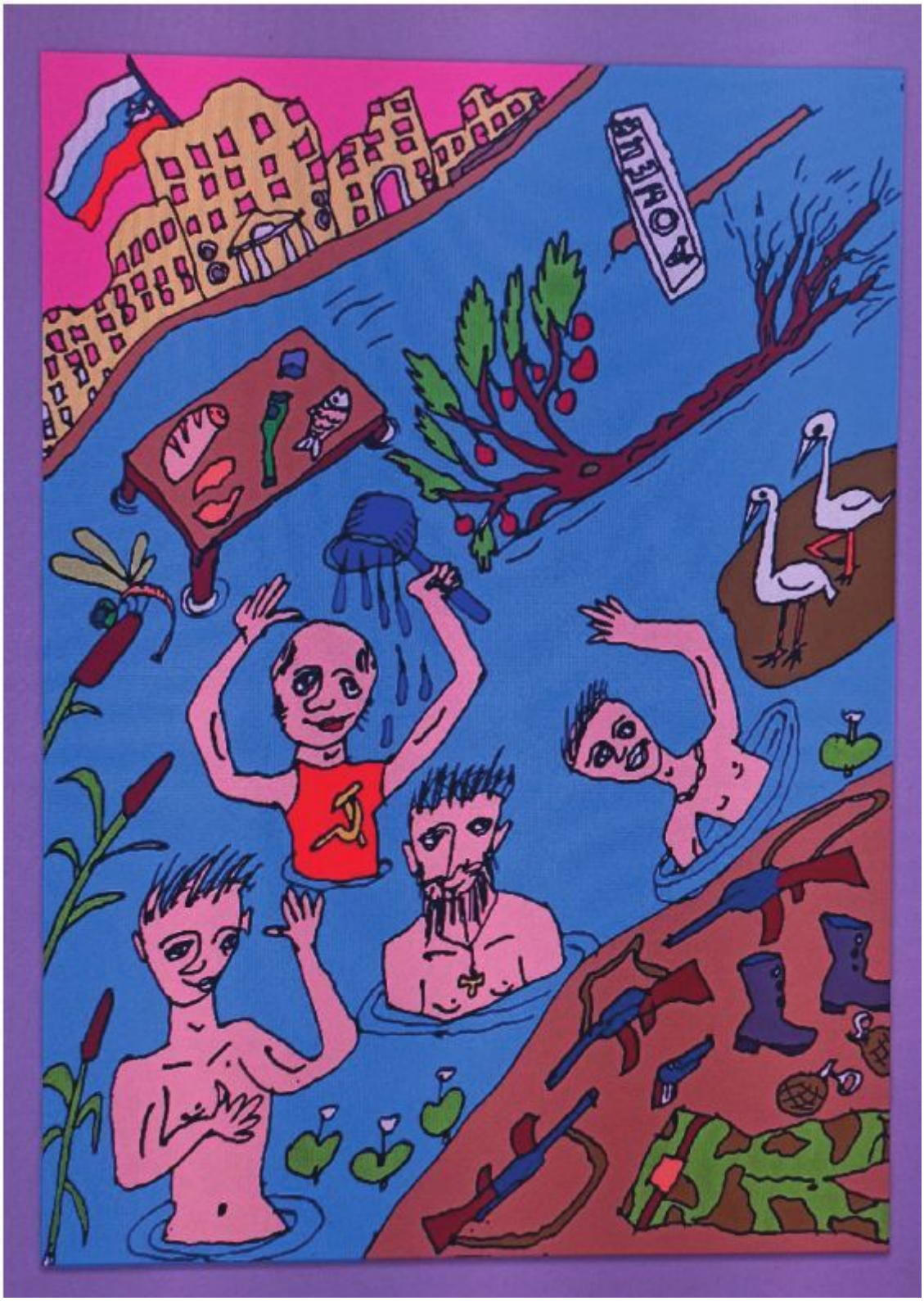
Глава сорок девятая

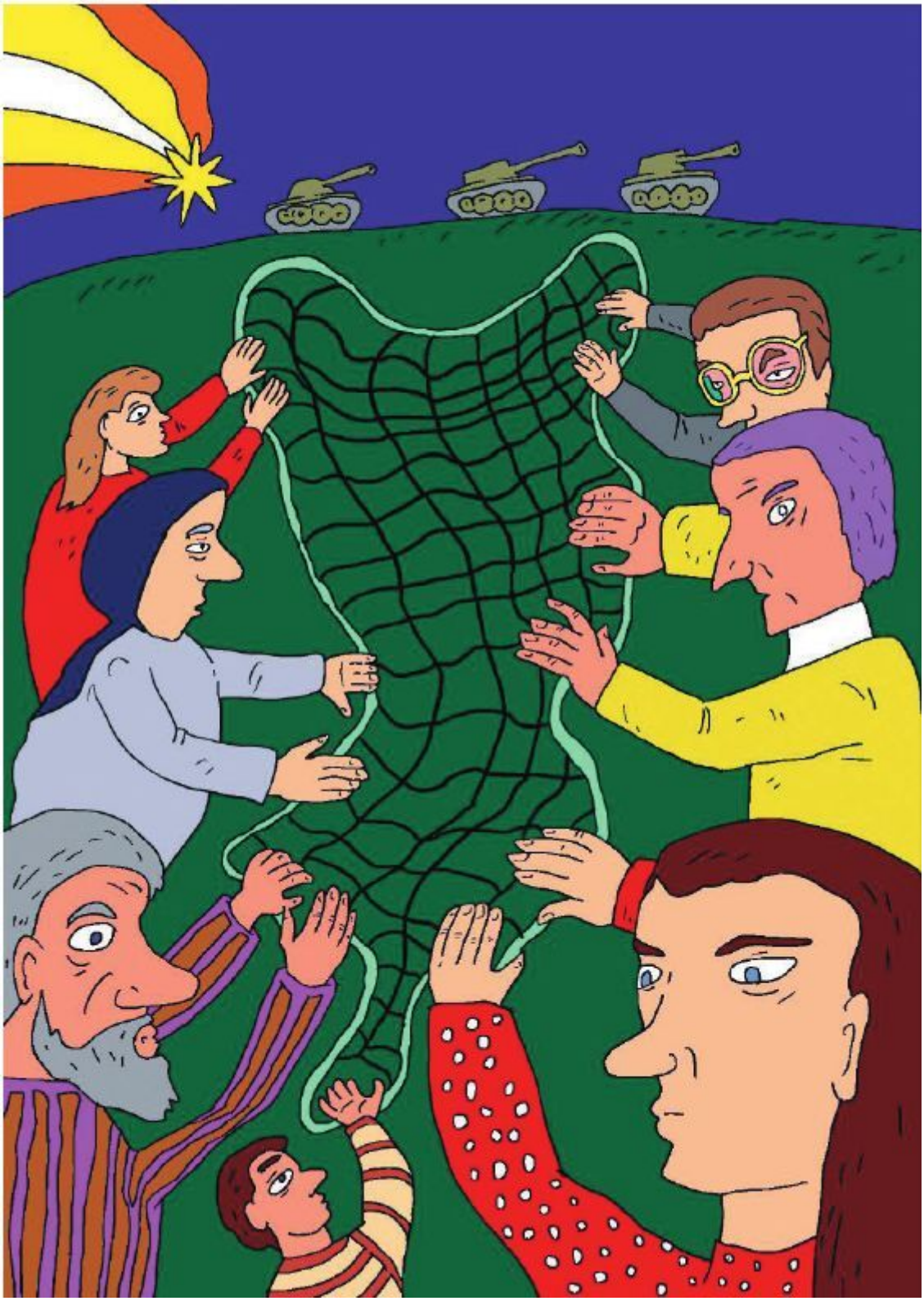
Священник отец Степан служил в бедном храме посреди села, когда-то богатого, а теперь потерявшего половину домов. Службы были малолюдные, и он огорчался маловерию русских людей. Отец Степан Лукашин был бойцом формирования «Пушкин», который не решился ехать на фронт и был отпущен Лемнером домой с наказом молиться.

Отец Степан завершал службу, отпускал последнего прихожанина и молился один. Он молился о рабе Божьем Михаиле, который был неотмолимый грешник, принёсший людям много несчастий. Отец Степан зажигал в его память свечу, но поминальная свеча не возгоралась. Грешник был неотмолим, и Господь не принимал молитву от отца Степана. Но тот молился ещё и ещё, ставил свечи, и свечи гасли. Он продолжал молиться, веря в бесконечное милосердие Господа, и сотая свеча загорелась. Отец Степан благодарил Господа и просил, чтобы Господь принял грешного раба Божьего Михаила в свой райский сад.

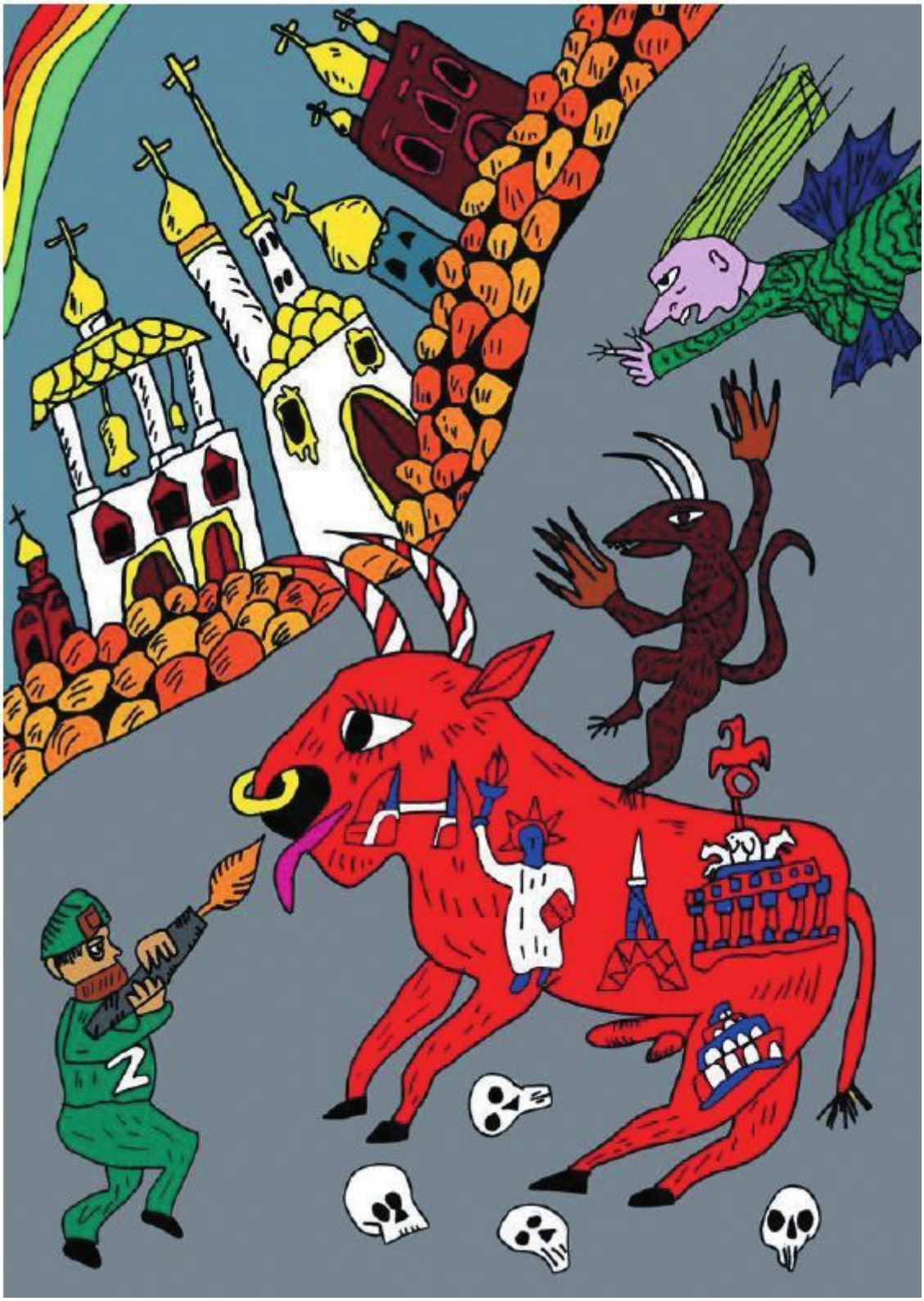
2023–2024

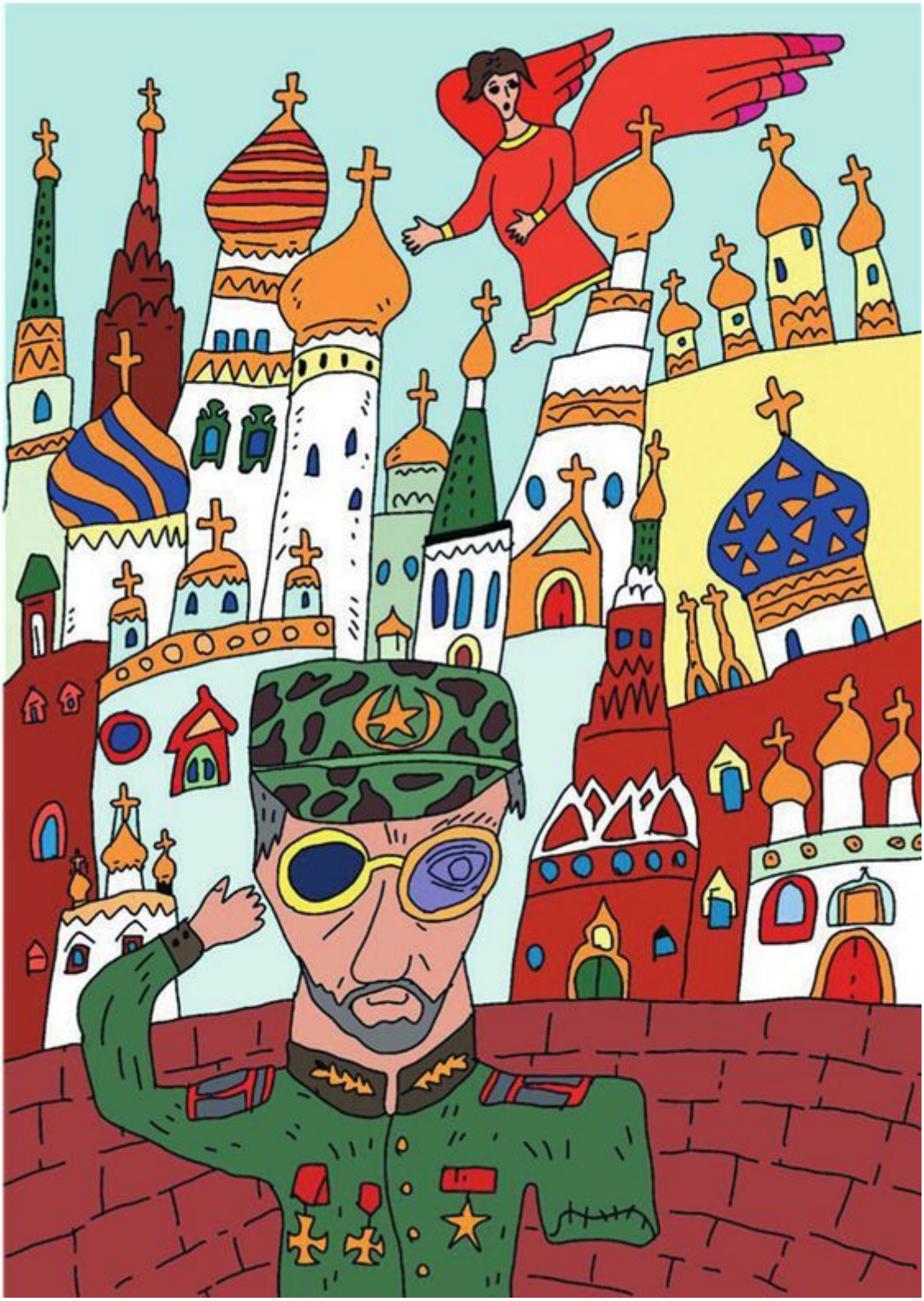
ХАРЬКОВ

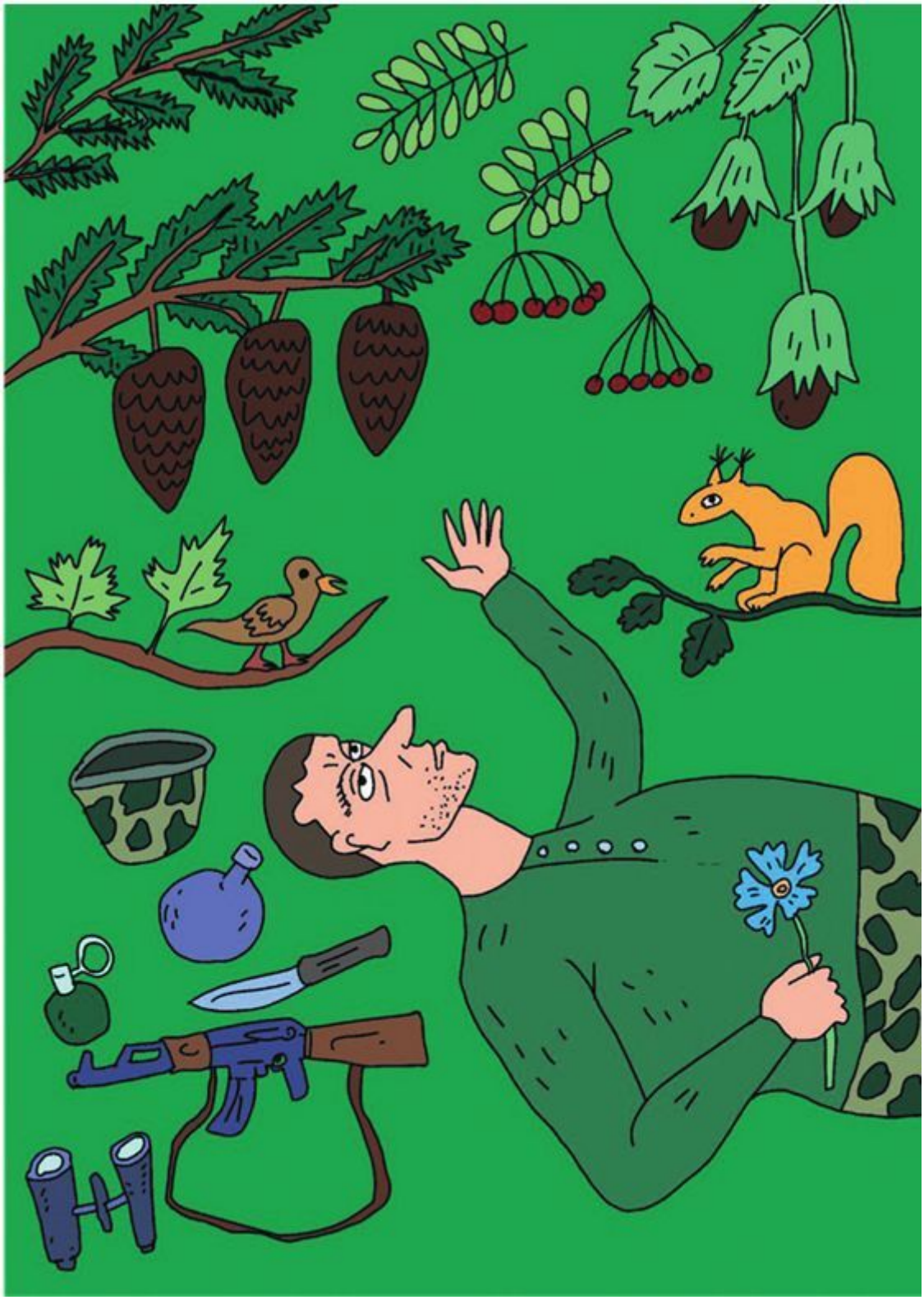

ВПЕРЁД



ХАР


2





V